# Абиш Кекильбаев

# Абиш КЕКИЛЬБАЕВ

## 1 том

Алматы
Жазушы, 2001

ББК 84 Каз 7-44
К 28

**Кекильбаев А.**

**К28** Романы, повести, рассказы, драма, статьи в VI томах. – Алматы: Жазушы, 2001.– 472 с.

Т. 1: повести, статьи

Талантливый казахский писатель, поэт, критик, переводчик Абиш Кекильбаев ставит «вечные» проблемы, размышляет над сущностью человека, выявляет движующие мотивы его поступков. Впитав предания своего народа, писатель открывает нам их суровую поэтичность, ясность и глубокую мудрость. Но, обращаясь к историческим фактам, событиям, он осваивает их с точки зрения современного человека, резко разграничивая добро и зло, справедливость и несправедливость, заставляет и своих героев задумываться о сущности бытия.

**К** $\frac{\textbf{4702230200-20}}{\textbf{402(05)-2001}}$ **без объявл. – 2001** **ББК** 84 Каз 7-44

ISBN 5-605-01744-6 (общ.)
ISBN 5-605-01745-4 (том 1)

©«Жазушы» баспасы, 2001
©А. Кекильбаев, 2001

# ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

*Из живого источника народного творчества черпает свою силу казахское искусство сегодня, как и вчера, хотя и на новом, уже более высоком уровне, обращаясь к его богатствам.*

*Имена прославленных героев фольклора живут и по сей день в творениях писателей, художников и музыкантов, составляют предмет исследования ученых, волнуя умы и сердца величием своих чувств, дел и свершений.*

*Источником вдохновения для «Баллады забытых лет» известного казахстанского прозаика Абиша Кекильбаева служит народное предание о жившем на рубеже XVIII и XIX веков народном кюйши (музыканте, певце и композиторе) Абыле. Предание гласит о том, как казахский певец, захваченный в плен туркменами во время набега на казахские аулы, покорил их силой своей музыки и тем самым установил мир между двумя народами.*

*Обращаясь к легенде об Абыле, А. Кекильбаев берет за творческую основу идейный пафос борьбы за мир и человечность как главное назначение истинного искусства, всесильного в своей гуманистической миссии.*

*Переносясь сюжет народной легенды на историческую почву феодально-родовых отношений, художник рисует победу кюйши в ее нравственно-воспитательной функции, соответственно правде жизни, участь певца изображая трагической.*

*Кровавая распря туркмен с воинственным казахским родом адай предстает перед читателем в узле жестоких противоречий, где обе стороны несут на себе непомерную тяжесть кровавой вражды, обусловленной закономерностями несправедливого общественного строя. Жестокая родовая вражда с ее грабежами и убийствами, с ее идеологией кровной мести и извращенным представлением о доблести и славе, как беспощадном, не знающем жалости истреблении и унижении «врага», находит свое крайнее выражение в расправе над пленными – превращении их путем жесточайшей пытки в идиотов, не знающих родства. Легенда о «манкуртах» в романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» именно здесь берет свое начало.*

*Мощные реалистические фигуры враждующих сторон представлены туркменским родоправителем Жонеутом, потерявшим в кровавой вражде с адайцами трех сыновей и любимого брата, справедливо названного Кёк-боре (лютым волком), и убийцей Кёк-боре – жестоким адайским батыром Дюимкарой, сородич которого, прославленный домбрист (Абыл), становится жертвой кровной мести Жонеута, будучи плененным туркменами во время мирной поездки по степи.*

*Поставленный перед лицом Жонеута, скорбящего о гибели младшего сына-домбриста, состязавшегося в свое время с Абылом, но втянутого отцом в кровавую распрю, адайский кюйши взывает к сердцам слушателей: «Ваше благоденствие, счастье ваших детей и жен – в дружбе и согласии с соседями. Злоба превращает человека в зверя. Человеком его делает сострадание... Если ты никого не жалеешь, кто пожалеет тебя... Ты жаждешь принести смерть другому – ты сам ее получишь». Мотив предупреждения сменяется мотивами нежности, спокойствия и любви. И слушатели (как в легенде, так и в поэме) покорены музыкой гениального кюйши.*

*Даже сам грозный родоправитель Жонеут впервые для себя открывает, что он тоже человек, сердце которого доступно любви и состраданию, слезы текут из его глаз. Казалось бы, близко уже торжество мира, но счастливого апофеоза добра не происходит. Домбрист победил, власть*

*музыки всесильна, и именно поэтому, верный своей классовой природе, Жонеут предает победителя-кюйши мучительной смерти: его закапывают в землю живым. Жонеут поборол свою слабость и «опасную музыку», сломил врага, но и сам оказался сломленным. Целостный мир его жизненных правил и воззрений разрушен. В жестоких терзаниях и кошмарах проходят последние ночи и часы феодала. Ему снится голова казненного, возвышающаяся над землей, и звери, которые крадутся к ней, и он просыпается в мучительных попытках бежать на помощь домбристу. Жонеут гибнет. Но его маленький племянник Курбан, лишь однажды услышавший домбриста, уже подхватил его напевы и увлеченно воспроизводит их к великой радости своего простодушного отца Аннадурды, единственного человека, видевшего страдания своего жестокого родича и, пожалевшего даже его.*

*Да, музыка всемогуща, говорит нам писатель-реалист, но ее победа не волшебство, покоряющее даже силы природы. Это вдохновенная и трудная работа над человеческой душой, и ее место в строю борющихся за торжество гуманизма.*

*Представляя героя повести читателю, автор говорит: «Пришел час назвать его имя – Жонеут. И просить читателя запомнить это имя. Ибо Жонеут пройдет пешком, промчится вскачь сквозь всю мою балладу. А когда в терзаниях испустит дух, я закончу свой сказ».*

*Жонеут – это фигура, олицетворяющая собой в терзаниях издыхающий феодализм, страшный тем, что, входя в плоть и кровь людей, развращая их своей бесчеловечностью, он становится кодексом поведения недочеловека, и тольно музыка революции, новый социальный и нравственный строй способны защитить и возвеличить человека в человеке.*

*Мы так подробно останавливаемся на «Балладе забытых лет» потому, что в этом произведении с наибольшей отчетливостью проявляется творческий стиль и манера Абиша Кекильбаева, берущего за основу идейную взыскательность народной нравственности, выраженной в легенде и притче, с высоты которой он подходит к решению актуальных нравственно-философских и классо-*

*во-социальных проблем современности. При этом эпическая масштабность конфликтов и образов, свойственная народному творчеству, как бы укрупняет и обобщает видение исторически значимых коллизий эпохи, выделяя в них самую их социально-нравственную сущность, освобожденную от всего случайного, что, вызывая излишнюю детализацию, прикрепляет героя и событие только к определенному отрезку времени.*

*В повести «Хатынгольская баллада» грозный «повелитель вселенной» разгромил страну тангутов, истребил все мужское население, опозорил и обезглавил любимого мужа Гурбельжин бурхана Шидурге, лишив красавицу не только богатства и власти, но даже рода ее и племени.*

*За горе и бесчестие женщины, согласно легенде, Чингисхан заплатил медленной мучительной смертью, оставив после себя недобрую память и прах разрушенных городов.*

*А слава мужественной красавицы воздвигла над ее прахом высокий поминальный холм Темир-Олхо, и «каждый прохожий, каждый путник оставляет у священного холма горсть земли. Темир-Олхо напоминает всем живущим на земле: «Возмездие неминуемо, тот, кто приносит людям зло, найдет суровую кару, и не бог покарает его, а руки людей».*

*За главными персонажами повести «Хатынгольская баллада», а также и романа «Конец легенды» отчетливо выступают грозные фигуры Чингисхана и Тамерлана, хотя они не названы и выступают вне конкретно-исторического освещения их деятельности, лишь как носители беспощадного гнета, законченные образы эгоизма, возведенного в «священный» принцип античеловеческой морали, зиждущейся на исключительном праве «сильной личности» на жизнь и смерть людей, народов и государств.*

*И все же реальная, нравственная сила у Абиша Кекильбаева принадлежит народу. Не казнивший домбриста Жонеут, а хилый с виду кюйши, не грозный Чингисхан, а «слабая» женщина Гурбельшин, не всесильный повелитель, а ослепленный им зодчий выступают истинными победителями. За деспотом-владыкой лишь узурпированное им право на жизнь и смерть человека, а за его жертвами, людьми из народа, – сама история, человечество, добро.*

*В повести «Колодец», включенной в книгу, раскрывается нравственный мир человека – не воителя, не батыра, а одного из многих обыкновенных людей. Труд как основа народной нравственности выступает в этой повести, рисующей участь старого мастера, копателя колодцев из рода Караш, вся жизнь которого проходит в изнурительном труде под землей. Потомственное занятие всего его рода не стяжало его людям ничего, кроме насмешки: «Эх, Караш, жилье его – шалаш, похлебку варит в котелке, собаки его – брехуны, девки – пустосмешки, в белой юрте ему не жить, сапог добротных не носить, на верблюде не сидеть...» Одним словом – «Караш-род и без пищи проживет».*

*Но зато этот тяжелый труд стал радостью и гордостью Караша. И все повествование является художественным исследованием этого каторжного, проклятого, но любимого дела, ставшего содержанием жизни и причиной смерти героя повести Енсепа, «автора» самого глубокого, чистого и полноводного колодца округи. Это нравственно-психологическое исследование трудового процесса как творческого акта дополняет созданную автором в других его повестях галерею народных характеров.*

*В этой повести не столь сильно ощущается та сказовая символика, которая присуща другим произведениям писателя, она лишь сосуществует с реалистической стилевой традицией казахской советской классики.*

*И все же символ труда как деятельности на благо народа, близкого к легендарному труду Фархада, прорывшего канал через каменистую скалу, зримо присутствует в повествовании. Долгие годы люди аула не смели даже приблизиться к колодцу, вырытому знаменитым кудукши и погубившим его.*

*Но вот нашлись бесшабашные смельчаки, напились сладкой воды из колодца и даже опустили в него бадью. А потом аксакалы позвали муллу, тот молитвой «очистил» колодец от злых духов, аулчане поставили сруб, и «отныне все окрестные аулы не знали нужды в пресной воде. В засушливые годы мелели, а то и вовсе высыхали многие колодцы. В этом вода не переводилась никогда.*

*Однажды кто-то нечаянно упустил бадью, и ее вынес-*

*ло к подножью утеса у самого моря. Так люди узнали, что под этим колодцем протекает подземная река».*

*Напоив всех людей окрест живительной влагой из этой подземной реки, кудукши открывает им путь в широкий мир. Писатель тем самым утверждает, что вдохновенный труд простого человека создает основные в мире ценности, что отношение человека к труду является мерилом его нравственности, человечности.*

*Активно живет и развивается в казахской прозе культурно-историческая традиция Мухтара Ауэзова, столь блестяще выраженная в «Пути Абая», а также и в более ранних его произведениях, таких, как драма «Кобланды» или притча о казахском Дон-Кихоте Кушикпае, входящая в рассказ «Сиротская доля».*

*Своеобразно и художественно завершенно воплощается эта традиция в творчестве Абиша Кекильбаева, особенно в «Балладе забытых лет», созданной на основе народных преданий о кюйши Абыле, и в «Хатынгольской балладе», в основе которой лежит обширный среднеазиатский эпос о нашествии Чингисхана. Главное, что роднит А. Кекильбаева с традицией М. Ауэзова, – это умение искать и находить взаимосвязь между вековыми истоками народной мудрости и нравственными исканиями современности. Существенно в этом родстве и то стилевое, живописное богатство, которое характеризует манеру молодого художника.*

*Примечательно, что в творчестве Кекильбаева, как в свое время было и у Ауэзова, происходит процесс циклизации, вхождения отдельных новелл в плоть формирующейся эпопеи. Отдельные повести, собранные вместе в этой книге, как бы составляют своеобразный роман о становлении народной нравственности, национального кодекса трудовой и воинской доблести, вдохновенного искусства «поющей» души народа-песнетворца. Свое место в процессе этой циклизации занимает и наиболее «бытовая» среди произведений сборника повесть «Состязание» о том, как была загублена жизнь юной девушки произволом любящих ее родителей, стремившихся по-своему получше устроить свою любимицу.*

*В семидесятых годах на основе материала древних пре-*

*даний и опыта книги «Баллады степей», вышедшей в издательстве «Молодая гвардия», как бы завершается циклизация всего предыдущего творчества А. Кекильбаева в романе «Минарет», в переработанном виде имеющем название «Конец легенды». Здесь сочетаются в единое целое две магистральные линии творчества Кекильбаева. Темы пагубного влияния «деспотической власти» на душу человека и жизнь народа и одновременно всемогущество вдохновенного творческого труда мастера (будь то знаменитый кюйши или скромный копатель кододцев), которое преодолевает могущество земных владык и самую смерть для жизни вечной и нетленной.*

*Таков минарет, возведенный великим, гениальным в своей простоте юношей-зодчим для любимой жены Тимура, — повествование, в основу которого положена легенда о создании мечети Биби-ханум в Самарканде.*

*В своем изумительном творении, где юный зодчий должен был запечатлеть образ преданной любви молодой женщины к своему грозному повелителю, юноша воплотил свою страстную любовь к прекрасной ханше, жизнь которой он наблюдал с высоты строящегося минарета.*

*Прекрасное это чувство столь отчетливо было выражено в камне, что (правда, не без подсказки старшей жены-соперницы) повелитель прочел его в возносящемся ввысь минарете. Хан, отлучив от своих милостей ханшу, «виновную» в возникшем в глубине ее существа ответном чувстве, вызвал к себе и приказал ослепить гениального мастера и вырезать ему язык, чтобы он никогда и никому не смог передать свое «греховное» искусство.*

*На основе несложного, казалось бы, сюжета А. Кекильбаев создал глубокое нравственно-философское исследование бездонных пучин, в которые повергает человека и человечество «непомерность власти», уродующая жизни и души, и в первую очередь жизнь и душу самого тирана, опустошаемую стремлением к абсолютному превосходству даже перед самим богом.*

*В безмолвии знойной пустыни наедине с призраком загубленного, но все еще живого в своем творчестве художника (теперь уже мстителя) кончает свое преступное бытие повелитель. «Сейчас он, пожалуй, впервые за всю*

*жизнь откровенно пожалел о том, что судьба уготовила ему такую участь – быть самым сильным, самым могущественным владыкой на земле...*

*Только кровавая бойня избавит презренную чернь от гнусных помыслов и низменных вождений, охвативших их грязные души. И пусть эта бойня не угодна сейчас ни богу, ни врагам, он, повелитель, затеет ее сам».*

*Так в муке угасает эта бесплодная разрушительная жизнь, напутствуемая внезапно прорвавшимся хриплым голосом призрака: «Не бойся... – все равно очутишься под землей».*

*Цикл степных баллад завершен созданием романа «Конец легенды», но легенда продолжается.*

*Глаза художника находят все новые и новые аспекты нравственно-философского повествования о жизни своих современников, которые вдохновили его на художественное исследование прошлого во имя настоящего и будущего.*

*З. Кедрина*

# ПОВЕСТИ

# БАЛЛАДА ЗАБЫТЫХ ЛЕТ

## 1

Нет ей конца-края, раскаленной от сухого жара равнине. И не за что зацепиться взору – ни холмика, ни бугорка. Лишь на севере, у самого горизонта, темнеет в миражном мареве курган. Из аула виден его прямой, как копье, склон с застывшей на вершине фигурой дозорного. Будто не природа, а людские руки вылепили этот курган, дерзко нарушивший унылое однообразие степи. Вокруг все сонно, недвижно. Долгоногим, поджарым верблюжатам надоело жалобно реветь – все равно никто не замечает, и они примолкли в тени.

Прислонившись спинами к зыбким стенам юрты, плотным кольцом замерли туркмены в лохматых поярковых папахах. Кисловатая вонь конского пота и мочи, смешавшись с терпким запахом высохшей травы, доносится из степи, щекочет ноздри. Изредка мужчины обмениваются молчаливыми, затуманенными сном взглядами. И никто не дотронется до пузатого расписного кумгана с чаем. Клонятся головы под тяжестью папах.

Только один, с темным сухим лицом, раздвоенной бородой и колючими кустистыми бровями, сидит, напружинившись, расправив крутую грудь, не мигая уставившись в клочок неба, синеющий сквозь решетку юрты. По левую руку от него седой старик в белой папахе многозначительно закивал в ответ на свои мысли и стал перекатывать ягоды джиды на расстеленной козлиной

шкуре. Обладатель раздвоенной бороды мельком покосился на него.

Вдруг вздрогнул сидевший в стороне тонкий молодой туркмен в просторном полосатом чапане. Маленькими, настороженно выжидающими глазами он с утра сквозь решетку ощупывал склон кургана, всякий раз задерживаясь на фигуре дозорного.

Как по сигналу вскочили туркмены. Повернулись к темнолицему с раздвоенной бородой. Тот, не вставая, спокойно встретил их взгляды и чуть наклонился к нижним перекладинам решетки.

На восток от кургана обозначились точки. Они слабо прорисовывались на фоне неба и казались почти неподвижными.

Но караульный не подавал знаков, и человек с раздвоенной бородой снова выпрямился. А папахи снова сели, снова отдались дреме.

Черные точки все ближе. Уже не точки – люди. И не составляет труда разглядеть обращенных в рабство казахов.

Они в плену с прошлого лета, когда этот с раздвоенной бородой совершил набег на аул родственников Дюимкары и пригнал добрую добычу – шестерых девушек и шестерых юношей казахов.

Юноши и девушки собственность того, кто их захватил. Он собрал односельчан и сказал свое слово-приказ, Чаще всего он не говорил – приказывал.

Пусть Аннадурды, не мешкая, скачет к Мамбетпане. И пусть Мамбетпана за смелый набег и за шесть рабынь даст верблюжонка от белой верблюдицы, что досталась при походе на Хорезм. Верблюжонка он заколет на могиле погибшего брата. Он так отомстит адайцам, что кровь застынет в их жилах. Справит такие поминки, каких не видывали люди.

Аннадурды все сделал, как велено. Еще не угас день, а он пригнал белого верблюжонка-одногодку. Верблюжонок был в теле. Его пустили на луг, где зеленела не знавшая копыт трава. До самого рассвета стерегли его три конных джигита.

А девушки, одна к одной, краса и отрада адайцев, остались в ауле Мамбетпаны. Увидев их, краснощеких да черноглазых, кичливые джигиты едва не лишились рассудка, не передрались между собой и до сей поры, поговаривают, не поделили пленивших их пленниц...

Целый месяц, не тая нетерпения, ждал аул поминок. И наконец дождался.

Ранним утром два всадника погнали верблюжонка на могилу Кёк-боре. Белые шелковистые лохмы развевались на тонко изогнутой шее. Верблюжонок беспечно трусил в такт иноходцам, а те, не отставая, не забегая, шагали по бокам.

Но это лишь голова колонны. Дальше на двух тощих верблюдах без седел тащились молодые пленные казахи. Они ни о чем не догадывались, с недоумением и испугом озирались на хмурых всадников в высоких папахах.

Под всадниками легкие аргамаки, не слышна их поступь. За аргамаками величественно переставляют ноги черные одногорбые верблюды – дромадеры, равномерно, в такт шагам покачивая ашамаями – деревянными седлами, покрытыми коврами.

Растерянны пленные, торжественны всадники. Не перекинутся словом. Безучастно молчит небо – чистое, вымытое утренним солнцем, да так, что не осталось ни облачка.

Пленники прислушиваются к перестуку копыт, поглядывают на тонкие мучнистые струйки пыли. Впереди белым пятном мелькают налитые горбы верблюжонка.

Остановка подле зарослей черной полыни. В зарослях едва приметный холмик. Если не знаешь, пройдешь мимо. Однако как раз сюда шли верблюды и скакали кони, везли джигитов и пленников.

Недолга дорога, но вконец измучились пленные. Затекли связанные, до крови натертые ремнями руки и ноги. Мучительно сидеть на остром, как нож, хребте верблюда. Верблюжий пот растравляет раны, вызывая нестерпимый зуд.

Но туркмены пока что не собирались развязывать ремни и веревки, снимать пленных. Они спешились у одинокой могилы, окружили ее, преклонив колени. Повторяя строки корана, держали перед собой загрубевшие ладони и проводили ими по лицу. Угас огонь в пылающих глазах. Умиротворение нисходило на грозное воинство. В тишине глухо и монотонно причитал мулла.

Кончилась молитва. Все разом вскочили, зашумели, заколготились, принялись стряхивать с колен белую пыль.

Несколько джигитов подвели белого верблюжонка к углу могильного холмика. Мулла, деловито поправив чал-

му, выступил снова вперед и одним духом прочел коротенькую суру из корана.

Толпа вновь рухнула на колени, раскинув руки и обратив лица к небу, молила всевышнего принять священную жертву.

Пятеро джигитов, закатав рукава, свалили белого верблюжонка и, не дав издать стона, разделались с ним.

Все свершалось быстро, с каким-то привычным исступлением. Вырыты ямы, над ними укреплены котлы, налита привезенная в дубовых кадках вода. В ямах разложен огонь. Запах сочной, еще не утратившей влаги травы плывет над утренней степью. Густые кольца бурого дыма тянутся к пробуждающемуся небу.

Пленникам все в диковину. Забыв про горькую долю и зудящие раны, они с мальчишеской любознательностью глазеют вокруг. Вон оно как туркмены справляют поминки. Ни тебе раздолья, ни шумной суеты. Не раздастся звонкий смех, не вспыхнет спор, не разразится скандал. И песен не слышно, и переборы домбры не звучат... Чужой народ, нравы чужие. Не видно разгоряченных джигитов и подростков, кружащихся вокруг стайки девушек и молодок, стянутых в талии кумачовыми поясами. Ни одной юрты на месте поминок. Чистокровные аргамаки томятся на привязи. Куда ни глянешь, отрешенные лица. Мужчины не расстаются с кинжалами и саблями. Зачем они им сейчас? Или боятся, что дома украдут?

Долго ли варить мясо годовалого верблюжонка? Окутанные паром куски уже на плоских деревянных подносах. А вот уже и пусты подносы.

Опять молитва, опять коран.

Теперь наступил черед пленных. Их выволокли на середину круга. Каждого схватили под руки два туркмена. Подошли еще шестеро с обнаженными кинжалами. Рукава засучены, как тогда, когда свежевали белого верблюжонка.

Пленным уже не до воспоминаний, не до сравнений. В устремленных на кинжалы глазах – страх, мольба. Бледные лица туркмен окаменели в хмурой решимости. Из глаз ушло все живое, оставив жестокую пустоту.

Шестеро с кинжалами склонились над связанными юношами. Те мертвенно побледнели, сжались.

Но первый удар наносился не кинжалом, а ножнами. Резко, чуть ниже затылка. Он унял дрожь. Шеи напряглись. В жилах под челюстью отрывисто бился пульс.

Пленники сидели, согнувшись, на корточках. Джигиты, схватив за уши, прижали их головы к земле. Ее теплое дыхание вошло в легкие. И каждый подумал – конец.

Но ошибся. На зажатые меж колен головы потекла из кумганов холодная вода. Вместе с ней вернулась надежда. Жесткие чужие пальцы терли, растирали мокрые волосы, виски, затылки.

Закончив странное занятие, джигиты на мгновение выпустили из рук пленных. За это мгновение те заметили плотную толпу, поднимавшееся в зенит солнце, ослепительно сверкнувшие кинжалы.

Туркмены вдруг зашумели, мстительные крики огласили степь. О чем спор, пленным не понять. Но они ясно видели направленные на них глаза, руки, кинжалы.

Толпа затихла так же неожиданно, как подняла шум. Тишину нарушал равномерный, леденящий сердце звук: жик-жик, жик-жик. Шесть кинжалов методично шуршали о голенища сапог. Когда этот звук оборвался, на смену ему пришел сухой треск. Не успев опомниться, пленные голыми затылками почувствовали палящую силу солнца. Космы черных волос валялись в пыли.

Джигиты с кинжалами были не палачами, а всего лишь цирюльниками. Они вытерли о широкие рукава кинжалы, сунули их в ножны и отошли в сторону с сознанием исполненного долга.

Пленные застыли на коленях, с каждой секундой все сильнее изнемогая от беспощадно сжигающих лучей.

Если б молодые казахи могли спокойно осмотреться, они увидели бы, что не все туркмены поглощены созерцанием голых затылков. Иные деловито кромсают шкуру верблюжонка. Закончив, они передали куски двум почтенным старикам, сидевшим на отшибе. Старики опустили куски в деревянную посудину и принялись усердно мять.

Там, где еще недавно лежал ясноглазый шелковистый верблюжонок с двумя задорно торчащими горбами, валялись окровавленные кишки – все, что от него осталось.

Юноши ничего этого не видели. Так же, как и хмурого старика с бородой, двумя клиньями падавшей на грудь.

Пришел час назвать его имя – Жонеут. И просить читателя запомнить это имя. Ибо Жонеут пройдет пешком, промчится вскачь сквозь всю мою балладу. А когда в терзаниях испустит дух, я закончу свой сказ.

Но сейчас он крепок, не тронь седина раздвоенной

бороды, я бы не отважился назвать его стариком. Его мускулистые ноги уверенно попирают землю, жилистые руки скрещены на груди, ястребино зоркие глаза пылают ненавистью. Мести жаждет душа, руки. Ради мести ноги готовы без устали шагать по пустыням. Месть привела его сегодня к этому холмику, затерявшемуся в полыни.

Под холмиком вечным сном спит его младший брат Кёк-боре. О, это был бесстрашный воин! Вся его жизнь – набеги, набеги, набеги. Не оказывалось спутников, он вскакивал на аргамака и один мчался на врага, один угонял чужие табуны.

Он славился и внушал страх своей волчьей повадкой. Не зря казахи назвали его Кёк-боре – «лютый волк». И соплеменники согласились с кличкой, забыв его имя Дурды, данное муллой.

Он и вправду был волком – свирепым, матерым. Его сердце веселила лишь опасность. Он был по-звериному жесток. А был ли он умен?

Трудно ответить. Слишком легко поддавался на лесть.

«Разве сравнишь с тобой твоего братца? – нашептывали Кёк-боре подхалимы. – Разве можно его считать батыром подле тебя?»

Кёк-боре хмелел от самодовольства. Сладкие речи погнали его и в тот злосчастный поход, откуда нашлась лишь одна дорога – к предкам.

В минувшие времена казахи потеснили туркмен не только с верховьев Устюрта и низовьев Мангышлака, они захватили их исконные пастбища Карын-Жарык, Ак-Сорка, Удек и загнали на бесплодное, открытое солнцу и ветрам плато.

Богатому роду Мамбетпаны негде было пасти стада. Да и всем туркменам приходилось несладко. Дутары заладили печальный «Айладыр», бахши горестно вспоминали тучные долины Мангышлака.

Вечерами, когда дыхание приближавшейся ночи побеждало жар и разгоняло мираж, на севере проступали отточенные пики Карадага. Пока не наступал мрак, туркмены сидели на коврах и смотрели, смотрели в сторону, где жили когда-то их отцы, деды, прадеды.

Не только людей, но и скот неудержимо тянуло в заветные края, на щедрые пастбища. Не зная отдыха, в бурю ли, в проливной дождь мужчины сторожили лошадей, а те все же уходили косяками к врагу. Стоило отлу-

читься, верблюды крупной рысью мчались в привычные места. Только больные и хилые хранили верность хозяевам.

Лица под папахами темнели от крови, от злобы темнели глаза. Кинь кто-нибудь в такой час «По коням!», – повторять клич не пришлось бы.

Но клич не раздавался. В походах и набегах ослабел народ, дорогой ценой оплачивал каждую вылазку. Сколько их, безвестных смельчаков, полегло на курганах близ казахских аулов! Сколько посеченных молью папах пылится в юртах, напоминая о батырах, которым папахи уже ни к чему! Сколько брошенных в степи могил!..

Не однажды Мамбетпана подступал к Жонеуту со слезной просьбой: «Помоги! Отомсти! Верни скот!» Мамбетпана был слишком богат, чтобы рисковать собственной жизнью. Он уступал это право другим, и однажды Жонеут, не признававший околичностей, бросил ему: «У тебя родичей, что муравьев в муравейнике. Кто мешает тебе снарядить своих джигитов?..»

Важный гость не нашелся. Он с достоинством крутил в руке тяжелую плеть, пыхтел и молчал, тая обиду.

От Жонеута Мамбетпана отправился к Кёк-боре. А тот вспыхнул с полуслова и не заставил себя упрашивать.

Много врагов имел Мамбетпана среди казахов, но самый опасный – Дюимкара. Как смерч, налетал он на табуны и стада, как ветер, скрывался от погони, оставляя после себя облака пыли да легенды. Были и небылицы рассказывали о нем и казахи, и туркмены.

В первую брачную ночь, если верить легенде, на аул молодой жены Дюимкары напали барымтачи и угнали скот. Услышав крики, Дюимкара вырвался из жарких объятий и, в чем мать родила, вскочил на коня. Всю ночь скакал он, не давая передышки ни себе, ни коню. Едва забрезжила заря, догнал барымтачей. Увидев в предрассветном сумраке обнаженного всадника, они смертельно перепугались – то ли сатана это, то ли человек – и пустились наутек. На обратном пути Дюимкара встретил табунщика, попросил у него чапан и, гоня впереди скот, победителем въехал в аул тестя.

Дюимкара был могуч, как здоровый верблюд, густая шерсть курчавилась на его мускулистой груди. Голым по пояс мчался он на врага. Его издали узнавали люди и кони, тем и другим внушал он страх. Туркменские аргамаки бежали от него, как от волчьей стаи.

Многие туркмены точили на него зуб. Но если сказать правду, то и соплеменники не знали из-за него покоя и жили в вечной тревоге.

Жонеут еще бегал босиком, когда старейшины обеих сторон вознамерились покончить с изнурительными распрями. Когда кипит война, всем ведомо, гибнет больше джигитов, чем удается отбить лошадей. Дедушка Жонеута взял внука с собой на переговоры. Цепкая память на годы сохранила подробности этих переговоров у могилы святого Карамана.

Народу собралось видимо-невидимо. Всех измучили долголетние набеги. Но кто признается в этом врагу? Каждый хорохорился, бросал надменные взгляды, лениво цедил сквозь зубы.

Среди туркмен первым был Жума. Он важно восседал на сивом аргамаке. Его сопровождал тонкий, как тростинка, подросток. Кто бы взялся предсказать, что этот щуплый мальчуган вымахает в здоровенного, заплывшего салом Мамбетпану. Только змеиные глазки напоминают о некогда тощем подростке.

Хотя стороны собрались ради мира, переговоры начались со ссоры – надо же для почина припугнуть недруга. Спесивый Жума, не меняя позы, небрежно кивнул на огромный, почерневший от времени могильный камень, высившийся в священном для мусульман юго-западном углу кладбища. Этот кивок следовало понимать так: «Вон видите камень? Кто, по-вашему, установил его?»

Головы повернулись к могильной плите. Но годы и ветры стерли с нее надпись.

Однако старейшина казахского рода Адай тоже был непрост. Он указал на заросший хной обломок, что торчал из старой, провалившейся могилы.

Жума недоверчиво прищурился, сперва глянул на казахов, потом на камень и властным жестом послал к нему старика и юношу из своей свиты. Они придирчиво осмотрели обломок, тщетно пытаясь что-либо на нем разглядеть.

Тогда старший адаец послал к обломку своего человека. Тот ловко очистил от хны южную грань камня и показал на едва заметное тавро казахского рода Алшин.

Старику туркмену ничего не оставалось, как растерянным кивком подтвердить это.

Бурное волнение поднялось в толпе. Адайцы ликовали, туркмены сокрушенно покачивали головами.

Жума рассчитывал ошарашить казахов: глядите, мол, этой землей издавна владели предки туркмен. А все обернулось наоборот. Адайцы доказали, что древний род Алшин обосновался здесь еще раньше.

Но предки предками, а упрямство упрямством. У каждой стороны длиннейший перечень обид.

Туркмены обвиняли казахов: вы не только захватили наши земли, но постоянно угоняете наш скот, насилуете девушек, из-за вас наши аулы не знают покоя ни днем ни ночью.

Казахи не оставались в долгу. Они напомнили о временах, когда на них напали чужие по языку и вере джунгары. Казахи надеялись найти приют, защиту у братьев туркмен. Но не тут-то было. Их встретила не братская рука, а мечи и копья.

Постепенно список взаимных упреков и обид иссяк, ссора начала выдыхаться. Более разумные ораторы перестали подливать масло в огонь и пытались обходить зародившие друг друга острые углы.

Могилы – удел предков. Чьи только могилы не попадаются в степи. Зачем их тревожить? С давних времен здесь обитают многие племена. А разве ныне на просторах от Каспия до Аральска, от Сагиза до Карабугаза не хватит места для мирной, бок о бок жизни казахов и туркмен?!

Долго еще длились разговоры. Когда они подошли к концу, старейшины обеих сторон поднялись на гору, где в пещере под скалой покоился прах святого Карамана. Тут дали они клятву положить конец вражде, жить, как подобает братьям, в мире и согласии.

Но идут годы, течет вода, размывая старые клятвы. Мальчишки, которые тогда стерегли коней, стали мужами. Иным из них мир показался обузой. Давние зароки потеряли для них силу. Новые времена, считали они, жаждут новой крови. И Мамбетпана – живой свидетель клятвы и перемирия – распалял такие разговоры. Влиятельный мулла пустил слушок, будто казахи добились мира хитростью – ведь враг, если и добивается чего-нибудь, то не иначе как с помощью лукавого, – что адайцы обманом спаслись от кары святого Карамана, но от расплаты им никуда не деться. Слушок превратился в слух. Его под-

хватил Мамбетпана. Зловещий призыв «кровь за кровь, око за око!» покатился по аулам.

И началось. Байские прихвостни угоняли мирные табуны адайцев, совершали набеги на соседей. Ну, а адайцы, известно, обид не прощают.

Трещали головы под ударами дубинок, реками лилась кровь, разжигая ненасытную жажду мести.

Однако теперь не бились, как прежде, сходясь в честном противоборстве. Предпочитали нападать из-за угла, доблестью почиталось убийство одиноких и беззащитных. Сперва угоняли лошадей, потом избивали табунщиков, потом, подкараулив, рубили головы батырам. Не довольствуясь этим, для пущего унижения недруга оскверняли могилы предков.

Все новые и новые джигиты ввязывались в бой.

Жонеут крепился, не желая влезать в свару. Но и он не удержался, захлестнутый волной ненависти, оседлал коня...

Немалая сила заключена в слове. Ему дано тушить страсти и воспламенять вражду. Но, коль в ссору уже вмешалось копье, доброе слово блекнет, теряя мощь. Лишь мудрецу доступно гасить пожар людской злобы и предвзятости, раздуть его способен каждый. Что ни день, рождаются глупцы, в кой-то век появляется мудрец, и еще неизвестно, послушается его народ или пойдет за воинственными горлопанами. Потому не ломай понапрасну голову, решай просто: угрожают тебе, угрожай и ты, уничтожают тебя, уничтожай и ты. И да будут прокляты умники, зовущие к миру, когда враг бряцает оружием.

Так рассуждал Жонеут, укрепляясь в сознании своей правоты. Если же он решил, что прав, его не удержать. И не удержать его лихого коня.

Дюимкара тоже не таков, чтобы сидеть сложа руки, когда они тянутся к кинжалу. Ему теперь мало чужих скакунов, он норовит оскорбить ненавистных соседей. Злым вихрем влетает в аулы. Властны его распоряжения.

Случилось Жонеуту заехать в большой аул, раскинувший юрты на склонах увала. Все жители толпились на улице. Женщины вопили в голос, рвали на себе волосы.

Жонеут спросил, что происходит, какая обрушилась беда. Его повели за околицу. Там па площадке, вытоптанной овцами, бились в пыли девушки. Их было, может

быть, двадцать, а может быть, больше, в изодранных платьях, с расцарапанными лицами. Жонеут молчал и слушал.

Лишь раз в году, в день курбан-айта, туркмены позволяют себе вдоволь повеселиться. Когда наступил этот день, мужчины отправились к Мамбетпане. Их ждали скачки, борьба. Девушки, оставшись одни, не скучали. Они затеяли веселые игры, качались на качелях, пели песни.

Этим днем радости и воспользовался Дюимкара: забыв божеские установления и людские, он налетел на беззащитный аул. Джигиты на скаку обрезали веревки качелей, избивали женщин, а девушек и молодок погнали за околицу, где обычно пасутся овцы. Натешившись вдоволь, всадники связали девушкам руки и ноги, задрали на головы подолы и засыпали горячей золой обнаженные тела.

Опозоренными, раздавленными застали мужчины своих дочерей, сестер, невест. Не сразу обрели они дар речи.

Молчал Жонеут, думал о своем народе. Смириться с позором и бесчестием? Тогда зачем жить?

Он еще не знал, как поступит, что сделает. Он повернул коня на север и забился в бешеной скачке. Опомнившись, услышал позади топот. Мужчины злосчастного аула мчались следом за ним.

С того дня он не расседлывал коня, мысли о мире больше не шли ему на ум.

Не шли они на ум и Дюимкаре. Он не знал предела в жестокости и дерзости.

Минувшим летом – какой всадник догонит время! – он погнался за горсткой туркмен, позарившихся на его скот. Увлеченный погоней, не заметил, как доскакал до самой Какпакты. А поняв, что забрался далеко от дома, отважился заночевать в одинокой юрте туркмена, лепившейся у подножия холма. На что он надеялся, доверившись кровному врагу? На мусульманский обычай гостеприимства, на простосердечие хозяина, который не осмелится поднять руку на батыра?

Крепко спит Дюимкара. Но хозяину одинокой юрты не до сна. Жидкой смолой он залил ножны кинжала Дюимкары.

Жена в ужасе бросилась к мужу:

– Что ты творишь, безумный! Хоть собака, однако твой гость.

Хозяин оттолкнул жену, не удостоив ее словом.

Спит Дюимкара, а гонец во весь опор мчится к Мамбетпане, Мамбетпана зовет Кёк-боре...

## 2

Вот какие путаные, издалека тянувшиеся дороги привели Жонеута в то ясное утро на могилу брата. Вот что вспоминает он, глядя на застывших в страхе юных пленников с обритыми головами.

Могильный холм прижался к земле, казалось, притаился за разросшейся полынью. Не холм, а так, холмик.

Жонеут не спеша переводит взгляд. Там, где только что лежала шкура белого верблюжонка, теперь темная лужица крови вокруг сизых внутренностей. Взгляд Жонеута скользнул по кучке именитых и богатых. Даже в толпе они умеют обособиться. Мулла, зажав в кулаке кончик шелковой чалмы, благоговейно бормочет что-то бесконечное, нагоняющее на всех сон.

Только Мамбетпана держится прямо, с надменным вызовом. Его папаха откинута назад, вперед выставлен мощный подбородок, рассеченный двумя глубокими складками. Лицо лоснится от жира и спеси.

С Кёк-боре он держался не столь надменно, совсем даже доступно. Что зря говорить, Мамбетпана высокомерен с теми, кто ему перечит. Полная заносчивости поза выбрана сегодня ради Жонеута.

С покладистыми и покорными Мамбетпана добродушен, приветлив, щедр. Жонеут отлично помнит: как с другом и братом, беседовал Мамбетпана с Кёк-боре. Морщинистый лоб его разглаживался, речь делалась сладкой. Слова цеплялись одно за другое, приятно округлые, ласковые. Такие растопят любое сердце.

Жонеут представляет себе последний разговор Мамбетпаны с Кёк-боре.

«Ну, Кёк-боре, – расплывается в радушной улыбке Мамбетпана, – грянул час твоей славы. Твоей и только твоей. Народ ждет от тебя доблести. Ждет, что ты отомстишь наглому батыру адайцев за все наши беды».

Он разглагольствовал о народе, о предках, о мести. Но молчал о своих интересах. Мамбетпана любит выглядеть благородным, любит порадеть за людей. У него достало хитрости умолчать о том, что кинжал Дюимкары залит смолой. Кёк-боре был слишком самолюбив, чтобы вступить в поединок на неравных условиях.

...Всласть выспавшись и напившись чаю в одинокой юрте, Дюимкара отправился в путь. Подъезжая сюда, к заброшенному кладбищу, он заметил позади столб пыли.

До мелочей известна Жонеуту эта сцена – так, словно был свидетелем. Не раз он вызывал ее в своем воображении.

Дюимкара резко остановил вороного жеребца. Дал преследователю приблизиться. Узнав его, не спеша слез с коня, расстегнул штаны и присел справлять нужду.

Сивый аргамак Кёк-боре, гарцуя и роняя пену, остановился за спиной Дюимкары.

– А ну вставай! – нетерпеливо крикнул Кёк-боре.

Дюимкара и не подумал спешить. Ручкой камчи выковырял комок земли, поглядел на него, вырвал траву и задумчиво поднес к заду. Так же медленно выпрямился, долго возился со шнурками штанов и только потом с деланной наивностью поинтересовался, что, дескать, угодно путнику.

Жеребцы мотали головами, прядали ушами, предчувствуя схватку. Кёк-боре била дрожь негодования, он был вне себя от неслыханного унижения. Он выхватил кинжал и лезвие блеснуло на солнце.

Дюимкара же хранил невозмутимое спокойствие: сдул пылинку с рукава, вытер руку о штанину, потихоньку направился к коню.

– Готовься! – с трудом сдерживал нетерпение Кёк-боре.

– Как будет угодно, – миролюбиво согласился Дюимкара.

– Кинжалы...

– Да будет по-твоему.

Для аргамаков поединки были не внове, они отскочили в стороны.

– Сейчас я, – Кёк-боре, задыхаясь, подбирал слова, – расквашу твой казахский чугунок...

– Ну, ну, щенок, не ерепенься. Я тебя проучу на всю жизнь, – презрительно посулил Дюимкара.

Батыры ощетинились, испытующе оглядывая друг друга.

Дюимкара как влитой сидел на своем жеребце и сохранял спокойствие.

Кёк-боре не владел собой, но азарт не мешал ему выжидать, ловить момент атаки. Не зря же ему сопутствовала слава бесстрашного волка.

Кругом голая степь, ей нет ни конца, ни края. Ни души поблизости. Некому крикнуть батырам: «Остановитесь, вы – люди, а не звери. Вы принесли людям много бед. Но если сейчас падет один из вас, то вовсе не окончится счет несчастьям. Напротив, они будут преумножаться кровавой местью изо дня в день, из года в год...»

Пусто вокруг. Вспугнутый жаворонок метнулся от одного всадника к другому и исчез в бездонной голубизне.

Неподалеку настороженно пробирался к водопою косяк косуль. Заметив приплясывающих коней, косули шарахнулись в сторону.

Однако соперников ничто уже не касалось. Они поглощены ненавистью. Пора разговоров миновала. Говорили скрестившиеся взгляды, набухшие желваки, обострившиеся скулы.

Круто взмыл сивый аргамак Кёк-боре. Булат со свистом рассек воздух. Вороной пригнулся и отпрянул.

Кёк-боре надвинул на глаза мохнатую папаху и снова изготовился к броску.

Лишь теперь Дюимкара схватился за рукоятку кинжала. В чем дело? Всегда одним рывком выхватывал кинжал. А сейчас – будь он неладен – кинжал не поддается. Не спуская глаз с противника, Дюимкара дернул еще раз. И опять тщетно.

В горле батыра сделалось сухо и горько.

Не раздумывая, Дюимкара отстегнул ножны и замахнулся ими над самыми ушами сивого аргамака. Кровь вступила в виски, сотни разноцветных шариков – белых, черных, красных – промелькнули, кружась, перед глазами Дюимкары.

Раздался треск, мелькнули две молнии. Опустив ножны, Дюимкара проследил их падение. Обе половинки кинжала Кёк-боре валялись в траве. Всадники покосились на них и двинулись друг на друга. Кони, храпя, крутили мордами. Лязгнули, сцепившись, стремена. Кинжалы и камчи уже ни к чему. В мертвой хватке замерли батыры. Каждый норовит свалить противника. Под тяжестью ноши дрожат аргамаки. Уж не задумали ли хозяева вдавить коней в землю?

Как клещи, сплелись джигиты. От треска рвавшейся одежды, от хрипа, надсадного дыхания, от лязга зубов и удушливого человеческого пота слабели жеребцы. Но люди ничего не замечали, поглощенные свирепым столкновением.

Сивый аргамак взвился на дыбы. Визгливое ржание разнеслось по степи. Опустив копыта, аргамак почувствовал неожиданную легкость.

Батыры барахтались на земле, не разберешь, где кто. Неподалеку в траве поблескивает обломок кинжала. Манит к себе борющихся. Их руки тянутся к нему. Но не могут дотянуться. Острый обломок блестит на солнце.

Когда сивый жеребец снова склонил голову, он увидел, что верзила с обнаженной, заросшей черными волосами грудью одолел его хозяина, сопя, взгромоздился на него. В руках победителя сверкал обломок кинжала. Но он не спешил пустить его в ход. Он уже успел обрезанным поводом связать руки Кёк-боре, а теперь норовил еще и ноги.

Охваченный отчаянием, звал на помощь Кёк-боре. Дюимкара, не обращая внимания на крики, смахивал со лба пот и деловито орудовал ремнем.

Сивый аргамак, выпучив глаза, кружился поодаль, боясь приблизиться к связанному, распластанному на земле хозяину, на котором восседал свирепый Дюимкара.

Он что-то искал, не находил. Наконец его взгляд замер на черневшей неподалеку куче камней, покрытых хной.

Лишь теперь он сообразил, что рядом старое кладбище. Встал со своей жертвы, тяжело покачиваясь, направился к камням. Возле них зияла заброшенная могила. На дне ее лежали кости и пожелтевший череп – шакалы потрудились на славу.

Дюимкара долго стоял у ямы, почесывал ручкой камчи волосатую грудь. Недобрые мысли ворочались в его голове. Он не сразу поддался им. Но, поддавшись, решительно зашагал к связанному врагу и грозно рявкнул на него.

Предчувствуя мучительный конец, Кёк-боре закричал на всю степь. В этом крике была мольба, прощание с надеждой, прощание с жизнью. Но крик пролетел мимо ушей Дюимкары, не коснувшись их.

Как куль, поволок Дюимкара недруга по земле. Возле могилы остановился, набрал в легкие свежего воздуха, нагнулся, рывком поднял Кёк-боре и бросил на дно ямы. Вопль, донесшийся оттуда, смешался с пылью. И развеялся вместе с пылью.

Окровавленный, ничего не слыша и не понимая, Дюимкара сваливал в яму камни...

Сивый жеребец с диким ржанием метнулся к могиле, взвился на дыбы и припустил рысью. Гулкий топот разнесся по притихшей равнине.

Когда аргамак с пустым сползшим набок седлом вернулся в аул, заждавшиеся люди поняли: с батыром стряслась беда. Мужчины, оседлав коней, отправились на поиски.

На следующий день всадники вместе с Жонеутом наткнулись на старую, всеми забытую могилу. Над ней гудящим роем кружили зеленые мухи.

Всадники спешились и, терзаемые мрачными предчувствиями, подошли к яме.

На дне ее лежал Кёк-боре. Его грудь придавил тяжелый камень, тело было засыпано землей. По перекошенному в последней муке лицу неторопливо ползали жирные мухи.

Неподалеку в траве поблескивал на солнце обломок знакомого кинжала.

Тогда-то Жонеут дал себе клятву мстить. Неутомимо мстить Дюимкаре, всем его потомкам. Он еще не знал, какой будет месть, но уже жил ею.

...Снова стоит он у этой могилы. Путаные, сочащиеся кровью дороги привели его сюда. Он знает свой долг и не отступится от него.

Жонеут вырвался из плена воспоминаний. Старики кончили священнодействовать над шкурой белого верблюжонка. Куски ее передали мужчинам, стоящим с засученными рукавами возле шестерых пленников. Теплые влажные куски шкуры легли на бритые головы. Юноши не могли взять в толк, зачем это делают. И ничего не могли прочитать на замкнутых лицах туркмен.

Перебирая пальцами, мужчины разгладили края шкурок, как обручем, схватили их сыромятными ремнями. Головы юношей будто налились свинцом, в висках тупо заныло.

Пленников посадили на плоскогорбых верблюдов. Всадники сели на своих лошадей. Кавалькада, окутавшись пылью, растянулась по равнине.

Пот заливал глаза пленных. Но вытереть его они не могли – были связаны руки. Головы раскалывались от туманившей разум боли.

Солнце, достигнув зенита, плавило воздух. Он трепетно дрожал, искажая очертания темневших вдали бугров.

Стоило к ним приблизиться, бугры оборачивались чахлым кустарником.

Томимые жестоким любопытством, всадники сбились вокруг пленных. Те уже ничего не видели. Пот разъедал ссадины. Не оставалось на теле места, которое не кричало бы от боли. Солнце сушило влажные шкурки. Сокращаясь, они стягивали череп. Казалось, он вот-вот треснет.

Пленные дергались, скрежетали зубами, гримасы боли искажали молодые, залитые слезами лица.

Всадники замедлили шаг. С нескрываемым удовольствием разглядывали они пленных. Чем безумнее были крики, тем большая радость охватывала джигитов. Они могли спокойно возвращаться в аул. Впереди скакал Жонеут. Чувство, которое он испытывал, вернее было бы считать удовлетворением, а не торжеством. Всего лишь удовлетворением. Оно утоляло его душу, истомленную мечтой о мести.

Возле пленных осталось двое пожилых туркмен. Им надлежало сторожить и слушать стоны.

Целую неделю выли в степи и корчились от боли юноши. Потом боль угасла. Волосы не могли пробить толстую, задубевшую шкуру и росли внутрь. Все глубже и глубже. По мере их роста пленные забывали, кто они, откуда родом, лишались дара речи. Они превратились в юродивых, уравнявшись умом с животными. Днем они бродили вместе с верблюдами, а вечерами вместе с верблюдами плелись в аул. Жонеут приказал двух пленных отправить к адайцам – да будет им известно, во что превратились их сородичи. Четверых оставил при себе: пасти скот, носить воду, собирать кизяк.

В день, который дал начало моей балладе, юродивые, как обычно, собрав кизяк, возвращались в аул. Их приход не нарушил установившегося течения жизни.

На вершине кургана, словно на годы вбитый кол, вытянулся караульный.

## 3

Опустошительный набег на аул Дюимкары был последним походом Жонеута. Жонеут вернулся из него с шестью взятыми в плен юношами, шестью девушками и невеселыми думами.

В некогда славном роду не оставалось истинных батыров. Вымерли, измельчали. А годы делают свое дело. Впе-

реди старость. Останется лишь слава о былой силе. И только.

Преемников же нет как нет, некем заменить себя.

Старший сын рос крепким, кряжистым, как саксаул, одинаково ловко владел и кинжалом, и саблей, и копьем. Никогда не обманывал его верный глаз, никто не соперничал с ним в меткости. Рано приучили его к походам, и рано сложил он голову. Вот она, на кладбище за аулом, его могила.

Средний рос драчуном и забиякой. Едва встав на ноги размахивал кулаком. От этого кулака доставалось всем – и сверстникам, и собакам. Он не испытывал жалости ни к человеку, ни к лошади. Его отличали упрямство и вспыльчивость. Ничто так не ласкало его слух, как весть о ссоре или драке. Он боготворил отчаянного Кёк-боре, как щенок, увязывался за ним. И на чужой стороне нашел свою могилу. Хорошо еще, если была могила.

Самый младший, Даулет, вымахал – косая сажень. О таких говорят: «На его плечах уместятся два джигита». О Даулете можно добавить: «Он и сам их подсадит».

На празднествах любого силача швырнет на землю. Собой, грех жаловаться, хорош: большие ясные глаза, высокий гладкий лоб, необычное для туркмена светлое лицо. Разросшиеся брови придают лицу грозный вид, но лучистые глаза смягчают выражение.

Даулет – всеобщий любимец. Даже грозные псы – не приведи аллах встретиться с такими, – завидев его, преданно машут хвостами, с покорным взвизгиванием стелются у ног.

До Жонеута доходили слухи, что среди девушек и молодок его сыну сопутствует успех: что же, считал Жонеут, удаль молодцу не в упрек. Лишь однажды отчитал по-отечески, когда Даулет сошелся с вдовой павшего в походе, – надо уважать память батыра.

Всей родне Даулет был по душе. Кроме Кёк-боре. Смелый и беспощадный Кёк-боре ценил в людях смелость и беспощадность. Все остальное, по его убеждению, ни к чему. Кёк-боре злило, что Даулет увлекается занятиями, недостойными джигита. Кёк-боре не сомневался: кто-кто, а он понимает, что достойно, а что не достойно мужчины. Батыру надо владеть оружием. Раз он этого не умеет, значит, не батыр. Пусть себе пасет овец.

Даулет слушал дядю с легкой усмешкой и не изменял

своей страсти. Страсть эта проявилась с детских лет – музыка. Ближе кровной родни Даулету бахши и дутаристы, песня милее звона кинжалов. С пятнадцати лет он не расстается с дутаром и достиг такого совершенства, что сам Яхия, знаменитый музыкант из Тачауза, со слезами восторга внимал его игре.

Дни Жонеута заполнены походами, и не всякую ночь он слезает с коня. Музыка, песни, веселье, по его убеждению, шабаш джиннов. Тут Жонеут согласен со своим братом Кёк-боре.

Даулет знает об этом. В присутствии отца не осмеливается взять дутар.

Правда, Даулет имел и заступника. Его дядя Аннадурды ценил искусство, знал в нем толк. Однажды, направляясь к адайцам, взял с собой Даулета, и юный дутарист вкусил от славы. В состязании он победил многих прославленных музыкантов, разделив первый приз с молодым казахом кюйши.

Жонеут, хоть и промолчал, остался доволен – все-таки сын. Лишь Кёк-боре негодовал: «Этого еще не хватало нашему роду!» Для него победа в состязании музыкантов, «постыдном сборище крикунов и бездельников», – позор.

Кёк-боре осыпал брата гневными упреками, отказывался сесть на почетное место и бранился весь вечер.

– Твой сын дутарист,– кричал он Жонеуту, и кадык двигался по его морщинистой шее, – ду-та-рист! От него не жди ни добра, ни защиты. Враг боится воина на коне, а не блаженного с дутаром... Прежде любой наш мужчина наводил ужас на адайцев, теперь мы будем услаждать их слух музыкой...– И, передразнивая Даулета, Кёк-боре пропищал что-то. – От таких песенок казах не убежит, – не унимался батыр. – А он должен дрожать и бежать при виде нас. Душа Даулета – обиталище джиннов. Они заставили его забыть честь и кровные обиды... Подумать только, целый месяц он гостил у врагов, веселился с ними, будто приехал к родне... Переживу ли я такое бесчестье?! Даже последние бабы так не унижались. А он, – Кёк-боре ткнул пальцем в сторону племянника, – он еще гордится. У него веселится душа, как у воина, вернувшегося из победного набега. Аннадурды тоже рад. «Когда Даулет играл на дутаре, даже наши извечные враги прищелкивали языками от удовольствия». Чему радуется пустая

голова, закружившаяся от вражеских похвал? Если враг хвалит, значит, ему выгодно, невыгодно нам. Раз ты этого не понимаешь, помалкивай, сиди над козьей шкурой и гадай на ягодах джиды... Коль вместо Даулета отправился бы к адайцам истинный туркменский джигит, они не ликовали бы, не прищелкивали языками, проглотили бы их. Певцы, дутаисты, бахши – это сброд, не мужчины, а бабы, млеющие при виде мужчин. Батыра украшает не дутар, не пение, а копье и кинжал. Ими можно защитить честь народа... Сопляк Даулет смеется над моими словами. «Что вы, дядя, раздуваетесь от спеси, – отвечает он мне. – По-вашему, лучше нападать на адайцев, убивать, пугать коней. Вы злитесь, когда узнаете, что ни в чем не повинные казахи остались живы, а их табуны спокойно пасутся в степи...» Вот до каких мерзких речей он докатился! Я ему о чести предков, о духе мести, а он смеется. «Не тревожьте, – говорит, – предков. Они сами погибли и немало чужой крови пролили. Нам не грех бы задуматься над их судьбой...» Даже предки не указ этому умнику...

Весь вечер бушевал Кёк-боре. Пытаясь его умиротворить, Жонеут обещал пожурить сына, который тем временем веселился на тое. На прощание Жонеут сказал брату:

– Не гневайся. Он еще мальчишка. Вырастет – образумится.

Не такие слова надеялся услышать Кёк-боре, совсем не такие. Больше его ноги не было в юрте брата.

Даулет как ни в чем не бывало продолжал вольготную жизнь, полную музыки и веселья. До дня гибели Кёк-боре Жонеут не препятствовал ему, делал вид, будто ничего не замечает.

После поминок, после того, как на могиле Кёк-боре съели белого верблюжонка и обрекли на муки шестерых казахских юношей, Жонеут вызвал сына.

Они остались вдвоем, если не считать ночи. Ночь падучими звездами чертила небосвод, стрекотом сверчков напоминала о себе. Еще напоминала она о себе стоном, отчаянным воем, зубовным скрежетом, доносившимся из лачуги, куда бросили юных пленников.

Даулет молчал. Его настороженный слух ловил жалобные крики и бряцанье кандалов. Он не слышал храпа и сонных вздохов, ему казалось, аул не спит, не может спать в такую ночь.

Даулет весь сжался, съежился. Он виделся Жонеуту маленьким мальчуганом, и отцовское сердце зашлось от любви и сострадания.

Ночной ветер струился через приоткрытый низ юрты, касался разгоряченного лба Жонеута. Он прислушался к ночным шорохам, к замершему аулу и уловил стоны, кандальный звон, долетевший до сына. Он представил себе, как катаются по земле, бьют себя кандалами по голове пленные, и ожесточился. Выходит, Даулет подавлен не смертью дяди, но жалостью к этим ублюдкам. Неужто, слюнтяй, разревелся? Не от рыданий ли вздрагивают его плечи?

Там, на могиле Кёк-боре, он не проронил ни слезинки. Побледнел как полотно, насупился и молчал. Страдания вонючих адайских щенков терзают его сердце сильнее, чем гибель дяди-батыра!

Прав, тысячу раз был прав Кёк-боре. Проклятый дутар, проклятые песни вытравили из сына понятие о чести, о духе предков, святой мести. Если мужчина не способен заставить врага платить кровью за кровь, ему не надо носить поярковую папаху. Лучше уж оскопить его. Пусть тогда рыдает от жалости и слушает вой этих поганых выродков...

Так и не вступил Жонеут в разговор с сыном. Натянул на себя полосатое стеганое одеяло и уснул.

Когда он проснулся, Даулета не было в юрте.

– Позвать!

Сын пришел притихший, подавленный. Глазницы подернуты синевой, ввалились щеки. Не открывая рта, он налил отцу чаю из ярко раскрашенного кумгана. Сам сел понурившись.

Отец исподлобья наблюдал за каждым его движением. Но и на этот раз промолчал. Что-то мешало затеять разговор.

Миновало еще несколько дней, и Жонеут, отправляясь на охоту, впервые взял с собой сына. Кони трусили по степи в сопровождении двух рыжих поджарых гончих.

Жонеут хотел уединения и имел на то причины. Из его памяти не шли гневные речи Кёк-боре. Хоть брат и не отличался умом, но тут, пожалуй, был прав и прозорлив. Он проник в размягченную музыкой душу Далета. Может быть, не во всем разобрался. Но главное уловил.

Тихий Даулет достаточно упрям и дерзок. Вроде бы

покладистый, в словесной перепалке он умел постоять за себя. В чем-то душа его мягкая, но в чем-то твердая. Никогда не знаешь, что он выкинет. Однако сейчас не до шуток.

Хиреет, вырождается древний род, тает былое могущество. Не приведи аллах посторонние прослышат, что отец и сын не ладят между собой, что старик не властен над сыном. Поползет по степи слух – Жонеут знает силу таких слухов – о непокорном сыне и беспомощном отце. Тогда конец власти и авторитету Жонеута.

Надо поговорить начистоту, по-мужски поговорить с сыном. Никуда не деться от разговора...

Легкой рысцой, стремя в стремя идут кони. Гончие бросаются в сторону, замирают, возбужденно оглядываясь, уши торчком, потом расслабленно и виновато возвращаются к хозяевам. Перед полуднем неподалеку пронеслась стая косуль, едва касаясь пожелтевшей травы. Собаки опрометью кинулись вдогонку. Гнали стаю до самого горизонта. Но, так и не услышав позади обычного в подобных случаях свиста, улюлюканья, бешеной пляски копыт, растянулись у редкого кустарника, вывалив разгоряченные языки. Когда всадники приблизились, собаки, передохнув, присоединились к ним, старались держаться в тени, сопровождавшей коней.

Видно, всадников сегодня вовсе не трогала охота. Они не нарушали угрюмого молчания. Жонеут не менял позы, не отводил глаз от мглистой дымки, дрожащей впереди. Будто хотел разглядеть что-то. Неподвижное тело срослось с седлом. Лохматая папаха слегка вздрагивала в такт рыси, правая рука машинально похлопывала короткой камчой по лошадиному крупу. Он не замечал сына. Держался так, будто был один.

Даулет тоже не оглядывался. Думы придавили голову. Ничего не видя, он склонился над пышной гривой скакуна.

Не меняя шага, стремя в стремя трусили кони. Обеденный час позади. Глинистое нагорье с чахлой, вывяленной на солнце полынью сменилось твердым красноватым песчаником. Раскатисто цокали копыта. В лицо пахнуло свежестью, и Жонеут пришпорил воспрянувшего коня. Сбоку промелькнул зубчатый хребет. На западе смутно вырисовывался курган.

За косогором открылось блекло-синее море.

У берегов оно кипело, ярилось, пенилось. Белогривые волны обрушивались на утрамбованный водой песок, то закрывая, то обнажая его. Им не надоедала эта однообразная из века в век игра. Ветер подгонял, подзадоривал волны, и они с молодым азартом падали на берег.

Жонеут не удивился морю, не обрадовался ему. Он направил коня к полуострову, темным лезвием врезавшемуся в белесый морской простор. Полуостров завершался каменистой грядой с могилой на вершине. У могилы столб – так хоронят святых.

Это была могила святого Темир-баба. Всадники спешились, взяли коней под уздцы. Приблизились к большому камню с закопченным углублением посредине. На нем путники разводят священный огонь.

Примогильный столб почернел от времени и солнца, ветер до блеска отполировал его, а сейчас крутил тряпки, привязанные к нему.

Среди валунов кости, черепа, рога архаров... Близ святой могилы не однажды ночевали паломники.

Не удостоив сына словом, Жонеут опустился на колени, творил молитву. Протянул руки к небу, провел ими по лбу, по глазам, по щекам, по бороде. Продолжая бормотать, он поднялся, сорвал со столба тряпки, сунул за пазуху.

Ведя коней в поводу, двинулись дальше. На вершине гулял ветер. Он играл конскими гривами, хлопал подолами чапанов.

В достопамятные времена возвращавшийся из Хорезма Шопан-ата повстречался здесь с Темир-баба. Темир-баба сидел на камне, опустив натруженные ноги в ласковые волны. Он издали услышал шаги, но не шелохнулся. Странник приблизился, встал за его спиной, учтиво поздоровался. Темир-баба не отводил глаз от моря.

Шопан-ата назвал себя и, справившись, кто перед ним, предложил Темир-баба потягаться в могуществе.

«Что ж, – промолвил Темир-баба, – коль желаешь, начинай».

«Хорошо, – согласился Шопан-ата. – Тогда не сочти за труд повернуться. Видишь косяк каракуйруков?»

«Вижу».

Шопан-ата едва слышно позвал:

«Шоре-шоре-шоре».

Козел, возглавлявший косяк, прислушался и, повину-

ясь зову, с блеяньем побежал к Шопан-ата, улегся у его ног, начал лизать подол чапана.

Но чудо на том не кончилось. Шопан-ата без ножа перерезал козлиное горло, в мгновенье ока содрал шкуру, вспорол живот, на куски разделил тушу. Потом все завернул в шкуру, провел по ней ладонью. Козел как ни в чем не бывало вскочил на ноги, отряхнулся и резво побежал к своему косяку.

Наступил черед Темир-баба. Он закатал штанины до колен и вошел в пенящееся море. Он шел и шел, не останавливаясь, а море покорно расступалось перед ним. Там, где опускалась его пята, выступала земля. Долго он шел и наконец обернулся посмотреть, чем там занят Шопан-ата. Тот, стоя на берегу, размахивал белой чалмой, звал назад.

«Ты превзошел меня своим могуществом, – признал Шопан-ата. – Я позвал тебя, потому что испугался, как бы ты не проложил дорогу через море, не долог час, ею воспользуются враги. Я счел за благо окликнуть тебя».

В память о том дне и состязании остался полуостров, ножом вонзившийся в море. Каждую пядь подступавшей к нему степи защищали предки Жонеута и предки предков. А ныне степь – достояние кого придется. Туркменское копье потеряло силу, туркмены отступали все дальше и дальше. Они забыли завет Темир-баба.

Он велел похоронить себя на каменистой прибрежной гряде. «Если не желаете, чтобы любая вражья собака мочилась на моей могиле, да будет это место границей ваших земель».

Прежде любой мужчина, носивший кинжал, в час опасности непременно поднимался сюда поклониться святому духу Темир-баба.

Дождь, ветер и годы сточили утес. Он осел, вдавился в землю. Высится лишь склеп, выложенный из неотесанного камня, – могилы святых не нуждаются в украшениях. Внутри сумрачного склепа длинный, поболее человеческого роста, холмик. Он тоже осел. Камни, обрамляющие его, покрыла хна. Лишь скалистая глыба у захиревшей могилы напоминает о былом величии святого Темир-баба.

Тот, кто родился мужчиной, не пройдет мимо, не коснувшись губами этой глыбы.

Покойный дед Жонеута приезжал сюда и в дни горя, и в дни радости. Не раз он брал с собой Жонеута. У стари-

ка увлажнялись глаза, когда он приближался к могиле, высившейся над морем и степью.

Не будь этой могилы, какая судьба ждала бы туркмен! Рассеялись бы по пустыне, их след замели бы пески. Неотвратимой памятью о достоинстве, долге и чести, грозным напоминанием стоит могила. Пока туркмены не слезают с горячих скакунов, с быстроногих дромадеров, они не смеют забывать завещание Темир-баба!

Так рассуждал старый батыр, дед Жонеута. Он гордился безбрежьем отчего края, безводностью пустынь.

«У нас нет воды, кроме синего моря, – говаривал он, – нет у нас трав, кроме чахлых колючек. Горы и пески. Таков наш край. Но не вздумайте пренебрегать им! Эти пески, пустыни – наше спасение. Будь здесь райский уголок, цвети сады Ирана, всякий встречный-поперечный лез бы к нам, хозяйски размахивая копьем...»

Так рассуждал старый батыр, дед Жонеута. Но его рассуждения, увы, не всегда совпадали с тем, что случалось в жизни. Ни пески, ни пустыни не пугали врагов, когда они вожделели чужого богатства, чужого скота. Что им священная память твоих предков, гордость и боль твоего народа!

Прожорливый враг сперва тянет руку к скоту, насытившись, мечтает сделаться владыкой твоей степи, тешиться с твоими дочерьми.

Простосердечный народ, ты предсказываешь погоду по брюху коня, а горе – по вою собак, понимаешь ли ты угрозу, нависшую над тобой? Догадываешься ли, что враг может подкрасться тайком, спрятав под рукавом аркан, а когда затянет на твоей шее петлю и бросит тебя к своим ногам, будет уже поздно?

Не отрываясь, глядит охваченный думами Жонеут на бушующее море. Былое зовет его, к прошлому примешивается нынешняя тревога: как быть, что делать?

Ветер рвет одежду, бьет в лицо, треплет раздвоенную бороду. И морю передалась тревога. Оно беснуется, ревет.

Батыр повернулся к сыну.

Даулету уже ясно, зачем его привел сюда отец. Послушность и почтение написаны на его лице. С сыновним смирением готов он внимать речи родителя.

Но отец молчит. Торопливо схватил сына за руку и снова повел к могиле Темир-баба.

Оба преклонили колена, зашептали молитву. Даулет взял горсть земли и бросил ее на холмик, под которым спал святой. Порывистым шагом приблизился к могильной глыбе. Он ощутил на губах соленый вкус моря, вдохнул запах прелой земли и нагретого камня.

Молча, держа коней в поводу, спустились вниз.

Вскакивая на аргамака, Жонеут успел заглянуть в глаза сына. На молчаливый вопрос отца Даулет ответил без слов, спокойно и с достоинством.

Жонеут остался доволен сыном, они обретали друг друга.

Возвратившись, он приказал пустить в табун темно-рыжего скакуна Даулета, на нем сын разъезжал по праздникам и пирушкам. В их роду было заведено – для боя пегий жеребец.

Табунщики пригнали легкого пятилетку в серых яблоках, с черным пучком в хвосте. Вынесли на солнце новое боевое седло.

Аксакалы, тряся бородами, придирчиво оглядели жеребца, заглянули в морду, потыкали кулаками в живот, кряхтя, ощупали копыта. И остались довольны. Черная отметина в хвосте, решили аксакалы, добрый знак, божественная мета. Жеребец удостоился благословения.

Седлал его сам Жонеут. Лишь недавно рука мастера вырубила из старой липы это седло. Оно предназначено не для праздных поездок: в высокую луку будет упираться копье.

Даулет пристегнул к поясу кинжал, забросил за плечо фитильное ружье, оглянулся, прощаясь, вокруг и вскочил на пегого.

Мужчины, шумно напутствуя, окружили его, не скупились на слова, желали удачи. Женщины воровато поглядывали из-под низа юрт, из всех щелей – любовались ладным джигитом. Но любовались с разным чувством: те, что постарше, пригорюнились, вспоминая погибших сыновей, те, что помоложе, всплакнули, пытаясь угадать судьбу, которая ожидает их женихов и мужей.

Жонеут по обыкновению оставался молчалив. Только тонкие смуглые пальцы быстрее, чем всегда, бегали по двум языкам бороды.

Он припоминал все, что знал о сыне.

Ничего не скажешь: Даулет – меткий стрелок, на охоте не каждый с ним потягается. Кинжал в руке держит

твердо, саблей рубит – заглядишься. С копьем не очень ладит, не упирает древко в седло, держит на весу, меж ушей коня, норовит вонзить с ходу. Оно, конечно, когда противник слабоват, то и так можно. А коли сильный? Тут надо остановиться, дать копью опору, подойти сбоку... Понимать-то он все понимает, да рвения не заметно. Не лежала, видно, душа к ратному искусству, брала то, что ближе к игре... Задумчив не ко времени. Стоит возле тебя иной раз, а ты чувствуешь: витает невесть где...

Незадолго до проводов Жонеут возвращался от соседей и услышал звуки дутара. В его юрту редко набивались люди, побаивались хозяина. Но на этот раз весь аул сгрудился, оставшиеся дома женщины задумчиво глядели на огонь, плясавший под треногой. Такая это была мелодия, полная тоски и скорби. Озноб сжал сердце Жонеута. Он повел плечами, как при утреннем ветре. Холодок не отпускал.

Мелодия оборвалась, едва Жонеут вошел в юрту. Медленно погас последний звук. Даулет смущенно поднялся, пропустил отца на почетное место, повесил дутар на стену.

В душе Жонеута и сейчас звенит оборванный звук, отдается такой печалью, для которой ему не подобрать слов. Его сын, плоть его, отправляется в поход. Куда? В неизвестность. Не за смертью ли? Во имя чего?

Во имя мести...

Жонеут с аксакалами проводил Даулета до ближних увалов. Простился, повернул аргамака назад. Отъехав, не выдержал, оглянулся. Отряд во главе с сыном уже далеко. Пики уставились в синее небо.

Когда в следующий раз повернулся Жонеут, то ничего не увидел – горячий воздух, трепеща, поднимался над раскаленной равниной.

Холодок, сжимавший сердце Жонеута, сменился острой болью, тоска – тревогой. Зачем, зачем уехал сын? Зачем он, бывалый Жонеут, не последовал с ним?

Вернувшись, Жонеут поклонился своим спутникам, аксакалам, и попросил их не разъезжаться по домам, побыть возле него до возвращения Даулета. Старики, ничем не выдав своего удивления, согласились.

С того дня Жонеут не знал сна. От зари до зари сидел он, уставившись в одну точку. И так же недвижно чернеет на вершине кургана выставленный им караульный.

Худой туркмен в просторном полосатом чапане не сводит молодых глаз с дозорного. Он не прозевает сигнала.

Но сигнала нет и нет. Не давать же его из-за жалких уродов – пленных казаков, несущих кизяк в аул.

## 4

Знойный полдень позади. К побелевшему небу возвращается голубизна. На ее фоне все так же четка одинокая фигура караульного, будто могильным столбом увенчан курган.

Жонеут отвел глаза от дозорного, тяжело поглядел на аксакалов. Старики тревожно заерзали. Неладно, нехорошо, давно миновали все сроки возвратиться отряду. Но прежде чем кто-либо из них успел открыть рот, вздрогнул сухощавый туркмен-наблюдатель. Волной пробежали полосы на его чапане. Все встрепенулись.

За аулом, где-то на западе, взметнулся долгий крик. Жонеут зажмурился, как от яркой вспышки. В ноги вступила слабость. Он сделал неуклюжий рывок, прежде чем сумел подняться. Юрта опустела. Он вышел последним.

По обычаю, о приближении победителей извещает караульный. С радостным возгласом «Сюинши! Сюинши!» опрометью мчится он в аул.

Жонеут попытался сосредоточиться. Откуда возвращаются джигиты? Почему их не заметил дозорный? Почему вместо окрыляющего «Сюинши» выворачивающий внутренности вопль?..

Вопросы множились и множились. Кто это так грузно скачет сюда? Где пегий в яблоках конь? К чему белый лоскут на пике первого всадника?

Джигиты приближались. Густела, заслоняя солнце, пыль над их головами. Заунывное «Го-о-ре-е!» уже докатилось до аула, и эхом родился ответный стон.

Всадники раскачивались в седлах, припадали к гривам, сутулились под мохнатыми папахами.

Почтенные аксакалы начали бить себя рукояткой камчи в грудь. Жонеут побледнел. Затравленно сторонился обезумевшей толпы.

Горе охватило всех, от мала до велика. Мужчины дубасили себя кулаками по головам, бились, точно сазаны, угодившие в сеть, под черными паранджами женщины ногтями царапали лица. В стороне от всех рыдал и рвал бороду Аннадурды.

Тревожно ржали жеребцы на привязи, били копытами, грызли коновязь. С жалобным визгом, с поджатыми хвостами бросились врассыпную собаки. Расшатывая колья, кружились верблюжата.

Только четверо юродивых безучастно стояли возле кучи кизяка. Слюнявая улыбка не покидала их бессмысленные лица...

Один за другим из пыли появлялись всадники. Приблизившись к аксакалам, они, как подстреленные, сваливались с седел. Раскачиваясь, в обнимку рыдали, причитали. От их воплей зашумело в ушах Жонеута, потемнело в глазах. Он свирепо сдвинул брови. Но никто этого не испугался, а может быть, не заметил. Все кинулись к нему. Сначала старики, потом остальные. Он пытался увернуться. Однако не было обычной решимости, не было сил. Он увидел у привязи пегого жеребца с отрезанным хвостом.

Джигиты волокли в юрту что-то длинное, запылившееся. За ними хлынула толпа. Два старика, поддерживая под локти, вели Жонеута. Он не противился. Люди расступались перед ним. Посреди юрты лежало это громоздкое, покрытое пылью. Люди наклонялись к нему и с громкими стонами выбегали на улицу. Их место занимали другие. Все спешили взглянуть и дать волю рыданиям.

В сопровождении муллы неожиданно явился Мамбетпана. Переступив порог, обнял Жонеута и в голос заплакал.

Мулла на коленях шептал молитву. Кончив, бросил несколько слов толпившимся рядом, и в юрте остались одни аксакалы. Мулла приблизился к Жонеуту, губы его быстро-быстро шевелились. Жонеут видел, как за мясистыми губами желтеют кривые зубы, но не различал слов. Мулла чего-то тщетно добивался от Жонеута, отчаявшись, кликнул Аннадурды.

В ответ на речь муллы Аннадурды согласно тряс мокрой от слез бородой. Вместе с аксакалами он подошел к тому, что лежало посреди юрты. Воцарилось молчание. Двое стариков снова подхватили Жонеута под локти и повели к юрте Аннадурды.

Жонеут не мог сказать, сколько времени он пробыл у Аннадурды. Может быть, долго, а может быть, недолго. В памяти остались разрозненные подробности.

Вбегает возбужденный старик, что-то сбивчиво говорит, тычет пальцем в сторону бледно-оранжевого заката.

Жонеута опять поднимают под руки, ведут на улицу. Впереди шагают джигиты, сгибаясь под чем-то, туго обтянутым черной кошмой. Они держат путь к холму. За ними толпой валят соплеменники.

И он идет. Бессмысленно, слепо. Почему так трудно идти, точно он в дороге неделю, месяц? Почему так плохо подчиняются ноги? Ему надо бы быть впереди других, а он с немощными стариками плетется в хвосте.

Джигиты, несущие что-то завернутое в черное, сменяют друг друга. Значит, это тяжелая ноша. Ее осторожно опускают на землю.

Опять мулла. Повинуясь его голосу, мужчины бросаются к кустам, опоясавшим кладбище. Да, это кладбище... Мужчины выхватывают сабли. Со свистом рассекают воздух, с яростью рубят кустарник. Почему они так торопятся? Откуда взялась зияющая чернотой яма? Гора сухих сучьев?

Сунув саблю в ножны, джигит достает из кармана огниво. Пламя охватывает сучья, бросает алые блики на людей, предавшихся молитве. Как отчетлив в вечерней тишине ружейный треск огня, глухой голос муллы...

Развернута черная кошма. То, что она скрывала, осторожно опускают в яму. Осторожно, однако торопливо. К чему такая спешка?

Все это напоминает сон. Конечно, сон. Видишь какие-то движения. Но не знаешь, зачем они. От неясности тревога. Надо усилием воли прервать сон. Сейчас Жонеут так и поступит. Сразу развеется мрачная суета, все вернется к разумному спокойствию.

Но сон, будь он трижды неладен, длится.

Откуда-то взялись лопаты. Земля комьями летит в яму. Яма уже не черная от пустоты, а рыжая от этой земли. Мамбетпана – он тут как тут – сует ему в одеревенелые руки черенок и сам его лопатой зачерпывает землю.

Оцепенение не отпускает Жонеута. Все кружится перед ним.

Но он не слабый человек. Он стряхнет с себя наваждение.

Его ведут под руки. Он твердо переставляет ноги.

Но эта спешка опять сбивает с толку, возвращает прерванное сновидение.

Толпа вконец обезумела. Что стряслось? Нагрянул враг? Тогда где кони? Или он, батыр Жонеут, сплоховал, про-

моргал вражеское нашествие? Что стало с женами и детьми? Почему, почему он не видит своей надежды и отрады – Даулета? Почему младший сын не со своим отцом?..

5

Бесконечное лето. Ни капли дождя. Зачахли самые неприхотливые колючки. Зной испепелил кошму на юртах, в дырах кошмы – желтеющее небо. От запаха гари зудит в носу. Днем ни души на улицах. Собаку и ту не увидишь.

Под вечер слабеет жара, и мужчины выползают из юрт. Каждое движение требует усилий. Жены предусмотрительно стелют в тени ковры. Мужчины, рассевшись и плотно придавив к темени маленькую тюбетейку – истинный туркмен никогда с ней не расстается, – поверх натягивают мохнатую папаху. Если в этот предвечерний час, час намаза, мужчина увидит свою длинную тень, то подивится ее причудливости. Налюбовавшись тенью, он снимет папаху – тень сразу укоротится, потеряет необычность – и примется за дело. Не завелась ли в поярковой шкуре моль, не появилось ли пятнышко?

Возле каждой юрты торчит из земли палка. На нее надевают папаху и неистово хлещут тонким гибким прутиком. Хлещут до полного изнеможения. Обессилев, разглаживают пятерней мех, придирчиво щупают каждый волосок.

Работы, слава аллаху, хватает до самого заката. Тогда отправляют сыновей за конями. Пока седлают, горячие ахалтекинские аргамаки приплясывают от нетерпения, перебирают точеными ногами.

Оседлав коня, туркмен направляется к палке, на которой, красуясь, проветривается его славный головной убор. Снова осматривает, ощупывает его, надевает на большой палец. И крутит. Кто раз пять-шесть. А кто и десять.

Теперь папаху водружают на голову.

Едва почувствовав в стремени ногу седока, аргамак нервно вытягивает шею, стрелой мчит вперед. Кто узнает в стремительном всаднике флегматичного мужчину, который возился со своей папахой? Он бесплотен, невесом. Слит с горячим, мускулистым конем.

Ахалтекинец бешеным наметом скачет в степь, вздымая прозрачный шлейф пыли.

...Засушливое лето. В поисках корма верблюды далеко ушли от аула. Так далеко, что за ними не пошлешь плен-

ных казаков. Верблюжата жалобно зовут матерей, и их рев болью отдается в груди человека.

Сменив солнце, выплывает луна. Наступает светлая, как день, ночь. Все же не как день. Такая молочная белизна бывает только ночью. Она сужает горизонт, стягивает его к аулу.

Прежде чем скроется луна, в робком свете грядущего дня выплывают угловатые силуэты всадников, мерно покачиваются верблюжьи горбы. Прямо-таки фантастическая картина с таинственными призраками.

Но жизнь аула обыденна и однообразна. Ее монотонное течение не оставляет места для фантазий.

На окраине в щелястой лачуге томится закованный в кандалы одинокий пленник. День-деньской он оглядывает лежащий впереди простор. Не из любопытства и не по приказу, от нечего делать. Давно уже никто не подходит к нему, если не считать стражи. Вначале охраняли двое, потом один. Сегодня у лачуги опять двое.

Незачем ему вспоминать и сравнивать. Но досужая память не спрашивает разрешения.

Когда у казахов траур, в ауле неспокойно. Кто-то приезжает, кто-то уезжает. Снова и снова оплакивают покойника. Он день-деньской лежит в правом углу юрты, доступный всем для прощания. А здесь тихо, мрачно. Здесь спешат предать тело земле. Такой, видно, обычай: похоронить до захода солнца, на худой конец, до полуночи. Оставлять тело непогребенным – великий грех.

Что ж, размышляет пленный, у каждого народа свои законы. То-то и спешат туркмены с покойником на кладбище, спешат с кладбища. Торопливо обносят подносами с дымящимся мясом...

Но в день похорон Даулета никто не притронулся к мясу. Все пошло собакам.

Ему запомнились похороны Даулета и глухой сон, в который погрузился аул после этого дня.

Жеребец Даулета с обрезанным под корень хвостом гулял на пастбище. Но сегодня с утра его привели сюда. К нему подходили туркмены, осматривали, что-то обсуждали. Потом взяли под уздцы, повели.

– Куда это? – с тревогой спросил пленный. Страж неприязненно бросил:

– Резать. Помолчал и добавил:

– Сегодня сороковины Даулета.

Медленно шевелятся мысли пленного, составляя из клочков и обрывков нечто цельное.

Все эти дни Жонеут не показывался на улице. Белобородые старики шли к нему в юрту, покрытую спереди и сзади черной кошмой. Были среди них здешние жители, были и приезжие. Но ни те, ни другие подолгу не засиживались. Отвязывали коней, возвращались восвояси. Иные проезжали мимо лачуги пленного, до него доносились отдельные фразы, их смысл не угадывался.

Кое-что, правда, рассказывали конвоиры. Когда аул засыпал, им, изнывающим от скуки, некуда деться. Хоть пленный, конечно, ублюдок, но все же живая душа. Слушать его не придет в голову, но ему не грех послушать.

С черного часа смерти сына Жонеут не произнес ни слова. Молчит, как саксаул. Поначалу не верил в смерть Даулета, велел дозорному еще неделю торчать на кургане. Чудной человек – сын лежит в земле, сам хоронил, а караульного не снимает.

Убеленные сединами старцы пытались отвлечь его беседой, утешить, наставить на путь разума, а он безучастно молчит, будто нет его, не к нему обращены степенные речи. Вчера старики напомнили ему: завтра сороковины Даулета.

Значит, и он, пленник, сидит в этой вонючей дыре сорок суток. А сорок два дня назад был на воле, был хозяином себе. Он дорожил свободой не ради тоев, сборищ, все это надоело. Ценил уединение. Спасаясь от людей, увлекался охотой. Вот где покой, тишина, раздолье для мыслей. Но неодолимая страсть толкала обратно в аул. Он был домбристом, и искусство жаждало слушателей. Многие годы без него не обходился ни один праздник, он украшал каждое застолье. Его слава гремела по аулам, ему завидовали богатые и процветающие. Он же все сильнее мечтал о тишине, укромном уединении. Его звали в гости, а он хотел побыть в одиночестве.

Казахский аул – вечная суматоха. Особенно поблизости от туркмен. То радость: удался набег, в воздух летят шапки, воет под ножом белый жертвенный верблюд – пир на весь мир. То сами пострадали от налета: горе, стоны, проклятья.

Стоит двум сорванцам повздорить из-за пустяка, их отцы с налитыми кровью глазами, с кинжалами кидаются друг на друга. В пустяковом споре, словесной перепалке главный довод – опять-таки кинжал.

Дерутся озверело, охмелев от ярости, порой забыв, из-за чего сыр-бор. Так искромсают, изувечат один другого, что родная мать не узнает. Станут легкой добычей смерти и тлена. Все обратится в прах: сильные тела, забубенные головы, горячие сердца.

Останутся мальчики-сироты, чтобы дышать ненавистью и местью, подрасти и уничтожать друг друга, как некогда уничтожали истлевшие предки. И оставят в наследство кровавую стежку, по ней идти их детям. Из поколения в поколение, из века в век. Потемневшая от крови земля равнодушно приемлет в лоно свое бессмысленные жертвы, даже самые беспокойные обретают вечный покой. Вам тесно на земле? Что ж, ложитесь в землю. Сколько войн прошумело в столетиях, победа неизменно оставалась за землей.

Пленный – нет, тогда он еще не был пленным – ломал голову над тщетой, ничтожеством человеческих усилий. Многим не хватает ума прокормить себя и свою семью, устроить собственный скромный очаг, но они туда же лезут, радеют о священном духе предков, жаждут проучить недругов. Отстаивая честь мертвецов, сами быстро оказываются покойниками.

В благодатные дни, когда природа щедро одаряет всех любовью и лаской, они бросают своих жен, детей, оставляют годами нажитый скот и, сознавая великую миссию, отправляются грабить, насиловать, убивать. Вернувшись победителями, испуганно вздрагивают при каждом шорохе, перестуке копыт. Страх перед неизбежной расплатой разъедает их души.

Выпадет спокойный день либо месяц – им не по себе. Развлекаясь, будут науськивать собак, козлов. Распалятся и сами уподобятся животным, полезут в драку. И пойдет кровавая кутерьма... Потом – могилы, слезы, проклятья.

Мысли пленника домбриста описывали заколдованный круг и не могли его прорвать. В последней надежде он цеплялся за одну: человек не зверь, должен же он в конце концов постичь, что является на свет ради мира, труда, продолжения рода...

Безрадостно и тревожно было у него на душе, когда он видел, как уводили на смерть красавца жеребца с обрубленным хвостом. И жеребец падет жертвой кровожадных людских устремлений.

Горькие мысли вселяли в душу мрак и пустоту. В отчаянии он опустился на гнилую подстилку. Его лихорадило, попеременно бросало в пот и в озноб. Он потерянно шарил по земле руками. Надо было излить все, что теснилось в груди. Но как? Руки ничего не находили. Он окликнул стражников, но им было не до него. Они не сводили глаз с юрты Жонеута.

Пленный умолк, задремал.

Он очнулся от грубого толчка. Но не мог взять в толк, чего от него хотят. Стража подтолкнула к выходу. Гремя цепями, преодолевая сонную вялость, он переставлял ноги. Каждый шаг отзывался болью.

В просторной юрте висела гнетущая тишина. Никто не шелохнулся при виде пленного. На почетном месте в окружении аксакалов сидел прямой как жердь старик с раздвоенной седой бородой. Пленный понял – Жонеут.

## 6

Все сорок дней подле Жонеута были люди. Но он их не замечал. Лишь сегодня к нему вернулись зрение и слух. Он пристально разглядывал пленника.

Невзрачный человечишка. Надо же быть таким тощим, длинноруким, сутулым. Вошел и застыл у порога. Ни малейшего интереса к окружающим, ни тени почтения к Жонеуту. Не обуян ли он гордыней, не спесив ли? Непохоже. Скорее безразличен. Да, именно безразличие в такой фигуре, на бледном, изможденном лице. Он впервые видит этих людей, но не испытывает ни малейшего любопытства. Как если б это были давние знакомые и заранее известно любое их слово, любой жест.

Один из аксакалов вывел пленного на середину, снял кандалы. Руки безвольными плетьми упали вдоль тела. Глаза оставались безжизненными.

И эта тощая кляча – плата за его убитого сына?! От негодования у Жонеута перехватило дыхание. Он повернулся направо, налево. Папахи опустились. Аннадурды поднялся и покинул юрту.

Пленный стоял понуро, безучастно.

Уж не полоумный ли, мелькнуло у Жонеута. На лице ни мысли, ни испуга, ни вызова.

Вернулся Аннадурды, протянул пленнику продолговатый предмет, завернутый в тряпку. Пленный недоуменно уставился на него.

Вдруг бледное лицо осветилось, на нем выступил румянец. Он хотел что-то сказать. Но язык не слушался, заплетался. Робко протянул руку, бережно принял предмет. И тут же сами собой у него подкосились ноги. Он подогнул их под себя. Сжался в комок. Склонил набок маленькую голову.

Лишь теперь он удостоил всех внимания, окинул взглядом юрту.

Равнодушия как не бывало. Пленный нетерпеливо развернул грязную тряпицу. В его руках была домбра. Недоверчиво подержал ее на весу, разглядывая. Осторожно притронулся к колкам. Юрта замерла. Аннадурды на цыпочках прокрался к своему месту и, стараясь не шуметь, сел. Бородатые конвоиры отступили к порогу.

С улицы доносились голоса тех, кто резал пегого жеребца, рычанье и лай собак, опьяненных запахом свежей крови. Через открытый верх юрты наклонно падали лучи осеннего солнца, серебрили бороду Жонеута. Он, не шевелясь, угрюмо возвышался на своем почетном месте.

Пленный снова забыл о присутствующих. Но теперь не от безразличия. Он находился во власти домбры. Опухшие от кандалов пальцы неуклюже двигались по грифу, спотыкаясь на каждом ладу. Домбра рассохлась. Сколько ни крутил пленный колки, звук оставался хриплым, грубым.

Да и откуда было домбре сохранить звук? Ей, бедняге, тоже досталось.

...Ушедший в свои думы, он охотился тогда вдали от аула и не заметил, как его окружили туркмены. Видно, это были всадники, сопровождавшие Даулета, когда тот ездил к адайцам состязаться с казахскими кюйши. Всадники узнали его, заспорили между собой.

Он не знал за собой вины, никого не обижал, охотился в степи. Что с него взять? Но в голосах вооруженных джигитов звучало недружелюбие, и в его душу закрадывался страх. Он слишком часто видел, на что способны люди, ослепленные злобой. Однако внешне сохранял невозмутимость.

Двое отделились от толпы, отобрали у него ружье, домбру. Он решил: все, больше не видать ему домбры... Выходит, тогда он ошибся. Домбра снова в его руках... Мрачная безучастность Жонеута была обманчива. Он следил за каждым движением пленного, за его согбенной

фигурой, головой, склоненной над домброй. Пленный напоминал ему мать, кормящую ребенка. Ревниво вглядывался Жонеут в руки домбриста, сухие и негибкие, как ветви старого саксаула. Нет, этому не играть, куда там. Отыгрался.

Он верно оценил: не от мира сего. И то сказать, какой нормальный, угодив в руки отряда, потерявшего вожака, даже не попытается ускакать! Но отряд, ничего не скажешь, тоже хорош. Болван на болване, пустомели как на подбор. Нашли кого брать, кем платить за кровь незабвенного Даулета! Какой-то блаженненький, тощий, в чем душа держится... К тому же – о господи! – никак запаршивел. У висков под тюбетейкой струпья.

Жонеут брезгливо отвернулся от пленного. Недобро оглядел молчаливых аксакалов. Всем было не по себе, кроме пленного.

Для него сейчас существовала одна домбра. Он самозабвенно колдовал над ней, перебирал лады, ударял по струнам, прикладывал ухо. Можно было подумать: срослся с ней, поделился своей кровью. И домбра обретала голос. Еще несогласно пели струны, нестройно лилась мелодия. Но Жонеут вдруг почувствовал, вот-вот прорвется препона. Он не желал верить этому. Выжидающе замер.

Свершилось чудо.

Горечь обиды, боль, отчаяние – все разом обрушила домбра на Жонеута. Она низвергла водопад звуков, и каждый пронзал сердце.

Он потерял счет дням, сидя в этой безмолвной, как могила, юрте вдвоем со своим горем. Он хранил неприступность. Не выказывал свою боль, мрачно и гордо сознавая: она никому не доступна.

В первые дни боль доводила до безумия. Он не узнавал близких, впал в забытье. Не поверил в смерть сына и заставил дозорного еще целую неделю стоять на кургане. Он, считавший себя разумным, утратил власть над рассудком. Но все же сумел совладать с собой.

Пока он оставался с глазу на глаз со своей бедой, в лачуге на окраине те же сорок дней беда терзала ни в чем не повинного казахского кюйши. Каждый из них страдал в одиночку и по-своему. Но домбра заговорила на общем для обоих языке. Хотя и Жонеут, и домбрист считали, что каждый из них непостижим для другого.

Где уж этому дремучему батыру понять меня, подумал домбрист, и мелодия зазвучала гневно, взыскующе... Мысли бежали дальше: батыр презрительно скривит губы и швырнет меня своим псам-джигитам.

В душе Жонеута росла гроза. Домбра объяснила ему самого себя. Он проникся яростным недовольством. Довольно слабости! Надо крепиться, призвать волю и твердость, разбудить, встряхнуть народ!..

Меж тем домбра запела на новый лад, глухо, печально. Ее вздохи перемежались тихим всхлипыванием.

Пальцы кюйши вернули себе былую гибкость. Они бегали, порхали по грифу. Домбра отзывалась на малейшее их прикосновение.

Пленный повернулся боком к Жонеуту. Он никого не замечал. Наступил момент, когда он не нуждался в слушателях. Его лицо хранило отрешенность – ни обиды, ни гнева. Тускло мерцают зрачки узких глаз. Вся жизнь перелилась в пальцы. Они скользят, мелькают в неистовой пляске. Игра оборачивалась наваждением. Пела не домбра, а степь. Оттуда издалека ветер приносил мелодию.

Жонеут не находил в себе силы противостоять ей. Он верил и не верил власти этого невзрачного человечка, напоминавшего птенца.

Темные пальцы летали над черным грифом. Скорбные звуки, наполняя юрту, обесцвечивали все вокруг. Поблекли лица туркмен, потускнел мех на папахах. Стал вовсе незаметен и сам тщедушный домбрист.

Новый кюй наливался крепостью. Звуки все бодрее, определеннее. Обида, боль и печаль отступают перед трезвым разумом. Мелодия взывает к размышлениям, как многомудрая речь, способная указать выход отчаявшимся.

Это была победа кюйши, победа над собой.

Долгие годы он наблюдал бесконечные тяжбы, распри, ссоры двух народов-соседей. Он давно пытался излить в звуках свои страдания. Но всякий раз верх брало негодование. Всепрощение не давалось домбре. Музыкант лишился покоя, не знал отдыха от неотступных мыслей.

Нет худа без добра. Сколько пережил и передумал он в неволе. Он мечтал открыть сокровенное этим людям, суровому старику, потерявшему последнего сына. Он поверил, что может разбудить их сердца. Не слова – звуки переполняли его душу, просились наружу. Он падал ду-

хом, опускались схваченные кандалами руки. Он мечтал не о свободе – только о домбре. Но понимал тщету мечтаний. Ему оставались тоска и безнадежность. Этим пальцам не извлекать звуков, до конца дней его будут греметь кандалы на ослабевших руках.

Но где-то внутри, ни с чем не считаясь, уже рождался новый кюй. Тайна его своей непостижимостью равна тайне человеческого рождения. Он рвался наружу, пленник грезил домброй. Ее не было, и звуки умирали, так и не выбравшись наружу. Они оставляли по себе мечту. Если б еще раз почувствовать в руке невесомую легкость домбры, молча вздыхал пленный в тиши постылой лачуги. Только один раз. Он создал бы такой кюй, который ворвался бы в сердце каждого... Каждого, кто не лишен сердца.

...Когда его ввели в юрту, он увидел висевший на стене дутар. Он знал, что хозяина дутара уже нет среди живых, и многие чувства, противореча одно другому, охватили душу. Но все были побеждены отчаянием: ему не дадут притронуться к дутару.

И вдруг – о чудо! – протянули собственную домбру. Волнение и неожиданность парализовали тело. Онемели пальцы. Заглохла мелодия, постоянно звенящая в груди. Его обдало жаром, и он услышал, как кровь торопливыми толчками бежит по жилам...

Так, вероятно, чувствует себя верблюдица, когда от нее на несколько дней отлучают верблюжонка. Потом он прибегает, и она, переполненная счастьем, в первый момент не в силах дать молока.

Он взял домбру, поднял голову. В ту минуту ему открылось все происходившее с этим суровым, скрытным стариком, не разжимавшим побелевших губ. Кюй, который давно просился на волю, был одновременно кюем и пленника, и его властелина.

Тогда-то и ожили пальцы, освободившись от невидимых пут...

Жонеут на миг оторвался от кюйши, взглянул на сидевших по обе стороны людей. Еще недавно все они были одно внимание, обращенное к нему, Жонеуту. Теперь ими безраздельно завладел пленник-домбрист. Это наблюдение скорее удивило Жонеута, чем вызвало горечь. Он открыл в них нечто новое, незнакомое, хотя ему, как он считал, была ведома подноготная каждого. Из их маленьких глазок исчез обычный холодноватый блеск. Да и весь

облик потерял извечную воинственность. Не будь грозных папах, их можно было бы счесть за вполне мирных людей, отродясь не державших кинжала, не проливших ни капли крови.

Окружавшие забыли о Жонеуте. Это было все-таки слишком. Он всматривался в одно лицо, в другое. Но его не замечали.

И тогда ему вспомнился бедняга Кёк-боре. Не такой уж он был наивный, когда не уставал твердить, что кюйши и бахши – порождение нечистой силы. Не помогай им дьявол, могли бы они околдовать толпу?

Этот тщедушный, кожа да кости, домбрист покорил его, Жонеута, покорил всех. Такое не прощается. Жонеут почувствовал прилив лютой злобы.

Но ни домбрист, ни слушатели ничего не замечали.

Невольник жил своей жизнью, неподвластной тем, кто его пленил. Домбра вернула ему себя. Не поднимая головы, он знал, что все безотрывно смотрят на него. Это была подлинная власть. Но нужна она была лишь для одного – передать людям все пережитое, передуманное за годы странствий и за дни, проведенные в вонючей хижине. Ничего не утаивая, ничего. Второй такой случай не представится.

Ну так слушайте вы, мохнатые папахи, призванные внушать страх! Пока вы не научитесь довольствоваться необходимым, смирять порывы, черна и мрачна будет ваша душа и жизнь. Пока вам будет тесно в родном доме, в родной степи, пока ненасытная жадность будет гнать вас на поиски кровавой добычи, вам не знать ни счастья, ни покоя. Вам, вашим детям и внукам. Только из горького опыта минувших лет можно исторгнуть свет для будущего. Не в том мудрость, чтобы слепо следовать предкам. Пора извлечь толк из их недолгой жизни, заполненной яростью и местью. Запомните: поле, унавоженное ненавистью, родит только ненависть. Ваше благоденствие, счастье ваших детей и жен – в дружбе и согласии с соседями. Злоба превращает человека в зверя. Человеком его делает сострадание. Только так, не иначе. Если ты никого не жалеешь, кто пожалеет тебя? Если ты с кинжалом отправляешься в поход, то пеняй на себя, если наткнешься на чей-то кинжал. Не ищи на земле и на небе виноватых в своей гибели. Не проклинай бога и врагов. Прокляни самого себя. Ты жаждешь принести смерть другому – ты

сам ее получишь. Таков звериный закон, избранный тобой. Кроме тебя никто не повинен в твоей участи. Такто. И не кипятись, не растравливай себя. Лучше подумай раз и еще раз. Не для одной папахи создана твоя голова. Не полагай, будто кто-то за тебя примет разумное решение. Человек тот, кто думает. А тот, кто норовит вонзить в другого зубы и когти, – разновидность четвероногого. Запомни это и не спеши считать себя венцом творения. Откуда твоя спесь? Что дало тебе право считать себя лучше соседа и вершить суд над ним?

Мелодия несла не только обличительный призыв. Минутами в ней звучало сомнение.

Не от скуки ли вы слушаете меня? Внятны ли вам эти звуки и мысли? Доходят ли они до ваших сердец, совершают ли благую работу? Быть может, ваш слух улавливает напев, но пропускает мысли? Уж не безделью ли обязан я вашим вниманием? Не случится ли так, что, поняв меня сегодня, забудете завтра? Сегодня поплачете, а завтра приметесь за бесчинства?

Все-таки вы мелковаты. Столько перенести горя, столько раз рвать на себе волосы, и ничего, ничего не понять! По-прежнему отравлять друг другу жизнь. Не пришел ли час образумиться и впрямь стать людьми?

Лишь в горе вы напоминаете людей. Да и то не всегда. Вы слишком привержены звериной жизни. Что с вас возьмешь?..

Отчаяние охватило пленника и его домбру. В мелодию явственно прорвались слезы.

Насупленно молчавший Жонеут уловил это. Но истолковал по-своему: ага, пленный запросил прощения и пощады.

Он грозно глянул на кюйши и встретил печально-задумчивый взгляд, в котором, как ни пытайся, не прочтешь ни обиды, ни мольбы. Пальцы домбриста летали над струнами. Мелодия полилась ровно и холодновато. Лишь однажды дрогнула. Это вернуло Жонеута к дням, которые он старался не помнить.

Как-то раз накануне похода на адайцев он застал Даулета с дутаром в руках. Такая же прозрачно-тоскливая музыка наполняла пустую юрту. От звуков щемило сердце, ныли кости. Тогда мелькнуло в уме Жонеута: о чем плачет дутар, что хочет высказать сын? Ответ не приходил, да старик не слишком и доискивался его. Предстояло готовиться к походу.

Может быть, теперь следует подумать?

Пленник заметил, как дрогнул мускул на суровом лице. Но старик быстро совладал с собой. Надо сохранять безразличие. Он отвернулся от кюйши к двери, посмотрел на верхнюю перекладину. Руки выпустили бороду, замерли на коленях. Последний месяц прибавил седины в бороде и волосах, углубил морщины возле рта, на лбу. В глазах осели гнев и горечь.

Ничто не осталось не замеченным домбристом. Ему хотелось понять, откуда этот гнев. Природная жестокость или боль? Глаза жестокого человека всегда невозмутимо ледяны. А старик, похоже, сам распалял себя, внушал себе злость, скрывался в ней, как в убежище.

Когда побеждает ярость, человек слепнет. Он страшен, как раненый зверь. Задень его, взбесится, почернеет от испепеляющей злобы.

Но даже раненого зверя удается смирить лаской. Неужто разгневанного человека не умиротворит музыка?

Домбра заговорила мягко, задушевно. Лаская слух, она добиралась до самого сердца. Как маленький, но упрямый ручеек. Казалось, не музыкальный инструмент, а сам дьявол охотится за душой человека, расставляет силки.

Жонеут не хотел поддаваться, противился. Но силы покидали его. Он сник, обмяк. Куда что девалось, где твердость, мрачная воля? Колдовские звуки парализовали его. Жонеут терял над собой власть. Зачем эта домбра искушает его, чего хочет от него этот дохляк?

Даже в день, когда он вопреки своей бунтующей натуре поверил в смерть младшего сына, сердце не сжимала такая боль, как сегодня. Ошеломленный, он пребывал в кошмарном сне. Однажды его блуждающий взор остановился на предмете, висевшем на стене. Жонеут не сразу сообразил: это дутар Даулета. Рядом копье и кинжал младшего сына. От тех, от старшего сына и от среднего, тоже осталось по кинжалу и копью. От этого еще и дутар.

Когда Даулет победно вскочил на пегого жеребца и сподобился благословения стариков, он, Жонеут, собственноручно передал сыну копье и кинжал.

Нет Даулета, а копье и кинжал будут висеть, покрываясь ржавчиной, на стене юрты.

Никому из его сыновей кинжал и копье не принесли славы и удачи. Только смерть. Всем им, старшему, среднему и любимцу сердца Даулету.

Охваченный бешенством, Жонеут вскочил, бросился к стене, где висели кинжалы и копья. Лицо его почернело, глаза пылали безумием, руки и ноги дрожали, зубы выбивали дрожь. Исступленными ударами о железную треногу он превратил оружие в груду обломков. Лишь сирота дутар покоился на стене. Подобной вспышки старик не помнил за собой. Это было мрачное пробуждение. Полно, пробуждение ли? Всплеск отчаяния, оскорбленной чести.

Вспышка не принесла облегчения, только неутолимую боль. Не заглушила она и уязвленного самолюбия. Теперь враги будут злорадствовать, думал Жонеут, они узнают, что он своей рукой ломал кинжалы и копья.

Да, ломал. Но не от бессилия, а от ярости. Вы еще убедитесь в этом...

Великой колдунье-домбре не околдовать его. Он все помнит: и дни мрака, и взрыв ярости, и мысли, пришедшие потом.

Домбрист не отводит от него взгляда. Что ж, пусть попробует прочитать в его душе. А прочитает, содрогнется от ужаса.

Новый кюй лился вольготно, широко, его движение напоминало бег разгоряченной лошади, сбросившей узду. Домбра щедро делилась неистощимым запасом доброты. Нежность звуков захватила самого музыканта. Отступило все пережитое. Он торжествовал: осуществилась мечта. Что может быть прекраснее, нежели возможность открыто, без стеснения, без утайки, без страха и угрозы унижения высказать людям все скопившееся на душе. Он не спешит. Не озлобление и не вызов диктуют ему. Он откровенен. Как это просто, и как бесконечно много! Откровенен перед теми, кто считает его врагом. Они слушают, да, да, слушают сосредоточенно, миролюбиво. Даже воинственные папахи благодушно склонились набок. Старики свесили головы, казалось, погрузились в сладкую дремоту. Но их сонливость не обманула домбриста. Он чувствует: людские сердца открыты его мелодиям. Вон и верзилы-стражники присели у порога, задумчиво оперлись на ручки камчи. Они стерегли его дни и ночи и не догадывались, что тем временем рождалась грустно-томительная музыка, которая льется сейчас из-под гибких пальцев.

В юрте уже не люди, воедино спаянные ненавистью, а

одиночки. У каждого своя дума. Каждому теперь не до Жонеута, не до кюйши. Если и есть что-то объединяющее, то оно возвращает к далеким временам, когда мать, нежно склонившись, пела тихую колыбельную, предназначенную только одному – ее младенцу. Или вспоминается другой час – печальный час разлуки. Слезы юной жены, ее горе, тоска по единственному, по возлюбленному, который отправляется в далекий, неведомый поход. Надрывается душа джигита, увешанного с ног до головы оружием. Его мысли, коль не лукавить, не с товарищами, а с молодой женой, ослепшей от слез, с несчастной матерью, обессилевшей от горя, с испуганно таращившими глазенки детьми. Он, разумеется, крепился, не показывал вида. Бодро шагал к привязи, где нетерпеливо ждал оседланный аргамак. Но кто знает, чего ему стоила эта показная твердость, делавшая его таким же внешне спокойным, как и остальные джигиты.

Любо-дорого поглядеть, как лихо и уверенно они вскакивают на коней! Вам никогда не увидеть их разбухшее от слез сердце.

Они знают, чем побеждаются тоска и отчаяние. Ненавистью. Надо дать ей волю, снять перед ней преграды, и она заглушит все: и слезы матери, и стон жены, и страх детей. Она пригонит в сердце черную кровь, оно будет биться гневом, только гневом. Ничем другим.

Навстречу несется враг. Он тоже полон ненависти и мести. Его голова тоже кружится от злобы. Славно, очень славно. Поглядим, кто кого. Сойдемся в смертельном поединке. Звон кинжалов и копий заглушит последние человеческие проблески. У джигита уже нет ни дома, ни жены, ни матери, ни сыновей. Его никто не ждет и ничто не страшит. У него есть враг. У врага тоже нет ни сердца, ни любви, ему тоже неведомы тоска и отчаяние. Нет большей радости, чем на всем скаку проткнуть его собачью грудь, видеть, как падает на землю, как истекает поганой кровью. Вот оно, подлинное счастье джигита! Вот когда ликует его душа, упиваясь местью, когда сверкают отважным пламенем его глаза, ширится его грудь. Как хочется догнать еще одного, с ходу поразить его острым копьем и увидеть, как наконечник, пробив ребра, внутренности, сверкнет на солнце своим окровавленным острием!..

Домбрист покушается на эту великую радость джиги-

та, пытается развенчать ее. Выходит, враг тоже человек. Он разделяет с тобой не только взаимную ненависть, но ему ведомы любовь, тоска. Оказывается, у него тоже сжимается сердце в минуту прощания с женой, матерью, детьми. Его терзают сомнения, гложет смутная неудовлетворенность. Он спрашивает себя и тебя: почему все складывается безнадежно и беспросветно, достойна ли человека звериная жизнь?

Нежная мелодия обладает безотчетной силой. Она требует искренности, и ты не в состоянии ей отказать.

Да, случалось тебе в разгар схватки испытать ужас даже отвращение к самому себе. Это были мимолетные чувства, когда под твоим копьем или кинжалом падал молодой, неопытный джигит и копыта втаптывали в землю его еще теплое тело. В горячке боя ты не давал простора недостойным батыра стыду и состраданию. Хорош бы ты был, если б расслабился, распустил нюни. Наверняка сделался бы легкой добычей врага.

Однако потом, когда кончалась схватка, когда ты оставался наедине с собой, испытывая отвращение к самому себе, чувствовал себя не воином, а убийцей. Но не открывать же товарищам свою смятенную душу. Они-то не терзаются совестью. А ты что, лучше других? Будь как все. Не мучай себя понапрасну.

И ты не мучил. Преодолевал минутную слабость. Когда не удавалось преодолеть, фальшивил, обманывал себя и других напускным молодечеством.

Значит, ты совсем не такой прямой и честный, как всегда самодовольно считал себя? Ты способен кривить душой и перед собой, и перед соплеменниками. И кто тебя обличил? Домбрист.

Домбра не может лгать, не умеет. Ее откровенность рождает ответную откровенность слушателей.

Добра исходила скорбью, убеждала и рассказывала. Отвечая ее струнам, звучали струны человеческого сердца – самые потаённые, самые тонкие. Такие, о существовании которых человек не всегда догадывается.

Домбра взывала, молила о чем-то. Но не унижалась, не била челом, не просила пощады и снисхождения. Даже в горе она сохраняла гордость, независимость.

Жонеут не мог до конца раскусить домбриста. Казалось, он уже все понял. Но нет.

Какие, однако, муки терзают его? Откуда ему ведома

мелодия, которую накануне гибели играл Даулет? Откуда он узнал о муках Жонеута? Ведь кто-кто, а Жонеут умеет владеть собой. Как кошмой, он закрывает душу от посторонних и любопытных. Он достаточно силен и мужествен.

В месяц траура люди видели его горе. Но видел ли кто-нибудь его слезы?

Сейчас он, правда, немного ослаб, раскис из-за проклятой домбры. Но, слава аллаху, никто этого не заметил. И не заметит. Он сумеет справиться с собой. Не справься он, все полетит в тартарары.

Вон как размякли, развесили уши. Не зря славный Кёк-боре не выносил музыкантов. Когда Жонеут хотел победить власть домбры, ему на ум приходил Кёк-боре, не изменявший своей неприязни к дутару и женским слезам. Когда отдавался мелодии, всплывал нежный образ Даулета. Сейчас он звал на помощь Кёк-боре. При грозном батыре не осмеливались ни плакать, ни играть. Если и случалось такое, Кёк-боре садился на коня – и ищи ветра в поле...

Крепись, Жонеут, крепись. Да поможет тебе славный дух Кёк-боре. Ты мужественно пережил самое ужасное – гибель последнего сына. Кто упрекнет за мгновенную вспышку, обратившую в обломки оружие сыновей! Не поддавайся и домбристу-искусителю, не выказывай слабость!

Кюйши не отводил взгляда от Жонеута. Взгляд этот торил путь звукам. Они добирались до самых глубин, все сильнее терзали грудь, все властнее становилось их наваждение. Можно подумать, будто им дано растопить лед любой жестокости, любой злобы и нет силы, противостоящей чарам этого кюя.

Жонеут почувствовал незнакомую теплоту в глазах – навертывались слезы. Это не кюйши, а ненаглядный Даулет обращался к нему с мольбой...

Но Даулета уже нет. Жонеута не собьешь. Что же есть? Опустевшая юрта, одинокий старик.

Жонеут не выдержал взгляда домбриста и отвел глаза. В углу была протянута едва заметная веревочка. В день гибели Даулета на нее нанизали сорок тонких пресных лепешек. Каждый вечер после молитвы мулла снимал одну лепешку и давал ее приехавшим гостям. Оставалась последняя. Сегодня вечером и ее снимут. Исчезнет все, что связано с именем Даулета, с памятью о нем. Останется

одно-единственное свидетельство – могильный холмик на старом кладбище.

Мелодия оборвалась. Кюйши в изнеможении опустил домбру на колени.

Слезы текли по усам старого батыра, скатывались на раздвоенную бороду. Судорожными движениями он вытер мокрое лицо.

Словно перед броском, напружинился, замер домбрист. Собрал в комок последние силы. Он не замечал испарины, покрывавшей лоб. Он ждал.

Но то было последнее напряжение.

В юрте – ни шороха, ни вздоха. Тишина, полная еще не умерших звуков. Они всюду – в воздухе, в переплетах решетки, в каждой щели прокопченной юрты. В ушах всех, кто слушал домбриста.

Жонеут опомнился первым. Усилием воли он вернул себе всегдашнюю решимость. Перед ним на корточках горбился маленький бледный музыкант. Он выглядел так, словно один бился с бесчисленной ратью, всех одолел и теперь отдыхал на поле брани. Он устал, глаза его слипались. Он делал над собой усилие, напрягался, поднимал отяжелевшие веки.

Туркмены еще не пришли в себя. Жонеут не открывал рта. В какой уж раз придирчиво, с пят до головы оглядывал щуплого домбриста. Покосился на аксакалов. Все встрепенулись, сбросили с себя оцепенение...

Жонеут выпрямился, властно сдвинул брови, подал знак конвоирам. Они вскочили, надели на пленного кандалы, поволокли к выходу.

Все, удерживая дыхание, повернулись к Жонеуту. Он не нарушил тишины. Лицо его хранило каменную непроницаемость...

7

Снова курган, размытый дождями, разрушенный долгой чередой лет. На нем едва заметный бугорок, не знаешь – не углядишь. Он сросся с курганом, стал частью его. Только черной могильной глыбе-плите все нипочем – вода, ветер, годы.

Скользя по глинистому склону, Жонеут спустился вниз. Дождь не стихал третьи сутки. Намокло седло, хоть отжимай чепрак, до нитки вымок всадник, одежда облепила тело. Было зябко и бесприютно. За густой кисеей дождя темнело море, обессилевшее под бесконечной дробью

капель. Оно нехотя ворочало волнами, брюзгливо ворчало.

Пытаясь отогнать невеселые мысли, Жонеут вытянул коня камчой. Но конь не прибавил шагу. Его ноги разъезжались, вязли в глине. Он кое-как дотащился до песчаной тропки, тянувшейся вдоль раскисшей дороги. Хлюпая по лужам, брел в направлении аула.

Жонеут оглянулся назад, на мыс, вдававшийся в море. Священной могилы не было видно. Очертания кургана расплылись, сливаясь с темной водой, падавшей сверху и подступавшей снизу. Вода, кругом вода. Как знойной летней пустыне, ей нет конца-краю. Она смывает поверхность равнины, несет к морю ветки, кустарник, мусор, мелких тварей, насекомых...

Брюхо коня забрызгано липкой грязью. Он выбивается из сил. Смутно виднеющийся впереди аул помогает преодолеть остаток пути.

Поездка не принесла облегчения. Курган с могилой святого ничего не сказал душе Жонеута. Его душа сейчас что старая щелястая лачуга, открытая ветру.

Разбитым, вконец опустошенным возвратился Жонеут домой. Похоронены последние надежды. В понуром, продрогшем до костей, заляпанном грязью всаднике не узнать батыра, один вид которого когда-то вселял неодолимую бодрость, слово значило приказ.

Видно, когда мельчают люди, то и святые теряют былое могущество. Святые перестают понимать людей, а люди не принимают их волю. Что же получается? Некогда бесстрашный народ опустится до жалкой жизни, по праву презираемой святыми. Копьями будут шуровать в очаге, кинжалами выковыривать мозг из бараньих костей.

Выходит, он один грезит стариной, рыщет волком, жаждет сражения, размахивает своим видавшим виды копьем...

До залитого дождем аула Жонеут добрался уже после обеда. Поводок небрежно бросил Аннадурды, выскочившему навстречу, и вошел в юрту.

Это было его последнее путешествие.

Слякотная осень подходила к концу. Степная полынь размокла, обнажила корявые корни. Казалось, ее горечь пропитала насыщенный влагой воздух.

Ночами слегка подмораживало. Утром клубился сизый

туман. К обеду он нехотя редел, очищалось небо, нет-нет да и показывалось солнце. Но на севере уже набухали тяжелые темно-фиолетовые тучи.

Едва из-за туч прорывалось солнце, верблюжата веселой ватагой спешили па луг.

Людям тоже не хватало тепла. Чуть прояснялось, они высыпали из юрт.

Иногда Жонеут бродил за околицей. Никто не приближался к нему, и он не искал спутников. Далеко-далеко пасся скот. По склонам увалов в поисках солончака бродили верблюды. Табуны диких коз с цепочкой козлят позади двигались на юг вдогонку уходившему лету. Все живое искало пищи и тепла, тянулось к солнечным лучам.

К вечеру с севера веет холодом. Небо нависает грузными облаками. Люди забиваются в юрты. Но и там мало тепла и уюта. Долго не разгораются отсыревшие кизяки, шипят, чадят. Вонючий дым тянется к потолку.

После сороковин Даулета люди забыли дорогу к юрте Жонеута. Хлопотливая старуха, жена Жонеута, толчет в ступе, крутит прялку-юлу, гремит посудой. Но и она не всегда решается вылезти из своего угла, потревожить старика неуместными расспросами.

Вначале, правда, заглядывала родня, навещали аксакалы. Но разговор не ладился, не клеились беседы. Старый батыр хранил неприступность, нехотя цедил слова.

Только Аннадурды нарушал одиночество Жонеута, пытался отвлечь его от скорбных мыслей. Но то ли не знал подходящих слов, то ли смелости не хватало. А всего вернее, Жонеут дорожил покоем больше, чем собеседником. Посидит Аннадурды, помолчит, что-то скажет некстати — и домой.

Оживление вносил сынишка Аннадурды Курбан. Заскочит вечером, подсядет к старику. Пьет чай, зыркает по сторонам, сыплет аульными новостями.

У старика теплели глаза, подобие улыбки появлялось на лице. Но губы не разжимались, словно запечатаны.

Курбан подбрасывал кизяки, раздувал огонь и не переставал тараторить.

Жонеут неподвижно глядел на огонь. Все ли он улавливал в оживленной болтовне мальчика? Вряд ли. Однако точно никто не знает.

Курбан нетерпеливо ерзал на месте, чего-то выжидал и не спешил домой.

Убедившись, что Жонеуту не до него, стал делать старухе какие-то знаки. Она поняла Курбана, но, боясь мужа, нерешительно пожала плечами. В конце концов терпение мальчика иссякло.

Он взвесил возможные последствия и решил, что рискует самое большее получить несколько ударов камчой. Осторожно приблизился к стене, на которой висел дутар Даулета.

Жонеут по-прежнему не обращал на него внимания. Мальчик остановился в нерешительности.

И, поднявшись, не дыша, на цыпочках, неслышно снял со стены черный футляр. Не отрывая глаз от старого батыра, сел, бережно вынул дутар. Его лицо озарилось счастьем.

Жонеут все так же задумчпво следил за тлеющими углями. Загодя заготовленный сухой кизяк, до белизны выжженный солнцем, вспыхивал лиловым пламенем, как сено. После него оставалась горстка сизого пепла. И так вновь и вновь.

Разве не сходно устроен человеческий мир? Сильный пожирает слабого. Но не долог час его торжества. На сильного находится более сильный, на того – сильнейший. И все – один за другим – горят, пылают, оставляя после себя пыль, прах. В чем же смысл смертного круговорота, суетного бытия?

Ярче разгорается огонь, жар дышит в задумчивое лицо, согревает старческое тело, манит успокоительной дремой. Однако Жонеут слишком занят своими мыслями, чтобы отдаться сну.

Вдруг какой-то глухой звук раздался за его спиной. Жонеут, вздрогнув, обернулся.

Испуганный Курбан, как если б обжег пальцы, выпустил из рук дутар.

– Вон! – Жонеут почувствовал, что у него перехватывает дыхание. – Вон! Дома у себя тренькай!..

Мальчик схватил дутар, опрометью выскочил на улицу.

Жонеут отдышался, попробовал сосредоточиться. Но ход важных мыслей был прерван, его не удавалось восстановить. Жонеут с досадой облокотился на подушку.

Старуха сняла с треноги казан. Вспоминая былые времена, шумное и многолюдное застолье, она расстелила перед мужем коротенькое полотенце, поставила на него большую в трещинах деревянную чашу.

Последнее время Жонеута не радует еда. Возьмет два-три кусочка мяса, нехотя прожует, вытрет руки. До горячего бульона тоже едва дотрагивается и возвращает миску.

Старая быстро убирает, опрокидывает миску в серую, еще горячую золу. Прибрав, поставив все на место, гасит подслеповато чадящий ночник.

Они укладываются в постель раньше всех, а засыпают всех позже, когда степной аул уже давно отошел ко сну. Осенний дождик монотонно барабанит по юртам. Не лают собаки, не блеют овцы, не ревут верблюжата. Холод, ненастье, мрак. Прокопченные юрты неразличимы в ночной темени. Уже неизвестно – существует аул или нет, живы его обитатели или вымерли.

Но наступит утро, и возродится жизнь. Незавидная, уныло однообразная, однако жизнь. Жонеут лишен и ее. Люди будут обмениваться новостями, расспрашивать друг друга, вспоминать. Они ощутят себя звеньями в бесконечной человеческой цепочке, Жонеуту теперь неведомо это чувство.

Давненько не кажет глаз Мамбетпана. Кроме дождя и осенних бурь, видно, ничто не тревожит богатые табуны.

Как-то Аннадурды от знакомого охотника казаха – с кем не сведет степь! – узнал, что Дюимкара снялся с насиженного места и ушел в долину, где находится его зимовка. Жонеут тогда ожил, воинственно насторожился. Он прислушивался к топоту, надеясь, что вот-вот нагрянет враг. Он бы уж его не проморгал. Издалека различил бы бег его скакуна. Месть, отрадная месть вернула бы ему сон, покой.

Однажды он уснул перед самым рассветом и увидел сон.

Кто-то из джигитов – он не мог припомнить имя – скачет издалека, машет рукой, зовет Жонеута. Батыр возликовал, радостно забилось его усталое сердце. Наконец-то мчится заклятый враг, свершится расплата.

Он ищет коня, но того и след простыл. «Люди, люди, – зовет Жонеут, – подайте коня!» Однако его не слышат, и сам он не слышит своего голоса. Его захлестывает ненависть, ему не хватает воздуха...

Тут-то и разбудила жена. Он открыл глаза и различил звуки утреннего пробуждения. Соседка гулко толкла что-то в ступе и кричала сыну, пасшему верблюжонка. Ей отвечал ломкий мальчишеский голос. За юртами жалобно

блеяли овцы. На улице беззлобно переругивались женщины.

До Жонеута дошли слухи, что Дюимкара разбогател, заделался большим баем, завел несметные стада. Ему не до мести, не до набегов, дай бог управиться со скотом. Дел небось по уши. Где уж тут вспомнить о пленном домбристе. Махнул на него рукой и думать забыл о заступничестве.

Значит, соплеменники не спешат вступиться за своего кюйши, не пытаются отомстить за него? Что ж, решил Жонеут, поглядим, удастся ли им отсидеться. И приказал казнить пленного.

...Пусть не сетует читатель на автора за невольные возвращения в прошлое. Не моя в том вина. Я лишь следую за Жонеутом, а его близящаяся к исходу жизнь движется неровно, то возвращаясь мыслью в прошлое, то несбыточной мечтой уносясь вперед. Чтобы понять эту полную страданий и преступлений жизнь, приходится и нам иной раз оглядываться назад. Казнь пленного домбриста – дело свершенное. Между тем она дни и ночи преследует старого батыра, назойливо сверлит мозг. Особенно ночью.

Раньше, в доброе прежнее время, вернувшись из похода, он падал как подкошенный и спал несколько суток кряду. Можно было стрелять над ним, можно было отрезать уши, он все равно не проснулся бы.

Теперь иначе. Будто не пышная под ним постель, а колючки. Ворочается с боку на бок, пытается отогнать видение. Да какое там...

Неотступно стоит перед глазами котловина. Густо заросшая кустарником, она берет начало у Мангышлака, оттуда, разветвляясь, идет на Хиву и на Балканы. По ней пролегла большая дорога, в любое время года в оба конца тянутся путники, караваны.

Назавтра, после сороковин Даулета, после того как домбрист, излив душу, дьявольски околдовал слушателей и выжал слезы из глаз никогда не плакавшего Жонеута, сорок джигитов отправились к котловине. Они ехали не спеша. Окруженный всадниками, музыкант гремел кандалами. Минувший день забрал у него остаток сил, он падал, и камча поднимала его на ноги.

До места добрались в послеобеденную пору. Но не вылезали из чащи до наступления темноты, следили за

караванным путем. После захода солнца выбрались из укрытия, подъехали к дороге, спешились.

Ни души вокруг.

Трое всадников отвязали притороченные к седлам лопаты, засучили рукава. Рыли быстро, споро. Оглянуться не успели, готова яма в человеческий рост. Жонеут подошел к ней, оглядел и кивнул в знак одобрения. Кивнул еще раз, и кюйши опустили в яму. Даже не сняв кандалы.

Считанные мгновения потребовались, чтобы засыпать яму, сровнять с землей.

Из земли торчала голова домбриста.

Жонеут сел на коня, опустились в седла остальные сорок джигитов и помчались в аул. Ни один не оглянулся.

Ночь и заросли поглотили всадников. Под копытами хрустел саксаул. Кони вздрагивали, напрягали животы, прядали ушами. Белая пена падала на ветви.

Жонеут молчал. Молчали спутники. Это нисколько не напоминало возвращение из удачного похода – ни смеха, ни оживленных выкриков, ни хвастливых возгласов. Немота сковывала кавалькаду. Папахи приникли к конским шеям.

Перед восходом вступили в аул. Бесшумно, как воры.

Утром никто не спешил покинуть юрту. Загнанные кони паслись за околицей.

Весь день – нет, казалось, ему конца – Жонеут пролежал в постели. Не спал и не бодрствовал. Он не сумел бы определить свое состояние.

Ни один человек не переступил его порога. Он не знал, как это истолковать: осуждение, страх? Или они хотели обособиться от него?

В изнеможении Жонеут закрыл глаза и сразу же широко открыл их. Лунный свет, проникнув сквозь щель, падал на лицо. Жонеут чутко вслушивался. Облака скрыли луну. Ничто не беспокоило зрение и слух. Однако тревога не унималась. Она гнездилась где-то в глубине.

Снова молочный свет залил юрту. Домашняя утварь отбрасывала резкие тени. Жонеут пробовал унять волнение. И не мог. Не знал, что с ним происходит. Но не хотел считать себя жертвой страха.

Однако хотел или не хотел, тревога оставалась. Она заставляла обостренно прислушиваться к себе и к тому, что творится в ауле. Но в ауле ничего не творилось, ничто не давало повода для беспокойства.

Во сне вздыхала старуха. «Она-то чего?» – раздраженно подумал Жонеут. Но смягчился: наверное, переживает за него.

На дне ларя назойливо скребли мыши, где-то завели норку.

Впервые Жонеут испытал страх одиночества, заброшенности. Казнь на караванной дороге провела незримую границу между ним и остальными, между ним и всеми людьми.

Им, остальным, тоже страшно. Они боятся не только врага, они боятся мирного путника, даже конского ржанья. Но от их страха Жонеуту не легче. У него свое, он один. Как человек, на утлой лодчонке выплывший в море.

За аулом надрывалась лисица. Выли, щелкали зубами шакалы – делили падаль.

Наступит ли конец этой ночи? Хоть немного покоя, хоть недолгий сон.

Но сознание ясно. Все рисуется с безупречной отчетливостью.

Длинная-длинная дорога белеет в лунном свете. Ни каравана, ни верблюда. По обе стороны сплошная стена зарослей. На обочине из земли торчит голова.

– Страшно тебе?

Голова молчит.

По спине Жонеута бегут мурашки. Он поворачивается на бок.

Дорога не исчезает, не меркнет луна. Чаша настолько приблизилась к белой полосе, что, сделай деревья и кусты шаг навстречу друг другу, не будет дороги, скроется голова.

– Страшно тебе, домбрист?

Ты тоже, наверно, знаешь, каково это – бегущие по спине мурашки, холодная испарина на лбу. Только не можешь двинуться, стереть пот. Твои руки глубоко в земле, и ноги в земле, и тело в земле, и кандалы твои в земле. Ты обречен на неподвижность. Тебе не убежать от смерти, пальцем не шевельнуть... Сердце гулко бьется в слабой груди. Так гулко, что я слышу его удары. Земля вздрагивает под ними, ходуном ходит...

Жонеут вертится с боку на бок. Как ни поворачивается, перед ним маячит голова. Домбрист смотрит вдоль дороги. Не появится ли кто-нибудь, не придет ли избавление? Чего проще: разрыть яму – минутное дело. Он

сам выберется. У него целы руки, ноги. Пока целы. Но скоро их не будет. Ржавые кандалы повиснут на костях.

Что-то почудилось ему в чаще, послышались шаги. Не вернулись ли всадники с этим мрачным стариком, подавленным смертью сына? Домбрист твердо знает: они — люди. Он видел слезы на глазах старика.

Но ведь по воле старика его бросили в яму, засыпали землей, обрекли на смерть, с ужасом которой ничто не сравнится.

Тебе страшно, домбрист? Не жди помощи. Это лишь тени, лишь скрип веток на ветру. Не заблуждайся понапрасну, не вслушивайся, не всматривайся. Тебя хотели не напугать, а умертвить. Всадники не вернутся. Старик лежит в своей постели.

Не верти головой. Видишь? Слышишь? Это не люди. Звери почуяли запах человека. Все ближе мохнатые морды, горящие глаза, оскаленные пасти. Они тебя выкопают из земли, разорвут на клочья. Ты думал, останутся кости. Не останутся кости. Не останутся. Одни кандалы, разъеденные ржавчиной...

Задыхаясь, Жонеут вскочил с постели, бросился к стене, сорвал кинжал. Положил рядом с собой под одеяло. Он гладил холодную, знакомую до последней вмятинки поверхность ножен, сжимал рукоятку.

Хвала тебе, кинжал. Тебя боятся призраки. Сразу отступили, растворились в темноте. То-то же.

Не выпуская из рук кинжала, старик присел на постели. Ни звука. Мыши утихомирились на дне ларя. Поделив, видно, падаль, угомонились шакалы. В маленькой юрте по соседству, где прежде жил Даулет, храпят, намаявшись за день, четверо пленных казахов, потерявших человеческий облик.

Страх развеялся. Не таков Жонеут, чтобы предоставить страху власть над собой. Руки еще держат кинжал. Он в полном разуме.

Ему надо ответить на один вопрос, и тогда наступит умиротворение. Ответить на вопрос, и все.

Эта мысль не сейчас посетила его. Но он не смог с ней свыкнуться.

Жизнь ставила перед ним загадки похитрее. Он справится, он никогда не жаловался на слабость своего ума. Его авторитет нажит не богатством. Умом, отвагой, верностью...

Так зачем он закопал живьем в землю домбриста?

Жонеут отложил кинжал, скрестил руки на груди – поза, самая удобная для размышлений.

Домбрист ни с кем не воевал, никому не причинил зла. Чего не было, того не было. Жонеут любит судить по справедливости.

Немалая сила таилась в пальцах и в душе музыканта. Он употреблял ее не во зло, а во благо людям. Надо быть честным, надо признать: в тот день он покорил туркмен. Не кинжалом, а домброй. В их сердцах зародил любовь к себе. Жонеут это видел.

По словам Аннадурды, Даулет при поездке к адайцам состязался именно с этим кюйши. Состязание длилось долго. Противники стоили друг друга. Победа склонялась то к одному, то к другому, но не могла сделать решительный выбор. На помощь пришел старый мудрец. Своей речью он положил конец состязанию.

«Вы и впрямь достойная пара, – сказал он, – искусство каждого из вас несравненно. Но одинокий скакун недолго скачет, когда у него нет соперника. Поделите между собой первый приз».

Старый мудрец уравнял в таланте Даулета и домбриста. Жонеут не боится правды, пожалуй, мудрец не ошибся.

Как домбрист угодил в руки туркмен? Проще простого. Невелика их заслуга. Отряд, потеряв Даулета, страшился праведного гнева Жонеута. Он надеялся смирить старого батыра достойной жертвой. Когда на пути попался поглощенный своими думами или охотой знаменитый кюйши, они решили: вот чем старый Жонеут расплатится за гибель своего любимца.

Жалкие болваны с умом лисиц и нравом шакалов! Нет того, чтобы схватить какого-нибудь адайского наглеца, известного батыра. Жонеут разрубил бы его на куски и куски бросил собакам. Колебания не тронули бы его. Если б и пожалел о чем-нибудь, то о том, что жертва все же недостаточная для памяти Даулета.

Но нет, батыр им не попался. Они захватили чудака домбриста, который и пальцем не шевельнул, чтобы спастись.

Предположим, Жонеут отпустил бы его подобру-поздорову. Ответом было бы всеобщее негодование. Все бы в голос завопили: старый Жонеут совсем спятил, лишившись сыновей, превратился в бабу.

Что может быть постыднее, чем прослыть мягкотелым, отходчивым. И враг не преминет этим воспользоваться. Он уверится, что копье выпало из некогда крепких рук. Тогда не оберешься беды.

Но Жонеут не обмяк сердцем. Руки его крепки. Он еще заставит недруга захлебнуться в собственной крови. Не даст в обиду свой народ, землю родную...

Жонеут потянулся к кинжалу. Но, опомнившись, снова скрестил руки на груди.

Он не тщеславен, не о себе его думы. Его заботит честь народа. Не в слепом опьянении обрек он на смерть домбриста.

По большой караванной дороге взад-вперед шастают казахи в Конрат, в Хиву за одеждами, за зерном. Рано или поздно кто-нибудь из них узнает о домбристе, зарытом живьем на обочине. Узнает и ужаснется. Ужаснется и вознегодует. Слух о небывалом унижении достигнет ушей Дюимкары. Тогда мы поглядим, кто он такой – истинный батыр или хвастун и баба.

Сохранись у него крупица гордости, он не стерпит, нет, не стерпит. Жонеут хорошо знает степные обычаи.

Как он мечтает об этой встрече! Да поддержат его духи предков. Он вцепится в глотку врага...

Потом можно будет спокойно умереть. Отомщена ранняя смерть сыновей, гибель единокровного брата Кёкборе, горе и страдания несчастного народа.

Он, старый Жонеут, не праздный фантазер. Исход поединка неведом. Если не суждено сбыться его мечте, он готов принять ратную смерть. Его жизнь не дороже жизни трех павших сыновей. Ему есть что завещать своему народу. Он завещает месть.

Он не чета этому домбристу. Глядя в глаза смерти, не станет взывать к миру, всепрощению, любви и терпимости. Он оставит по себе ненависть. Умирая, он будет верить, что ни один туркмен не смирится, пока не проломит вражий череп.

Коль он, старый Жонеут, откроет свое сердце жалости, наступит самое ужасное – его соплеменники позабудут о копьях, будут, развесив уши, слушать всяких домбристов и дутаристов, с посохом отправятся пасти овец. С них станется. Не долог час, и они сами превратятся в смиренных овечек.

Правота на его, Жонеута, стороне.

Но он вроде бы забыл о кюйши. Несчастный малый. Надо же было в недобрый час отправиться на охоту... Может, аллах смилуется над ним. Воля аллаха превыше всего. Почему бы казахам сегодня либо завтра не поехать по дороге? Наверняка кто-нибудь спешит в Хиву или Конрат и попутно спасет бедолагу.

А если не спешит, если по-прежнему пустынна дорога?.. На душе Жонеута нет греха. Чем домбрист дороже Даулета или Кёк-боре, или многих туркмен, чьи кости приняла степь? Пусть пеняет на сородичей. Неужто из сострадания к одному, допустим, невинному человеку – оскорбить честь и память сотен погибших? Из-за какого-то домбриста он не запятнает славу батыра. Эта слава от его силы и беспощадности. Любая слабость пагубна. Она на руку недругам, на беду своему народу. А потому будь жестоким!

Не им установлен этот закон степи, не ему отменять его. С него достаточно сознания собственной правоты.

Да, да, он прав. Жонеут самозабвенно повторял это слово: прав, прав, прав... Отходило сердце, выравнивалось дыхание, утихала боль в темени. Прав, прав, прав... Глаза умиротворенно закрывались.

Наступил вожделенный сон.

И тотчас разверзлась треклятая котловина. Она еще более углубилась. Кустарник превратился в огромные деревья. Они сомкнулись стволами – едва пройдешь, приходится искать щель. Исцарапанный, исхлестанный ветвями Жонеут пробирается сквозь чащобу. Из-под ног разбегается зверье. Слышен пронзительный свист, срывающийся на визг.

Ага, вот и край впадины. Деревья реже, ниже кустарник. Теперь будет легче, и дорога уже неподалеку. Однако не тут-то было. Ноги вязнут в зыбучем песке. Одну вытащишь, другая погружается. Остановиться бы, перевести дыхание. Но нельзя, надо торопиться. Все ближе за спиной топот. Стоишь, его не слышно. Пойдешь, приближается.

Это началось еще у аула. Едва он отошел, позади раздался топот. Оглянулся, никого. Но Жонеут непрост, не так легко его провести. Он разгадал намерения преследователя. Тот надеется выследить старого Жонеута и поднять на смех: сам наказал пленного кюйши и сам, не выдержав, помиловал. Будет над чем посмеяться людям, чему порадоваться врагам...

Снова прислушался. Тишина. Сделал шаг, другой. Тишина. Уж не померещилось ли ему? Все спокойно. Луна озаряет широкий караванный путь. На обочине темнеет пятно. Надо подойти. Из земли торчит голова домбриста.

Никто, значит, его не видел, не освободил.

Лишь бы был жив... Голова понуро клонится к земле. Устал за день, все глядел и глядел на дорогу, надеялся увидеть путника. Потом, отчаявшись, задремал. Конечно, задремал. Иначе услышал бы шаги.

Ноги Жонеута подкашивались от волнения, от тревоги, от, грех признаться, радости: кюйши еще жив!

А чему, собственно, радоваться? Уж не собирается ли Жонеут его откопать, освободить? Нет, речи быть не может. Тогда поговорить с ним? О чем? Что сказать ему? Как быть, если он проснется и узнает старого батыра? Ни к чему это. Всего лучше спрятаться неподалеку, за этим хотя бы кустом. Так, чтобы была видна голова несчастного. Надо ночью сторожить ее от зверя и птицы. Птица может выклевать глаза. Он ведь совсем беспомощен. Закованные в кандалы руки покоятся в земле.

Днем ни зверь, ни птица не опасны, днем беды не случится. Пройдут сутки, вторые, от силы – третьи, и появится путник, вызволит пленного. Со спокойной душой Жонеут вернется домой.

Жителям аула он скажет, что охотился. Хотел развлечься и отправился на охоту. Вполне убедительно.

Голова чуть заметно поднимается над обочиной. Еще несколько шагов, и можно будет ее разглядеть.

А вдруг домбрист услышит шаги, заметит приближающегося человека, и сердце его не выдержит, разорвется? Похоже, голова встрепенулась, домбрист что-то почувствовал. Быстрее развеять его страх...

Но разве это голова кюйши? Ни малейшего сходства. Однако черты щемяще знакомы. Даулет!

Как он тут очутился? Отвернулся, не хочет смотреть на отца, не хочет узнавать. И не надо, не надо.

Жонеут голыми руками роет землю. Она легка, как пух. И, как пух, выскальзывает из ладоней. Он черпает землю, но не может отрыть даже маленькой ямки – земля уходит меж пальцев.

Даулет не желает повернуться к нему. Будто не отец рядом, а кто-то чужой, ненавистный.

Отчаявшись, Жонеут перестал копать. Тяжесть сдавила грудь, першило в гортани, слезы щипали глаза. Комок в горле разорвался диким криком:

– Родной мой! Почему ты молчишь?

Во сне или наяву раздался этот крик? Жонеут слышал голос – чужой, хриплый. Но кому было кричать, кроме него?

По юрте растекался слабый свет зари. Кошма, решетки, нехитрое убранство – все было пепельно-серым, призрачным. Жонеут судорожно вцепился в толстое одеяло. Он проснулся, но еще не совсем. Следует собраться с мыслями, прочитать молитву.

Старуха уже хлопочет на улице. Вряд ли она слышала его крик. А то бы прибежала. За юртой протяжно стонет верблюжонок. Мирные звуки обыкновенного утра. Ни о чем не думая, Жонеут откинулся на спину, уставился в светящуюся щель. Он вспомнил свой сон, наивный сон. Только и заботы ему – освобождать обреченного на смерть пленного. Хорош бы он был, если бы так поступил наяву.

...Он считал, что одолел ночные кошмары. Но ошибся. Кошмаром стала сама жизнь. Исчезла грань между сном и бодрствованием, между днем и ночью. Он потерял счет времени. Чувствовал вялое его течение, не отличая недели от месяца.

Раньше оно пролетало с быстротой небесной птицы. Теперь, забившись в юрту, как в нору, Жонеут томительно ждал, когда взойдет солнце и когда оно опустится. Дни сделались длинными, ночи еще длиннее. Раньше можно было мерить время походами – удачными или неудачными, новостями, принесенными издалека, приездом гостей, праздниками и ссорами. Сейчас он потерял меру. Время обладало лишь одним свойством – оно изнуряло. Он ворочался с боку на бок в ожидании то сна, то пробуждения.

Можно, оказывается, мерить время еще и снами. Прежде он, бывало, говорил: «По прошествии двух дней после отъезда Мамбетпаны», или: «За три дня до моего набега на адайцев». Отныне шел иной отсчет: «В ту ночь, когда мне впервые приснился кюйши», или: «В тот день, когда я вдруг уснул и жаловался домбристу».

Все забыли о его существовании. Даже те, кто делил с ним походы, смотрел ему в рот, ловил его слово.

Иногда Жонеут задумывался: куда они подевались? Но не так уж это его беспокоило, чтобы ломать голову. Достаточно того, что он помнил, когда они последний раз безропотно повиновались ему. Сорок отборных джигитов, один к одному, были послушны каждому его жесту. Они покорно следовали за ним сквозь ночную чащу, ни один не посмел перечить ему. Они работали на совесть. Никто не пикнул. Молча сели на коней. Молча ехали всю дорогу. Молча вернулись в аул.

Молчание окружало Жонеута. Ни один из сорока не явился ему больше на глаза.

Раньше он постоянно был в пути, лучше кого бы то ни было знал все, что происходит в округе. Сейчас не покидал свою юрту. Зачем? Ему и без того известна нудная жизнь аула. Джигиты возятся рядом с женщинами и ребятишками. Чинят сапоги, мнут кожу, лудят старые казаны. Жонеуту нет до них дела.

В прежние времена аксакалы вспоминали о воинственных предках, сказочных батырах, несравненных мастерах копья и кинжала. Ныне не то. Они чешут языками о чем угодно – о пастбищах, покосах, водоемах. У них на уме житейские мелочи.

Когда-то они побаивались сурового Жонеута, взвешивали каждое слово, прежде чем произнести. Сейчас мелют, что придется. Не аксакалы – болтливые бабы.

Жонеут осуждающе хмурится. Но кто этого страшится, кто видит грозно сведенные брови?

Никто. И не надо. Он сам не желает никого видеть. Не по нему повседневная суета, когда люди стучат молотком, скребут котлы. Жонеут заранее знает их вздорные пересуды: убежал паршивый козленок, затерялся верблюд...

О чем с ними говорить, горько усмехается Жонеут. Лишь один человек достоин быть его собеседником, лишь ему можно поведать свою печаль. Он все поймет.

Этот человек – пленный кюйши. Жонеут помнит, как смотрел он тогда, подняв голову от домбры. Всепостигающей мудростью светился его взор.

Но не удается толком поговорить с ним. Кто-то подглядывает, подслушивает. Делается не по себе. В таком состоянии не излить душу.

Надо думать о другом. О чем же?

Велик мир. Но лишь темнеющая на обочине точка притягивает к себе Жонеута.

Во сне жалость плавит его сердце. Днем сжигает стыд за недостойное сострадание.

Во сне он добр и независим от людской молвы. Наяву смелость покидает его. Он отталкивает от себя домбриста, с раздражением думает о пустых людях, предающихся жалким житейским треволнениям. Им недоступно ничто возвышенное, их души забыли порывы, там поселились муравьи. Он жалуется кому-то, и этот кто-то внимательно слушает его, понимающе кивает головой. «Что сказать тебе? – сокрушенно говорит голова. – Все, что я думал, высказал тебе последним кюем. Не забыл?»

Иногда между ними доходит до спора. Жонеут горячится, сыплет доводами: «Дашь народу волю, он вовсе распустится, забудет предков, священные заветы, уйдет в свои будничные заботы. Решит, будто свет клином сошелся на его детях и жене. А разве нет опасности, что какой-нибудь негодяй воспользуется этим, навяжет людям свою власть?»

Домбрист не возражает. Он тихо улыбается. Жонеут научился читать эту улыбку. «Я, дескать, давно нашел ответ на твои искания. Но он непригоден тебе. Ты считаешь, что лишь жизнь в вечной тревоге – это жизнь, достойная твоих соплеменников. Я не принимаю это за счастье. Много ли радости доставили им твои походы, не они ли расширили кладбище за аулом?» Его печальные глаза устремлены вдаль. Взаимное понимание утеряно.

Едва Жонеут открывает глаза, отчаяние, гнев, сомнения, терзавшие во сне, исчезают. Их место занимает тоска. Такая тоска, точно он один-одинешенек в пустыне: сколько ни скачи в любой конец, не встретишь живой души.

В такие минуты приходит трезвое раскаяние. Боясь молвы, сплетен, праздных разговоров, он не решался спасти ни в чем, ровным счетом ни в чем не повинного кюйши.

Его кровный враг Дюимкара пальцем не двинул, чтобы отомстить за домбриста. Знать, домбрист этот не слишком дорог разбогатевшему батыру. Но и Дюимкара наверняка был недорог музыканту.

Неожиданная мысль поразила Жонеута. Что общего между Дюимкарой и кюйши? Племенное родство? Безусловно. Но даже в одной семье случаются неприязнь, вражда.

Теперь Жонеут близко знал кюйши и не заблуждался. Конечно, тот не ценил Дюимкару. Он слишком любил свое искусство, чтобы любить грабителя, насильника... Эта мысль впервые посетила старого Жонеута. Ясности, которой ему иногда удавалось добиться прежде, как не бывало. И больше уже не будет. Порочный круг намертво замкнулся.

Когда Жонеут уснул, им завладел бред. Из вереницы уродов и страшилищ вынырнула, оскалясь, волчья морда. Жонеут не впервые видел ее. За ней последует нечто, ужасное. Так оно и есть. Волк с рычанием бросился на торчавшую из земли голову. Жонеут вскинул ружье, прицелился в зверя. Но голова нечеловечески закричала:

– Не стреляй! Лучше убей меня!

Волк скрылся в кустах. Голова поникла. Жонеут пытался объясниться с ней. Объяснения звучали жалко, невнятно. Он обрек кюйши на мучительную казнь, дабы распалить ненависть Дюимкары, а тот и не подумал отомстить за соплеменника...

Жонеуту было не по себе из-за собственного лепета. Домбрист и вовсе не внимал ему, устал стоймя стоять в сырой земле.

Но жалость вдруг пронзила Жонеута, жалость к домбристу и к себе. Он лишился единственного собеседника. Он считал себя ревнителем народной чести и справедливости, заступником слабых. Все это чепуха. Он способен обречь на смерть слабого и невинного. Он палач.

Жонеут пробудился от этого слова. Оно наповал сразило его. Перечеркнуло его жизнь, былую уверенность, сознание своей правоты и своего права на жестокость. Осунувшийся, с безумно блуждающими глазами Жонеут сделал еще один шаг навстречу неизбежному.

...Сегодня снова дождь. Весь день Жонеут прислушивается к монотонной музыке капель. Недолгие пробуждения сменяются забытьем.

В бесовском хороводе проносились тени. Заросшая котловина... зыбучий песок... разливанное море грязи... караванная дорога... перепачканные трясущиеся руки... темное пятно на обочине... Стоп. Хоровод замер. Перед Жонеутом лежал череп. Зияли глубокие глазницы, желтели зубы.

Время остановилось. Череп не исчезал. Как завороженные, они глядели друг на друга. Жонеут и череп.

Завывал ветер, откуда-то – уж не из-под земли ли? – доносился скорбный напев домбры.

Надо было прервать эти звуки, уйти от взгляда пустых глазниц. И Жонеут закричал что было мочи.

Упало на землю одеяло, Жонеут кинулся к двери. Споткнувшись, рухнул у порога, ударившись лбом...

Аннадурды сидел дома, в блаженной расслабленности слушал Курбана, в руках у которого дутар Даулета.

Грех роптать, аллах не обделил сынишку талантом. Один лишь раз, спрятавшись за юрту, мальчуган слышал, как знаменитый невольник-домбрист играет этот кюй. Теперь же сам услаждает им отца. Аннадурды доволен, он просит повторить, и сын с готовностью выполняет его волю.

Крик Жонеута слился с последним звуком дутара, Аннадурды застыл в тяжком предчувствии. Крик не повторился. Он быстро зашагал к юрте Жонеута.

Старый батыр распластался у порога. Аннадурды приподнял его за плечи, приложил ухо к голой груди. Долго прислушивался. Ухо уловило последнее тепло, уходившее из бездыханного тела.

*Перевод В. Кардина*

## ХАТЫНГОЛЬСКАЯ БАЛЛАДА

*То ложь иль правда?*
*Все, кто знает это,*
*Давным-давно в объятиях земли...*
*Е. Ибитанов*

### 1

Он проснулся, когда бледный холодный свет осенней зари только-только проник в шатер. Бывало, проснувшись, он еще долго чуял медовую истому безмятежного сна. То время исчезло. Бывало, стоило склонить голову к рукоятке камчи, которой опирался на луку седла, стоило лишь слегка подремать, не слушая монотонного боя копыт, и возвращалась легкая бодрость. Та самая бодрость, какую испытываешь в девичьих объятиях. Давно не испытывал он той бодрости. Бывало, укладываясь в прощупанную семью рабами и раскинутую семью красавицами постель из птичьего пуха, он думал о том, что ненамного, должно быть, лучше и в самом Эдеме, о котором бесконечно и нудно толкуют люди. Теперь шелестящая ткань касалась его тела холодно, словно острие меча. Жадные до человеческого тепла шелка обжигали льдом, он зябко вздрагивал, словно его заживо предавали земле. И он подолгу не смыкал глаз. Тоскливо становилось в его неуютной душе, встревоженной думами. Он думал о том и об этом, невесело и с трудом удавалось ему окунуться в короткое забытье. Теперь так редко радуется дряхлое сердце... Но по утрам, проснувшись и убедившись в том, что еще жив, он ощущает подобие радости. В одиночестве,

когда можно не бояться постороннего глаза, он долго разглядывает свои жилистые, в набухших сосудах руки, словно видит их впервые, по очереди ощупывает все десять своих пальцев, унизанных дорогими перстнями, будто радуясь, что никто не отрубил их во время сна. Да-а...

Каждый из перстней имеет свою судьбу. Вот этот ярко-красный рубин, будто капля крови, оброненная в снег белым маралом, достался после набега на Бухару.

Тогда была молодость. В бескрайних равнинах рыжей степи, словно чесоточные волдыри на человеческом теле, возникали бугры городов, и на них обрушивались стаи его несметных туменов. Когда густая белая пыль обволакивала все небо и нарастал гул миллионов копыт, под которыми прогибалась земля, серый конь его начинал горячиться, подплясывать и нетерпеливо мотать головой, прося повод, и он с трудом сдерживал его и себя. Помнится, с одной стороны бесновалась дикая орда Зеравшана, с другой, будто пораженный проказой, маячил среди барханов и дюн пестрый город. Когда воины наконец разрушили крепостные стены и ворвались в город, он вскочил на ступени величавой мечети, увенчанной синим куполом:

– Город пал, теперь не время сдерживать коней!

Что тогда началось! Длинные пики, которые только что прокалывали тела, начали тыкаться в окна домов, эти слепые глаза шайтана. Тяжесть дубин крошила двери, кривые сабли повисли над затылками стариков, женщин, детей. Разве для кровожадных вояк, для тех, у кого ястребиное сердце, а глаза подобны глазам стервятника, не звучит приятней свирели змеиный шелест сабли, в ярости выхваченной из ножен? Есть ли большая радость и наслаждение, чем видеть умоляющие глаза и дрожащие подбородки? Трясущиеся руки и подламывающиеся ноги? Что толку от меча, если он никогда не был окровавлен? Что толку от ярости, не нагоняющей страха?!

Черная кровь, рекой залившая землю, еще не свидетельство достойной победы. Залог победы – это тускнеющие глаза и бессмысленность жалких слов, глаза, потерявшие блеск, и речь, лишенная смысла. Ты можешь по пояс бродить во вражьей крови, но отраднее увидеть хотя бы одну слезу унижения. Потому-то он после каждой битвы и оглядывает, ощупывает взглядом своих пленников. Их проводят мимо него вновь и вновь, до тех пор,

пока он не увидит, что слезы бороздят их лица. Только тогда он круто обрывает свой безмолвный допрос. Горе тем, у кого в глазах не увидит он покорных и жалких слез: тогда от города не остается камня на камне. Да, к милости победителя может взывать не гордый дух воина, а лишь слезы жалости.

К вечеру того дня, когда пала Бухара, предводители войск привели к его золотисто-пестрому шатру женщин побежденного города. Перед глазами, будто купеческий караван, прошли пленные красавицы. Жена городского начальника вошла в шатер, не склонив головы. Два стража, стоявшие у входа, уже подняли было сабли, чтобы снести голову гордячке, но он остановил их. Стражи силой поставили ее на колени, но женщина продолжала высоко и дерзко держать голову. Может быть, она, лишь недавно яркой звездой украшавшая образованное и высокородное общество, чтила честь мужа и своих соплеменников? Словно говоря, что стоять на коленях еще не значит быть покорной, она устремила глаза к небу и зашептала молитву. Выходило, что она молилась не ему, а всевышнему. Про себя он полюбовался умом и находчивостью упрямой красавицы. Когда она подняла руки, чтобы провести по лицу ладонями, на ее тонком длинном пальце ярким огнем блеснул драгоценный рубин. Она закрыла глаза, благоговейно пошевелила губами и отняла от лица руки. И в тот же миг он подал страже знак. Кривые сабли блеснули за спиной женщины, и десять белых, тонких, словно корешки камыша, пальцев упали к ногам повелителя. Теперь они были похожи на сухие ветви жузгена. Изогнутые губы гордячки плотно сжались, белое, как мрамор, лицо мгновенно вспыхнуло. Из больших, словно плошки, глаз выкатились две слезы, но, смертельно побледнев, она тут же застыла, словно окаменела, упрямая и непокорная.

И рубиновый перстень женщины, которая не убоялась властителя, сумевшего смять, как сухую траву, целых полмира, с тех пор по праву принадлежит ему. Старая память о несломленной женской гордости...

А это серебряное, слегка потускневшее кольцо? Оно досталось ему от старого кузнеца. Когда был захвачен Отрар, кузнец так хитро и неожиданно подкрался к нему сзади, что едва-едва не снес топором голову. Вот эта жемчужина принадлежала богобоязненному мусульмани-

ну, не оставившему самозабвенной молитвы, когда они ворвались в знаменитую, тягавшуюся по красоте с самим небом мечеть Самарканда. Бриллиант на указательном пальце был снят с мизинца честолюбивого сына Кавказских гор: перехватив вожделенный взгляд властителя, джигит в бессильной ярости полоснул кинжалом по горлу своего длинношеего аргамака. Кольца и перстни отбирались у всех, кто не испытывал трепета. А до чего же слепы и безумны люди! Он думал вначале, что их очень немного – тех, кто не ощущает страха перед владыкою мира. Но одни лишь перстни и кольца этих безумцев стали грузом для многих его караванов. Он не мог победить не только бесстрашную гордость, но даже такие неизменные людские пороки, как скупость и ненасытную жадность. Однажды – это было на базаре Термеза – какой-то купчишка на его глазах лихорадочно стянул с пальца и мгновенно проглотил перстень. Он приказал своему нойону проткнуть поганое скупердяйское брюхо и вытащить перстень. Вот он, тот золотистого цвета яхонт.

Сколько же тысяч пальцев отсекли его воины! Сколько их было, тех дерзких рук! Он определяет их число лишь примерно, по числу верблюдов, навьюченных кольцами. Да, это так: многие смертные не пожелали покориться ему. Но его войска знали, что делать там, где встречались такие люди: женщинам вспарывали животы и вырезали их материнскую утробу, а мужчин ловили и оскопляли, истребляя непокорное вражье семя. Иначе на земле не исчезнут непокорные...

Но в затеянной им кровавой гульбе уцелеют руки и ноги других людей, тех, кто не способен думать ни о чем, кроме собственной шкуры. И потому от шкурников будут рождаться только шкурники, со временем одни шкурники будут прозябать на земле. Хребет шкурника хрупок и слаб. В будущем и он, и его Чагатай, и Угедей, и Джучи, и все многочисленные, раскиданные по свету их потомки увидят только этих презренных людей, чьи головы будут трястись, как хвост чесоточной годовалой козы. Трясущаяся голова не в силах увидеть, что творится вокруг: люди потеряют не только ум, но и зрение. А зачем ему, его потомкам людское зрение? Довольно будет одних мускулистых рук и переступающих по приказу ног.

Увидев, что кольца на всех десяти пальцах в целости и сохранности, он повеселел.

Ему приснился сегодня сон: обнаженная и белотелая, с яркими, как звезды, глазами, юная девушка жарко ласкала его, повиснув на шее. Может быть, это видение помогло ему проснуться бодрее обычного. Да-а... Давно уже не появлялся он в своем гареме, где томились красавицы, собранные со всех четырех сторон света. Должно быть, он начал стареть: память не сохранила имен многих из них. Годы и дальние походы утомили его. Чтобы не обнаружить невзначай старческой немощи, он уже избегал женщин, но сегодняшний сон снова вернул ему мужскую уверенность.

Он хотел было позвать охотника Кахара, чтобы тот истолковал сон, и тут же раздумал, решив, что жизнь тот же сон, так же лжива, обманчива, и потому немыслимо всерьез верить обычным снам. Давным-давно, когда он неприкаянным мотался по свету, терпя нужду и лишения, он уснул однажды в каком-то углу и увидел сон: в голой безлюдной степи на его обглоданном черепе сидел стервятник. Тогда он проснулся в жутком страхе. Но не прошло с того дня и месяца, как его подняли на белой кошме, объявили ханом.

Он позвонил в колокольчик, вызывая стоявшего за дверью вооруженного слугу. Одежда, которую тот внес в шатер, была холодна.

– Почему так?

– Сегодня ночью выпал снег, – ответил страж.

И ему вспомнилось, что ежегодно, сопровождаемый метким стрелком Кахаром, он по первому снегу выезжал на охоту.

## 2

Во время охоты он не отпускал Кахара ни на шаг от себя. Кому неизвестно, что хороших стрелков опасно держать на большом расстоянии? Это плохих стрелков гораздо лучше держать подальше от себя.

Ему нравился его серый: хоть и низкоросл был конь, зато широк и длинен, с плоской, как лопата, спиной. На этой спине сиделось как на подушках в собственном шатре. Сидеть на коне с коротким корпусом все равно, что стоять на краю обрыва.

День был на редкость хорош. Пестрели вдали холмы, а в низинах сплошь белели снега. Как ни гляди вдаль, как ни приставляй козырьком ладонь, но легкий молочный туман размывает горизонт, смягчая и скрывая окрестно-

сти прозрачной завесой. Оба коня, разрывая эту завесу, приближались к распадкам нагорья: обросшее густым кустарником, оно было привольем для разного зверя.

На охоте он оставлял своих слуг позади, чтобы они не пугали дичь и не мешали ему. Они следили за ним издали. Но Кахар был давнишним преданным другом, сопровождавшим его еще в те времена, когда, гонимый судьбой, он скрывался от людей и скитался по свету. Тогда в безлюдных горах они жили совсем одни, вдвоем, и говорили друг с другом свободно и просто. Бывалый охотник не раз заставлял будущего властелина носить на спине убитых зверей, собирать кизяки и варить на костре ужин. Став повелителем, хан из далеких и диких гор призвал к себе друга-охотника. Стрелок Кахар беспечно ввалился в его золотисто-пестрый шатер, порывисто бросился к нему, не сдерживая смеха и слов. Сидевшие в шатре приближенные удивились, недовольно вытянув шеи. Уж не свихнулся ли этот малый?

Спустя два-три дня охотник сказал:

– Благодарю за радушие, но теперь я вернусь в горы.

– А что ты забыл в горах?

– Э, господин мой, поймешь ли ты все это? Мне скучно без сладкого кизячного дыма. Кизяк так вольно горит на ветру между слоистыми камнями. Я тоскую по дымному бульону из архарова мяса, а тебя кидает от него в пот, я истомился по своему лежбищу, покрытому шкурой медведя. Ее шерсть так нежно щекочет. В своей черной лачуге я волен греть у огня ноги и плевать во все стороны.

Когда он расхохотался, охотник Кахар обиделся и, не сказав ни слова, пошел прочь, а он смотрел вслед другу и, держась за живот, все хохотал, хохотал, пока слезы не выступили из глаз, и в шатре недоуменно переглянулись, не понимая, кто из этих двух лишился рассудка. Но однажды в том же шатре из желтого шелка его настигла тоска. Тело, облаченное в дорогие одежды, лишенное степного вольного ветра, неодолимо зудело. Забываясь, он то и дело поднимал руку, чтобы запустить ее под эти изнурительные шелка и чесать, всей пятерней чесать зудящую кожу, но взгляды сидящих вокруг сподвижников останавливали его, и он в ярости хватался за подбородок, теребил рыжую реденькую щетину. Они, его заправилы, набившиеся в шатер, целыми днями не спускали глаз с повелителя. Тогда-то он понял бремя славы и власти. Ему

стало понятно, почему охотник Кахар так рвался в горы. Те, что день за днем торчали в его шатре, раздражали и нагоняли скуку; он ни с кем не мог пошутить, не мог разрешить себе рассмеяться. Стоило губам его чуть вытянуться, как вокруг разом подобострастно рождались улыбки, если же он внезапно начинал хохотать, у тех глаза от ужаса лезли на лоб. О несчастные, они могли лишь вежливо улыбаться, словно рты их были залиты смолой.

Когда его совсем одолевала тоска, он приказывал подать коня и объезжал тумены своих войск. При этом он никогда не ночевал в шатрах предводителей, устраиваясь где-нибудь на холме, у караульных постов.

Внизу, вокруг холма мигали и, словно звезды ночного неба, роились бесчисленные огни, зажженные у походных юрт, а в небе мерцали, переливались звезды, словно огни несметных костров его войска, густо усеявших землю. Иные из этих звезд горели ярко, другие тускло тлели, будто угасающий уголек очага. Ниже, у подножия холма, фыркали кони, звучали разноязычные речи, чуялись шорохи и голоса. Причудливо сливаясь, они то звучали у самого уха, доносимые прохладным степным ветром, то приглушенно удалялись куда-то далеко-далеко, в безбрежную ширь степи. Время от времени с подветренной стороны доносился острый, кисловатый запах пасущихся лошадей. Запахи соленого пота, неукротимой ярости, пыли бесконечных и неоглядных дорог, запахи многих известных и незнакомых трав мешались и словно бодрили эту безмятежную, охваченную истомой ночь, призывали к чуткой бдительности. Они напоминали о том, что, как бы ни был отраден покой, завтра опять начнутся походы, опять предстоят битвы и муки, и запахи эти, как грозное предостережение, будоражили, ярили и волновали его.

Смывалась, исчезала грань между землей и небом, густой мрак окутывал окрестности. Вдали роились огни, и он забывал, что ходит по земле, что он сын земли, он ощущал себя божеством, самим создателем, пребывающим где-то на небе в окружении ярко светящихся звезд. И эти бесчисленные, трепещущие вокруг – на земле и на небе – огни казались ему робкими свечками в руках презренных созданий, упавших перед ним ниц; он, только один он мог, нанизав, как бусы, зажечь эти огни, он же был волен погасить их одним дыханием.

Тогда ему становилось тесно между землей и небом, грудь распирало от непомерной власти и силы, и его взбудораженное нутро мог утихомирить лишь тот же терпкий резкий запах, доносимый движением ночной прохлады. Щекочущий ноздри запах этот был приятней ему, чем струящийся и ублажающий сердце чистый степной воздух. Он подзывал к себе слуг, приказывал расстелить на вершине холма белую кошму, а любимое седло поставить у изголовья, с подветренной стороны. Вокруг кошмы слуги бросали волосяной аркан. Говорят, нет на свете такой твари, которая не пугалась бы запаха конского пота и жесткого лошадиного волоса. Даже разная погань – порождение самого дьявола, сеющего страх и ужас под покровами ночи, – и та отступает, бежит прочь, едва почует острый запах жеребячьего пота. Так оберегал он себя от гадов и разной ползучей твари. А от нежданных набегов, от покушений круглоголовых двуногих существ его охраняла стража из сорока верных воинов, которые до солнечного восхода не смели моргнуть глазом. На тот же случай, если среди них найдется кто-либо с черным помыслом, был у него преданный друг, меткий стрелок Кахар, способный за версту поразить в глаз дикую козу.

Но как бы крепко и безмятежно ни спалось повелителю, едва занималась заря, он вскакивал с постели. Воины еще вставали, а он уже давно был на коне, и никто, кроме стражи, не догадывался, где провел ночь властитель вселенной. Он любил объезжать войска, и при этом не чувствовал усталости, но всегда опасался, что от частых посещений и совместных трапез этот шумный сброд может слишком привыкнуть к нему. Даже в шатрах предводителей туменов он не засиживался; не подъезжал к юртам, где шумно и радостно готовилось в его честь обильное угощение. И в своем шатре он редко собирал военачальников, предпочитая вызывать их поодиночке и говорить с ними только наедине. Предводители туменов видели друг друга раз-другой в году и то лишь в крайних случаях.

Он и теперь старается не выказывать благосклонности к тем важным особам, которые бывают в его шатре. Заметив, что кто-то уже успел приноровиться к нему и принимает близость с ним как должное, он тотчас отправляет его куда-нибудь подальше. А те, что однажды были изгнаны, не стремились больше попадаться ему на глаза.

Каждый властелин похож на женщину, которая пригожа лицом, но имеет изъян на теле. Она привлекает мужчин своей внешностью, возбуждает в них страсть и любовь, но про себя постоянно терзается своим недостатком, ее преследует вечный страх потери. Ибо она предчувствует, что в тот день, когда откроется тайна, ее уже не будут считать красавицей. Так и всесильные мира: стараются вызвать к себе благоговейный трепет, а внутренне постоянно побаиваются приближенных, больше всего опасаясь, что кто-то невзначай заглянет в их зачастую гнилое нутро. Ведь всех придворных испокон века так и подмывает поскорее увидеть недостатки своих владык, как подмывает похотливых мужчин увидеть нагое женское тело. Поэтому он, властелин мира, сам пристально следит за своими придворными, убирая подальше от себя всех подозрительных, иначе ему самому не миновать беды. Ибо судьба правителя похожа на судьбу красивой женщины: он потеряет власть в тот день, когда людей перестанут удивлять и восхищать его дела и поступки.

Да, он многих заставлял поражаться. Сначала поразил своих родичей, которые долгое время косились на него: он заставил их подчиниться себе. А подчинив, удивил тем, что снял им головы. Одних ошеломил он незаслуженным повышением, а других беспричинным своим гневом. Ему было все равно, одобряют или не одобряют его поступки, важнее было поражать, удивлять, оглушать. Больше того, ему иногда дороже было недоумение, чем одобрение глухой толпы. Он не пускал в свой шатер тех провидцев, которые читали бы его сокровенные мысли, ему были больше по душе недалекие тугодумы, способные лишь восхищаться и удивляться каждому его слову. Потому-то он и держал при себе меткого стрелка Кахара. Тот мог за добрых полверсты услышать шорох ползущего муравья, но был совсем равнодушен к тому, что думали и делали люди. Кахар всегда удивлялся непостижимой доброте грозного и всесильного хана, который других заставлял грызть землю за малейшую провинность. Да и вообще многое в повадках властелина было Кахар-мергену совсем непонятно, как непонятен был знаменитый тибетский шаман-фокусник, который жевал раскаленные угли и живьем проглатывал змей. А ему, великому хану, властителю мира, разве все сразу становилось понятным? Так стихи льстивых и лживых акынов,

высокопарно воспевающих каждый его шаг, слагающих в честь его длинные дастаны, казались ему вначале пустобайством и словоблудием. Теперь он с явным удовольствием прислушивался к этим стихам...

Ночью выпал снег, и звери притаились, должно быть, дремали в своих норах, берлогах и лежбищах. Он ехал к черному узкому ущелью, где было устроено много западней и приспособлений для ловли зверя. Сосны и лиственницы, росшие на изъеденных ветрами камнях, были в снегу, от едва заметного дуновения, шурша, осыпалась снежная нависть. День выдался погожий, легкая, как пух, снежная мгла долго не рассеивалась. Кони осторожно ступали по каменистой тропе ущелья, повороты становились все круче и все труднее. Сбоку скатывалась горная речка. Она легко вспарывала и рассекала пушистый снег на дне ущелья. От черной-черной воды густо валил пар. По берегам стыли громадные валуны, наваленные когда-то неукротимым потоком. Темные снизу, белые сверху, они были похожи на сказочных гигантов, одетых в короткие не по росту шубы. Рядом с шаловливой речкой, задиристо, весело несшей свои воды, замерзшие, безжизненные, словно околевшие кони, валуны казались совсем неприглядными.

Вот так и жизнь, она похожа на мчащийся по старому руслу поток. Куда только спешит эта рокочущая, белопенная речка? С упрямой настойчивостью рвется она куда-то, словно войско вслед за врагом. И ей все равно, с какой горы начинались ее истоки, каким неприступным кручам она грозится, через какие валуны победно скачет. Где оборвется ее безумный бег? То ли упадет она в объятия бескрайнего могучего моря и исчезнет бесследно, то ли затеряется и заглохнет где-то в песках – об этом она не думает. Кто знает, может быть, и сама жизнь, которая так же невесть куда несет нас по своему течению, тоже бессмысленна, лжива, неопределенна, как этот бездумный поток...

Бурная речка существует, пока течет, смысл человеческой жизни в том, что она проходит. Ничтожный человек что щепка, гонимая волнами: волны подхлестывают ее, и щепка, все более оживляясь, дрожа, заражаясь яростью волн, мчится поверх течения, то натыкаясь на камни, то попадая в воронки. И, попав в эту круговерть, она уже не в силах остановиться. Бессмысленность этого не-

угомонного течения, ничтожность собственного существования человек поймет лишь тогда, когда волна вышвырнет его однажды на берег и он застрянет в топкой грязи, как те валуны. Но будет уже поздно: речка не потечет вспять, жизнь не начнется сызнова. Раз вышвырнет тебя из течения, веки вечные торчать тебе в грязи, словно вконец обессиленному дромадеру: будут омывать тебя дождевые потоки, обдувать ветры, и ты загниешь, превращаясь в прах. Но если ты даже не щепка, а камень, сорвавшийся с вершины скалы, все равно нет тебе возврата: острую, как нож, грань загладят, затупят, выровняют вода к ветер, твоя грозная тяжесть со временем улетучится, исчезнет. И ты не заметишь, как станешь однажды легким, словно перекати-поле.

Слишком поздно жалкие люди понимают свою жалкую участь. Разве те несчастные, которые когда-то выбирали его ханом, подняв на белой кошме, думали о том, как он поступит с ними завтра? Нет, не думали, хотя до этого вдоволь испытали немилость других правителей. Только два или три предводителя родов, выказывая безумство, отвернулись тогда от него, не желая признать его ханом. И он сказал им: «Уж коли вы лишились рассудка, я найду, чем излечить вас». Потом, когда он подчинял себе ничтожный сброд, он настиг строптивых смутьянов, разграбил, утопил в крови их аулы.

С тех пор он многое видел под этим небом. Во многих пышных дворцах на виду у грозных правителей помочился его конь. Молва о его жестокой силе распространилась по всему свету, и немного ныне сыщется храбрецов, которые не трепетали бы перед его именем, как перед самим Азреилом. Красавица гордится своей красотой, батыр – удалью, шешен-говорун любуется собственным красноречием. Он же упивался непомерной властью. Красавица находит наслаждение в том, что нравится мужчинам, батыр – в победе, шешен – в гладкой, красочной речи, он же – в своей безграничной жестокости, которая наводит на всех ужас и страх.

Так бы и упивался он своей грозной властью, шел бы по земле победной поступью, пока не завоевал бы весь мир. Но в тот день, когда он напал на один из городов на севере индийского государства, приснился ему сон.

После того как множество городов с синими куполами стер он с лица земли и, словно скорлупки ореха, раско-

лол черепа врагов, закатил он невиданный пир. Ему снилось, как после пира он спал в шатре и вдруг начал задыхаться. Тяжко озирался он по сторонам, не мог шевельнуться, будто свинцом налилось тело. Хотел было позвать стражу, но голос исчез. Казалось, что тело приросло к постели. И вдруг, шурша атласным пологом, кто-то живо юркнул в шатер, кошачьей походкой неумолимо подкрался к постели. Из длинных черных одежд блеснула кинжальная сталь, а он все лежал, не в силах пошевелить пальцем. Ночной пришелец приблизился, внимательно заглянул ему в лицо. Потом, не торопясь, поднял кинжал, приставил к его груди. Страх и ужас ворвались в душу, и закричал бы он диким, не своим голосом, завопил бы, но голоса не было, а кинжал вонзился острием в горло и вдруг упал ему между ключиц. Пришелец все той же кошачьей походкой направился к двери, обернулся. Где и когда он видел этого кадыкастого рыжего? Разве не каждый божий день видит он эти подстриженные медные усы и остроконечную бороду? Серые узкие глаза щурились и смотрели в упор, словно прицеливаясь. И голову он выжидающе, настороженно втянул, будто завороженный тигром. Да, это был самый опасный, самый грозный взгляд. Взгляни так на человека, любой – даже не робкого десятка – непременно смутится.

Не говоря ни слова и не здороваясь, пристально, в упор ощупай таким вот придирчивым, недобрым взглядом, и даже самые отчаянные храбрецы, сердца которых обросли шерстью, и те растеряются, обмякнут, как обмякает воробышек, завороженный змеей. А уж коли человек в замешательстве, заставить его открыться, подчинить его своей воле – проще простого. И потому он издавна предпочитал начинать допросы таким вот безмолвным взглядом. Теперь этот пришелец, незваный ночной гость, безмолвно допрашивал его самого и, казалось, видел насквозь. По спине его пробежал мороз, а пришелец скинул с плеч черную одежду и направился к выходу. На нем была безрукавка из медвежьей шкуры. Теперь он узнал его. Господи, так это же он сам! Когда его по пятам преследовали враги и он скрывался в ущельях вместе с охотником Кахаром, он выглядел точно так же.

Человек в медвежьей шкуре осторожно приподнял край полога и быстро выскользнул из шатра. У двери, под пологом, черным медведем возвышалась брошенная одежда.

Что это – сон или явь? На груди, обжигая холодом, лежал кинжал, он дотянулся, пощупал – никакого кинжала не было. Только на месте, где лежало оружие, кожа словно бы оледенела, и он проснулся в испуге.

Оказывается, он плакал во сне. Холодные слезы, стекая по редкой острой бороденке, омыли всю его грудь. Он поднял голову, глянул в сторону двери, но ничего не увидел, кроме жидких, тусклых лучей стоявшего за шелковым занавесом светильника. Больше он не мог уснуть, до утра пролежал с открытыми глазами. А утром ему захотелось, чтобы его сон истолковали, но он тут же решил, что люди, узнав, как неспокойно на душе у их повелителя, начнут судить и рядить. Нет, лучше не говорить об этом никогда никому.

Помнится, встал он, едва забрезжил рассвет, оседлал игреневого жеребца, поднялся на караульный холм. Внизу, у ног, словно истерзанная постель, лежал поверженный и разграбленный город. На улицах не было ни единой души, бесчисленное войско его, располагавшееся на ночь вокруг разрушенного города, только-только просыпалось. Ярко занималась летняя заря, то здесь, то там призывно играли кернаи. Но он чувствовал себя разбитым и усталым.

С того дня он лишился хорошего сна. Ни храп, ни ржание коней, ни победные кличи воинов уже не бодрили. Каждый раз, когда кто-либо входил в шатер, он невольно вздрагивал, старался скорее пройти мимо полога, ему чудилось, что кто-то подстерегает его за занавесом.

Но, когда исчезает сон, ум обуревают всякие думы. В огромном мире, погруженном в безмятежный сон, казалось, бодрствовали только страх и опасность, будто притаились они по углам просторного шатра и следят за ним, выжидают, когда у него закроются веки. Ночная безмерная тишина казалась ему намного страшней и опасней, чем поле битвы, над которым со свистом проносятся стрелы. На поле брани тебя бодрят, волнуют душу топот скачущих войск, ржание коней, грохот, крики, свист стрел и льющаяся повсюду кровь. А вот в такую скованную тишиной жуткую ночь сомнения и думы, словно ядовитые змеи, подкрадывающиеся в траве к твоим ногам, угнетают и вселяют изнуряющий ужас.

Много прошло времени с тех пор, как он покинул родные края. И хотя каждое желание его исполнялось, как

говорится, каждая стрела достигала цели, а по всей земле гремела его слава, он до сих пор не задумывался о бессмысленных, впустую потраченных прежних годах, годах той отпущенной ему жизни, которая уже начала его утомлять: ведь год, как он теперь понимает, – это всего лишь каверзная шелковая петля в руках костлявой старухи смерти, которую она кидает тебе на шею и медленно, чтобы не отпугнуть, подтягивает тебя к себе. А он до последнего времени даже не думал об этом. Между тем даже он, всесильный повелитель, потрясший мир, однажды во сне обливался слезами: видно, и в нем что-то стронулось и дрогнуло в страшном предчувствии. Значит, и его испугали старость и смерть, наводящие ужас на бездумных и глупых людишек.

Когда-то он отправился в путь, чтобы захватить соседние страны – Сартаулы[1], и, не сдержав горячку возбужденного несметного войска, забрался далеко-далеко, за тридевять земель. Головная часть его войска давно уже перешла Абескун[2] и вытряхивала пыль из другой половины света, а он едва-едва успевал за своими полчищами, сметавшими все на пути. И хотя над его головой все тот же золотисто-пестрый шатер, родные края остались далеко позади. Поработив чужие народы, он с трудом удерживает их на привязи, а на чужбине всюду подстерегают опасности и расплата. К тому же и возраст не тот, чтобы скакать без оглядки за безудержным войском через горы и долы. Родная безбрежная степь осталась где-то далеко, и кто знает, что там творится сейчас, пока он, опьяненный победами, неудержимо носится здесь... Пора, наверное, пора завещать остальные походы сыновьям и верным бахадурам, а самому спокойно править завоеванными народами. А то, не ровен час, застрянешь где-нибудь на чужбине, словно потерявший берлогу старый медведь. Да и до каких пор мотаться по белу свету? Года уже велики, силы его убывают, и однажды во время бесконечных набегов он явит воинам свою слабость и дряхлость. Не лучше ли, пока ты в силе и ступаешь в гору, вернуться в родные края, где за спиной не подстерегают враги? Ведь и со стороны, издалека, с почетного места золотисто-пестрого шатра можно нагонять ужас и тре-

---

[1] Так монголы называли мусульманские народы Средней Азии.

[2] Древнее название Каспийского моря.

пет на несметное войско, на бахадуров и сыновей, между которыми он разделит потом свое владычество.

Да-а... И вот он вернулся домой, и немало уже лет вновь ступает по родной земле. Он утомился в бесконечных походах, он изнурен нескончаемой верховой ездой и только теперь по-настоящему понял это. Но, хоть перина и стала милее седла, сонная мирная жизнь нередко раздражала его. Давно ли во время походов он общался лишь с предводителями туменов, решая судьбы завоеванных стран? Много было разных забот, и он на таких советах неизменно выказывал превосходство, после каждой битвы поражая воинов своим величием. Теперь вот нет ни высоких собраний, ни достойных советчиков. Никого не ослепляет его ум вкупе с безбрежной властью, разве что изредка из далеких стран наведываются послы либо нарочные. Да, теперь в его шатер заходят одни слуги, и здесь звучит один-единственный разговор: о еде и постели. Вчерашний грозный повелитель стал для них капризным, избалованным отроком, все только и хлопочут, чтобы угодить его прихотям. Не теперь сказано: если уж подвластный тебе люд однажды поставил тебя над собой, держи его в узде и страхе, ведь когда он перестанет тебя бояться, ты лишишься достоинства. Но если ни с того ни с сего, по всякому поводу кричать на своих рабов, то не мудрено отпугнуть беспредельно преданную тебе чернь. Вот почему, хоть и заблаговременно вернулся он в родной край, сорок сороков всевозможных дум изнурили его, вконец лишили покоя, и даже забавы охоты не могут развеять мрачных мыслей.

Минувшей ночью ему приснилась обнаженная женщина. К чему бы это? Ведь женщина снится обычно тому, у кого ничего не осталось, кроме игривых мечтаний о женских прелестях, или похотливому мужчине, проведшему в блуде всю пустую и праздную жизнь. Выходит, и у него не осталось уже других желаний и целей?..

Позади послышался пронзительный крик. Тихое, с утра охваченное дремой ущелье вздрогнуло. Он только теперь заметил, что кони уже сошли с горной, огибающей скалу тропинки и вышли на небольшую, обросшую сосняком полянку. Прямо за спиной что-то шлепнулось, из-за ели, густо обсыпанной снегом, заполошенно вымахнул крупный заяц и полетел мимо что было духу. Кто-то из стражи, предупреждая, зычно гикнул сзади. Выхватить из

колчана стрелу было делом одной секунды. Несчастный зверек, метнувшись в предсмертном страхе, еще раз исступленно прыгнул и, окровавленный, ткнулся в сугроб.

Вместе с Кахаром крупной рысью подъехали к добытой дичи. На белой-белой снежной пороше ярко алела кровь, ему опять вспомнился ночной сон:

– Интересно, есть ли на этом свете женщина с таким же белым телом, как только что выпавший снег?

Кахар-мерген перерезал горло еще трепыхавшемуся зверьку, сказал:

– Говорят, будто у бурхана тангутов Шидурге есть жена по имени Гурбельжин. Еще говорят, что когда она входит в ночной дом, то становится светло, словно бы днем. Только ее тело может быть белей первого снега.

– Ты говоришь, у тангутов?.. Чингисхан задумался.

## 3

Да-а... Было это семнадцать долгих лет тому назад. Там, где с черного склона высоких мохнатых гор, закипая, вытекает черная речка и, направляясь к северу, вдруг снова встречает на пути кряжистые горы и круто сворачивает на восток, в ущелье, находилось тогда на привале его войско. Днем и ночью, со всех сторон, взад-вперед на низкорослых лохматых лошадках скакали бесчисленные воины, а твердая песчаная земля была истерзана, она превратилась в пыль, будто ее толкли в ступе. Надвинувшиеся с двух сторон, окутанные вечным мраком черные горы и величавая прозрачная река были густо покрыты серой пылью.

Стояла осень. Дули холодные ветры, ночами на траве лежал иней. Воины, начавшие поход в середине лета, стали мерзнуть, они, не жалея, жгли можжевельник, росший по горным склонам. Столица тангутов даже близко не подпускала к себе. По донесениям редких перебежчиков, все горожане во главе с их правителем Ан-Цюанем днем и ночью находились у крепостных стен. Стоило только приблизиться к городу, как с той стороны, с высоты укреплений, на голову градом летели камни, лились кипяток и расплавленная смола. И как бы ни было много их, монгольских, облаченных в овечьи шкуры воинов, как бы ни копошились они вокруг, они были бессильны против хитростей этой дьявольской крепости, наскакивали и тут же откатывались назад.

Между тем надвигались зимние холода, и Чингисхан созвал в своем шатре всех тысячных и предводителей туменов, чтобы держать совет. Решили, что если город – порождение самого дьявола – будет сопротивляться и дальше, то нужно перекрыть реку и затопить крепость водой. Бесчисленные воины совместно с невольниками, нагнанными со всех окрестностей, спешно принялись строить плотину. Черная полноводная река, с грохотом падавшая с дремучих гор, изменив русло, хлынула в город. Вскоре подмыло грунт, и дома один за другим начали рушиться. Люди, словно муравьи, смытые половодьем, оказались в воде. Раздувшиеся утопленники, подталкивая друг друга, тысячами плыли вниз по течению, а те, у которых в груди еще тлела жизнь, карабкались на крыши уцелевших домов и неотрывно смотрели на хмурые ущелья мрачно насупленных гор, надеясь, что соседние племена-шуршуты придут на помощь. Но напрасно они надеялись, тщетно молились создателю, никто не пришел на помощь... Дремучие горы были безмолвны. Ко всему в одну из беспросветных ночей промозглого месяца акрап[1] обрушился невиданный ливень, будто прорвался небесный купол. Селевой поток казался забавой в сравнении с этим потопом. Основания обнажались у пышных дворцов, стоявших твердынями до сих пор; еще вчера могучая столица тангутов, державших в страхе и повиновении Тибет и Северный Китай, стала похожа на растрескавшуюся чашу, наполняемую мутной водой. Казалось, что взбесившийся, все сокрушающий поток вот-вот снесет с лица земли город, не оставит камня на камне. И жизнь кончится, хлынув в долину грязной, помойной жижей.

Но тут стоявшие на крышах тангуты увидели вдруг, как забегали, отчего-то засуетились монголы, как там, внизу, за городскими стенами, все разом пришло в движение. Оказалось, что неукротимый поток разрушил плотину, и теперь вода стремительно обрушилась на осаждающих. Растерянные монголы в панике бросали свои походные юрты, спеша на лошадях подальше от гиблого места.

Ливень выдохся лишь на исходе дня. К вечеру монголы отправили к тангутам посыльного, и обессиленное, измученное войнами государство признало свою зависимость

---

[1] Название октября по звездному календарю.

от монгольского ханства, а правитель Ан-Цюань согласился отдать любимую дочь Чингисхану. Так Чахэ стала третьей женой великого повелителя. Чингисхан решил, что, взяв себе в жены тангутку Чахэ, он породнится со строптивым, умеющим строить города и крепости племенем и тем будет держать его в своей властной руке.

Однако эта родственная близость длилась недолго. Восемь лет спустя Чингисхан отправил к новому правителю тангутов Дэ-Вану своего посыльного с таким наказом: «Когда-то вы обязались быть моей правой рукой. Но все эти годы я не беспокоил вас ни единой просьбой, вы не испытали тяжести моей власти. Черед ваш теперь настал. Я не могу быть спокойным, пока не захвачу соседние племена Сартаулы. Я готовлюсь в поход, пусть же и ваше войско примет участие в нем».

Но едва успел посыльный передать наказ повелителя, как один из знатных князей по имени Аша-Гамбу, не дав Дэ-Вану даже раскрыть рта, сказал: «Передай Чингисхану: нечего ему замахиваться дубиной, которую он не в силах поднять, а коли он бессилен, пусть отрекается от ханства».

Разве такой ответ ждал он от тангутов? Посыльного, принесшего эту весть, он в ту же ночь приказал казнить, а месяц спустя пошел походом на Сартаулы. Немало городов потопил он в крови, не один десяток тронов опрокинул после того, и уже забылись было обидные речи тангутского князька. Но, когда он находился в Индии, тангуты снова подняли голову. Они посылали своих нарочных в соседние страны, призывая объединиться, чтобы сообща разгромить монголов. Такая до него дошла весть, и это была одна из причин его спешного возвращения на родину. Однако он умел хранить свои тайны. Никто не узнал об этой причине.

Вернувшись, он, чтобы удивить тангутов, начал мирную жизнь без набегов и войн. И тангуты были поражены: грозный правитель, подмявший под себя полмира, вдруг безнаказанно проглотил их оскорбление и даже не помышляет о мести. Но, когда они окончательно поверили в его миролюбие, Чингисхан, выжидавший столько времени, решил поразить их.

Да, он терпеть не мог преждевременную хвастливую трескотню, он предпочитал все, что бы ни делал, совершать неожиданно, как повеление самой судьбы, самого

рока, решительно, с лету, чтобы сразу ошеломить врага, не дать ему опомниться.

И то, что он увидел во сне белотелую красавицу Гурбельжин, он воспринял как предзнаменование, как доброе напутствие судьбы на большое новое дело.

Посол Чингисхана принес тангутам его слова: «Помня о вашем обещании быть моей правой рукой, я перед тем, как отправиться в доход на давно тревожившие меня племена Сартаулы, обратился к вам с просьбой дать мне ваших воинов. Но вы не только отказали, тем самым нарушив священную клятву, но и оскорбили, унизили мое всему миру известное имя. Я был тогда так занят, что не мог потребовать с вас ответа за эту дерзость. Поход в страны Сартаулы окончен. С помощью и поддержкой самого создателя я направил страны Сартаулы на путь истинный и благополучно вернулся на родину. А теперь, бурхан[1], я думаю настал час расплаты за сказанные тобою слова».

С таким грозным наказом отправлен был посыльный к тангутам, и целых пятнадцать дней не было о нем слуха. Только на шестнадцатый день, еле живой, посол появился перед золотисто-пестрым шатром и, едва переступив порог, бросился на колени, согнулся в поклоне. Взглянув на искаженное лицо посланника, Чингисхан сразу понял, что тангуты в зеленых чапанах[2] не приняли условий. Сидевшим в шатре было заметно, как мнется растерянный посол, они привстали было, чтобы выйти, но повелитель поднял правую руку, и все разом застыли на своих местах. Обычно великий из великих беседовал с послами наедине, потому и удивил этот жест всех присутствовавших. Посланник заговорил.

Узнав об условии Чингисхана, о том, что Дэ-Ван должен или прислать ему сына в заложники, или немедленно оседлать боевых коней, правители тангутов опешили, будто пораженные молнией. Знатные князья завопили в один голос: «О повелитель! Монголы – это все равно что дикие звери, рыскающие по степям и горам. Уж лучше, когда этот зверь лежит, оскалив зубы, чем кидается на тебя, разинув пасть. Если ты не отправишь своего наследника

---

[1] Так монголы называли главу тангутов.

[2] Верхушка тангутов носила одежду зеленого цвета, низы племени надевали черное.

монгольскому хану, твой народ обречен на погибель». Дэ-Ван, дрожа всем телом, вскочил с трона:

«Я не могу единственного сына толкнуть в пасть льва, швырнуть в драконье логово! Разве мы не народ?! Разве нет у нас чести?! Соседние страны и народы сочувствуют нам». Потом, повернувшись к посланнику, Дэ-Ван сказал: «Передай своему повелителю: пока я жив, мой сын будет со мной и в моем дворце».

Чингисхан усмехнулся. В шатре переглядывались. Чингисхан подозвал посланника ближе и подал знак: удивляясь, недоумевая, знать потянулась к выходу.

## 4

– Где бурхан? Горе! Монголы захватили Черный город.

– О мой повелитель! Сучжоу сровняли с землей! Жители перерезаны поголовно.

– О мой повелитель! Лянчжоу без боя сдался монголам!

В течение трех дней только такие донесения слышал прикованный к постели Дэ-Ван. Со всех концов страны, загоняя лошадей, скакали к нему посыльные с плохими вестями, но он не проронил ни слова. На четвертый день, рано утром, тяжело дыша, вбежал к нему измученный спешной ездой очередной гонец и, увидев бездыханное тело повелителя, как оглушенный, застыл у порога.

## 5

Окутанная маревом, притягивающая взор роскошная Сэ, последняя столица тангутов, превратилась в развалины. Богатство и слава еще вчера могущественного государства тангутов, вселявшего в одних надежду, в других ужас, теперь улетучились, разлетелись, словно стая трусливых ворон, наклевавшихся мертвечины.

Скоро, очень скоро городские развалины обернутся буграми рыжих холмов. А потом и холмы зарастут травой, похожей на овечью шерсть весенней стрижки. Ничего не останется от шумных людских пристанищ, одни суслики начнут шастать вокруг. И будет одиноко торчать в степи безымянный, всеми забытый холм. Может быть, утомленный дальней дорогой путник взберется на его вершину, чтобы оглядеться окрест, стреножит коня, а сам падет на сухую некошеную траву, потянется телом, изби-

тым монотонной верховой ездой, и немного вздремнет. И ничего не подумает, даже не приснится ему, что под этим холмом звенел когда-то смех, шумела толпа, что когда-то тут яростно спорили, бились, любили и рожали детей. Безмятежно подремлет проезжий, встанет, потом развяжет пояс, чтобы тут же, на вершине безымянного холма, хранящего неведомую потомкам историю, справить немудреную свою надобность. И опять, взобравшись в седло, пустит коня все той же монотонной рысью.

Это будет потом. А сейчас следы вчерашней жизни еще не исчезли совсем. Вон на отшибе, словно громадный, опущенный на колени одногорбый верблюд, дымится руина – это все, что осталось от дворца тангутских правителей. Слышно, как в громоздких корджунах, переметных сумах, гремят и звякают тангутские драгоценности, еще вчера они бережно хранились как нечто неприкосновенное. Даже несчастные твари – собаки и те разбежались по окрестностям. По ночам они воровато подкрадываются к разрушенному городу, обнюхивают холмики в тщетных поисках родного жилища, привычной конуры, лоханки, хозяина, при виде которого, бывало, так приветливо махали хвостами. Тоскуют собаки по родным дувалам, где, не щадя ног, бегали с громким лаем, едва услышав дальний подозрительный шорох.

Еще вчера вся эта жизнь казалась им незыблемой, теперь же все превратилось в прах. Игривый ветер, дразня чуткие ноздри, доносит запах свежей конины и прокопченных, покрытых жиром котлов, но обездоленным псам никогда не осмелиться подойти к чадным кострам. Спасаясь в пустынной степи, они то жмутся к земле, терзаемые тоской, то становятся в ряд, вытягивают морды и, водя отощавшими боками, воют, воют до хрипоты, до изнеможения. Запах, идущий от незнакомых котлов, мешается с запахом крови и разлагающихся трупов, у собак тошнотворно кружатся головы и темнеет в глазах. И они продолжают выть, выть до рези в брюхе. А что еще может собака, кроме как лаять в мирное время и выть, когда приходит напасть? То ли утомил пришельцев этот вой, то ли искали они забавы в незнакомом краю, но эти люди обрушились теперь и на псов. Многих собак пронзили стрелы, проткнули пики. Вокруг поверженного, разрушенного города стоял неслыханный гвалт, шум и визг.

У развалённых дувалов остались лежать рабы и знатные князья, простой люд и собаки побежденной земли.

...Целый год мужественно продержалась столица тангутов Сэ, но не смогла устоять. Пока город держался, монголы захватили все земли тангутов, и этот рыжий холм стал местом последней битвы не сдававшегося живым народа.

В минувшем году, когда враги впервые на белом песчаном плоскогорье открыто схлестнулись друг с другом, тангуты гордо и даже с вызовом выехали из каменной крепости. Вначале появились всадники на богато украшенных конях. Шли они ровными рядами, важно и грациозно. Каждый сидел в седле, явно красуясь, будто не воин, а жених со свитой, отправляющийся к невесте. Грудастые, как на подбор, длинношеие скакуны до самых колен укрыты были богатыми попонами, одно седло и сбруя могли бы стать поклажей для верблюда. Стальные высветленные стремена ослепительно блестели, дерзко перемигиваясь с самим небесным светилом. На рослых, громадных конях, под тяжестью которых прогибалась земля, восседали закованные в доспехи воины, длинные тяжелые копья в их руках, казалось, угрожали не только монголам, но и всему миру.

Мощная конница приближалась, звеня, бряцая и грохоча, будто хотела раздавить и смять единым махом невзрачных монголов вместе с их низкорослыми лохматыми лошаденками. Вид тангутской конницы был страшен, а железные доспехи и украшения клацали и скрежетали так, словно само чудовище Молох точило перед бойней зубы, и от всего этого скрежета съеживалась на голове кожа. Это были прославленные «железные ястребы». Они не однажды терзали китайские и тибетские полчища, теперь же неумолимо и уверенно, вразвалку, точно вышедшие на выпас молодые и сильные самцы-верблюды, сплошной стеной надвигались на монголов. И от гулкого боя кованых копыт дрожала земля.

«Немало стран поработил Чингисхан, немало народу истребил, но такого грозного величия и пышности еще не видывал. Перед этими закованными в железо «ястребами», даже на смерть взиравшими с гордым презрением, его вояки казались полуголыми мальчишками, посаженными на стригунков.

Скрежет и грохот тангутской конницы приближались; впереди ровной, стройной цепью в кольчугах и латах цвета крови шли военачальники. Железные шлемы с золотис-

тыми гребешками издали манили к себе, сверкали и слепили глаза. По поясу, ниже панцирей, туго затянуты яркие широкие кушаки, золотые кисти которых закрывали колени и развевались, словно шерсть на задних ногах холощеного верблюда. Сзади, на расстоянии ягнячьего перегона, шли главы войсковых тысяч, в серебряных шлемах, а еще чуть поодаль, в стальных шлемах, – сотские. Прежде чем обе стороны сойдутся лоб в лоб, те, что в золотистых и серебряных шлемах, раздвинутся и отойдут на фланги, а в бой, презрев опасность и смерть, ринутся закованные в сталь «железные ястребы».

И он подал знак предводителям туменов. Легкие, вертkие воины на лохматых лошаденках диким наметом обрушились на левый фланг тяжелой тангутской конницы. Конники развернулись и встали перед монголами железным заслоном. Немало монголов, налетавших на всем скаку на этот заслон, в мгновение ока затрепыхалось на концах тангутских копий, многие полегли и от секир, вытащенных тангутами откуда-то из-под ног. Сходясь лоб в лоб с «железными ястребами», монголы, точно овечьи тушки, вылетали из седла в воздух и, пронзенные, изрубленные, замертво падали под копыта коней. Но шедшая чинным строем тяжелая конница, должно быть, растерялась от этих бесшабашных, безумно дерзких наскоков опытных, ловких, стремительных монголов и, отражая эти наскоки, устала сама, обессилела, будто неуклюжий ожиревший пес в драке с шавкой. Изворачиваясь и уклоняясь от тяжеловесных ударов тангутов, монголы все чаще и чаще наносили быстрые, точные ответные удары, одну за другой сносили головы в железных шлемах. Со звоном и грохотом скатывались головы «ястребов» под ноги коней, но обезглавленные тела, наглухо закованные в железо, не валились, а оставались в седлах, лишь слегка наклонившись вперед. Все смешалось на белом, голом плоскогорье.

К полудню «железные ястребы» были наголову разбиты. Густогривые, статные скакуны, неся в седлах обезглавленные тела в кольчугах и латах, все тем же единым, ровным строем понеслись в безлюдную степь.

Но городские ворота вновь распахнулись. Теперь оттуда вымахали грудастые, с громадными, туго налитыми горбами и с развевающимися на шеях черными лохмами племенные верблюды, а с неба тотчас же посыпались,

повалились камни. Прикрученные к верблюжьим седлам камнеметы обрушили на легкую монгольскую конницу каменный град: булыжники с устрашающим свистом опрокидывали коней и всадников. Монголы повернули обратно, а когда более быстрые, чем верблюды, кони вынесли их из-под каменного дождя, на них бросились пешие воины тангутов. Изнуренные сечей с тяжелой тангутской конницей, монголы не выдержали нежданного натиска, дрогнули, обратились в настоящее бегство. Разгоряченные тангуты, почувствовав близость победы, бросились догонять врагов и вскоре рассыпались по степи отдельными группами. Тут-то и появились из засады свежие тумены с криком и воплями вихрем обрушились на усталых тангутов.

Так наказал он тангутов. На поле брани от прославленной, грозной армии остались одни трупы. Шидурге, занявший трон после смерти Дэ-Вана, с малочисленным уцелевшим войском укрылся в крепости. Чингисхан прекрасно знал, сколько войска осталось у Шидурге, не стал напрасно тратить свои силы и решил взять тангутскую столицу измором. Перед крепостными стенами запестрели шатры и походные юртчонки монголов. Рядом с непокорным городом обосновалось множество шумных, оживленных аулов: Чингисхан твердо решил не снимать осады, пока не перемрут с голоду укрывшиеся в крепости тангуты. Бои прекратились. Но, сколько ни ждали монголы, послы с белым знаменем не спешили появляться у стен, и упрямое, безмолвное выжидание длилось целый год. Над городом тучей кружилось черное воронье. Оно тяжело хлопало крыльями, довольно и сыто каркало, словно хохоча над людским безумием, и от этого несмолкавшего грая холодела душа.

Прошла зима, наступило лето, но Шидурге все еще не сдавался. В амбарах и складах, должно быть, давно кончились все запасы, а ворота не открывались. Чингисхан упрямился и терпеливо выжидал своего. Над городом все реже и реже вился дымок; тангутских голов, то и дело высовывавшихся из-за стен, становилось все меньше. И тут монгольские войска, изнывавшие от затянувшегося безделья, не в силах больше терпеть, бросились в бой. Но биться было уже не с кем, в городе нельзя было ступить ногой: всюду валялись трупы. Когда монголы ворвались в город, столько черных ворон, оглушительно каркая,

поднялось в воздух, что на миг скрылось солнце, а вокруг стало темно и жутко, как при затмении. Шидурге, потерявший надежду на помощь соседей, был равнодушен к падению своей столицы. Скорей всего он был доволен, что наконец-то кончились страдания и муки этой позорной жизни, изнурившей народ. Зная это, Чингисхан еще три дня продержал его в собственном дворце, не выпуская и не убивая, заставив терзаться бессилием и неведением.

На четвертый день стража привела к хану измученного голодом бледного Шидурге. Правитель тангутов был в расцвете лет, должно быть, ему было немногим более тридцати, но от него остались одни кости. Он старался с достоинством держаться перед надменным завоевателем, он облачился, как и подобает правителю еще недавно могущественного государства, но тонкая, как былинка, совсем прозрачная шея едва выдерживала тяжесть короны. Как бы ни свирепствовал голод в осажденном городе, не должен был так изнурить себя правитель: видно, Шидурге был человеком самолюбивым и мнительно суетливым.

Чингисхан недолюбливал свое важное место на троне, он сидел на медвежьей шкуре, поджав под себя ноги. Когда Шидурге, не склонив головы, вошел в шатер, Чингисхан не уставился, как обычно, на пришельца в упор, а лишь покосился, не заговорил он и с предводителями туменов, чинно сидевшими по обе стороны. Он подозвал к себе двух-трех слуг и долго давал распоряжения по поводу завтрашнего – в честь победы – грандиозного пира. Потом обстоятельно, до мелочей, расспрашивал об этом же пире еще двух и лишь после этого разрешил им покинуть шатер.

В шатре воцарилась мертвая тишина. Чингисхан все еще не удостаивал взглядом Шидурге. Вошли двое совсем еще молодых предводителей сотни и, робея перед многолюдной ханской свитой, смущенно устроились у порога. Чингисхан устремил взгляд на них, хриплым, тихим голосом начал речь. Говорил он едва слышно, чтобы слушали особенно внимательно и напряженно, он ронял каждое слово ровно, без особого выражения, иногда растягивал, оттеняя и подчеркивая слова. Его лицо не выражало ни снисходительности, ни ложного сострадания. Насколько мягок был голос, настолько суровым было выражение

лица: ни на низком покатом лбу, ни в узких темно-серых глазах никто никогда не нашел бы следов свирепого гнева или необузданной ярости, мстительности или пронизывающей насквозь ненависти. Только под тонкими кончиками усов скрывалась едва заметная, таинственная ухмылка, и холодок этой ухмылки на невзрачном, унылом, как осенняя степь, плоском сером лице озадачивал, навевая невольный страх.

Но и ухмылка Чингисхана, и его скользкий, быстрый взгляд не произвели на тангутского пленника никакого впечатления. Шидурге старался и не мог понять: как невзрачное это существо, не имеющее ни привлекательной внешности, ни грозного вида, этот маленький, в комок сжавшийся, незаметный человечек, словно дряхлая старушонка, сидевший перед ним на медвежьей шкуре, мог со своими невежественными вояками победить могущественную страну? Сломить, несмотря на отчаянное сопротивление, народ со столь развитым искусством, наукой и благосостоянием, о чем завоеватели даже не имели понятия? Он никак не мог себе объяснить: каким образом эта серая личность, похожая на птенца пустельги, могла смешать с землею столь именитых, будто само небо, могущественных правителей и владык? Кому и чему поклоняется безумие этой дикой орды, разрушающей города и селения, захватывающей бесценные, созданные трудом человека сокровища, швыряющей их в своем невежестве под ноги, топчущей все на земле?! И вот он сидит, великий завоеватель, будто тушку ярки, подмявший под себя полмира, и, словно стервятник на падали, вприщур поглядывает вокруг. А ведь когда эти дикари хватали друг друга за глотки и, подобно бешеным псам, грызлись из-за тучных пастбищ и полноводных озер, занятые суетой жизни люди и не ведали, о чем помышляют племена за горами, были беззаботны. И вот какой-то проходимец, возглавив невежественные полчища, вырубил на корню, уничтожил все, как саранча уничтожает посевы.

Словно желая показать, что он прекрасно понимает, о чем сейчас думает Шидурге, Чингисхан смерил его долгим, испытующим взглядом и снова отвел глаза.

От унижения давно уже все кипело внутри Шидурге: он больше не мог сдерживаться и громким, резким, как клекот, голосом, чтобы услышали все, кто сидел сейчас в золотисто-пестром шатре, воскликнул:

– Эй, Чингисхан!..

Чингисхан обернулся, но, не давая Шидурге закончить, распорядился, чтобы в шатер позвали охотника Кахара.

– Где, ты говоришь, есть единственная на свете женщина с телом белее снега?

– Мой повелитель! Я слышал: если есть такая женщина на земле, то это может быть только Гурбельжин, жена хана Шидурге.

– Тогда я поручаю охрану Гурбельжин тебе. Завтра, когда кончится пир, ты приведешь ее ко мне. А если до этого ее коснется хотя бы ветер, я сниму твою голову.

Охотник Кахар вышел. Теперь Чингисхан весь повернулся к Шидурге. Лицо Шидурге побелело еще больше, глаза лихорадочно заблестели:

– Эй, ты! Кичливый и глупый хан! Если на земле останется хотя бы один тангут, час возмездия грянет и над твоей головой. Жизнь моя в твоей воле. Казнишь или помилуешь – тебя самого покарает судьба, умрешь – кара постигнет твоих потомков!

Шидурге больше ничего не мог сказать: задохнулся от гнева.

Никто из сидевших в золотисто-пестром шатре не проронил ни слова. Вся эта орава сановитых и досточтимых застыла в выжидательных позах, с любопытством, будто на драку двух разъяренных псов, глазея на поединок. Ни у кого на лице не было недоумения, из-за страха перед Чингисханом все скрывали праздный зуд любопытства: «Что же будет дальше?» Чингисхан, уставясь на Шидурге, хитро усмехнулся. Он давно уже знал, что тангуты упрямы, самолюбивы и мстительны. Это у них существует обычай: не оставлять в покое обидчика, пока не отомстишь ему сполна, пока не проглотишь несколько ложек его ненавистной крови. Это им принадлежит страшная клятва: «Если я не отомщу врагу, пусть с головы моей спадут волосы, пусть останусь без пищи, пусть жена и дети пойдут по миру и околеют с голоду, пусть подохнет весь мой скот!» И если в семье тангута не найдется мужчины, способного мстить, он пригласит к себе в гости всех соседей и родичей, уважит и угостит их от всей души, а потом начнет умолять, чтобы кто-нибудь потребовал от врага кровную плату.

Вот на что намекал сейчас Шидурге! Он был уверен в том, что когда-нибудь потомки тангутов, торжествуя,

злорадствуя, из черепа владыки, сокрушившего полмира, выпьют вино, смешанное с кровью сивого пса. Вот чего он захотел! Безумная надежда всех поверженных – возлагать мечты и чаяния на потомков.

Чингисхан гневно уставился на Шидурге.

– Никто, кроме самого всевышнего, не посмеет мне угрожать. И если найдется желающий отрубить мне голову, что ж, поживем – увидим. Ну а тех, кто хочет тревожить покой моих потомков, лучше истребить поголовно! Чтобы после не было досады.

И двое вооруженных секирами воинов поволокли Шидурге из шатра.

## 6

Долго вглядывалась она в уродливые развалины и груды камней – остатки мощной стены, огибавшей бурханский дворец, но бурхан Шидурге исчез, словно канул в воду. Всадники в черных железных шлемах, оцепив дворец, выстроились на своих низкорослых конях на расстоянии десяти шагов друг от друга. Ни одна живая душа – ни с той, ни с другой стороны – не могла проникнуть через это кольцо. Над головами мрачно застывших воинов грозно ощетинились пики, и даже птицы покинули некогда тихий, уютный дворцовый сад. Стояла вымороченная тишина. Казалось, все живое забилось в норы и затаило дыхание. В огромных, растянувшихся на расстояние конных скачек дворцовых покоях тоже будто не осталось людей: ни шагов, ни скрипа дверей не было слышно.

Мучительно прошли для нее три бесконечных дня. Сегодня в полдень у разрушенных ворот вдруг появилось несколько человек с кривыми обнаженными саблями, и при виде их Гурбельжин как будто почуяла облегчение. Она знала, конечно, что эти люди идут вовсе не для того, чтобы сообщить хорошую весть, но ей чудилось избавление от нестерпимой, изводившей ее тишины. Она оторвалась от окна, поспешила к зеркалу. Презренный враг не застанет ее врасплох, простоволосой и неодетой, кровожадные, все замечающие глаза палачей не увидят ее неряшливой, она не даст стервятникам повода для злорадства.

Внимательно осмотрев себя в зеркало, она взошла на четырехугольное возвышение из слоновой кости, стоявшее в глубине просторного зала. Опустилась на колени и аккуратно, со всех сторон подоткнула одежду. Вышитую

золотом шапку, щедро украшенную драгоценными камнями, с трудом выдерживала ее слабая шея, однако ханша высоко держала голову. Она сложила руки крест-накрест и застыла, спокойно глядя на дверь. Казалось, весь зал наполнился грохотом, но этот гулкий топот пронесся мимо. Она не шелохнулась, продолжая сидеть в той же позе. Все дальше и дальше удалялись шаги, вскоре они и вовсе затихли, зловещая тишина опять застыла в покоях ханши.

Она расслабила онемевшую от напряжения шею и подошла к окну: по каменным плитам двора люди с кривыми саблями вели ее Шидурге. Воины на лохматых конях расступились, пропуская стражу с пленным бурханом. Между сверкавшими на солнце обнаженными саблями блеснула золотая корона Шидурге и тут же исчезла.

Ханша долго и неосмысленно глядела на опустевший двор. Перед ее глазами все еще не исчезало видение: Шидурге, небольшого роста, с надменно поднятой головой гордой походкой шел среди сверкающих сабель. Он все шел и шел по давно не метенным, пыльным, уныло-серым каменным плитам, и она, не отрываясь, следила за ним, надеясь, что он обернется и скажет ей что-нибудь на прощание. Нет, Шидурге не обернулся. Вот идет он все дальше, гордо неся голову в окружении обнаженных сабель, и нескончаемо тянется эта площадка, покрытая густой серой пылью...

В дверь неожиданно постучали. Ханша не поняла, что это был за стук, оглянулась. Правая створка огромной позолоченной двери окрасилась в цвет крови. Кровь разливалась все шире и шире, она заливала дверь и стену. Ханша брезгливо отвела взгляд от кровавой стены и посмотрела на дверь. Там, у порога, низко, до самого пола, клала поклоны служанка. И дверь, и стены, залитые кровью, вдруг разом исчезли, зал обрел свой прежний унылый вид.

Прямо перед ней стоял старый казначей. Как это было принято в мирное время в тангутском дворце, он был облачен в длинный багрово-красный суконный халат. Из-под подола, украшенного позументами, высовывались синие кожаные кавуши с загнутыми носами. Обеими рукавами старик как бы упирался в наборный блестящий ремень, затянутый ниже пояса. Лоб казначея бороздили глубокие морщины, продолговатые глаза были потуплены. Густая, с сильной проседью растительность начиналась у него

прямо под большими торчащими ушами и заканчивалась под подбородком, концы усов поникли, прикрывая уголки рта.

Ханша с удивлением глядела на вытянувшегося перед ней старого казначея. Бледные, дряблые стариковские губы шевелились, должно быть, он говорил что-то, ханша, ничего не понимая, кивала ему головой.

Казначей взглядом указал во двор, дернул плечами. Ханша глянула в окно: во дворе было по-прежнему пустынно. Она опять посмотрела на старика. Тот, явно поражаясь, долго смотрел в ее бессмысленно-пустые глаза, потом подал служанке знак. Та, не разгибаясь, послушно вышла на середину, достала из длинного широкого рукава круглое серебряное блюдце, поставила его на четырехугольное сиденье у стенки. Потом отступила и встала позади старика.

Низко и глухо гудел в огромном зале голос старого казначея. Ханша ничего не понимала, она словно застыла в оцепенении.

Старик наконец сделал паузу, выжидательно уставился на ханшу. Но она молчала по-прежнему, и тогда он снова дал знак служанке. Служанка, размахивая длинными рукавами, вновь подошла к четырехугольному сиденью, со звоном положила что-то в серебряное блюдце и тут же отступила на прежнее место. Гурбельжин заметила на блюдце широкий, с небольшим голубоватым камешком золотой перстень.

Снова, заглядывая в лицо ханши, ожидая ответа, заговорил старик. Он сам направился в глубину зала, склонившись, осторожно взял из блюдца кольцо, извлек из него дымчато-голубой камешек и показал на дне углубления несколько зеленых кристалликов. Что говорил старик, что он от нее хотел, Гурбельжин не поняла и на этот раз.

Тогда он поставил камешек на место, положил кольцо на блюдце, отнес к сиденью и сказал что-то служанке. Та вдруг смутилась, растерянно глядя то на старика, то на ханшу. Казначей отвернулся. Служанка, не спуская со старика глаз, медленно развязала пояс. Из-под атласного халата блеснуло гладкое, с розоватым оттенком, лоснящееся и совершенно обнаженное тело. Ханша вздрогнула. Только теперь она вышла из оцепенения и, словно завороженная, смотрела на служанку. А та вдруг согну-

лась, сунула руку куда-то под халат и непостижимо откуда извлекла желтоватый, длиной с дождевого червя, предмет, узкий и плоский. Запахнув халат, она хотела было положить этот предмет на серебряное блюдце, но старик, стоявший спиной, вдруг подскочил к ней и схватил за руку. Служанка остановилась, она вся побледнела. По тому, как она до крови закусила губу, было видно, какой страшный стыд испытывала она в ту минуту.

Старик вытащил из кармана своего багрово-красного халата точно такой же, только розового цвета, предмет. Словно желая еще более удивить изумленную ханшу, он открыл этот продолговатый предмет, извлек из него что-то совсем тонкое, блеснувшее стальным блеском. Из другого кармана казначей достал плетеную маленькую камчу и один конец подал служанке. Едва коснувшись блестящим предметом сыромятного ремня, он развалил его на две части и посмотрел на ханшу, как бы спрашивая: «Поняла ли ты наконец?» Он открыл маленький розовый футлярчик, вложил туда острый блестящий предмет, отнес к серебряному блюдцу и опять указал на двор. Совершив все эти манипуляции, старик и служанка, словно опытные фокусники, начали учтиво откланиваться, шаг за шагом отступая к выходу. У двери оба, едва не коснувшись лбами пола, поклонились еще раз и неслышно исчезли.

Гурбельжин стояла в недоумении, не зная, сон это или явь. Она смотрела то на дверь, за которой только что скрылись служанка и казначей, то на четырехугольное сиденье, где лежали в серебряном блюдце два загадочных предмета: золотой перстень и розоватый футлярчик...

Уже солнце перевалило зенит, а Шидурге не возвращался. Все длиннее становились тени, его не было, а были все тот же унылый и пыльный двор, все те же застывшие в безмолвии сарбазы, сидящие на мохнатых конях. Дворцовые пристройки по обе стороны двора с выбитыми окнами и сорванными дверьми зияли жуткими провалами, нагоняя страх и тоску.

Тишина опять давила, ломила, впивалась, словно когтями, и ханша с трудом дотащилась до постели. Казалось, в этом унылом пустом мире и от нее ничего не осталось. Даже горе, вот уже целый год изводившее ее изо дня в день, и страх, от которого кожа съеживалась на макушке, и гнев, и ненависть, раскаленным углем обжигавшие сердце, – все, все вдруг начало угасать. Трево-

га и думы, так долго терзавшие душу, словно крысы, покидающие разрушенные жилища города, вдруг разом исчезли.

Она не в силах была сейчас понять загадочное посещение служанки и казначея: может, в эту беспросветно-унылую пору хотели они ее позабавить, старались утешить объятую горем душу, хоть как-то развеять тоску и ободрить сердце – кто знает... У нее не было ни сил, ни желания, ни терпения обдумать все это.

Бурхан Шидурге не приходил к ней.

Страх, только что покинувший ее, вдруг снова вернулся. Казалось, вновь ожило онемевшее тело, кровь ударила в жилы, и Гурбельжин вскочила с постели. Она подбежала к черепу горного барана посреди зала на мраморной подставке. Рога как символ доброго предзнаменования подарил ей отец в день свадьбы, и они стояли на мраморном столике в середине зала, на священном месте дома. Вдвоем с Шидурге они, бывало, подолгу разглядывали эти рога, разгадывая судьбу. Один рог был чуть больше другого и загибался круче – он принадлежал Шидурге, другой, поменьше, достался ей. Раньше, сколько бы они ни рассматривали гладкую, будто отполированную поверхность, на ней не появлялось никаких знаков, и это успокаивало и радовало молодую чету. Казалось, что и власть, и богатство их, и счастье навсегда останутся незыблемыми, а сами они – бессмертными. Лишь однажды, еще в минувшем году, Шидурге, войдя в зал, по привычке глянул на мраморную подставку – и изумился. «Что случилось? Чем ты так удивлен?» – спросила она. «Полюбуйся, – ответил он, – как блестят сегодня рога!» Она внимательно осмотрела череп архара и тоже удивилась необыкновенной красоте рогов. Толстые, гладкие, круто закрученные, они тускло мерцали, а внизу, у их основания, чудилось, были надеты серебряные кольца. Оказалось, только перед этим слуги смахнули с рогов пыль и покрыли их лаком, к тому же в тот летний день весь зал был залит ярким солнечным светом. На следующий день приказал долго жить престарелый хан, и на опустевший трон сел молодой Шидурге.

Не однажды пристально рассматривали они потом рога, но никаких перемен в них так и не высмотрели. И даже когда обрушилась эта черная беда, принесшая их стране столько горя, круторогий череп горного барана оставал-

ся прежним. Враг захватил страну, взял столицу в осаду, день и ночь громил и разрушал крепость, рога ничего не предсказывали, будто ничто не угрожало Гурбельжин с Шидурге. Но не по себе становилось после гадания...

Долго, очень долго длилась осада. Шидурге целыми днями пропадал где-то с войском, возвращаясь по вечерам усталым, измученным. Они садились к мраморной подставке и гадали, внимательно разглядывая рога. Когда начинало рябить в глазах, они смотрели друг на друга. Она испытывала острую жалость и боль, когда глядела вот так на неузнаваемо осунувшееся, почерневшее от горя, усталости и бессонницы лицо мужа. Такого чувства – жалости и сострадания – она ни разу не испытывала за полтора года супружеской жизни, и ей было непонятно, почему вдруг так потеплело ее сердце к этому измученному, глубоко несчастному, невзрачному с виду мужчине. Может, оттого, что изнуренному в сражениях бурхану некогда было даже разделить постель со своей молодой супругой... Ведь ханша, чего уж скрывать, немало ночей провела без сна в ожидании Шидурге, прислушиваясь к каждому шороху, к каждому шагу за дверью. Желание томило ее, и она, злясь на бесчувственного мужа, бывало, думала: «Пусть стыдно, а утром я ему прямо скажу об этом». Но наутро она видела разрушенный город, кровь умиравших людей, вконец измотанного, страшно похудевшего мужа, слушала о боях и сражениях и уже не решалась говорить о своей женской обиде. Однако чувство, которое охватило ее в последние месяцы, было совсем другим. Даже в первый месяц замужества, когда оба были опьянены любовью, она не ощущала в себе такого трепета и тоски по нему...

Гурбельжин до замужества ни разу не видела в лицо Шидурге. А какая девушка в годы цветения не видит себя в объятиях самого красивого, самого храброго, самого умного, взлелеянного в мечтах джигита, который совсем-совсем непохож на тех, кого она видит в жизни? И когда ханша впервые увидела своего мужа, она сильно разочаровалась: так непохож он был на того, что жил в ее девичьих мечтах. И даже на супружеском ложе ей продолжали сниться девичьи сны. В этих снах она была влюблена в сказочного принца, искала его, уходила далеко-далеко в степь, покинув родные края, поднималась на скалы, чтобы оттуда, со страшной высоты, ки-

нуться в пропасть... И тут каждый раз она просыпалась. Тот, кто лежал рядом, данный ей богом супруг, казался незнакомым, совсем чужим. После таких снов она вставала, убитая стыдом, и не могла поднять глаз на мужа.

Совсем недавно ей снова приснился сон. Она опять стояла на краю скалы, а сзади приближались преследователи, и впереди зияла страшная пропасть. Она повернулась к своему спутнику, и вот им оказался не тот сказочный и желанный незнакомец, а ее же муж Шидурге. Перед тем как броситься со скалы, она со вспыхнувшей вдруг любовью и благодарностью к нему горячо сжала его длинные, тонкие пальцы.

С того дня Гурбельжин ощущала новое, особое чувство к Шидурге, прилив неведомой раньше нежности.

Одиноко и тоскливо ей было в громадном и пыльном дворце. Ее охватывала горечь оттого, что из-за этой нежданной беды безрадостно проходят самые лучшие дни, отведенные для любви. В такие минуты она жалела, что не дал ей всевышний того крохотного существа, которое хоть плачем своим изредка нарушало бы тягостную тишину этого громадного выморочного дворца, хоть на мгновение отвлекало бы от изнурительных дум об этом затянувшемся побоище. Но не было вокруг никого, кого бы можно было приголубить и приласкать, она была одна-одинешенька. Чтобы хоть как-то развеяться, она гуляла в саду, в сопровождении слуг ходила по городу, по подземным переходам поднималась на крепостные стены. Но от этих прогулок становилось еще тягостнее, и, возвращаясь, она благодарила всевышнего за то, что не дал он ей в такое смутное время ребенка. Потому что он родился бы только на горе себе. Теперь она, как никогда раньше, видела, что в этом маленьком, с ладонь, мирке, окруженном лютым врагом, нет для нее более близкого и родного человека, чем ее Шидурге. И от этих дум в груди все росло и ширилось до сих пор неведомое ей чувство. Оно было совсем непохоже на ту жадную, нетерпеливую страсть, что приходит с мужской близостью, это было очень нежное, робкое и доброе чувство, которое она боялась высказать, опасаясь, что муж не поймет его, сочтет за обычное проявление привычных супружеских ласк. Она боялась и не хотела этого. Вечерами, глядя на мужа, она чувствовала, как появляется желание прижать к себе его голову с рано поседевшими висками, пригладить во-

лосы, губами коснуться озабоченного и горестного лба. Вот она уже невольно протягивает к нему руки, но стыд побеждал это желание, и ханша смущенно замыкалась в себе...

А Шидурге каждый вечер сидел у нее, сидел молча, затем, подавленный, уходил к себе. Она видела, что он порывается что-то сказать, что-то очень важное, но не говорит, молчит. И сколько она передумала дум, терзаясь и стараясь угадать, что же это за слово, которое никак не решается высказать ее муж. Она готова беспрекословно исполнить любое его желание, любую его волю. Но Шидурге молчал, оставляя ее в тяжком неведении, она видела в его печальных глазах не любовь, а жалость и сострадание. Так было и три последних дня, когда бурхан подсаживался к ней, долго, понуро молчал, потом смотрел на нее загадочным, полным сомнений взглядом и, тяжело вздохнув, удалялся к себе.

Вчера он зашел особенно хмурым. Его лицо выражало решимость, но и на этот раз он промолчал. Он даже не смотрел на нее так пристально и жалостливо, как прежде, а все прятал глаза, и, лишь уходя, глухо заметил:

– Завтра к тебе придет казначей.

Не успела она спросить, зачем придет к ней этот старик, как Шидурге уже не было рядом. Всю ночь ханша не сомкнула глаз, ей даже хотелось самой пойти к бурхану, униженно проникнуть в его комнату. «Будем ли мы завтра или уже нет? Может быть, это наша последняя ночь...» – такие тревожные мысли не оставляли ее, страх охватил все ее существо. Она измучилась за этот год, в груди камнем лежало горе. Забыться хотя бы на одну ночь, ослабив до предела натянутые сердечные струны, горячими слезами облегчить остывающую, окаменевшую душу. Несколько раз вскакивала она с постели, решительно бросалась к двери и каждый раз, почти невменяемая, возвращалась назад.

И теперь она не могла выйти из оцепенения. Казалось, ее крепко-накрепко связали веревками из конского волоса, и словно тем же арканом опутаны были ее думы, мечты и мысли. Наступило утро, но она и себя, и все, что творилось вокруг, воспринимала как в сонном тумане. Ощущение действительности исчезло, мысли лихорадочно путались, роились, взгляд блуждал. Невыплаканные слезы застыли в ее глазах. Она случайно взглянула на

череп горного барана и вдруг на лобовой кости, между рогами, увидела небольшую трещину. Исчезло стоявшее перед глазами зыбкое марево, она очнулась и, не веря себе, внимательно осмотрела череп. Рога были все те же, но на желтоватой, еще не совсем высохшей кости ясно обозначилась небольшая трещинка. Как же они, гадая на рогах, не замечали эту кривую, словно серп молодой луны, трещину?

Словно дивное таинство, притягивала ее взор едва заметная черная линия на середине желтой лобовой кости. Ханша не могла оторваться от нее. Что предвещает эта трещина, которую она увидела только сегодня?

Это было так неожиданно, так поразительно. Уж не померещилось ли ей все это? В такое несчастливое время разве может эта трещинка предвещать удачу и радость? Как убедить себя, что это к добру?

Отгадка такого откровенного предзнаменования не приходила ей в голову, и не хотелось думать о зловещем знаке судьбы.

Как утопающий хватается за соломинку, так и она, отгоняя мрачные мысли, удивлялась лишь одному: почему раньше не замечали они эту ясную трещину да еще на таком заметном месте? Мысли ее кружились вокруг этого, как кружится спутанная лошадь вокруг прикола. Не в том ли все дело, что всегда каждый из них пристально разглядывал только «свой», ему отведенный рог и никогда не обращал внимания на лобовую кость посредине? Каждый замечал изменения только на своем роге, а срединная кость, соединявшая могучие, крутые рога, не касалась ни ее, ни его. Видать, потому ни один из них не заметил зловещего знака рока, коварную трещинку, притаившуюся между рогами. Ведь стоило невзначай охватить взглядом оба рога вместе, и в глаза сразу бросилась бы эта трещина, так четко, так явственно разделившая рога.

Конечно же, это было предначертанием самой судьбы, означающим конец их былого могущества и всей жизни. Коварный враг, со всех сторон оцепивший их город, не сегодня-завтра разрушит крепость и выкурит их, как охотник выкуривает из норы зверя. И тогда повесят обоих коронованных – и Шидурге, и ее повесят, и это будет концом жизни. Разве не это предвещает трещина меж рогов? Кто знал, кто думал, что такое может случиться?

Ведь этой черной, зловещей линии никто даже не разглядел до самого рокового часа. Не заметил ее и отец, иначе разве подарил бы он эти рога? Как нежданное горе, обнаружилась эта трещина в самый безысходный момент ее жизни.

Каждый день склонялся над этим черепом Шидурге, а ведь тоже ничего не заметил. Иначе он ведь сказал бы ей. Но что он скрывал от нее в последнее время? Может, он уже видел виселицу, на которой повесят их обоих? Но об этом он знал еще год назад, когда было разгромлено его войско, а столицу взяли в осаду. Да, да, уже целый год они терпеливо и мужественно, не давая повода для злорадства врагов, ждут своих палачей, и не это было причиной печальной подавленности Шидурге. Он давно уже был готов к смерти, давно чувствовал неотвратимость конца. Так что же тогда он скрывал от нее? Какие слова столько раз порывался сказать, да так и не высказал? Почему он с такой болью и жалостью глядел на нее и почему в глазах его была мольба о прощении? Ведь за этот год она испытала, перечувствовала и пережила то же самое, что и он. У них была одна судьба, их обоих ждала общая смерть. К чему же тут его жалость, печаль и мольба?

Ах, она чуть не забыла... Поспешно подошла она к четырехугольному возвышению у почетной стены, взяла из серебряного блюдца перстень. Потом извлекла из гнезда драгоценный камешек: зеленые кристаллики в его углублении были ядом. А в крошечном гладком костяном футлярчике оказалось тонкое обоюдоострое стальное лезвие, и теперь ей стало понятно, зачем приходили к ней старик казначей и служанка. Кажется, догадывалась она и о том, что порывался сказать ей Шидурге.

Но только к чему это? Зачем ей кончать самоубийством, если она все равно предстанет перед палачом? Или боялся он, что она не вынесет смертных мук? Но если она выстояла в этом длившемся целый год аду, то почему бы не вынести ей мгновение под перекладиной виселицы или под топором палача? Она вытерпит, ей уж нечего бояться теперь. Жизнь ее не дороже порабощенной страны или жизни мужа. И если ее повесят, то вместе с ним, с человеком, который дан ей самим богом; если решат обезглавить, то вместе со своим Шидурге она положит на плаху голову. Белый свет будет для них одним до после-

днего их дыхания, и вместе уйдут они из этой жизни. Никто и ничто не разлучит их, между ними не встанет даже сама смерть. Но, может быть, что-то другое задумал подлый враг? Что предрекает тонкая, как серп новорожденной луны, трещина? Быть может, враги хотят обречь одного из них на подлое одиночество, оставив на поругание один лишь рог?! Всевышний бог! Почему его нет?!

Гурбельжин вновь подошла к окну. Солнце уже склонялось к западу, вечерело. Вдоль развалин крепостной стены, оцепив дворец, маячили враги на низкорослых лохматых конях. Неожиданно стража расступилась, давая кому-то дорогу. У ворот, махая кривыми саблями, показалось несколько человек. Ханша, не отрываясь, смотрела на них, пока они не подбежали к дворцу. Шидурге среди них не было.

Теперь она окончательно убедилась в коварстве врага. И, уже слыша топот по переходам дворца, тангутская ханша кинулась к возвышению, на котором стояло серебряное, принесенное казначеем блюдце.

## 7

Целую неделю шел хмельной пир, всколыхнувший побережье Черной реки. Бесстыжее солнце, равнодушное к диким земным разгулам, выкатилось на вершину холма, который остался от разрушенного города, и ослепительно, радостно улыбалось. Муравьи копошились на пепелищах, суетливо бегали в своих бесконечных житейских заботах. Суслики успели вырыть себе норки под развалинами и теперь, блаженно посвистывая, грелись на солнышке. И время шло своим чередом, безразличное ко всему, что творится на белом свете. На месте кровавых луж выросла густая зеленая травка...

Шестьдесят пленников – все, что осталось от многолюдной тангутской столицы, успели уже привыкнуть к шуму и гвалту, к гортанным крикам и грубым забавам весело пировавших захватчиков; им не было дела до тех, кто, вырыв на склонах холмов сотни земляных очагов, с утра и до поздней ночи варил душистое, исходившее паром мясо, пил кумыс и вино, празднуя лихую победу. Печальными, как у верблюжонка, глазами смотрит пленник на окутанные маревом синие горы, на тучные пастбища и луга, где еще недавно тангутские пастухи мирно

пасли скот, на прозрачную, звучно плещущуюся Черную реку.

Сегодня последний день недели. В первый же день, когда Чингисхан закатил доселе никем не слыханный пир, волосы узников шевелились и ныло нутро, а руки и ноги дрожали. Пленников душила бессильная ярость позора и унижения. Но потом, когда этот содом стал продолжаться изо дня в день, ярость их притупилась, и лишь где-то в глубине осталась одна глухая, щемящая боль. Сегодня возле шатра Чингисхана все чаще собиралась толпа, и несчастные, измученные горем сердца узников задрожали от черных предчувствий.

После полудня, закованных в кандалы, их выгнали на круглый бугор возле шатра повелителя.

Торжество Чингисхана все еще продолжалось. Дастархан был заставлен драгоценностями, инкрустированной золотой и серебряной посудой, изготовленной чародеями-ювелирами Сартаулов, Кавказа, Индии и Китая. Обычно серое, бесцветное лицо Чингисхана сегодня было красным и пухлым. По затылкам шестидесяти пленников прошла семигранная сыромятная плетка, их поставили в стороне на колени и привели закованного в ножные кандалы Шидурге.

Чингисхан обратился к нему:

– Ты, помнится, говорил вчера: если останется на земле хоть один тангут, он отомстит за тебя. Так ли ты говорил?

– Да! И будет так, как сказано.

– Но из всего тангутского племени остались в живых только шестьдесят этих и ты сам. Остальные перерезаны, как козлята. Из женщин я оставил одних пригожих, отныне от них родятся только дети монголов. Этих шестьдесят на твоих глазах я отправлю на тот свет!

Стон прошел среди пленных тангуток, согнанных в круг поодаль: словно мечи палачей вспороли их животы и заживо всунули туда вражьих щенят... И тотчас над затылками шестидесяти пленников разом блеснули шестьдесят секир. Шидурге не успел бросить прощальный взгляд на единородных своих собратьев, к его ногам, словно кусты перекати-поля, покатились головы. Обезглавленные тела, застыв на мгновение и подавшись вперед, грузно валились на землю.

И снова раздался голос Чингисхана:

– Мухули мусхули угай балган![1]

Голос его прозвучал резко, как клекот орла.

– Отныне, чтобы не забыть этот день и этот час, каждый раз, садясь за трапезу, кричите: «Мухули мусхули угай!»

И тут же эхом откликнулось все ущелье:

– Мухули мусхули угай!

Чингисхан снова повернулся к Шидурге.

– Теперь, кроме тебя, на всей земле не осталось ни одного мужчины-тангута! Все брюхатые бабы заколоты, ни один тангут не родится больше на свет! Скажи, кто будет мстить за тебя?

Невдалеке от пленных тангуток, на отшибе, восемь сильных монголов держали на плечах паланкин, со всех сторон покрытый шелками. В нем, кусая губы, сидела бледная ханша Гурбельжин, она все видела и все слышала через тонкую кисею паланкина.

Шидурге встрепенулся и резким, гневным голосом выкрикнул:

– Эй, не возносись, Чингисхан! И над тобою грянет возмездие!

Он заскрежетал зубами, но собрал всю волю и сильно тряхнул головой, чтобы смахнуть со лба капли смертного пота.

Чингисхан не сказал в ответ ни слова и подал знак двум палачам. За спиной Шидурге, скрестившись, лязгнули секиры, и голова из-под золотой короны скатилась к ногам повелителя вселенной.

– Мухули мусхули угай! – громом прокатилось по долине Черной реки. Чтобы не вскрикнуть, ханша, словно кляп, сунула в рот край одежды. По белым, как мел, щекам сыпались горькие, как отрава, слезы. Обезглавленное тело Шидурге дернулось, подалось вперед и рухнуло плашмя рядом с перекатывающейся по земле короной. Конные распорядители пира и разносчики поскакали к холмам, чтобы собрать праздничные дастарханы.

Чингисхан порывисто встал, перешагнул через облитую кровью золотую корону тангутов и направился к шелковому паланкину.

С удивлением и ужасом смотрела Гурбельжин на костистую фигуру кадыкастого старика, тяжелой походкой

---

[1] Мы истребили все вражье семя! (монгольск.)

подвигавшегося все ближе и ближе к ней. Белая рука ханши бессильно упала, из глазка перстня посыпались на подол ядовито-зеленые кристаллики.

... Довольная всем и собой, несла свои воды Черная река. Она звонко плескалась о берег, журчала и бормотала, как и много тысяч лет назад. Чингисхан в сопровождении охотника Кахара и еще пятерых слуг спустился меж крутых скал к реке. Он знал, что теперь возле золотого шатра соберется немало любопытного и праздного люда, а ему хотелось уединения, хотелось укрыться от всевидящих человеческих глаз. Сюда верхом на коне доставили и ханшу Гурбельжин: здесь, среди зубчатых высоких скал, никто и ничто, кроме небесного светила, не увидит его.

Да, в такой, как сегодня, яркий, солнечный день можно вдоволь налюбоваться белым, как только что выпавший снег, телом красавицы Гурбельжин. У самого берега на нетронутой зеленой траве поставили небольшой шатер, в тени шатра рабы начали раздевать ханшу. Они помнили предсмертные слова Шидурге, они должны тщательно, с головы до пят, осмотреть тело красавицы. Когда скользнуло вниз вышитое золотом парчовое платье и обнажилось молочно-белое, как луна, женское тело, семеро мужчин, разинув рты, застыли в изумлении. Да, они никогда не видали такой красоты, они даже не заметили, как из-под одежды, с шуршанием упавшей к ее ногам, выпорхнул в небо белый голубь. Дрожа, они схватили ханшу за белоснежные руки, чтобы скорее отвести в шатер.

Чингисхан только теперь успокоился и пришел в себя. Оставшись в шатре один на один с прелестной тангутской ханшей, он прислушался: по условию, слуги должны были отойти от шатра подальше и зорко следить за тем, чтобы никто случайно не подошел к шатру. Видимо, слуги успели уйти, он ничего не услышал, кроме всплесков воды.

Он приблизился к юной, обнаженной слугами ханше, она дрожала, как косуля в капкане. На ней не было ни единого лоскутка, под которым можно было бы спрятать какое-либо оружие. Еще раз испытующим, подозрительным взглядом окинул женское тело Чингисхан. И браслеты, и кольца, и перстни, и серьги, и шолпы из волос – все-все сняли слуги с этой женщины. Закинув голову и

белея тонкой длинной шеей, тангутка упала назвничь. В глазах великого повелителя потемнело, сейчас он ничего не видел, кроме ее нежных и полных губ и чистых, как у верблюдицы черных глаз. Колени его словно обожгло раскаленными угольями: то были гладкие, как шелк, горевшие от стыда, позора и поруганной чести бедра ханши. Давно не испытывал он такой безумной и слепой страсти. Тяжело и сдавленно дыша, словно выброшенная на берег рыба, он жадно вдыхал запах жаркого и божественно-молодого женского тела.

Чингисхан только было приник и ложбинке меж ее тугих, будто гранат, грудей, как вдруг охнул, задрожал и обмяк. Его скрученное от боли тело мешком свалилось рядом с ханшей.

Гурбельжин схватила что-то случайно оставшееся от ее одежд и бросилась из шатра.

Великий повелитель сел на корточки, с ужасом взирая на кровь, оросившую его дряблые ляжки. Он не посмел позвать сейчас своих слуг, заскрежетал зубами так, будто хотел раскрошить их, и ничком рухнул в постель.

## 8

Неожиданно и тяжко заболел великий повелитель. В ту же ночь были обезглавлены все его слуги, кроме верного Кахара, и лекари, и знахари, приходившие к больному хану, бесследно исчезали в шатре.

Монгольское войско поспешно покидало дотла разоренную столицу уничтоженных тангутов. В пути многие пытались навестить хана, расспросить о его здоровье, но он никого не велел пускать в шатер, он не говорил ни с кем, лежал целыми днями с закрытыми глазами, погруженный в какие-то только ему одному известные думы.

Лишь на третьем месяце пути войско остановилось на широком лугу в долине реки Чжан-Хак. Глядя на высокие луговые травы и на зеркальную гладь реки, Чингисхан впервые за время болезни произнес:

– На таких дивных лугах только и кормиться старому оленю да отдыхать старому человеку.

В этой долине и остановилось кочевье. На зеленом лугу у самого берега реки обосновалась ханская орда – ставка из двух огромных, спаренных юрт. Когда орда была установлена, Чингисхан приказал постелить у стенки и лег в постель. Стоял теплый, тихий летний день. В траве

трещали кузнечики, щебетали птицы. Над ордой то и дело пролетали стаи диких, перепуганных гусей и уток. Развьюченные верблюды и расседланные кони дружно хрустели сочной свежей травой.

Чингисхан лежал, любуясь этой незамечаемой им раньше картиной мирной жизни, потом вызвал охотника Кахара, единственного живого свидетеля его уединенной встречи с ханшей у Черной реки. Он приказал ему принести рубашку тангутской красавицы. После того события было обшарено все ущелье, но, кроме этой рубашки, найденной на острой, как птичий клюв, вершине скалы, ничего не осталось от прелестной тангутки. Потом, боясь ненужной огласки и кривотолков, хан приказал прекратить поиски. Прижимая к груди скомканную одежду, уже утратившую запах молодого женского тела, Чингисхан задумчиво помолчал и вдруг обратился к Кахару.

– Одежда Гурбельжин, – сказал он, – должна храниться в отдельной, отведенной для этого юрте, и пусть эта юрта именуется Малой ордой великого повелителя.

Каждый год в этот день месяца, точно на этом месте, после того как он уйдет в иной мир, должна проводиться тайлыга – грандиозные поминки в честь великого хана, где в жертву должен быть принесен человек. Когда великого повелителя настигнет смерть, никто не должен входить в юрту, кроме тех, кто будет обмывать и готовить его тело к загробной жизни. Потом, когда гроб с его телом закроют, кто-нибудь из наследников обязан обезглавить всех, кто видел нагое тело властителя.

Охотник Кахар отправился к наследникам, чтобы передать им желание великого хана. Вечером, в сумерках, он вернулся в орду, где в одиночестве почивал повелитель.

Чингисхан налил в ярко расписанную китайскую чашку какой-то напиток, протянул его Кахару, сказав, чтобы он выпил половину, а остальное вернул ему. Кахар удивился, однако не мог не исполнить приказание своего господина. Он выпил ровно половину загадочного напитка и тут же передал чашку маленькому сгорбленному старику, сидящему на пышной постели. И едва передал он из рук в руки чашку, как повалился к ногам хана. Но он еще успел увидеть, как великий повелитель, чьей грозной воле подчинялась половина мира, залпом выпил из китайской чашки то, что осталось после него, недостойного стрел-

ка, всю жизнь по горам и ущельям гонявшего диких архаров. Кахар успел еще звучно цокнуть языком, чтобы выразить удивление, и это было последнее удивление охотника Кахара поступкам своего великого повелителя.

Одну из рек Восточно-Азиатского материка китайцы называют Хуанхэ – Желтой рекой. Тибетцы прозвали ее Мачу, то есть Красной рекой, а монголы – Хара-Мурэн – Черной рекой. Но в народе многие называют эту реку Хатын-Гол, рекой ханши.

Возле этой реки, прозванной так в честь тангутской красавицы, недалеко от города Тайхуачэн, возвышается необычайный холм. В утренние часы он кажется опрокинутой чашей, в полдень – большой юртой, поставленной в безлюдной степи, а вечером – круглым бугром, подножие которого окутано маревом, а вершина – тучами. Этот холм называется Темир-Олхо.

Когда Гурбельжин силком привели в шатер Чингисхана, она выпустила голубя, к ноге которого было привязано письмо, в нем было написано, как она собирается отомстить насильнику.

Там, где высится теперь Темир-Олхо, нашли тело прекрасной Гурбельжин.

Местные дехкане, поклоняясь праху женщины, отомстившей самому Чингисхану, бросали здесь по лопате земли, так на ее могиле вырос, как памятник, высокий и остроголовый, словно кончик копья, холм. И с тех пор каждый прохожий, каждый путник оставляет у священного холма горсть земли. Темир-Олхо напоминает всем живущим на земле: возмездие неминуемо, тот, кто приносит людям зло, найдет суровую кару, и не бог покарает его, а руки людей. Считается, что человек, который поведал другим эту историю, также добавил горсть земли к кургану Темир-Олхо.

Благодаря этому обычаю легенда переходила из уст в уста, из страны в страну, из поколения в поколение.

Вот и я, дорогой читатель, бросил к Темир-Олхо горсть земли, поведав тебе эту древнюю историю.

*Перевод В. Белова и Г. Бельгера*

# КОЛОДЕЦ

## 1

В тот день Енсеп не знал, не ведал, что ему больше не суждено будет опускаться в эту преисподнюю...

Он напился чаю и, едва спала жара, опять пошел к колодцу. Присел у краешка на серый песок, достал белую табакерку из рога с серебряной цепочкой, ухватил пальцами завитушки насыбая. Не торопясь, поочередно заложил его в ноздри – крепкий, терпкий табак пробрал насквозь, обжег носоглотку, и он несколько раз громко чихнул.

Смахнув выступившие слезы тыльной стороной ладони, Енсеп набрал полную горсть песка и стал внимательно разглядывать его. Удивительное дело – песок, извлеченный из глубины колодца, не успел за два часа просохнуть, несмотря на адский зной. Он был тяжел, влажен, приятно холодил руку. Да, не сегодня-завтра колодец наполнится водой.

К Енсепу подошли до испарины надувшиеся чаю его помощники и тоже принялись баловаться насыбаем. Потом развели тары-бары о том, о сем. Больше всего их волновал, конечно, той, который устроит бай Байсал в честь нового, только что вырытого колодца. Все сошлись на том, что той состоится позже, когда похолодает и аулы возвратятся на зимовку. Перебрали знаменитых скакунов и борцов-богатырей, которые наверняка примут участие в состязаниях на торжестве. И даже не поленились, высказали предположения о призах и подарках, которые отвалит известный на всю степь бай Байсал.

Колодец этот будет самым глубоким и самым обильным на всем Устюрте. Уже сейчас черный атан – холощенный верблюд – тянет чигирь на двести с лишним шагов. Со вчерашнего дня песок на дне резко убавился, влажными кусками пошли супесь и глина. Не исключено, что вода окажется пресной. И когда Енсеп пробьет последний плотный слой глины и доберется до медово-сладкой родниковой воды, бай Байсал ханом возомнит себя, ей-ей, ханом да и только! Вот уж тут он расщедрится! Тут он покажет свой размах, закатит той на всю округу, не пожалеет богатства.

Енсеп не вмешивался в веселый разговор джигитов. Поглядывая на две лачуги, предназначенные для колодцекопателей, он думал о своем. Вон она стоит, прокопченная, жалкая юртишка степного ремесленника. Сколько бы ни заработал он голов скота или денег, не обновится ее прелая кошма, почерневшая от времени, дождей и жары. Его жена и дети в ауле – там, где есть вода. Сколько же прошло с тех пор, как он их видел в последнний раз? Считай, почти год ковыряется он в этой чертовой норе. И лишь холодной, далекой уже теперь весной ненадолго навестил он семью. Да и то явился, чтобы поглазеть на хозяйство, как раз был овечий окот.

В этих лачугах мыкаются одни мужики. Двое подростков готовят пищу и стерегут жилье, пока остальные возятся у колодца. Днем мальчишки отправляются за питьевой водой. Седлают после полудня двух атанов, навьючивают на них кадки, кладут в рот курт – комочек кислого овечьего сыра – для утоления жажды, набрасывают на головы чапаны, чтобы не припекло солнце, и трогаются в путь. Возвращаются на другой день, спозаранок. Устают здорово, какой уж тут порядок, уют!

Вся жизнь потомственных копателей колодцев – кудукши проходит вот так, в бесконечном скитании по безлюдной и знойной пустыне. Все потомки рода Караш, для которых копать колодцы, добывать людям воду стало наследственным ремеслом, с самой колыбели только и слышат разные смешки да пересмешки. «Эх, Караш, жилье его – шалаш, похлебку варит в котелке, собаки его – брехуны, девки – пустосмешки, в белой юрте ему не жить, сапог добротных не носить, на верблюде не сидеть...» – так поддразнивает их род всяк, кому не лень. Ладно, и на том спасибо, что не говорят: «Караш-род и без пищи

проживет». А то недавно отправили было парня к Утесу, брату бая Байсала, с просьбой дать двух дойных верблюдиц, чтоб было хоть в зной чем утолить жажду, так тот, негодяй, принялся насмешничать: карашцам-де верблюжье молоко не пойдет впрок, они ведь привыкли хлебать одну похлебку. Вернулся проситель ни с чем – и так бывает...

Сапожники и кузнецы хоть на язык остры. Случается, исподтишка ужалят – взвоешь. А кудукши – нет, не горазд на слово. Да и зачем ему, кто оценит его слово под семью пластами земли?!

Енсеп плюнул в сердцах. Ну, досада досадой, а дело делом: завернул он штанины выше колен, перепоясал себя волосяным арканом, направился медленно к колодцу. Джигиты прервали оживленную свою беседу, пошли за ним, дружно взялись за аркан.

Нутро колодца черно и беспросветно. Енсеп посмотрел на небо, выжженное добела нещадным солнцем, опустил ноги в зияющую пустоту, нащупал вырубленную в стенке ступеньку. Горячие ступни ощутили промозглую сырость. Прежде чем окунуться во мрак, Енсеп еще раз бросил взгляд на темневшие вдали лачужки.

Необъятный голубой простор, окутанный дымчатым маревом, отгородили от него до черноты загоревшие ноги джигитов. Привычно держась за волосяной аркан, Енсеп откинулся всем корпусом назад и опустился еще на одну ступеньку. На дубленых и жестких, как ремень, лицах его помощников выступили капельки пота; джигиты напряженно следили за ним.

Енсеп коснулся следующей ступеньки. Небо, огромное, как море, сейчас превратилось в небольшую, опрокинутую над его головой круглую чашу. Каждой клеточкой тела он почувствовал неистовый холод. Он нащупал ступеньку пониже. Солнечный свет остался там, высоко, вместе с джигитами: здесь царил сумрак. Казалось, свет сбежал отсюда, скопился вверху, у входа в колодец, и слегка дрожал.

Чем ниже, чем глубже спускался Енсеп, тем сильнее обжигал холод его голые ступни. Когда поднимаешься вверх, с каждой ступенькой становится веселей, радостней на душе. Енсеп, считай, всю жизнь, с детства, копал колодцы, но каждый раз, когда он спускался в безмолвное чрево земли, ему казалось, что он ощущает, как ста-

реет. Иногда подкрадывался страх, чудилось, будто там, под ногами, в черной пустоте, притаился страшный, неведомый зверь. Он никогда не смотрел вниз, а пристально, с тоской вглядывался в маленький, с ладонь, родной клочочек неба над головой. Клочок становился все меньше и меньше, все крохотней, призрачней становились и фигуры джигитов, держащих аркан. Да и сам аркан на глазах делался тоненьким, как волосок.

Вот Енсеп добрался до каменистого пласта. Совсем исчезли сумеречные тени. Его окутал плотный мрак. Сначала Енсеп ничего не видел, но вскоре освоился и уже мог различить ощерившиеся каменистые стены. Устье колодца напоминало теперь отверстие наперстка, а люди – чуть шевелящиеся точки. Глубина в двести шагов...

Ноги безошибочно находили ступеньки: еще бы, попробуй полазить взад-вперед изо дня в день целый год... Бр-р! Стужа-то какая! Аж в висках заломило.

...Ну вот, наконец-то дно!

Енсеп крепко зажмурил глаза, постоял недвижно, дал успокоиться сердцу и нервам. Потом быстро развязал на поясе аркан, резко дернул его, давая знак тем, наверху. Аркан тут же пополз вверх. Кончик, извиваясь, задел его грудь. Енсеп вздрогнул, словно от прикосновения змеи. Аркан, связывавший его – пленника каменного мешка – с товарищами, с земным светом, с горячими, живительными лучами солнца, радостно, стремительно летел к крошечному, как игольное ушко, отверстию. Енсеп остался совсем один – за семью пластами, в жутном, ледяном подземелье.

Его глаза уже совсем освоились с темнотой: Енсеп хорошо видел неумолимо обступившие его влажные стены колодца. Вскоре вниз двинулся круглый черный предмет. Преломляясь, рассыпаясь веером, косые бледные лучи осветили его на миг и тут же отстали, не в силах угнаться за ним. Всякий раз, когда это малюсенькое светлое отверстие исчезает, вздрагивает вечно встревоженное сердце Енсепа, его охватывает страх. Он с опаской смотрит вверх, пока не разгадает, что за предмет закрыл это отверстие: дубовая бадья, в которой посылают наверх песок и глину, ком земли, камень или еще что-то.

На этот раз опускали дубовую бадью с двумя железными крюками. В бадье его теплая безрукавка и сшитые из шкуры жеребенка сапоги на высоких каблуках, с го-

ленищами до самых бедер. Ради удобства Енсеп всегда спускался в колодец без верхней одежды.

Приятно облачить озябшее тело в теплую одежду. Даже страх, голодными волками обступивший Енсепа, куда-то исчез. Енсеп пошарил рукой по холодной стене. Песчаник повлажнел, отяжелел. Интересно, горькая влага или пресная? Он столько раз дотрагивался губами и языком до влажного грунта, что уже не различал вкуса.

Стоило ему взяться за привычную работу, тысячекратно заученными движениями начать долбить землю, как к нему вернулись столь же привычные воспоминания, тысячекратно передуманные мысли.

Хотя что ему вспоминать? Жизнь кудукши небогата впечатлениями. Что он видит, кроме душной непроглядной дыры, осклизлых стен колодца да сырого песчаника? А о чем ему думать? Опять-таки о колодцах – этих каменных могилах, да о своей обездоленной, бедной судьбе?

Не знающие отдыха, мозолистые руки Енсепа принялись ковырять землю. А его истомленная унылой, однообразной работой душа начала блуждать по закоулкам и тропинкам памяти, по безрадостно прожитым годам.

## 2

Ему обычно вспоминалась недолгая жизнь там, на земле, тот пронизанный светом мир, который здесь, в глухом подземелье, казался фантастическим, нереальным. Енсеп и сам не знал, отчего с годами он стал все чаще обращаться мыслями к этому короткому, будто мгновение, отрезку своей жизни. Все события, перипетии тех лет вставали перед глазами явственно, словно только-только произошли. Когда Енсепу становилось совсем невмоготу, когда его охватывало лихорадочное беспокойство, эти воспоминания приносили ему облегчение, снимали вечное напряжение и тревогу. Он успокаивался на время.

Мог ли он когда-нибудь раньше думать, что начнет тосковать о далекой той поре, сладко грезить о ней?

Когда Енсеп был чумазым аульным мальчишкой, самой заветной его мечтой было заполучить бабку горного барана, да еще вдобавок залитую свинцом. Детская мечта осуществилась, и вскоре он забыл о ней. Тогда он еще не осознавал, что переменный успех (сегодня победишь – завтра проиграешь, сегодня имеешь – завтра потеряешь)

присущ, не только игре в асыки, а жизни вообще и что все в его судьбе будет преходящим и скоротечным. Бывало, набив рубаху выигранными асыками, Енсеп возвращался домой, не чуя земли под ногами. В такие часы в его головенке роились чудесные планы.

Ему хотелось стать таким же могущественным, как волостной правитель Бигельды. Под ним будет аргамак с лебединой шеей, точеное синее седло с посеребренной лукой; в руке – четырехгранная, с кисточкой, камча, рукоять ее залита серебром и позолочена сверху; его сопровождает всюду свита из бойких и услужливых аульных джигитов. Как ветер, носится он из аула в аул. На ночевку остановится у бая, у мурзы отобедает. А как надоест мотаться по аулам, соберется он с двумя-тремя надежными дружками на охоту, потешится вдоволь в степи, подальше от людских глаз. А наскучит ему и эта забава, отпустит приятелей домой, а сам нагрянет к разбитной вдовушке, красавице Жанель. Она только и мечтает о нем, юном волостном. Развалится он у нее на пуховых подушках, побалуется густым ароматным чайком, который будет подливать ему игривая хозяюшка, жеманно отставляя при этом мизинчик. Одного не учитывал в своих мечтах Енсеп – к тому времени, когда он подрастет и станет волостным, красавица Жанель безнадежно постареет...

Потом отвернулась судьба-капризница от своего баловня Бигельды. Сначала за ним длиннющим хвостом тянулись слухи да сплетни, а на выборах его с треском провалил новый волостной – рыжебородый бий Шонмурун.

У Шонмуруна был непривлекательный вид. Ворот белой рубахи всегда нараспашку. Толстый бий постоянно исходил потом. На крутой жирной груди его покоилась неопрятная рыжая борода. Говорил он медленно, важно – не говорил, а изрекал слова. Его всюду сопровождала свора угодливых, льстивых подпевал, готовых по первому знаку своего повелителя исполнить любую его волю. И мальчуган все больше склонялся к мысли, что, пожалуй, получить такую власть и таких верных джигитов, как у бия Шонмуруна, очень здорово.

Одним словом, Енсепу никак не хотелось оставаться навечно мальчишкой на побегушках потому только, что у тебя всегда потрескавшиеся грязные пятки и неумытая

физиономия. Ему претило, что над ним безнаказанно куражится каждый кому не лень. Но меньше всего ему хотелось быть похожим на своего отца Кулжана. Жил он на краю аула, в лачужке, кое-как покрытой сопревшей кошмой и изодранным в клочья домотканным паласом – алашой, торчал с раннего утра до позднего вечера под открытым небом, рядом с раскаленными саксаульными углями и дряхлым латаным кузнечным мехом. Хотя женщины, носившие Кулжану лудить прохудившиеся казаны и самовары, вежливо называли его «каин-ага» – старшим деверем, в ауле, однако, над ним подтрунивали и стар, и млад. Мальчик не ведал, почему к отцу прилипло, например, прозвище «Упрямец Кулжан», «Строптивый Кулжан», а спросить не решался.

Отец возился в кузнице целыми днями, раздувал мехи, совал какую-нибудь железку в ярко пылающие уголья и стучал да постукивал по ней. Дома он обычно не разговаривал. К матери обращался редко, да и то с коротким вопросом: «Чай готов?», или с коротким приказом: «Подай это – подай то!» Енсеп ни разу не видел, чтобы отец с кем-нибудь беседовал по душам, но не раз слышал, как он крепко осаживал людей в споре. Может, оттого и величали отца «упрямцем» и «строптивым», что он обладал крутым, неуживчивым нравом и больно жалил других языком. Может, это из-за своей гордыни он возится всю жизнь с железками, кузнечными щипцами и молотом, в то время как остальные мужчины рода Караш копают колодцы.

Дети побаивались своего сурового и нелюдимого отца. Он никогда их не бранил, не повышал голоса, лишь изредка поглядывал строго из-под насупленных бровей. И дети при нем притихали, помалкивали.

Енсепу пошел пятнадцатый год, когда отца свалила болезнь. Целый год промыкался он на полосатом паласе в углу лачуги. Знахарей, однако, не подпускал к себе близко, отваживал их богопротивными словами: «Не на ярмарке я купил свою душу. Бог, однажды расщедрившись, дал ее мне, а теперь он стал скупердяем, пусть берет ее обратно».

Как-то раз, вконец измученный болезнью и голодом – пища не проходила через горло, отец, должно быть, потерял терпение. Изможденный, худой, он приказал матери подать пятигранную камчу, что висела на стене, и нож

из маленького ящичка для инструментов. Он отрезал у самого основания распущенный кончик плети с вплетенным в него свинцом и густо намазал ее маслом. В лачуге все со страхом переглядывались: никто не догадывался, что задумал отец. Тщательно, до блеска смазав камчу, он в последний раз провел по ней жирной ладонью и потребовал кумыс. Он обмакнул камчу в большую деревянную чашу с крепким кумысом. Губы его слабо зашевелились, он принялся шептать что-то невнятное. Потом запрокинул голову, выставив вперед редкую остроую бороденку. С трудом унимая дрожь в руке, отец вытащил камчу из кумыса и затолкал один конец в рот. Пропитанная терпким конским потом, маслянистая, скользкая, словно змея, камча медленно поползла в глотку. Высохшая отцовская рука, заметно дрожа, с усилием толкала ее все дальше и дальше; тощая – одна кожа да кости – рука отчаянно пропихивала ее вглубь. Глаза отца были плотно закрыты. Непомерно большой для тонкой шеи кадык судорожно двигался вверх-вниз под пергаментной кожей.

Но вот о зубы щелкнуло железное кольцо у основания рукоятки. На бледном лице отца не было ни кровинки, оно стало синюшным. Одной рукой он продолжал держать камчу за рукоять, другой – сильно надавил на грудь. Он намертво вцепился в камчу зубами, будто хотел ее перекусить. На лице выступил пот. И тогда он резко выдернул камчу. Из горла хлынула кровь. Дети, следившие с замиранием сердца за каждым движением отца, заревели в голос, бросились вон. Мать, не смея голосить при муже, закусила губы, кончиком жаулыка вытерла слезы и торопливо подставила ему тазик.

Отцу не полегчало. Пища по-прежнему не проходила через горло. А тут началась такая невиданная жара, что даже здоровый человек не мог найти себе места. Отец ужасно страдал от жажды.

В середине знойного лета он навеки закрыл глаза. Перед кончиной Кулжан подозвал к себе жену и детей.

– Ну, родные, пришел мой конец. Не обессудьте, что не накопил вам никакого добра, – он настолько ослабел, что голос его был едва слышен, – пока будет стоять земля, род Караш не помрет с голоду. На худой конец будете ковырять колодцы.

Тогда-то впервые и задумался Енсеп о том, что на свете существуют горемыки, именуемые кудукши. Из разных

аулов, где они промышляли своим ремеслом, собрались мужчины рода Караш и похоронили отца. Вернувшись с кладбища, пять стариков вызвали во время поминок Енсепа – старшего из детей покойного Кулжана.

– Ну что ж, милый, отца ты лишился. Хоть и строптивым и упрямым бывал покойный, однако в трудолюбии и упорстве отказать ему было нельзя. Жаль, ничего не нажил. Алашу, чтоб завернуть тело, и ту еле нашли в доме. Отрекся он от дедовского ремесла, а оно хоть и никого особо не обогатило, все же семью кормит досыта. А потому не иди ты по стопам отца, а держись за испытанное ремесло нашего рода. Ты теперь опора и кормилец бедняжки матери и малых братьев. Твой дядя Даржан намеревается забрать вас к себе. Держись за него цепко!

Так напутствовали Енсепа аксакалы и, сложив ладони, благословили его.

В отличие от покойного брата Даржан был крепкий, рослый и закаленный; обычно он ходил по пояс обнаженный. Разработанные мышцы играли, перекатывались на его мощном теле. Маленькие, словно обрубленные уши были закрыты длинными волосами. У него был плоский, с широкими ноздрями нос, лихо закрученные усы, черная борода, напоминавшая конский хвост, густая и огромная, видно, ее никогда не касалось лезвие. Его гладкий, с большими залысинами лоб маслянисто поблескивал, а огромные, чуть навыкате глазищи с красными прожилками всегда беспокойно шныряли вокруг, будто старались что-то обнаружить.

Даржан был великим молчуном. Дома, на людях он обычно не произносил ни ласковых, ни бранных слов. Если ему что-нибудь претило или он был сильно не в духе, то, глухо пробурчав «У, в могилу тебя!..», он снова надолго умолкал.

Люди поговаривали: «Эх-хе-хе, мыслимо ли, чтобы строптивый Кулжан и увалень Даржан родились от одной матери?!»

Когда волосатый, сплошь вымазанный глиной Даржан вылезал из колодца, он, ей-ей, походил на чудовище, выбравшееся на свет божий.

Его жена Ханум была миловидной, крупной, широкой в кости женщиной. Ее круглые глаза излучали мягкий свет. Она пользовалась почетом у родственников и сородичей, к ней тянулись и стар, и млад. И только Кулжан,

не пожелавший избрать для себя участь колодцекопателя (что это, мол, за существование, сегодня находишь кров возле одного, завтра – возле другого куста, как ворон с перебитыми крыльями!) и предпочевший ремесло кузнеца в кочевом ауле, оставался к ней холоден, как ни старался добряк Даржан возбудить в брате родственные чувства.

Ханум с искренним радушием приняла осиротевшую семью. В честь снохи зарезала ярку и, как положено по доброму обычаю, потчевала родственников. Из инкрустированного, с потайным замком сундука она достала материю, сшила вдове платье и новый головной убор – жаулык. Забот у Ханум заметно прибавилось, она почти не расставалась с иголкой и наперстком; ходившие в рванье дети отмылись и приоделись. Даже кошма на бедной юрте обновилась.

Ханум не испытала, к горю своему, радости материнства. И теперь, когда рядом поселилась семья старшего деверя и в ее юрте зазвучали звонкие детские голоса, она расцвела, похорошела. В самом младшеньком, Тенселе, она души не чаяла, баловала: то пичкала свежими сливками, то пончики румяные совала, то ласкала нежной рукой.

Каким бы усталым ни возвращался домой Даржан, завидя детей, он широко улыбался. Воспитанные отцом в суровости, дети вначале сторонились и Даржана. Но вскоре почувствовали безошибочным ребячьим чутьем, что этот заросший волосами, страшный, молчаливый верзила добр и любвеобилен. Едва он садился за чай, как вся малышня, естественно, кроме Енсепа, облепляла его. Кто лез на плечи или голову, кто повисал на шее, кто карабкался на колени. Даржан все это терпеливо сносил и только довольно ухмылялся.

Теперь, вспоминая ласку Ханум и Даржана, поразительную щедрость их души, что согрела его сиротское сердце, Енсеп ощущал, как горячая волна подкатывает к груди, а сердце щемит от тоски, оттого, что тех дней не вернешь. И как бы потом ни разочаровывался он в людях, какие бы ни терпел от них обиды, он всегда благоговейно хранил в себе бескорыстную любовь и безоглядную доброту дяди и его жены. В самые отчаянные периоды жизни, когда грудь, кажется, не выдержит, разорвется, когда белый свет не мил и хочется уйти, скрыться от всего и всех, недолгие светлые дни детства были ему опорой и утешением. Видно, душа человеческая что старая

кружка нищего, стоящего на обочине большой караванной дороги, по которой взад-вперед снуют люди. Почти каждый что-то в кружку кинет. Так и в душу – кто капнет яд, кто – мед. От одного яда человек давно бы погиб, но жизнь на том и держится, тем и сладка, что нет-нет да и подкинет ему скупердяйка судьба каплю меда. Потому и не сдается человек, все к чему-то стремится, во что-то верит, питает обманчивые надежды.

Даржан не сразу привлек Енсепа к своей работе: жалел не окрепшего еще юнца, щадил его, считал, что тот успеет намыкаться с колодцами. Два года Енсеп жил вольно и беззаботно. За это время он вытянулся, окреп, стал ладным и пригожим парнем. В знак того, что он стал джигитом, решила Ханум подарить ему коня. Даржан, слава богу, имел работу, а значит, и заработок. Сундуки их, правда, от добра не трещали, но овечку резали для гостя всегда, а для близкого родича на привязи стоял конь. Даржан один содержал безбедно два дома: все одеты, обуты и, как говорится, дно казана сухим не бывало. Из имевшихся в хозяйстве лошадей Ханум выбрала для Енсепа четырехлетнего гнедого со звездочкой на лбу, красивое седло и уздечку.

Как-то летом, когда она с мужем отправилась гостить к своей родне, Ханум взяла с собой и юного Енсепа. Родственники Ханум были не из тех, кого в народе презрительно кличут «вонючими богачами». Они жили широко и весело. Дастархан их был щедр, в юрте – достаток, девушки – красивы, джигиты – храбры. В округе их аул называли «белогрудый Арын из шестидесяти юрт».

Разъезжать по степи, странствовать было страстью арынских джигитов. Одевались они нарядно и богато. Черные приталенные бешметы из сукна, привезенного аж из самого Оренбурга, ослепительной белизны шелковые рубахи были излюбленной их одеждой. Когда они приближались к любому аулу на породистых вороных или гнедых скакунах, там начиналась суматоха. Девушки и молодухи спешно прибирали в юртах, пожилые женщины и старухи мыли, перетирали посуду. Спешивались джигиты из аула Арын чинно; они сидели в седлах до тех пор, пока хозяева с поклоном не принимали из их рук поводья и не помогали спуститься на землю. На постель поглядывали придирчиво: не дай бог, чтоб под периной оказалось хоть крохотное зернышко. Тут же его приметят, на

смех поднимут хозяев – все сплошь шутники да озорники. Язычка их побаивались: если что не так, мигом раззвонят по окрестным аулам.

Енсеп быстро здесь освоился; парни отнеслись к нему без спеси, не как к чужаку. Ловкий, пригожий Енсеп прилично джигитовал на коне, у него был сильный и приятный голос.

Пел он на свой, особый манер – протяжно, нежно, с чувством, лаская слух ценителей песни. Для юноши из степи это имеет значение, и немалое. Ведь он доставляет радость людям из затерявшихся в степи аулов, которые всю жизнь только и знают, что пасти овец да косяки лошадей. Проникновенная песня бередит души, окрыляет джигитов, будоражит сердца юных, расцветающих девушек, смущенно краснеющих возле родителей или старших невесток, волнует игривых молодок, которые, подавая певцу пиалу с чаем, так и норовят коснуться, будто невзначай, белыми пальчиками руки джигита и обжигают его горячим взором. Одним словом, умение петь вполне оправдывает выпитый чай и съеденное мясо в доме, где потчуют желанных гостей.

Когда Енсеп на вечеринках пел под аккомпанемент домбры, или обрушивал на слушателей искрометное терме[1], или увлекал их мудрыми сказаниями – кисса[2], увлажнялись глаза пожилых мужчин, чьи лица из года в год облизывал шершавым языком лютый мороз, а сердца исцарапаны были острыми шипами прожитых лет. Честолюбивые джигиты впадали в задумчивость и печаль, и перед их глазами, словно мираж в степи, маячили дерзкие, но, увы, неосуществимые мечты. И лишь девчушки-подростки, чьих щек не коснулась пылинка, а чести – малое пятнышко, испытывали неведомую, сладкую, волнующую кровь истому. С восхищением, благоговением слушали они смуглого певца, вдохновенно хлеставшего пальцами по струнам домбры. Щечки их пылали, сердца таяли, на глазах выступали счастливые слезы, и под атласными платьями, там, где чуть заметно возвышались стыдливые девичьи груди, волной пробегала дрожь.

Юноша пел, не щадя голоса, не вникая в смысл извер-

---

[1] Терме – стихотворно-песенный жанр в форме речитатива.

[2] Кисса – эпическое сказание, большей частью религиозного характера.

гаемых им слов; мелодия лилась стремительно и свободно, рука привычно ходила по домбре. Если взгляд Енсепа невзначай встречался со взглядом какой-нибудь жадной до ласки, опытной молодухи, он еще больше воодушевлялся, словно взмывал вверх на легких крыльях. Однако могущественным повелителем толпы он чувствовал себя лишь пока пел; когда же кончалась песня, он совершенно терялся под любопытными взорами, смущался от благодарных, хвалебных слов, краснел, как девчонка. Заметив это, юные девушки, чьи сердца он разбудил, втайне жалели его, а молодайки глазели на него еще пристальней, еще зазывней. Смутный жар пробегал по жилам Енсепа.

Увы, пора юности коротка, как весна в степи. Только-только зацветет девушка, ее выдают замуж. Только-только появится пушок на подбородке юноши, его заарканит работа... Безмятежная юность Енсепа тоже была короткой и сладкой, будто сон путника, всю ночь проведшего в дороге и лишь на заре остановившегося на привал.

Когда мысли Енсепа блуждали по закоулкам невозвратных тех лет, к немолодому уже сердцу подкрадывалась грусть. Мышцы, затвердевшие как камень за бесконечные годы тяжелой работы, и те в таких случаях расслаблялись, мягчали.

Енсеп не испытывал тоски пожилого, обремененного семьей человека по минувшему прошлому, по беззаботной юности. Однако ему, как и всякому живущему на земле не один десяток лет, были свойственны сомнения, обострявшиеся со временем, – был ли он счастлив, изведал ли счастье? И что такое вообще счастье? В сознании гнездилась мысль, что настоящее счастье так велико, что его не замечаешь. Человек может изведать счастье только в молодости. А чем больше человек раздумывает о нем, домогается его, стремясь догнать на кляче времени, тем дальше убегает от него счастье.

Да, это короткое слово вмещает в себя все, о чем только мечтает слабый человеческий разум. С момента, как человек начинает грезить о счастье, до той роковой черты, когда он уже теряет веру в него, сколько всего выпадает на долю людскую! Судьба без пощады нахлестывает своим бичом человека. Под градом этих ударов, исполосованный и окровавленный, он может достичь желанной цели – власти, богатства, славы. Но разве в них счастье?

...Енсеп заполнил дубовую бадью с верхом. Однако,

занятый дорогими видениями прошлого и грустными мыслями о настоящем, не замечал, как грунт сыпался уже через край. Потом он дернул аркан, и бадья, скрипя, поползла к отверстию, к людям.

Каждый раз, когда бадья уплывала от него, мысли Енсепа, да и сам он словно замирали. Только было согрелся от работы и от дум, как снова пронизывающий душу и тело холод сковывал его. И он усаживался на дно колодца потерянный, будто забыл начисто что-то жизненно важное. Воспоминания, обступившие его недавно, как вода в половодье, разом исчезали. Во рту пересыхало, голова наливалась тяжестью; на скулах возникали желваки – признак нарождающегося гнева... Енсеп достал табакерку, понюхал насыбай. Затхлая колодезная сырость отступила перед крепким табаком, и он чихнул. Еще раз, еще и еще. Тоска, тисками сковывавшая грудь, постепенно исчезала, и Енсеп опять предался воспоминаниям.

## 3

Сколько бы ни гулял и ни озоровал Енсеп имеете с джигитами аула Арын, Даржан не журил его. Парень уж стал подумывать, что дядя так никогда и не заявит ему: «Ну, молодец, погулял и хватит. Пора и за работу приниматься». Мать начало беспокоить затянувшееся безделье сына, и она однажды сказала, что ему давно пора оказывать посильную помощь дяде, ведь нельзя бесконечно злоупотреблять его добротой.

Енсеп и сам это понимал. И правда – сколько можно слоняться в праздности по аулам. Своего Гнедка со звездочкой на лбу он отпустил в табун и, когда была надобность, седлал сивую рабочую лошадку.

Даржан рыл в ту пору колодец по заказу бая Токена. К тяжелой работе племянника он не допускал – жалел по-прежнему. Енсеп стряпал для колодцекопателей: варил мясо, кипятил чай. Пришла весна, степь зазеленела, проснулась; норки, нарытые разным зверьем, наполнились звуками. Жить на захламленных зимовках людям стало невмоготу, и аулы поспешно откочевывали на летовку.

Каждый день перед заходом солнца Енсеп седлал сивую лошаденку и устремлялся подальше от безрадостной лачуги колодцекопателей. Останавливался в каком-нибудь ауле, прислушивался к разговору стариков, степенно обсуждавших хозяйственные проблемы, любовался привыч-

ной для обжитого места суетой. И блеяние овец, и цокот копыт, и воркующее «тубай-тубай», которым женщины уговаривали овцу подпустить к соскам ягнят, – все ласкало слух джигита.

Енсеп всем своим нутром осознал, почему отец изменил дедовскому ремеслу и стал кузнецом, отчего предпочел бедную, зато на людях, аульную жизнь сытому, но одинокому, замкнутому существованию кудукши. Чалая лошадка, почуяв запах жилья и заслышав лай собак, и та бежала веселее, а когда Енсеп возвращался обратно, шла понуро, еле волоча ноги.

Легкий весенний ветерок, пропитанный запахами бурно тянущихся из земли трав, вобравший в себя силу пробуждения, мощь бытия, бодрил, обновлял, наполнял хмельной радостью все живое. Разомлевшая земля подставляла грудь благодатным солнечным лучам, стараясь согреть, выпестовать расцветающую вокруг робкую, полную таинств жизнь.

Всех – от мала до велика – всколыхнула весна. Лишь Енсеп ходил удрученный и грустный. Шальной ветер и пьянящие запахи сочных трав будоражили кровь, навевали истому – они будто теребили Епсепа за рукав и звали, манили в неведомые края. Он попадал во власть смутного и неодолимого беспокойства, ему страстно хотелось бросить все, покинуть навечно убогую лачугу, прилепившуюся к зияющей яме колодца. В такие минуты его грудь распирала какая-то горечь, глаза туманились, он ощущал себя вялым и разбитым, и уже не было сил и желания хлестнуть разок-другой лениво потрухивавшую под ним лошадку. И чалая все той же скучной трусцой бежала по знакомой тропинке и покорно останавливалась у жилья кудукши.

За весной грянуло лето. Травы налились соком. Ягнята и козлята – весенний приплод – окрепли, их уже можно было гнать на выпас с отарой.

Из аула Арын пришла весть: собираемся на джайляу, пусть дочь и зять пожалуют на проводы. Ханум опять взяла с собой к родным Енсепа.

В ауле царила суматоха. Мужчины ловили и ставили на привязь лошадей, навьючивали тюки на верблюдов; женщины складывали утварь и связывали тюки. Мальчишки, умевшие держать повод, укрощали стригунков, на которых собирались отправиться на кочевку. Аксакалы

сходились в круг и в подробностях обсуждали предстоящую дорогу и удобные места для привалов. За день до откочевки в каждой семье резали по овечке с белой отметиной на лбу. За дастарханом почтенные старики произносили длинные молитвы – дабы путь был удачен, а новые пастбища – обильны.

Енсеп весь день был взвинчен и не мог ночью уснуть. Он хотел остаться наедине с какой-нибудь соблазнительной молодайкой. И они, одним ухом внимая сладостным, игривым намекам красивого джигита, другим чутко прислушиваясь, чтобы – не дай бог! – кто-нибудь не услышал этих речей, млели и многообещающе улыбались. Не один искусно вышитый, окаймленный бисером шелковый платок – это безмолвное выражение чувств и желаний женщины степи – достался в ту ночь Енсепу.

На следующий день аул проснулся спозаранок. Раньше всех повскакали с постелей мальчишки и опрометью бросились к своим стреноженным стригункам. Старухи с высоченными тюрбанами на головах, опираясь на посохи, зорко следили за девками и снохами и давали указания.

Такие сборы – всегда испытание для молодых снох: ведь от их расторопности зависит, чье кочевье первым тронется в путь. Привередливые, строгие свекрови начинают в подобных ситуациях ворчать, а то и размахивать посохом: спокойные же, рассудительные наблюдают молча.

...Тюки сложены; верблюды навьючены. Меж горбов этих сильных и покладистых животных устраиваются сиденья на манер балдахинов для бабушек и малых детишек. Пышнотелые, кровь с молоком, байбише – старшие жены, облачившись по торжественному обычаю в щегольские наряды, важно восседают впереди, возглавляют кочевки.

– Э, бисмилля!

– Да будь благословенен наш путь!

С трудом, медленно поднимаются навьюченные верблюды. Головная часть кочевья уже выбралась на дорогу. Его сопровождают выстроившись по обеим сторонам в чинные ряды девушки верхом на лошадях. Позванивают их украшения, нежно колышутся перья филина на головных уборах. Мужчины еще не сели на коней: ждут, пока аксакалы закончат благодарственную молитву в честь прошлогодней удачной стоянки. Но вот сложены вместе ладони, вот с именем аллаха на устах старики провели

руками по лицу и поднялись, опираясь о колени друг друга. Джигиты, вытащив камчи из-за голенищ, как по команде, устремились к коням.

Мужчины поопытнее тут же умчались рысью вперед – заблаговременно подыскать для остановок пастбище и водопой. Молодые присоединились к девушкам и молодайкам. Кто шутил, громко хохотал; кто украдкой от пожилых женщин спешил обнять нарядных девушек или будто невзначай коснуться талии или руки. Совсем еще зеленые девушки и парни разговаривали взглядами, сами еще не понимая смутных своих чувств. Джигиты посмелее цеплялись к молодым женщинам: «Подари платок, красавица! Устроим скачки, чтобы сон разогнать». И при этом держали коней бок о бок, стремя в стремя. Притворяясь, что хотят отобрать платок, щипали их, хватали за что попало, выдавая баловством жадных своих рук тайное желание. Молодухи расцветали, испытывая острое волнение от прикосновения сильных, нетерпеливых рук. Чтобы продлить жгучее удовольствие от этой игры, сопротивлялись, пререкались, загадочно улыбались. Стрельнув из-под густых ресниц хитрым взглядом, озорницы умудрялись обнажить нежные смуглые свои руки. Увертываясь, звонко смеясь, припадали они к гриве коня, распаляли и без того сгорающих от запретного жара джигитов.

Долго длилась эта любовная забава. Обессилев от нее, от томительной слабости, разлившейся по всем жилам, какая-нибудь из проказниц вынимала из кармашка узорчатый платочек и дарила его осчастливленному наезднику. Вскинув платок над головой, гикнув, тот мчался вперед, а за ним пускали вскачь коней и остальные джигиты.

Когда кочевье взбиралось на яркий и пестрый от разнотравья перевал, было видно, как по необъятной степи во всех направлениях гуськом тянулись кочевья разных аулов. Любопытные мальчишки вихрем неслись им навстречу, чтобы разузнать о них и доложить взрослым. «А-а, так это аул такого-то, – говорили взрослые, – надо подъехать, пожелать ему доброго пути».

Впереди каждого кочевья величественно восседала на украшенном коврами верблюде старуха. Она извлекала из курджуна и раздавала куски вареного мяса почтительно приветствовавшим кочевье джигитам, а мальчишкам – баурсаки.

– Спасибо, аже! Удачи вам, бабушка! – благодарили молодые ветрогоны и тут же спешили к следующему кочевью, чтобы и там разжиться гостинцами. Вот так всю дорогу и носились джигиты от одного кочевья к другому, пока не добирались до места назначения.

Провожая вместе с дядей и его женой аул сватов до перевала, Енсеп смотрел на знакомые ему с детства картины кочевой жизни с жадным вниманием, с замиранием сердца.

Сонная, безмолвная обычно степь сегодня наполнилась движением и звуками. Все были при деле, возбуждены, все куда-то рвались, спешили. Безразличные ко всему на свете верблюды и те шагали бодро, легко выкидывая вперед длинные, нескладные ноги. Высокие тюрбаны старух, белевшие за решетками балдахина, издалека казались готовыми взлететь лебедями.

Кочевье – самое большое торжество в скупой на радости, дремотной степи. Взбудораженные, ликующие люди рвутся не просто к обильному пастбищу, к новому месту – они полны надежд, ожиданий чего-то неизведанного, что непременно привнесет благотворные перемены в их жизнь.

Во время кочевья даже ленивые, флегматичные, окостеневшие от хвори или безделья люди обретают молодую бодрость и оптимизм.

Утомленная мелкими изо дня в день заботами, огрубевшая душа вдруг обретает крылья, трепещет, как бабочка в погожий день. Вольный ветер степи выметает, выбивает, будто из старого сопревшего тряпья, пыль из застоявшегося в зимовьях быта. И гонит-погоняет аулы в обетованные земли.

Енсеп с тоской глядел на все удалявшееся длинное кочевье. Караван величаво ступавших верблюдов увозил на своих горбах не только юрты, еще вчера белевшие по всей степи у подножья холмов, но и веселье, смех, суматоху – саму жизнь.

В степи, покрытой сочной зеленью, темнели, словно болячки на здоровом теле, проплешины бывших стойбищ. И даже эти проплешины радовали Епсепа каждый раз, как он отлучался в степь из лачуги колодцекопателей.

Жизнь тех, кто роет колодцы, тускла и беспросветна. Всей радости в ней – углубляющаяся с каждым днем дыра в чреве земли да возрастающая рядом куча грунта. Ма-

ленькие серые лачуги вокруг будущего колодца казались безнадежно затерянными в огромной пустыне. Епсеп завидовал верблюдице, молоком которой он и его товарищи забеливали чай. Она свободно бродила по степи, на выпасе; они же, мученики, день-деньской, как кроты, ковырялись в земле.

Солнце высушило весенние кизяки – единственное свидетельство того, что и здесь была когда-то жизнь. Заросла травой и тропинка, по которой Енсеп трусил на своей чалой лошадке в аулы.

Енсеп, как и его предки, взялся за лопату. Неокрепшие мышцы ныли, руки повисали плетьми, спина не разгибалась от усталости и напряжения, в голове шумело, перед глазами плыли круги. От тоски по недавней свободе свербило сердце. Обхватив обеими руками лопату, предался он тогда тяжким думам. Он чувствовал себя как верблюжонок, который не ощущает больше на губах тепла материнского вымени, его мягкой податливости, нежного, с приятной горчинкой молока. Напрасно ревет верблюжонок, напрасно ищет вдали тоскующими глазами мать; все равно ему не остается ничего другого, как припасть шелковистыми губами к отвратительной, больно кусающей колючке, чтобы хоть чуть-чуть заглушить сосущий голод...

Да, голод повелевает миром, понял Енсеп. Все живое на земле – от неутомимых муравьев, волокущих былинки в свой муравейник, до двуногого существа, именуемого человеком, – появившись по воле бога на свет, начинает отчаянную борьбу за существование, за то, чтобы набить свое нутро, ибо невыносимо, когда оно, проклятое, пусто.

Енсеп уразумел, что ему нечего ждать чуда, что пора самому, как и всем прочим, заботиться о хлебе насущном. Ведь жить-то надо, говорил ему разум, а душа бунтовала: неужто жить – означает покориться безжалостной судьбе, что закинула тебе на шею грубую петлю? Раз и навсегда отказаться от высоких стремлений, светлой мечты и бессмысленно топтаться подобно верблюжонку на привязи вокруг железного кола, который вбил для тебя рок?

Эти новые, неожиданные, как внезапный выстрел, вопросы пронзили юное сердце Енсепа, оглушали, отравляли его существование с того самого дня, когда он впервые спустился в пугающую пасть колодца. Вздувались на ла-

донях волдыри, он работал, работал, не разгибая спины, и думал, искал ответа на свои вопросы. И тогда он познал, что такое смятение.

Теперь Енсепу, почитай, перевалило за половину жизни. Но вопросы, когда-то потрясшие его, до сих пор остались без ответа. А может, жить – это и есть терзаться, и с годами все мучительнее, в поисках ответа на те хитрые вопросы? До сего дня ему так и не удалось доискаться до истины...

Енсеп очнулся от дум. Он поднял голову, заметил, что наполнил бадью лишь до середки, и принялся кидать в нее песчаник. Потом – в который раз! – дернул аркан, подавая знак наверх. Бадья, с трудом оторвавшись от дна колодца, медленно, со скрипом поползла к узкому, как ушко иголки, отверстию.

## 4

Сначала ладони сплошь покрываются мозолями, потом затвердевают как камень. Мышцы становятся упругими, тугими – точно натянутый из этого подземелья наверх волосяной аркан. Вместе с телом обретает силу и твердость душа.

Енсеп на удивление быстро усвоил премудрости своего ремесла. Вначале он был на подхвате, помогал старшим вынимать грунт из колодца...

Щенок, что вчера охотно терся у человеческих ног, радостно вертел хвостом, когда с ним забавлялись, сегодня, став взрослым псом на цепи, незаметно смиряется со своим новым положением. Пугая лаем людей, обнажая в злом оскале клыки, он начинает находить в этом удовольствие.

Если бы человек не обладал способностью утешаться, приспосабливаться к обстоятельствам, поддаваться самообману, он вряд ли бы вынес муки и испытания, которые отпускает на его долю жизнь. Утешение, мечты – опора для души.

Когда Енсеп впервые один вытянул дубовую бадью с грунтом, он почувствовал себя на седьмом небе. Постепенно привыкая к работе, которой он еще недавно чурался, он стал находить ее почти приятной и ощущал гордость оттого, что взрослые все чаще говорили ему: «Это, парень, ты сделай сам».

Раньше, когда немели руки и ныли мышцы, Енсеп го-

тов был расплакаться от боли и отчаянья; теперь он радовался, чувствуя, как его тело наливается силой.

Бугорок вокруг устья колодца сначала темнел, потом рыжел, затем отсыревал, вместо глины шла супесь, ее покрывал песчаник, потом влажный песок, наконец, жидкая грязь. Постепенно она становилась все жиже и светлей. Раньше Енсеп не придавал этому никакого значения, а теперь следит за этими переменами, как за чудом. Когда опорожненную бадью вновь спускали в колодец, Енсеп прикладывался ухом к выступу, весь обращаясь в слух. И как только бадья касалась дна, раздавался глухой всплеск.

Вдруг аркан нервно задергался. Помощники Даржана поспешно вытянули бадью, опрокинули ее и отставили в сторону. Сразу же отрядили мальчонку за рыжим атаном, который пасся неподалеку, запрягли его в чигирь. Связав петлей свободный конец аркана, опустили его в колодец. Рыжий атан нехотя поднялся и двинулся по привычной колее. Поскрипывая, колесо чигиря медленно вращалось, и тугой аркан змеей выползал из колодца. Наконец показался сам кудукши. Он был с головы до ног измазан глиной. Джигиты помогли ему выбраться наружу.

Даржан отошел, неуклюже ступая, к месту посуше, присел, насыпал из шакши на большой палец табаку.

Его помощники между тем опустили бадью в колодец; на этот раз она тоже наполнилась наполовину. Вода в бадье была мутноватой. Все стали черпать ее ладонями, плескать в лицо, полоскать рот. Вода отдавала сырой землей. Никто не мог с уверенностью определить, соленая она или пресная.

Вечерело, становилось прохладно, и Даржан ощутил неприятный озноб, поднялся и направился к лачуге, за ним последовали его помощники. Даржан переоделся в сухую одежду. Енсеп бросился разжигать кизяк, готовить чай.

Коротконосый медный чайник, зарытый в горящие угли на большой сковороде, самозабвенно и тонюсенько высвистывал свою песню; горячий и густой чай разливал по жилам бодрость, снимал усталость. Пили чай маленькими глотками, сдувая в сторонку плававшие на поверхности поджаренные зерна пшеницы, смакуя эту круто заваренную коричневую жидкость, и вскоре вспотели. А вместе

с потом выходила и неимоверная тяжесть, клонившая тело к земле.

Енсеп убрал дастархан. И тогда усталые кудукши начали строить планы на завтра.

На другой день все опять собрались у колодца и, не теряя ни минуты, вновь опустили бадью в колодец. Она ударилась о дно мягко, со всплеском. Вода за ночь отстоялась и была прозрачна. Енсеп жадно припал к ней. Она оказалась пресной. И тогда, вырывая бадью друг у друга, за нее стали цепляться остальные.

В степи, изнемогающей от безводья, возник еще один спасительный источник.

Первым этому событию обрадовался маленький аул кудукши. Появилась вода – и они заработали еще энергичнее и ловчее. Ровными, обтесанными булыжниками, валявшимися тут же, у колодца, они сверху вниз выложили отвесные стены до каменистого слоя. Потом, чтобы в колодец не стекала грязная и талая вода и чтобы – не дай бог! – не провалился невзначай скот, сделали насыпь, соорудили сруб. В огромном камне выдолбили колоду, из которой можно было пить.

Воду из нового колодца теперь опробовали черная верблюдица и ее верблюжонок. В обед дойные верблюдицы из окрестных аулов, подойдя к краю котловины, удивленно уставились на лужайку, где привыкли изо дня в день видеть лишь пропыленную, в заплатах лачугу. Заметив в колодце слегка колышущуюся ртуть воды, они направились к ней и долго, не отрываясь, пили.

На другое утро люди приметили у колодца следы всякого зверья – хорька, корсака, зайца. Пользуясь темнотой, они тоже отведали свежей водицы.

Все живое – люди, скот, звери, еще вчера равнодушно взиравшие на этот невзрачный, пустой клочок земли, теперь будут спешить сюда, за тридевять земель, утолить жажду.

Крошечный пятачок, этот оазис в высохшей котловине, западет отныне в сознание людей, станет для них сладостной приманкой. Через холм, не имевший еще недавно никаких особых примет, со всех сторон пролягут к колодцу бесчисленные тропки и тропинки. Хорошо просматриваемый на плоской равнине каменный сруб колодца был полон воды – этого сока, эликсира жизни; к нему,

как к благодатной груди матери-земли, будут припадать отчаявшиеся, истомленные жаждой люди.

Радости Енсепа не было предела. С утра до вечера он все ходил и ходил вокруг колодца. Иногда присаживался на край и подолгу наблюдал за веселой возней воробьев, за тем, как они, воровато озираясь и подрагивая горлышком, пьют воду.

Бай Токен прибыл в аул колодцекопателей через три дня, сопровождаемый большой свитой. Все спешились, сгрудились около колодца, заглядывали в него, смотрели, как выложен сруб. Потом измерили длину тропы, которую вытоптал рыжий атан, поинтересовались, за сколько раз можно наполнить колоду водой, накапливающейся за ночь. Приказали достать бадьей свежей воды, поочередно попили, ополоснули лица.

Прихлебатели бая Токена принялись на все лады расхваливать новый колодец, поздравлять и славить богача, будто это он вырыл его.

На следующий день бай распорядился пригнать Даржану скот в уплату за работу. После обеда, нагрузив на двух верблюдов старую лачугу и немудреный свой скарб, кудукши отправились домой – к женам и детям.

Долго не отрывал Енсеп глаз от оставшегося за спиной колодца, который отныне именовался «Вырытый баем Токеном».

Енсеп работал три года с дядей Даржаном.

Первый «собственный» колодец Епсеп вырыл по заказу бая Бекена. Молодой бай, приходившийся аулу Караш племянником по женской линии, задумал пышные поминки по отцу. Чванливому баю хотелось выбрать для этого необжитое место, за которым бы осталось название «Место поминок такого-то». Надо было найти его и выкопать колодец. С этой целью Бекен и приехал к своим родственникам. На совет собрались самые почтенные люди рода Караш; потолковав, они решили поручить дело Енсепу. Он уже освоил наше ремесло, пусть Енсепжан засучивает рукава и берется за работу самостоятельно. Надеемся, он принесет удачу нашему роду», – сказали старики Бекену.

Бай намеревался провести поминки в степи, которая еще не знала конских копыт, где была бы благодатная зелень, пресная вода и равнина для традиционной байги.

Все аксакалы и зрелые мужчины рода Караш взялись

за приготовления с душой. Даже высохшие, древние старики, прочно обосновавшиеся за последние годы в уголках юрт, и те покинули насиженные свои углы, включились в поиски пригодного для столь ответственного случая места.

В юрте Даржана целыми днями шли споры. Наконец после долгих словопрений выбрали краешек неглубокой низменности, что раскинулась вдоль центральной водной артерии. Это место находилось на расстоянии двух кочевок от главного колодца, известного в народе под названием Крык-астау – «Сорок водопойных колод».

Равнина шла здесь слегка под уклон, а потом снова тянулась одинаково ровно, как доска. На этой покатой полоске, почти не приметной для неискушенного глаза, старейшины рода Караш топтались, кружились дней пять. Они тщательно осматривали, придирчиво ощупывали каждую пядь земли; пробовали на вкус почву, обнюхивали корни трав. Затем распорядились доставить сюда из байского табуна несколько косяков лошадей и гоняли их взад-вперед то трусцой, то рысцой, то галопом. Когда косяки мчались во весь опор, старики прикладывали ухо к земле и замирали.

– Нет рыхлого слоя. Нет пустот. Иначе цокот копыт отдавался бы эхом.

– Да и до глины, видать, далеко. Звук доходит приглушенно.

– Отсюда до «Сорока колод» нет солончаков и затверделых почв. Сплошь черный массив.

– А посмотри-ка на траву. В середине лета, в самый зной, она свежая и сочная. Будь здесь солончаки, травы давно бы пожухли.

Енсеп жадно ловил реплики стариков; многого в их словах он не понимал.

После длительных обсуждений старики окончательно сошлись в решении: лужайка, где особенно буйно разрослась верблюжья колючка, и есть то желаемое и искомое, что сообразуется со всеми требованиями бая. Они засеменили к ней и забили там кол.

Здесь бай Бекен поставил юрту, а рядом – еще две лачуги. Аксакалы двух аулов чинно расселись вокруг кола, прочли соответствующие случаю суры из корана, благословили бая Бекена и Енсепа и, отведав ягненка раннего приплода, разъехались по аулам. Енсеп остался с пятью

помощниками. Иногда его навещал Даржан, интересовался, как идет работа, давал советы.

Енсеп начал рыть колодец точно там, где торчал кол, над которым расположилась пятистворчатая белая юрта. Она стояла до тех пор, пока Енсеп не достиг глубины, куда не проникали солнечные лучи. Богатый аул щедро снабжал кудукши мясом и кумысом. Бай Бекен, стремившийся изо всех сил слыть добрым, даже расточительным, часто наведывался к Енсепу. Наезжали и старики рода Караш. Взяв горсть грунта, они придирчиво разглядывали его, кивали головами – дескать, все идет правильно; затем цедили терпкий кумыс и отправлялись восвояси.

Ровно через три месяца, когда в аулах покончили с осенней стрижкой овец, Енсеп вырыл колодец. Незадолго до появления воды он наткнулся на слой густой серой глины и встревожился, однако вскоре вновь пошла супесь, потом песчаник. Енсеп чуть не каждую минуту облизывал языком мелкие камушки – влага была пресной.

Он стал рыть еще глубже. Показался рыхлый песок, и Енсеп вновь забеспокоился, не обрушатся ли стенки. Наконец лом коснулся камня. Енсеп, как одержимый, принялся долбить его и вскоре правым локтем ощутил холод. Бросив лом, Енсеп ощупал камень: его покрывала холодная испарина.

«Неужели вода уже близко? Может, она где-то здесь и вот-вот прорвется», – подумал он и опять тщательно ощупал каменистые стенки. Там, где ломкая порода повлажнее, по его расчету, и должен находиться источник – водоносный слой. Пока вода не хлынула, он решил углубить наиболее безопасные углы. А уж потом, подготовив побольше пространства для воды, открыть источник, или, как говорят кудукши, «глазок». Енсеп врылся в землю еще на добрый аршин, и тут еще откуда-то закапала студеная-престуденая вода. Тяжелые, как свинец, капли шлепали Енсепа по плечам. Он заработал быстрее, стараясь не задевать те места, откуда сочилась вода. Вдруг раздался скрежет – это лом ударился о плоский валун, и сразу же дождем посыпались на Енсепа ледяные капли. Он понял: не прекрати он копать, он очутится под водой. Енсеп осторожненько поковырял часть стенки, где ожидал найти «глазок». Из нее быстро-быстро закапало, появилась тонкая водяная ниточка, и почти сразу же, превратившись в упругую струю, она прорвала преграду.

Один источник был освобожден. Енсеп спешно принялся за другое место, вода одолела и эту преграду.

Вода из двух источников полилась на дно, выложенное плоским черным валуном.

Ее веселый плеск, жизнерадостное бульканье отзывались в сердце Енсепа ликованием. Это он, он освободил закованную камнями и грунтом воду, веками томившуюся в их плену! Это он подарил ее людям. Ему казалось, что вода поет радостный гимн жизни и свободе.

За шесть дней до поминок джигиты укрепили стенки нового колодца, соорудили крепкий, надежный сруб.

Поминки провели шумно. Они всколыхнули низовья и верховья степи. Поразвеялся, погулял и Енсеп.

В последний день тоя по зову Бекена собрались аксакалы. Бай поблагодарил Енсепа и пожаловал ему за труды коня и шестьдесят овец. Верхом на коне, погоняя собственную отару, отправился Енсеп домой. Овцы поначалу разбегались врассыпную, норовили вернуться назад, в свою отару, но уже через первый перевал пошли послушно, сбившись в тесную кучу...

Вскоре Енсеп женился на дочери сапожника Ихласа.

Снискавший славу на поминках бая Енсеп с тех пор не мог жаловаться на отсутствие заказов и работы. К нему со всех сторон устремились состоятельные заказчики. Все они, похоже, опасались, что в колодце, вырытом кем-нибудь иным, не окажется воды.

Вначале Енсеп никому не отказывал. Ко многому может привыкнуть человек; к объятиям черной бездны привыкнуть трудно. Даже те, к кому благоволит судьба, кто постоянно находится среди близких и родных, наслаждается солнцем и чистым, на травах настоянным воздухом, – даже они порой не испытывают радости, предаются горестным мыслям и печали. Известна ведь ненасытность человеческой натуры, вечное его недовольство тем, что он имеет... Каково же человеку, который не раз и не два, а изо дня в день вынужден погружаться в мрачное, отдающее тленом подземелье. То самое, куда он должен быть опущен однажды укутанным в белый саван!

Единственный спутник кудукши – страх. Он живет в вечном страхе – перед неумолимо обступающими его немыми стенами, перед маленькой щелью там, далеко вверху, через которую едва-едва брезжит божий свет, перед пронизывающей, хватающей за ноги, как рак клещами,

сыростью. Хорошо еще, коли после всех нечеловеческих трудов и мук добираешься до водоносного слоя! Желанный источник может оказаться и не здесь, а где-нибудь в версте-другой... К тому же никогда не предугадаешь заранее, какая в колодце вода – пресная или соленая?

Сколько бы колодцев ни вырыл за свою жизнь кудукши, сколько бы ни было у него удач, его неотступно преследуют сомнения, терзает неуверенность. Он досконально изучает местность и почву, прежде чем забить наконец-то кол и начать изнурительный свой труд. А едва он окажется на глубине, превышающей его рост, с каждым вершком нарастают, усугубляются муки сомнений, ожиданий, страхов. Мастер долбит и долбит землю в сырости и темноте. Эта однообразная, нудная работа изводит, изматывает даже самых сильных, выносливых и бесстрашных, как дьявол.

Долгое одиночество, когда никого нет рядом, когда не с кем словом перемолвиться; темень и кладбищенская тишина год за годом истачивают самую твердую, самую закаленную волю. Время, как острое лезвие, снимает с человеческого сердца слой за слоем лучшие его проявления и порывы. Кудукши становится все суеверней, мнительней, подозрительней.

В дни, когда он ждет, что вот-вот появится вода, он мыкается, не находит себе места, охвачен ужасом перед неведомым, совсем как женщина, впервые испытывающая родовые схватки. Он напрочь забывает, что всего месяц, нет, неделю назад – какой там! – только вчера он был способен чему-то радоваться. Радость, мечты – кажется, он утратил их навеки. Ему чудится, что всю свою жизнь, вплоть до этого ужасного момента, он только и ведал, что страх, судорожное ожидание непоправимой беды. Он почти на грани невменяемости. И злится на себя, на непростительное свое легкомыслие, приведшее его к этому кошмару, к этому проклятому ремеслу. И он дает в душе зарок: господи, если только повезет мне на этот раз, если я выберусь отсюда благополучно, пропади все пропадом, никогда, никогда, никогда я больше не подойду к колодцу...

И Енсеп шептал в такой момент предсмертную молитву, а очутившись на сияющей земле, благодарил всевышнего. После каждого нового своего колодца он чувствовал себя вконец изнуренным, опустошенным. И думал, что

никакие силы и соблазны не загонят его опять в эту бездну. Но проходило пять-шесть месяцев, и он ставил свою дырявую лачугу на другом месте и брался за лопату и лом.

Какая властная сила опять толкала его в чрево колодца, еще вчера пугавшее его до содрогания? Енсеп об этом тогда, пожалуй, еще и не задумывался. Понял он это позже.

В мире, неумолимо разделившем людей на имущих и неимущих, хороших и плохих, в мире, где царствуют вражда, зависть и порок, идет жестокая схватка за то, чтобы выжить, уцелеть, оказаться на поверхности. Деньги, слава действуют здесь на людей, как шпоры на еще не объезженного скакуна.

Вначале в преисподнюю Енсепа отправляли льстивые речи и хвала. Он искренне верил, что весть о новом колодце отзовется радостью в сердцах всех, до кого она донесется. Со временем, однако, он горько разочаровался, ибо убедился, что это далеко не так. Выполнив очередной заказ, он гнал впереди себя скот, а за ним хвостом тянулись сплетни, наговоры, слухи. Иные обвиняли его в жадности – глаза завидущие, руки загребущие, вон как надрывается, будто с собой на тот свет хочет прихватить состояньице. Другие нашептывали ему, стараясь растравить, разбередить его душу:

– Апырай, ну и жмот этот твой бай, бога не боится! За колодец глубиной в семьдесят кулаш сунул тебе всего-навсего семьдесят полугодовалых ягнят!

А через месяц-другой подстрекатель объявлялся сам:

– Енсепжан, я ведь не из таковских, как тот скряга. Я одарю тебя щедро, как никто. Соорудишь мне колодец – отвалю сотню овец.

Енсеп уже не брался, как прежде, за любые заказы. Он стал выбирать заказчиков по их чапанам и убранству коней.

Дядя Даржан как-то объявил: «Сил моих больше нет долбить камни в верховье. Переберусь-ка я в низовье, где и грунт мягче и вода не так глубока». И он покинул горные аулы. Лет пять он копал колодцы в аулах низовья, а потом случилось то, чего постоянно со страхом ждет любой кудукши: обвалилась рыхлая стенка и засыпала живьем силача Даржана.

Енсеп упорствовал, оставался в верховье и рыл, рыл,

рыл глубокие, как пропасть, колодцы. Цены он назначал с каждым разом выше; заказчиков же у него поубавилось – лишь известные богачи, теша тщеславие, посылали гонцов к Енсепу.

Со временем заказчиков стало совсем мало. Енсеп порой думал, что люди позабыли дорогу к его юрте. Те, кому он отказывал, уезжали разобиженные, грозясь вообще больше с ним не знаться. И конечно, тут же искали и наводили других кудукши, может, и не таких прославленных, зато более сговорчивых.

В эту-то пору и появился на горизонте некий Калпак из Хорезма. Поговаривали, что Калпак ладит седла и конскую упряжь. Потом пошли слухи, что он и колодцы роет. Заказчики хлынули к нему. Иные специально, чтоб досадить Енсепу, подъезжали к его аулу, а потом круто сворачивали к Калпаку, хотя тот жил в другой стороне, на расстоянии примерно полдня пути.

Поначалу подобная мелочность, столь наивная месть забавляли Енсепа. Потом нарочито проезжавшие мимо путники стали его раздражать. Ну а со временем дело дошло до того, что, сжигаемый завистью, прятался он в юрте, тайком подсчитывая, сколько всадников и из каких аулов держали путь к Калпаку. К его утешению, гонцы из родовых и богатых аулов пока что к его тайному сопернику не обращались.

Люди, которые наведывались к Енсепу, будто невзначай, через каждое слово упоминали имя пришельца из Хорезма. Енсеп крепился, делал вид, что его это не трогает. Иногда с чувством превосходства ронял между прочим: «В Хорезме грунт мягкий, глинистый. Не то что у нас – камень да булыжник. Он небось привык к мелким колодцам. Даже и не колодцам, а просто ямам...».

Бай Сагинай, имевший зуб на Енсепа, нанял Калпака рыть колодец рядом с большой солончаковой дорогой. По ней кочевья перебирались на Устюрт. Сагинай был жаден до невозможности. Поговаривали, что, когда к нему приезжали гости и его жена собиралась положить в котел мясо, бай подзывал к себе внука и начинал причитать:

– Охо-хо, жеребеночек мой, носишься весь день как угорелый. Смотри-ка: похудел-то как! Кожа да кости. Ребрышки твои пересчитать можно. Ну-ка, ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять... Ай-ай-ай... А позвонки-то! Раз,

два, три... Господи, а ручонки – прутья, да и только! Что люди подумают, глядя на тебя? Не иначе, скажут, голодом тебя морят. Постой! Ойбай, а это еще что за болячка на твоей лопатке?!

Выслушав эту речь, жена бая опускала в котел лопатки, пять ребер, три позвонка, мосалыжки.

Этот скупердяй, чуть ли бороду не макающий в казан, дабы пересчитать каждый кусок мяса, по всему, затаил зло на Енсепа. Доброхоты разносили новость, что бай Сагинай обещал Калпаку за работу пожаловать сто пятьдесят овец и верблюда.

Потом по степи пронеслась весть: «Колодец, который роет Калпак, будет самым глубоким на Устюрте. Уже сейчас глубина его исчисляется в пятьдесят шагов!» Отныне все разговоры гостей, приезжающих в аул, вертелись вокруг одного и того же – колодца Калпака. При этом размеры и глубина его росли в устах людей не по дням, а по часам. Утром болтали, что глубина его равна ста двадцати шагам, а вечером трезвонили о ста тридцати шагах.

Даже почтенные белобородые старики, поддавшись всеобщему сумасшедствию, до хрипоты восхваляли небывалый с сотворения мира колодец. «Оказывается, – захлебывались некоторые в экстазе, – предок Калпака был святым. Он оставил своим потомкам волшебный железный кол. Кол этот и подает знак, где имеется вода. Вот Калпак и угадывает, в каком месте копать ему колодец. Ну и чудо!»

Как-то двое проезжих сообщили: «Глубина колодца уже сто сорок шагов. Своими глазами видели!» Нашлось немало любопытных в степи, которые поскакали поглазеть на это чудо из чудес.

Аулчане Енсепа тоже не поленились, погнали туда коней. Раньше они стеснялись вести при Енсепе беседы о Калпаке, теперь же при них смущался он. Он считал, что праздный люд, собравшись в тени чьей-нибудь юрты, возносит до небес колодец Калпака для того лишь, чтобы досадить ему, поизмываться. Он стал болезненно мнительный, избегал людей, ему постоянно мерещелись насмешливые улыбки, осуждающие взгляды. И он не выдержал: оседлал коня и отправился к Калпаку.

Калпак был уже в годах, однако, завидев Енсепа, засуетился, как мальчишка. Он принялся теребить редкие ры-

жие усы, потом, спохватившись, подробно расспросил, здоров ли гость и все ли благополучно в его доме и ауле. Подбородок Калпака был голый, как колено; глаза серые, нос крючком. Маленький плоский череп обмотан выгоревшим, непонятного цвета платком; его конец болтался, прикрывая ухо.

Енсеп застал Калпака сидящим на каменной приступке у колодца. Он, видимо, только-только вылез наверх. Подвернутые выше колен штанины были мокрые. Полосатый чапан наброшен на голое тело. Редкие, с желтизной, острые зубы обнажены – непонятно, гримаса это или улыбка.

Енсеп вежливо ответил на традиционные вопросы хозяина, потом сам начал задавать их. Его не очень интересовало здоровье и благополучие семьи и скота Калпака, интересовал колодец. Он зорким, опытным глазом глянул на белевшую тропинку, проторенную верблюдом в чигире, мысленно прикинул ее длину... Не зря люди языками чесали: глубина изрядная, пожалуй, сто пятьдесят шагов будет. Он потемнел лицом; в сердце холодной, скользкой змеей вползла зависть. Сделав над собой усилие, он расправил хмурые брови, еле-еле выговорил:

– Да сопутствует тебе удача!

– Да сбудутся ваши слова! – ответил Калпак. Тон соперника показался Енсепу резким и вызывающим. Он быстро, в упор посмотрел на Калпака, смягчая враждебное, суровое выражение лица, растянул губы в подобие улыбки, спросил:

– Как, до воды много еще осталось?

– Не сегодня-завтра надеюсь добраться. Енсеп направился к коню. Калпак предложил выпить чаю, но он отказался, сославшись на неотложные дела. Калпак почтительно помог ему сесть на коня.

Енсеп попрощался, тронул поводья. Ему почудилось, что удачливый Калпак с жалостью взирает ему вслед. Даже то, что хозяин поддержал его, когда он взбирался в седло, Енсеп воспринял теперь как проявление жалости. Его обдало жаркой волной стыда и возмущения. Он больно хлестнул коня по крупу. Да, не миновать ему, Енсепу, срама – колодец Калпака будет самым глубоким на Устюрте. Недаром уже сейчас его уважительно называют в народе «Калпак-казган» – «Колодец, вырытый Калпаком».

Енсеп вернулся домой подавленным, несчастным. Его, как рой мух, окружили бередящие душу мысли. Дядя Даржан поставил в этой гладкой, как плешь, полупустыне немало колодцев. Но прославлялись при этом баи, чьи имена присваивались – за что, собственно?! – этим колодцам. А потом в одном из них Даржан нашел себе могилу. Что толку, что он мог одним ударом руки свалить верблюда? Что всю жизнь с того дня, когда он впервые ухватился за холку стригунка, и до последнего своего смертного часа работал, работал, не выпуская из рук кайло? Что это он спас от жажды множество людей – тех, у кого от нее, проклятой, мутился разум? Что он дал казахам столько вкусной, холодной воды, которая в пустыне дороже золота? Рыжий глиняный холмик понемногу осядет, ветер развеет глину, сровняет тот холмик с землей – кто будет знать, что под ним, в старой, провалившейся яме покоится безымянный кудукши?! Тот, что дарил людям жизнь? Какой же смысл в том, что Даржан неутомимо, на совесть ковырял эту бездушную черную землю?! Неужто только ради жратвы, которую добывает себе и последняя из последних собака, и жалкого тряпья?!

Так чужая удача нежданно-негаданно напомнила Енсену о скоротечности жизни и изменчивости судьбы.

Совсем пусто стало отныне вокруг его юрты. В прежние времена, заметив всадника издали, Енсеп твердо был уверен: кто-то едет к нему. Теперь, увидя у горизонта путника, он робко надеялся: а вдруг он все же кому-то понадобился? И не находил себе места от волнения. Увы, искали не его, мастера колодцев, а пропавшую в безбрежной степи скотину или еще что-нибудь.

С годами стало заметно редеть поголовье, которое Енсеп нажил тяжким трудом.

Его охватила неизбывная тоска; радость покинула юрту Енсепа. Он вставал по стародавней своей привычке, едва забрезжит рассвет, торопил, подгонял жену, чтоб поше-веливалась, скорее готовила чай. Завтракал кое-как, наспех. Потом начинал маяться, ходить взад-вперед, испуганно озирался вокруг, лихорадочно вглядывался вдаль; наконец, измученный, будто оглушенный, опускался на кошму и застывал. Раньше, в сыром колодце, время тянулось бесконечно долго; находясь дома, сидя в прохладе,

на мягкой постели, он еле-еле дожидался вечера – ему казалось, что время и вовсе остановилось.

Когда терпенье его иссякало, он седлал коня и отправлялся на охоту. В степи, где косяком паслись косули, в низинах, где обитали дикие козы, в оврагах и ущельях, где водились архары, в лощинах, по которым все они ходили на водопой, Енсеп ставил капканы. Но и это не отвлекало его от невеселых дум, не снимало тяжести с сердца.

Он не высматривал зверя – высматривал места, где могла бы быть вода. Он изучающе оценивал, в каком направлении тянутся хребты и перевалы, где и как перекрещиваются ручьи и овражки, каков травяной покров. Он то и дело слезал со своей неприглядной лошадки, ручкой камчи разрыхлял землю, разглядывал почву на ладони.

В горах его привлекали не архары, а удобные тропы для перевозки камней, необходимых, чтобы укрепить стенки колодца.

Редко Енсеп возвращался домой с добычей. Но он утешал себя: уж лучше по степи и горам мотаться, чем целыми днями мозолить глаза жене и детям. Если в степи ему ненароком встречались охотники, он жадно расспрашивал их о новостях в окрестных аулах...

Богач Сагинай со всем своим родом, судя по рассказам, старался окончательно прибрать к рукам Калпака. Бай не допускал к колодцу «Калпак-казган» никого из других родов, шел на грубые ссоры с кочевьями, обвинял их, что они-де вычерпали всю его воду и истоптали его пастбище. Он приказал избить двух чабанов бая Байсала за то лишь, что они осмелились напоить своих овец из его колодца. С тех пор баи-соседи стали жить как кошка с собакой.

Однажды, возвращаясь после неудачной охоты, Енсеп приметил на привязи возле своей юрты чужого коня. Он не поверил своим глазам. «Не мерещится ли? Кто же это может быть?» – подумал он и погнал лошадь быстрее. Чем ближе к аулу, тем сильнее колотилось сердце Енсепа. Судя по коню и сбруе, гость был из людей состоятельных.

Через открытые решетки юрты Енсеп узрел жирный зевок бая Байсала.

Байсал приветливо поздоровался с Енсепом. К делу он

перешел не сразу, а лишь поведав о новостях в аулах и поинтересовавшись житьем-бытьем енсеповского аула. Енсеп для угощения зарезал полугодовалого барашка, радушно ухаживал за гостем.

Собравшись отъезжать, Байсал произнес как бы между прочим:

– Может, проводишь меня, Енсеп, вон до того перевала?

– Охотно, – засуетился Енсеп.

Миновали аул, и тут бай повел речь о главном:

– Ты, Енсеп, наверное, уже наслышан о том, что Сагинай самовольно присвоил себе широкий путь, по которому испокон веку кочевали наши предки. У нас, сам знаешь, никогда не было ни ругани, ни распрей из-за этой дороги. Теперь Сагинай грызется, прямо-таки лается с каждым, кто проезжает там. Пусть другие цапаются с ним, а мне, признаюсь откровенно, не хочется унижаться ссорой с этим вонючим ублюдком. И вот задумал я неподалеку отсюда, по конской тропе, проложить новый путь для кочевок. Сегодня я там проехал и убедился, что местность вполне подходящая, тихая. Пастбища сносные, тропа не очень узкая. Одна беда: сразу же после отрогов на расстоянии двухдневного пути вода есть, а дальше – сплошь пустыни. Где-то на полпути позарез нужен колодец, чтоб во время кочевок напоить скот...

Байсал круто оборвал речь и уставился на Енсепа. Сделав внушительную паузу, добавил:

– Весеннюю стрижку овец мне хотелось бы провести у нового колодца...

Растерявшийся от счастья Енсеп молчал.

Байсал простился. Его крупный соловый конь удалялся все дальше и дальше и постепенно слился с порыжелой осенней степью. Енсеп неотрывно, до рези в глазах, смотрел ему вслед. Байсал, исчезнувший так неожиданно и скоро, казался ему добрым привидением.

Опомнившись, Енсеп повернул лошадь в аул. Вдруг ему почудилось, будто кто-то его окликнул. Он похолодел. Его пронзила мысль: Байсал передумал, перерешил. Он медленно обернулся: бай уже поднялся на черный холм у самого горизонта. Немного погодя Енсеп еще раз глянул назад – бай спускался по косогору; еще мгновенье, и он скрылся совсем...

Енсеп уже смирился с мыслью, что к нему никто и никогда не обратится больше с заказом. Он втайне мечтал: если ему еще суждено будет заняться своим проклятым – и единственно любимым – ремеслом, он сделает колодец всем на удивление, на славу себе. Эта мечта долго – и увы! – бесплодно жила в нем. Сейчас, когда он мог осуществить ее, нахлынули сомнения: а сможет ли он, способен ли он еще потрясать людей?

Енсеп целыми днями не слезал с коня. Обшарил каждый кустик в окрестности, что указал Байсал, объездил все лощины, холмы и низины, Енсеп ушел в себя, замкнулся, почти не разговаривал с домашними. Иногда, сидя за дастарханом, ставил пиалу с чаем перед собой, упирался подбородком в колено и, отрешаясь от всего, что его окружало, задумывался.

Он долго прикидывал, сомневался, рассчитывал. Наконец выбрал место. Он обращался за советом к старикам, чтобы не обидеть их и избежать всяких кривотолков. Однако не прислушался к их мнению, поступил по-своему.

Над колышком, который Енсеп вбил в землю, бай Байсал поставил юрту и прислал мастеру в помощь четырех джигитов. Ночью перед началом работ Енсеп не сомкнул глаз.

За долгий вынужденный простой его руки отвыкли от дела. К тому же его сковывала неведомая ему ранее неуверенность в себе.

Енсеп все стоял и стоял рядом с железным колом. Уже утихли ободряющие хвалебные слова джигитов, которые в былые времена подстегивали самолюбивого Енсепа, заставляли его работать, пренебрегая усталостью...

Да, время наложило на него свою печать. И разве только на него? Его бойкий аргамак по кличке «А, была не была!» превратился ныне в заезженную, дряхлую клячу, которую, как ни подгоняй, ни подстегивай, не пустишь во весь опор.

Енсеп понимал – чего там лукавить перед собой! – на этот раз его толкала в алчный зев земли особая сила. Он, правда, еще не решается прямо определить болезнь, которая привязалась к нему, неотступно преследует его с той поры, как он навестил Калпака. Она, эта болезнь, терзала, подтачивала, медленно изводила его, лишая сна,

доводя до неистовства. Разум, совесть его отказывались назвать своим именем точившую его боль. Он ясно чувствовал – она не отпустит, не покинет его, пока его воля не сотворит в отчаянном порыве чудо. Пусть он ее почти лишился, пусть его воля превратилась в хромоногого, ослабевшего ишака – он, Енсеп, подстегнет ее, найдет в себе силы вновь утвердить, вернуть свою славу...

Почти год миновал с того дня, когда Енсеп предавался этим раздумьям. Не ведая отдыха, с упорством фанатика долбит он бездушную, безмолвную землю. Только дважды он прерывал работу, седлал лошадь, исчезал за перевалом и возвращался через пять-шесть дней. И совсем недавно он отлучался. Куда он ездил? С какой целью? Об этом он не обмолвился ни словом.

В этом он не признается и самому Байсалу на пиршестве, если, разумеется, колодец удастся.

Как же возликует тогда Енсеп! Никто, ни один человек на свете не посмеет умалить его заслуги, не оценить его несравненное мастерство! А после... После он не то что землю потрошить, вообще будет за версту объезжать любой колодец. Будет довольствоваться тем, что у него есть, и тихо-скромно коротать век.

Как бы там ни случилось, все равно его колодец будет самым глубоким на этом плоскогорье. Словно отрываясь от белых хребтов, плоскогорье не идет под уклон, а постепенно будто поднимается по ступенькам, пока не сливается окончательно с песками большой пустыни.

Все известные Енсепу глубокие колодцы находятся ниже этого уровня. Там водоносный слой значительно ближе к поверхности. Стало быть, по его расчетам, здесь вода располагается на глубине двухсот шагов, никак не меньше. Он сильно обрадовался, когда дорожка, вытоптанная вороным атаном в чигире, оказалась именно такой длины. Он почувствовал в себе уверенность, ан нет, опять непредвиденная неприятность: со вчерашнего дня вдруг обнаружилась плоская мокрая галька.

Он встревожился: ее появление не случайно, значит, вода вот-вот выступит. И полетят его расчеты и мечты о небывалой глубине! О небывалой славе!.. Неужто он напрасно дважды гонял коня вдоль промоины?

Енсеп все время внимательно прислушивался, но, кроме глухого стука железного лома о сырую землю, его ухо

ничего не улавливало. Копать рыхлую супесь вперемежку с влажной галькой было совсем нетрудно. Дубовую бадью он наполнял моментально. Судя по всему, источник воды где-то рядом, совсем поблизости. Не исключено, что вода прорвется именно здесь, в этой точке. Он в который раз ощупал стенки, чтобы определить, какая из них плотнее, но камня так и не обнаружил. По его расчетам, пора бы уже наткнуться на серый валун. Что за дьявол, почему опять здесь сплошной рыхлый, податливый грунт?

Енсеп продолжал механически, монотонно долбить дно. И вдруг лом со скрежетом прошелся по камню. Енсеп застыл, сам себе не веря: неужто камень? Он стал осторожно подкапывать грунт, лом по-прежнему ударялся о большущий камень. Супесь с влажной галькой кончилась. Под ногами Енсепа скапливалась и хлюпала вода. Видно, утром он напал на незначительный водоносный слой. Будь «глазок» крупным, уже хлынула бы мощная струя. Он, очевидно, наткнулся на песчаный слой, намытый какими-то побочными ответвлениями основного подземного течения. Да, ясно теперь: до главного русла он пока не добрался. Оно здесь, под этим твердым пластом. Когда он пробьет его – потечет, заструится желанная вода...

Приехав на это место, Енсеп перевез сюда и юрту младшего брата Тенсела и раскинул ее на откосе, где грядами громоздились белые скалы. Он поручал брату тесать камни, которыми потом они выложат сруб. Енсеп так намаялся в дороге, что, едва поставив юрту, завалился спать.

За полночь он проснулся. До его слуха смутно доносилось журчание. Он лежал и внимательно вслушивался в звуки, потом не выдержал, поднялся и вышел из юрты. Мириады звезд на летнем ночном небе хмуро подмигивали ему. Черной линией, совсем как острие ножа, простирался у ног край откоса, а под ним – море.

Тихая ночь и его сковала сном. Енсеп запахнул чапан на обнаженной груди, поежился зябко и быстро затрусил в юрту.

Едва Енсеп коснулся головой подушки, ему снова почудилось журчанье. Уснуть Енсеп так и не смог. Что это за звуки? Быть может, это в ущельях, в горах, между скал воет-завывает ветер? Но ночь-то сегодня безветренная!

Утром, наспех попив чаю, Енсеп отправился вдоль откоса. Могучие, в мощных складках скалы то убегали от моря, то грозно нависали над ним. Кое-где сильно размытые, щербатые скалы наполовину стояли в воде.

Енсеп прошел по каменистой косе, поднялся на одну из них, насторожился. Вроде где-то здесь, в нескольких шагах, возникал странный журчащий звук, который не давал ему покоя ночью. Он глянул с обрыва вниз. Море было спокойно. Кокетливые кудрявые волны, напоминающие оборки женского атласного платья, гонялись друг за другом. Потом, будто угомонившись, расстилались у подножия скал, целуя их шершавые выступы. Трудно было поверить, что в шторм эти же волны, но белопенные и гривастые, яростно обрушиваются на скалы... Однако что это за звук?

Енсеп напряженно прислушивался, стараясь разгадать загадку. Похоже, поблизости течет вода. Откуда она здесь? В этой потрескавшейся от зноя, выжженной пустыне нет ни одной, даже захудалой речушки, которая впадала бы в море. Два-три ручейка обрываются, исчезают где-то в солончаках на расстоянии не менее шести кочевок от моря.

Енсеп побрел по кромке мыса назад. Обследовал крохотный, притаившийся между зубчатыми белыми скалами заливчик, и тут, у подножия одного утеса, обнаружил пещеру.

Морские волны омывали, прополаскивали ее горловину. Вода источила утес, ветер прорезал на нем желтые морщины. Журчанье, казалось, исходило оттуда.

Енсеп поспешил к пещере. Все явственней слышался знакомый звук. То не был своеобразный плеск волн, ударяющихся о скалы; это было, вне сомнения, бурное течение полноводного источника. Не исключено, что из-под земли, из пещеры бьет мощный родник и вода его несется в море, догадался Енсеп.

Он оставил у пещеры камни для ориентира и снова отправился в путь. Оказалось, что до той самой каменистой лощины, где он копал свой колодец, тянулось от пещеры песчаное руслице. Почти все колодцы на плоскогорье располагались по этой линии...

Енсепа осенило: колодцы эти питаются не главным водоносным слоем, что находится бог весть в какой глубине, а его побочными, лежащими значительно выше мелкими ответвлениями... Стало быть, до него, Енсепа ни

один кудукши еще не добрался до основного русла подземной воды, той, что стекает в море...

Вспомнив об этом сейчас, Енсеп с еще большей яростью принялся за каменный пласт. Скрежет железного лома заполнил собой еще недавно безмолвный колодец. В ушах мастера стоял звон.

Железо обжигало ладони Енсепа холодом, и он решил остановиться на миг, надеть рукавицы. И тут уловил слабый, глухой гул. Гул напомнил Енсепу звуки, которые он не раз слышал, лежа под джидой где-нибудь в пустыне или в овраге. «Может, здесь есть щели, тянущиеся к верхним рыхлым слоям земли?» – подумал он.

Енсеп осторожно обшарил стенки колодца – ни единой трещины. Он снова прислушался. Да, гул был явственным, и к нему вроде бы примешивалось журчанье.

Енсеп опять рыл, рыл, потом остановился, напряг слух. Снова долбил, долбил, выпрямился, приложил ухо к стенке – непонятный гул сделался громче.

Енсепа охватила радость: это же не просто гул. Под ногами бежала, пела вода, ее песня становилась все звучнее и звучнее. Да, да, он добрался до бурного подземного течения. О счастье!..

Енсеп, ощутив новый прилив сил, бил по серому камню. Скрежет лома от соприкосновения с глыбой не мог уже заглушить все нарастающий гул.

Енсеп без передышки бил и бил железкой по пласту. Стояла промозглая сырость, тянуло холодом, но по лбу и груди Енсепа струился пот. Каменистый пласт крошился под ним, из-под ног летели осколки. Еще чуть-чуть, еще самая малость – и откроется главное русло! Енсеп что было силы вцепился в лом. И через секунду-другую совсем рядом отчетливо различил удары. Можно было подумать, что в узком мешке колодца еще кто-то крошит камень.

Удары повторялись периодически, ритмично следовали один за другим. В душу Енсепа закралось опасение – уж не торопится ли кто-то одолеть этот камень раньше его? Но нет! Откуда здесь взяться человеку? Енсеп остервенело работал ломом, стараясь заглушить посторонние звуки. А они не исчезали. Теперь бухало уже оглушительно, почти без пауз.

Енсеп выбился из сил, задыхался, сердце, казалось,

вот-вот разорвется – так тесно ему стало в груди. Надо было отдохнуть, собраться с мыслями, успокоиться, но неведомый, неподвластный Енсепу звук все приближался.

Енсеп стоял, парализованный страхом, боясь шевельнуть пальцем. Все же решился, нагнулся, ощупал холодные, влажные стены и плоский, как доска, камень. Нет, кроме него, в этой могиле не было никого. А в ушах стучало набатом: бум-бум-бум!

Он поднялся. И снова лом обрушивался на камень. Соленый пот заливал глаза Енсепа, катил градом, но он будто и не замечал этого, все долбил, долбил, долбил...

Вдруг кто-то железной хваткой уцепил лом и не отпускал его. Енсеп как подкошенный упал на колени, в глазах потемнело. На мгновенье мелькнул перед ним платок Калпака, сам Калпак с обнаженными в злорадном оскале редкими желтыми зубами. Вот он тянет руку к лому, хватает его... Енсеп опомнился, рванул лом на себя и легко вытащил его из щели в камне.

Енсеп окончательно овладел собой. В ноги подуло, будто сквозняком. Он постоял немного, огляделся, прислушался. Шумела вода; молотом стучало его собственное сердце...

На его губах заиграла улыбка. Сейчас нужно сработать в камне лунку. Подходящего размера, такую, чтобы объемистая – с полкорыта – бадья из жеребячьей шкуры свободно черпала воду. Осколки не летели теперь вверх, они проваливались в пучину, в которой гремела, бурлила вода. Лунка все увеличивалась. И все ощутимее поддувало снизу.

Енсеп делал маленькие паузы, чтобы только перевести дыхание. Все его усилия, воля, желания сосредоточились на лунке в середине камня. Он потерял счет мгновениям и не знал, сколько времени бьется с этим проклятым камнем.

Работал он яростно, ожесточенно, предвкушая долгожданный миг своего величия и торжества. Тогда он всему миру докажет, на что он, мастер Енсеп, способен. Страх как рукой сняло. Енсеп не обращал больше внимания на тесный свой склеп, на мглистые тени, зловеще притаившиеся по углам, на истеричные прыжки аркана, которым джигиты там, наверху, подавали ему знаки... Ничего, кроме

этой лунки под ногами, сейчас для него не существовало. Он был одержим ею...

Неожиданно Енсеп промахнулся, шлепнулся ничком, больно стукнулся лбом о стенку. Однако чьи-то большие, мягкие, теплые ладони поймали его на лету, заботливо поддержали. Они провели по его телу с головы до ног, погладили его. Тот, кому принадлежали эти ладони, был весь в поту – совсем как Енсеп. Мастер почувствовал, как мучительно заледенели его спина и поясница. Потом кто-то наклонился к нему: в густом мраке белело худое, полное жалости и сострадания лицо Калпака.

Енсеп с трудом заморгал свинцово отяжелевшими веками, и тут гривастая, в пене, клокочущая волна подхватила его и увлекла в пучину. Он закричал отчаянным, предсмертным криком. Но сам он его уже не услышал.

Напрасно помощники, сгрудившиеся у отверстия колодца, дергали за аркан. Бадья вернулась пустая. Тогда они ловкими, спорыми движениями запрягли верблюда в чигирь, опустили в колодец толстый волосяной аркан с петлей на конце. Но и его вытащили ни с чем.

Опустив головы в колодец, они завопили во всю силу легких:

– Енсеп! Енсе-е-е-еп!

Ответом им были молчание и далекий, смягченный расстоянием гул. Джигитов обдало холодным дыханием. Они в ужасе отпрянули.

Многие годы никто не осмеливался подойти к этому страшному колодцу. Говорили, будто в нем обитает чудовище, которое-то и утащило, погубило Енсепа. Находились и такие, что «собственными глазами видели, как однажды высунулся из колодца семиглавый дракон-айдахар».

Ушли в небытие еще несколько лет. Объявились смельчаки – бесшабашные головы, – приблизились к колодцу и даже опустили в него бадью. Их поразила вода – чистая, вкусная, прозрачная как слеза.

Долго совещались белобородые старики: как тут поступить? Позвали муллу. Он раскрыл коран, прочитал священную молитву, очистил колодец от злых духов, чертей и разной прочей нечисти... Выложили камнями стенки, поставили сруб. Отныне все окрестные аулы не знали

нужды в пресной воде. В засушливые годы мелели, а то и вовсе высыхали многие колодцы. В этом вода не переводилась никогда.

Однажды кто-то нечаянно упустил бадью, и ее вынесло к подножию утеса у самого моря. Так люди узнали, что под этим колодцем протекает подземная река.

Колодец прославился как самый глубокий и самый многоводный на плоскогорье. Однако называли его не «Енсеп-казган» – «Вырытый Енсепом», а «Енсеп-улген» – «Тот, где погиб Енсеп».

*Перевод В. Панкиной*

# СОСТЯЗАНИЕ

## 1

Да, верно говаривали в старину: коль подрастает дочь, готовься к напастям. Будь это не так, жил бы себе бай Балпан в свое удовольствие и в ус не дул. Богатства, слава всевышнему, он нажил считать не сосчитать: погонят его табун на водопой – передние лошади, пофыркивая, воду в Чилике уже пьют, а задние, поднимая пыль до небес, только-только спускаются к Таскайнару, что находится на расстоянии шести кочевьев. Сколько овец в отарах, бай и сам не упомнит. Знает лишь, что в период стрижки купец Шурен по десять возов шерсти возил в день на городской базар и то еле-еле за полмесяца управлялся. Акын Кушен, прославляя богатство бая в песнях своих, пел, что-де при кочевках с места на место остается в степи под каждым кустиком по верблюду, и никто даже не спохватится – разве заметишь столь ничтожную потерю?

И с начальством, благодарение аллаху, бай Балпан ладит. Когда-то щедро подмаслил его, без труда прибрал к рукам долину между двумя полноводными реками, зимой и летом текущими наперегонки, – не задыхаться же, в самом деле, в пустыне! Междуречье длиной в пятьдесят кочевьев всецело принадлежит ему. Как сказали бы мудрецы: и на изголовье, и на изножье хватает.

Вот этой весной нагрянул чиновник – улук белого царя. Прикатил в сером фаэтоне, такой важный к спесивый,

что от его спеси, казалось, даже оглобли фаэтона задрались. Однако нежное мясцо молоденького ягненка да еще духмяный байский кумыс растопят, как солнце масло, любую черствую душу. Отбывая, этот зазнайка-улук тискал-лобызал степняка бая пуще своей белотелой бабы. Насилу оторвался. Но Балпеке человек с дальним прицелом. Отрядил шесть джигитов сопровождать начальника в пути, приказал продать две сотни холощеных двухгодовалых баранов, а деньги сунуть его превосходительству в карман. Сына заблаговременно отправил в город за покупками и набил-нагрузил две телеги всякой всячиной – на, получай, жри, хоть подавись! А когда, щедро одаренный, умасленный лестью улук, багровый от обильных возлияний и жратвы, вернулся, словно из обетованной земли, домой, там ожидала его истосковавшаяся супруга да курдюк ягненка в котле – ко времени доставленное подношение бая. Ясно, что после такого улук скорее позабудет родного батюшку, чем степного богача Балпана.

Однажды, правда, этот рыжий дьявол напугал его не на шутку. Брезгливо, словно там плавали мыши, цедил он, сдувая пену, кумыс, как вдруг вошла в юрту Ажар. Он сразу заерзал на своем месте, усы его задергались вниз-вверх, глаза замаслились. Мигом подскочило настроение улука, он начал безудержно лопотать, сыпать словами. И хотя бай Балпан ни одного слова не понимал, однако смекнул, что этот собачий сын не благодарственную молитву произносит, а восторгается его дочерью. Ведь только что сидел, горделиво выпятив грудь, недвижимо, будто палку проглотил невзначай, а тут, увидев девку, сразу слюни распустил. Сунь, кажется, ему в руки песью голову – и то не заметит: глазищами так и пожирает Ажар. Балпап подал нетерпеливый знак своей байбише: убери эту дщерь сатанинскую. Жена, понимавшая его с первого взгляда, быстренько увела Ажар в юрту Утегена и строго наказала, чтобы та не показывалась до самого отъезда улука. И тот мгновенно потускнел, слинял, словно заядлый любитель нюхательного табака, потерявший нечаянно табакерку. Бай Балпан сидел как на иголках, опасался, что улук потребует доставить ему в юрту дочь. Но, слава аллаху, пронесло беду. Не в пример тамошним правителям, которые из-за девок теряют рассудок и бесятся, пока не получат свое, прихвостни белого царя, нажравшись до отвала и упившись до чертиков, забывают про все и вся.

В этот день бай Балпан впервые за долгую совместную жизнь разъярился на свою байбише. Впервые почувствовал печенкой, что девка в доме сущая беда. Да, отец, у которого на выданье единственная красавица дочь, чувствует себя как всадник на ворованном коне.

Что это за жизнь, будь она проклята, когда живешь в вечном страхе и ждешь какую-нибудь напасть?! Эх, если бы он взял себе в жены плодовитую, широкозадую бабу, вроде бабы Можана, которая каждый год родит ему по сыну, жил бы Балпан припеваючи, не терзаясь, что дом останется без хозяина, скот – без присмотра, богатство – без наследника. Восседал бы он тогда на пуховиках, почесывая в затылке да поплевывая на все четыре сторонки. И теща бая Можана и та тоже в свое время много сынов наплодила. Бывало, приедешь к ним – со всех щелей лезут чумазые рожицы, а в юрте никогда не выветривается запах пеленок. Вообще-то когда наши предки советовали жену выбирать по матери, а спутника – по отцу, то делали они это не потому, что их головы кружились от хмельного кумыса, а потому, что в головах этих, видать, кое-что было. Будьте благословенны, наши древние предки! Вы вроде бы и умели только что скот разводить да пословицы придумывать, а все ж, следуй мы, ваши потомки, мудрости вашей, не пришлось бы нам раскаиваться да шишки набивать на каждом шагу. Слушаем, но не внимаем, знаем, да забываем – вот и наказывает нас всевышний за грехи наши...

Балпану исполнилось пятнадцать лет, когда покойный отец начал мотаться из аула в аул. Однажды прискакал домой, спрыгнул с седла, как угорелый ворвался в юрту. Вешая камчу на гвоздик, наступил на рыжую гончую, она, по обыкновению, лежала на отведенном ей почетном месте. Та заскулила на весь аул. Отец даже не заругался по привычке. Он как вкопанный стоял посередине юрты. Гончая скулила, поджав хвост, как заведенная металась по юрте – отец и слова не вымолвил. Потом собака выскочила, забилась в угол под навесом и успокоилась.

Отец стоял все так же молча, неподвижно. «Оу, да что это с тобой приключилось?!» – обратилась к нему мать. Он наконец обрел дар речи: «Э, жена, нам крупно повезло. Я сватался к Кадырбаю. Тебе известно: достаток и счастье прочно обосновались в его доме. Он обещал отдать нам дочь». Отец, наверное, так не радовался, когда

сам женился. Тут же крикнул сына, игравшего в одиночестве у порога. Спросил грубо: «Ну, дурень, поросенок хлипкий, жениться хочешь?» Балпан прикинул, что, если женится, его не будут больше обзывать «хлипким поросенком», и потому ответил, шмыгнув носом: «Хочу!» Вскоре привезли к нему Маржан, и она стала его женой.

Жаловаться, конечно, грешно: богатство и удача действительно сопутствовали ей. С тех пор как она переступила порог юрты Балпана, аул не знал беды. Правда, в тот год, когда она была последний раз на сносях, нежданно-негаданно подохла рыжая одногорбая верблюдица, отличавшаяся обилием молока. Может, с тех пор билась какая-нибудь посуда – за эту ерунду ручаться невозможно, но в поголовье скота потерь не было – это точно. Раньше, до Маржан, их аул при кочевках последним снимался с места, их кочевье всегда тащилось в хвосте. С приходом Маржан оно непременно становилось первым. И в юрте все блестит, стряпня вкусная. Одним словом, таких, как Маржан, не часто встретишь. Да и слава богу, есть кому владеть накопленным богатством и хранить очаг. Через несколько лет после свадьбы, развеяв сомнения и страхи мужа, Маржан родила сына, Утегена, а год спустя вновь забрюхатела и принесла красавицу Ажар. Дети здоровые, налитые, видные собой. Разве зажмешь всем рты? Особенно старухи языками щелкали, восторгались: «О аллах, каких здоровяков рожает наша сноха – диву даешься!» Вот и Ажар пошел уже восемнадцатый год, а Маржан за это время забеременела лишь однажды. Но, увидев змею, испугалась и скинула. И должно быть, высохла с той поры ее утроба.

Иной раз бай Балпан горевал: может, сглазили его жену? Обижаться, однако, на нее не имел основания. Дай бог этим двум – Утегену и Ажар – долгих лет жизни и счастья.

Теперь, когда подбородок Балпана зарос бородой и настало время заботиться о душе, он и не надеялся на перемены. Его поражала ловкость и прыть в любовных похождениях иных его знакомых. До чего у них все гладко получается! Тот пучеглазый, плосконосый Саип, будто мало ему собственной бабы, никак не угомонится, шастает по чужим юртам и норовит забраться в чужие постели. Даже благочестивый, ангельски кроткий Зейнел и тот, рассказывают, бесом увивается за молодухами. Сенгир и

тот поблудить не прочь. Такой он никудышный да тощий – страх один; ходит – костями погромыхивает, будто мешок с мослами от подохшей скотины на себя навьючил, а и он не дурак к длинноволосым прилепиться. В этом Балпан убедился, когда они ездили вместе на праздник в аул Алтау. Их как земляков поместили тогда в одну юрту. Балпан, развесив уши, слушал россказни стариков. До отвалу наевшись мяса и напившись кумысу, они возлежали на мягких одеялах в богатой и прохладной юрте, поглаживали животы, почесывали грудь и вели нескончаемые разговоры о том, о сем. Сенгиру не сиделось на месте, он то отлучался, то появлялся. Он все кого-то высматривал, бегал к кипящим котлам, вступал в беседу с мясоварами, а сам исподтишка бросал быстрые взгляды на молодух, которые ставили самовары, хлопотали у очагов, снимая шумовками пену. Он то и дело, как бы желая послушать песни и игру на домбре, заходил в юрту, отведенную для молодежи. Он похваливал певцов и музыкантов и, вроде бы мимоходом, заигрывал и балагурил с лукавыми молодайками, кидал двусмысленные шуточки, не упуская, впрочем, случая ущипнуть незаметно. Самое удивительное, что бабам были явно по душе заигрывания Сенгира, они одаривали его улыбками.

Однажды почтенные аксакалы, поковырявшись в бараньей голове, стали согласно обычаю передавать ее более молодым. Сенгир тут как тут – на полпути ловко перехватил блюдо, споро вырезал бараний глаз и, улыбаясь игриво, протянул его пухленькой, смазливой, разбитной молодухе, которая вся вспыхнула от удовольствия и оказанной чести. Балпан заметил, что Сенгир при этом легонько погладил украшенный золотым кольцом белый палец молодухи, и та томно улыбнулась. С того дня, когда бы Балпан ни просыпался среди ночи, постель Сенгира была пуста. Появлялся он на рассвете, и Балпан не уставал поражаться, откуда у его ровесников берется эта прыть, эта неуемная блудливость?! Будто они с самим шайтаном из одного блюда едят.

Как-то, подстригая ус, он внимательно посмотрел на себя в зеркало и пришел к выводу, что, пожалуй, и он не из тех, кем можно пугать детей. Не каждого встречного-поперечного бог награждает этаким широким, открытым шишковатым лбом; носом, пусть и не совсем точеным, однако для мужчины вполне подходящим; такими улыб

чивыми, добрыми, кроткими глазами; мясистыми чувственными губами, крупным, круглым лицом, румяно-смуглой кожей, не отвислым, как у бабы, а тугим, чуть приметным, придающим мужчине особую степенность и солидность брюшком; сильным, упитанным телом. Нет, не каждый может похвалиться такой внешностью. И, несмотря на эти достоинства, Балпан за всю свою жизнь даже к платью чужой бабы не прикоснулся. И дело тут, ясно, не в том, что женщины его не замечают, а в нем самом, в том, что он, дурак дураком, никого вокруг себя и не видит. Еще в молодости сверстники подтрунивали над ним. Когда он оставался заночевать в семье, где имелась девушка, хитрые старухи незаметно клали горсть зерна на его одеяло, чтобы проведать, не вставал – ни гость среди ночи! Каждый раз удивлению их не было предела, ибо утром они находили все зернышки на месте... Таким недотепой он остался на всю жизнь.

Многие его состоятельные приятели не раз, как говорится, обновляли свою супружескую постель и детей наделали кучу. Даже его одногодок Коразхан-задира, кривобокий, нескладный, что тебе захудалый верблюд, и тот двумя бабами обзавелся... Тьфу, черт-те какие мысли в голову лезут! Видно, совсем заморочили ему голову непрошеные сваты и женихи. Отбою от них нет, так и зарятся на его единственную дочь. Балпан в сердцах сплюнул. В молодости просидел размазней, тюхтей, а теперь спохватился. Спасибо покойному старику отцу, вовремя накинувшему петлю на Кадырбая, а не то коротал бы теперь свой век бобылем.

Балпан уже забыл о своей злости на Маржан и злился на всех вокруг. Как тут и правда не злиться? С тех пор как подросла дочь, дом его забыл о покое. Едва ответишь одному на «Салаум-алейкум», на пороге уже другой тянет: «Ассалаум-алейкум!» Только скроется за перевалом один гость, другой тут как тут. Рыжий улук белого царя – еще полбеды: набили ему карманы разноцветными кредитками, он девку мигом выбросил из головы. Зато страху натерпелись: вдруг его превосходительство разобидится и разгневается. Пришлось-таки перед ним поюлить. Уж так угождали да ублажали его! На Маржан впервые за совместную жизнь накричал:

– Ты что, не знаешь, что девушку следует держать за сорока замками? Почему она заходит, коль в юрте гости?

Что она, не может побыть у брата и невестки? Не ребенок же она малый, чтобы на привязи ее держать! Сама должна соображать – в наш аул прется каждый, кому не лень! Если у нее своего ума не хватает, где твой? Почему ты и невестка Жазыл не учите ее уму-разуму? Ведь не то что человека, тем более собственного ребенка, собаку и ту у порога обучают! А?!

Маржан, услышав из уст мужа такое, сникла вся, виновато опустила голову, тихонько выскользнула из юрты. То ли слова ее задели, то ли досада взяла, что родила дочь, из-за которой столько пошло хлопот в ауле, но расстроилась, бедная, на глаза навернулись слезы.

Видно, Ажар досталось тогда от нее. С тех пор, едва заметив приближающихся гостей, дочь опрометью мчалась к юрте брата.

Ушам бая Балпана, однако, отдыхать не давали. Каждый божий день наезжали сваты из двух-трех аулов. Одни затягивали волынку едва не со священного писания, другие – с обычаев предков. Из-за словоблудия гостей Балпану стало недосуг заниматься хозяйством. Многочисленные табуны пришлось доверить воле аллаха, а самому ухаживать за гостями, которые стекались к нему, как гуси на водопой. И все бы ничего, если бы они после всех хлопот и угощений отправлялись восвояси довольными. Так нет же, одни уезжали, надутые от обиды, другие всякие сплетни за спиной распускают, третьи пятнают честь дочери. Одним словом, все становятся на веки вечные врагами. Есть и такие, что откровенно мстят: не заполучив байскую дочь, угоняют байские косяки. Даже малочисленной родне житья не стало: то ли делить с баем хлопоты, то ли собственный скот стеречь. Наступил момент, когда не стало отбоя и от родственников, и от аулчан. Стали Балпана советами донимать. «Не ты один дочь растишь. Дочерей рожают не для того, чтобы они до самой смерти возле родителей сидели. Недаром говорят: при рождении вместе, а при смерти врозь. Пока щеки девушки не поблекли, а имя не опозорено, надобно от нее избавляться. Ты ведь знаешь наших казахов. Те, что затаили обиду, камчами над нашими головами начнут размахивать. И хотя богатство твое – море безбрежное, удержать его трудно. Разве ты в силах устоять вдвоем с Утегенжаном перед врагами? То-то же! Поразмысли хорошенько. К дочери твоей сватаются не оборванцы и не безродные бродяги. Многие из них тебе ровня, а сыно-

вья их Ажар твоей достойны. Избери одного, который тебе больше по душе, и отдай ему дочь. Не мешкай!»

Бай Балпан понимал, что родственники говорят святую правду. Кому охота быть все время настороже, только и следить за каждым, кто входит в юрту или покидает аул?! Даже ночью и то одним глазом спишь, другим за дочерью глядишь, чтобы, не приведи господи, какой-нибудь лихоимец из-под носа ее не уволок. Конечно, надо бы избавиться от девки. Когда рыжий царский улук уставил свои сальные гляделки на Ажар, бай решил, что нужно немедля сплавить ее замуж. Но кому?..

Вот и зол на весь мир и на себя, как собака, бай Балпан. Ведал же, что девка рождена для чужой сторонушки, ну и отдал бы за первого, кто сватался! Не нажил бы себе столько врагов, и сердце не колотилось бы ночами от страха, от сплетен-кривотолков мигом бы избавился. Ах, глупец, глупец! Бить его некому! Хотя откуда ему было знать, что все обернется именно так? Первая же у него дочь на выданье. И последняя, единственная. Не доводилось ведь раньше со сватами якшаться. Сам женился с помощью отца. Играл себе в асыки, как бешеный прискакал отец, крикнул его, заявил: «Решил породниться с таким-то. Возьмешь его дочь?» Ну он и взял. А когда свой сын подрос, обратился к родственникам жены: «Жените племянника». Те и привели Жазыл в юрту молодых. А время-то летит, не заметишь, вот и дочь созрела.

Он прозевал момент, когда это случилось. Вроде бы еще вчера она играла у него на коленях, висла на шее, шалила. И вдруг пожаловал к ним Можан. Не один. С каким-то сивобородым. Когда-то с этим лопоухим Можаном вместе в асыки играли, собак по аулу гоняли, перед муллой на корточках сидели. Обрадовался Балпан его приезду, как желанного гостя принял. Не каждый ведь день Можан порог обивает да за дастарханом с тобой сиживает. Ради него и молодого барашка не жалко зарезать.

Пока, источая приятный сильный запах, в котле варилось мясо, Балпан повел за чаем шутливую, легкую беседу. Но Можан ее не поддержал, был задумчив и замкнут. Да и одет он был нарядно, с непривычной для него опрятностью. На голове, несмотря на летнюю жару, красовалась шапка из выдры. И на воротнике выдра. Белая с вышивкой шелковая рубаха, казалось, от свежести хрус-

тит. И хотя Можан не соблюдал поста, не молился пятикратно и вообще не отличался благочестивостью истинного мусульманина, был он в тот день и в мягких ичигах, и в кожаных галошах. Он то поглаживал жидкую с редкой проседью бороденку, то теребил, закручивал усы. Балпан не раз подшучивал над давним своим приятелем, над его неказистой внешностью и многодетностью. Может, он тоже шутки ради так принарядился сегодня? Может, он просто разыгрывает его, корча серьезную рожу?

– Моя ровесница в твоем доме, насколько мне известно, не такая уж рукодельница. Кто же это тебя так приодел? Уже не женой ли молодой обзавелся, а? – решил Балпан разрядить возникшую отчего-то скованность.

Можан обычно за словом в карман не лез и кого угодно мог отбрить, но сейчас он лишь осклабился и не произнес ни слова. Балпан не унимался:

– Эй, чего же ты все-таки расфуфырился? А? Да и серьезный больно. Здорова ли жена? Может, она покинула этот свет, и ты молодку себе подыскиваешь, признавайся-ка!

Можан собрался было отхлебнуть чаю, но при этих словах опустил пиалу. Его широкие, слегка вывернутые ноздри раздулись, редкие, неухоженные, будто посыпанные золой усы побежали от улыбки в разные стороны.

– Если б умерла, я бы известил, не обошел тебя. Напрасны твои беспокойства: баба моя пока жива.

– Ну и слава аллаху, пусть себе живет на здоровье, бедняжка! Она у тебя труженица. Подумай, что бы ты делал без нее со своим выводком, дурень? – смущенно пробормотал Балпан, пытаясь скрыть свое недоумение, вызванное приездом и парадным видом старого приятеля.

Можан слегка покраснел и снова замолк. Вытер полотенцем испарину на лбу и, не торопясь, принялся за чай. Балпан счел за благо помолчать. Он покосился на жену в надежде, что, может быть, она что-то уловила в этой туманной ситуации. Но, по-видимому, и она ни о чем не догадывалась, ибо бросала изумленные взгляды то на мужа, то на гостя. Она силилась уяснять, какая же кошка и когда пробежала между ними.

Уже свернули дастархан, а Можан молчал, как в рот воды набрал. Он не спеша достал из-за пазухи выделанную из рога горного барана, украшенную кисточкой из

кожи шакшу, насыпал каким-то особым, жеманным манером на широкую свою, мясистую ладонь жевательный табак – насыбай, заложил его в рот и откинулся на подушки. Ну что ж, решил про себя бай Балпан, молчи, коль тебе так нравится, и я тоже помолчу, подожду, что ты такое изречешь наконец. Однако почему-то на душе стало тревожно и муторно. Неспроста этот неряха сегодня так вырядился, что-то кроется за его непривычной повадкой. Может, он еще в обиде за тот недавний случай? Прискакал, словно с пожара, попросил на пару дней его породистого производителя-верблюда, чтобы покрыть свою верблюдицу. Ну а Балпан и ляпнул: добрые люди, дескать, держат породистого производителя не для чужих паршивых верблюдиц, этак он скоро и ноги протянуть может, И в самом деле, каждый в округе норовил получить приплод от его производителя, будто у Балпана своих верблюдиц не хватает. Можан, даром что балагур и весельчак, порой бывал чрезмерно обидчив. Из-за чепухи мог оскорбиться. Ответ Балпана задел его, и он скорчил кислую рожу. Попроси он еще раз, Балпан, ясно, согласился бы: «Ладно, не жалко, давай пригони сюда свою верблюдицу». Но Можан больше просить не стал. Надул губы, хлестнул коня и ускакал к себе в аул. «Ну и черт с тобой!» – подумал тогда Балпан. А через день или два чистюля Саип, словно благочестивый софы, сдувавший с себя каждую пылинку, пригнал свою верблюдицу для случки с прославленным производителем. Разнюхав об этом, Можан злорадно шипел каждому встречному-поперечному: «Богатство, оно кому угодно голову вскружит. Даже влагу из-под своего производителя Балпан распределяет отныне по особой дружбе да по размерам мошны». Наверно, потому он решил сегодня таким способом выказать прежнюю обиду.

Чтобы сварилось мясо молодого жирного барашка, много времени не требуется. Вскоре мясо свободно отделялось от костей. Две женщины внесли в юрту казан, держа его с двух сторон. Аппетитный, душистый запах поплыл по юрте. Большие куски мяса, равномерно покрытые прозрачным жирком, весомо плюхались на плоский деревянный поднос. «Ну, эти лакомые куски развеют его хмурь, тут уж сердчишко его растает», – подумал Балпан и глянул на приятеля. Тот по-прежнему сидел хму-

рый, скованный – ни дать ни взять молодой зять в доме тестя.

Мясо пробудило аппетит. Гости, Балпан и Утеген основательно расположились вокруг огромного подноса с мясом, возвышавшимся горой. Маржан и женщины из соседних юрт устроились рядом с казаном. Гости дружно поели, передали назад изрядно опустевший поднос. Сноха Жазыл поднялась и поклонилась мужчинам. Подали во вместительных красочных чашках наваристую, жирную шурпу. Мужчины цедили ее с наслаждением, смакуя. В уютной тихой юрте только и слышно было довольное сопенье да кряхтенье. Кто-то тянул бульон, присвистывая. Покончили и с ним. Мужчинам полили на руки из чайника. Сивобородый гость многословно поблагодарил за угощение и принялся бубнить молитву. С момента, как он очутился в юрте, он впервые раскрыл рот, если, конечно, не считать двух-трех слов традиционного приветствия, которые он произнес вначале. Когда унесли дастархан, он вытащил из внутреннего кармана тончайшую, как иголка, костяную зубочистку и принялся ковырять в зубах.

А потом неожиданно произнес:

– Ну, Балпанжан, да воздаст тебе аллах за твое угощение, мы здесь с одним делом. Оно касается тебя и Маржан. Если разрешите, мы хотели бы потолковать наедине.

Женщины, плотным кольцом окружавшие казан, молча поднялись и направились к выходу. Утеген, Ажар, Жазыл последовали их примеру и удалились в свою отау – юрту для молодых.

В большой, главной юрте остались вчетвером. По спине Балпана побежала дрожь, он не в силах был передвинуться на почетное место. Так и остался там, где сидел во время еды. О житье-бытье немногочисленных своих родственников он вроде был осведомлен. Тяжело больных среди них не было. Не дай бог, приказала долго жить престарелая мать Маржан? Но в таком случае к ним прискакал бы гонец и вызвал на поминки.

А сивобородый тянул, медлил, прямо тоску на всех нагнал. Наконец уставился бесцветными глазами на Балпана и заговорил. Его речь не доходила сразу до сознания – такая она была однотонная и невнятная. Маржан и Балпан пытались вникнуть в смысл его слов, понять, не

случилось ли чего-нибудь страшного с их близкими. Судя по всему, нет.

Сивобородый долго толковал о том, что человек, а всяк из нас грешен, стремится к семейной жизни, размножается, растит детей, а потом желает, чтобы и отпрыски его испытали те же радости – обзаводились бы семьями, растили детей; стремление это не от наших предков к нам перешло, оно старо, как мир, существует с самого сотворения мира и восемнадцати тысяч чудес на этом свете, и вся жизнь – аж с появления воды и тверди на земле – есть не что иное, как размножение существ, по воле всевышнего созданных. Потом сивобородый потревожил память Адама и Евы, потом – пророка Мухамеда, потом – святого отца Азрет-Али, не упустил и незабвенную Фатиму, прародительницу правоверных. Отметил, что пророк Мухамед так уважал зятя, что назначил даже военачальником. Бай Балпан имел кое-какое представление о священном писании и никак не мог сообразить, зачем оно вдруг понадобилось оратору. А гость между тем так и сыпал именами святых, отшельников, фанатиков веры, медленно, но верно подбираясь к злосчастным, недостойным лучшего из миров грешникам, населявшим землю ныне. Речь сивобородого шарахалась, как шарахается пьяный, из стороны в сторону и вдруг остановилась на Можане и Балпане.

Гость заявил, что оба они облагодетельствованы самим аллахом, оба богаты и удачливы. Сделав паузу, чтобы слушающие лучше прочувствовали значительность его последующих слов, сивобородый заговорил об одиночестве. «Никто не ведает, какова щедрость божьей милости. Много ли бог пошлет тебе детей, мало ли – никому не дано знать. Но необходимо усвоить раз и навсегда: коли у тебя много ребятишек – они резвятся на равнине, а единственное дитя ходит над пропастью»,– глубокомысленно изрек гость.

Потом он перекинулся на Утегенжана. У него, дескать, и крылья коротки, и хвост куцый: ведь, считай, почти один он. На глазах обычно сдержанной Маржан появились слезы, в недобром предчувствии сжалось ее сердце, но она покорно внимала монотонной, как жужжанье зеленой мухи, заблудившейся в темной юрте, речи гостя. Сивобородый нудно тянул-растягивал каждое слово, будто читал торжественную суру из корана. «Вспомним по-

словицу: сын – потомство, дочь – богатство. И хотя дочь рождается для чужой стороны, а все же жалко ей будет покинуть единоутробного брата». Господи, что же все это значит? Слезы закапали из глаз несчастной Маржан, и тщетно старалась она их скрыть, вытирая кончиком жаулыка. Теперь сивобородый стал через каждое слово упоминать имя Ажар, будто хотел забить им уши ее родителей. Он исторгал потоком хвалебные слова о Балпане и Маржан. Конечно же, дочь таких благовоспитанных, степенных родителей невольно обращает на себя внимание окружающих:

«И Можан, и богом данная ему жена также весьма почтенные люди. Не только их первенец Несипбай, все другие, пока еще малые, их пострелята могут быть надежной опорой Утегену...»

Теперь Маржан все поняла и, еле сдерживая слезы, взглянула на мужа. Он же в полной растерянности воззрился на Можана. Тот хмуро пощелкивал пальцем по табакерке. «Отдавать из дома кровное дитя, без сомнения, всегда тяжело. Однако подумайте над тем, что я вам тут сказал», – заключил сивобородый.

В юрте стало тихо-тихо. Бай Балпан чувствовал себя так, словно его оглушили. Маржан выразительно посмотрела на него, взглядом призывая дать достойный ответ гостям. Балпан прочистил горло, крякнул, судорожно дохнул. Казалось, ему не хватало воздуха в этой оглушающе тихой и душной юрте. Три пары напряженных глаз впились в его лицо. Заметив, что муж затрудняется с ответом, почуяв материнским сердцем, что вот сейчас без нее может совершиться непоправимое, испугавшись этого, Маржан решилась первой вступить в разговор.

– Все, что вы сказали, достойно внимания. Мы благодарим за честь. Но дочь наша еще слишком молода. Ей только-только исполнилось шестнадцать. Мы желали бы годок-другой подержать ее при себе. Пусть отец скажет – судьба ребенка в руках отца.

Балпан собрался с мыслями не сразу. До него лишь сейчас дошло, чего хотели от него гости.

– Я поддерживаю слова матери. Мы ведь, сами знаете, детьми не избалованы. Всего двое у нас. И оба едва-едва оперились. Жалко с ними расставаться раньше срока. Пусть радуют пока сердца родителей.

Сивобородый, совсем, похоже, выдохшийся после дол-

гой своей речи, лишь плечами повел да промычал что-то невнятное. Можан был по-прежнему непроницаем, только легкий румянец пробился на его замкнутом равнодушном лице. Разговор уже не клеился. Маржан встала и направилась к самовару, но Можан холодно процедил:

– Не утруждай себя, милая. Не нужно нам чая. Мы сейчас отправимся.

И потянулся за камчой, которую засунул ранее между тюками.

Маржан метнулась к бурдюку, мутовкой помешала кумыс, поднесла гостям. Те пригубили учтиво и тут же вернули посуду. Сразу поднялись; Балпан и Маржан вышли вслед проводить их. На коне Можана красовалось дорогое, отделанное серебром седло. Гости нехотя разжали губы, пробубнили полагающиеся при расставании слова.

Балпан и Маржан застыли на месте – ни дать ни взять две тени в пору предвечерней молитвы, потом вяло потащились к юрте. Оба молчали. Балпан направился к почетному месту, где только что располагались гости. Маржан опустилась на баранью шкуру возле казана, закрыла лицо краешком жаулыка и горько заплакала. Балпан не мог вынести ее слез и, схватив висевшую в углу стеганую войлочную шапку, стремительно вышел из юрты.

Двое всадников между тем все удалялись и удалялись от аула. Они сгорбились, как будто на их плечи давила тяжесть, ехали мелкой рысцой, и кони их помахивали-подергивали в такт хвостами.

Балпан приблизился к коню, который нещадно нахлестывал хвостом по бокам, обороняясь от свирепых слепней. Бай решил съездить в Когендысай, где чабаны купали овец, развеяться в шумливой, бодрящей суматохе, царящей там. Однако он опоздал. Чабаны, управившись с купанием овец, согнали отары к водоему и потягивали коиртпак[1], ожидая, пока спадет жара. Бай притворялся, что осматривает хозяйство, и вскоре, пустив коня трусцой, вернулся в аул.

Жара уже спала. Тени заметно удлинились. Дети, женщины – все выползли из юрт. Балпан спешился, не осмеливаясь подойти к дочери, сидевшей вместе с матерью в тени, проскользнул в юрту. До самого вечера, пока не

---

[1] Коиртпак – напиток из кислого и пресного молока.

скрылось солнце и люди не разбрелись по юртам, он провалялся там один-одинешенек.

За ужином он незаметно покосился на дочь. Всегда цветущая, румяная, сейчас она выглядела померкшей и озабоченной. Мать не удержалась, рассказала ей, зачем навестили их гости. Балпан почувствовал себя не в своей тарелке. Он опустил глаза, испытывая щемящую жалость к Ажар.

Маржан всю ночь вздыхала, ворочалась в постели. Только почудится ему, что жена уснула, а она опять вздохнет и перевернется на другой бок. Так и промучилась, не сомкнула глаз всю ночь. Балпан понимал, о чем думала-печалилась Маржан, и хотел сказать ей что-нибудь ласковое, утешить, но слова не шли у него с языка – так было муторно на душе. Он молча пролежал до утра лицом к стене.

Вскоре от редких путников из разных аулов он узнал, как повел себя Можан после неудачного сватовства. Всю дорогу он хранил мрачное молчание, и добравшись до дома, только и искал, на ком бы сорвать зло. Влетел вихрем в юрту, отхлестал камчой своих чумазых головастиков, повыгонял всех на улицу. Своего спутника, сивобородого Себепбая, обругал последними словами, заявив, что язык его и борода не имеют ни на волосок веса. Тот разобиделся и тут же отправился домой. Наутро Можан оседлал коня, пустился в путь по аулам и всюду в красках расписывал, как он сватался к дочери Балпана. Ох и досталось же при этом Балпану! Что-де можно от него ждать, если он, Балпан, и процветает-то лишь благодаря своему покойному отцу, который покоя не знал, подыскивая для этого мямли, тюфяка длинноволосую. Живет себе – небо коптит, а ни в жизни, ни в людях ничегошеньки не смыслит! И вообще, мол, нет никакого различия между баем Балпаном и безмозглым чабаном: если до байских ноздрей доходит запах кумыса и конского помета, ему больше ничего и не нужно, он уже счастлив и доволен, считает, что мир стоит на месте и благоденствие царит вокруг него. Швыряет, придурок, взятки разным пройдохам, хотя, конечно, чего ему монеты считать – заграбастал лучшие пастбища для своих табунов!..

На все лады честил его обиженный Можан. Эта брань задевала самолюбие Балпана, но тогда он только усме-

хался, надеясь, что этот остолоп, пожалуй, скоро угомонится. Однако он ошибся. Чем дальше, тем больше распоясывался Можан. Он сравнивал Балпана с тупоголовым ишаком, который даже орать не умеет самостоятельно, а орет, лишь заслышав рев ишаков в соседнем ауле, Балпан, дескать, ценит рыжую дочь Кадырбая, свою бабу, пуще золотого слитка, находится у нее под пяткой и во всем ей поддакивает.

Да, Можан превратился для бая в черную беду. Он не уставал твердить, что пустоголовый Балпан почитает лишь славу да богатство, лишь несметная казна для него свята, а потому посватайся к нему Байсал, чей сын выбился в волостные, или купец Шурен, у которого мешков с деньгами больше, чем овец у бая, или прихвостень Бекес, что сопровождает разных улуков, как гончая сука охотников, вот тогда-то уж обнаглевший бай, не задумываясь, швырнет им свою дочь, даже от счастья на круп коня сам ее кинет.

Подстрекательские речи Можана сделали свое дело. Стали находиться честолюбцы, что хвастливо били себя в грудь и заявляли: «Э, пожалуй, есть смысл отправить к Балпану и от нас сватов, а?!»

Теперь, увидев еще за тридевять земель случайного путника, Балпан начинал трястись от страха. И пока тот, как неотвратимый рок, приближался к аулу, он не находил себе места, без конца выходил из юрты и все приглядывался, присматривался – кто же он, новый претендент на его единственную дочь.

Однажды, возвращаясь после осмотра табунов домой, он увидел саврасую лошадь, стоявшую на привязи за юртой. Сердце его екнуло, он сразу обмяк, похолодел, еле-еле спешился. На почетном месте, подложив под бок пуховую подушку, развалился Байсал. Встречались они раньше на разных сборищах, однако знали друг друга мало. Балпан сразу смекнул, с какой целью пожаловал гость, и приуныл. Овладев собой, Балпан учтиво поздоровался, поинтересовался, как подобает, здоровьем и благосостоянием аула, близких и скота. Байсал держался с достоинством, говорил веско, по-особому оттеняя, округляя каждое слово. Ответив на приветствие хозяина, задал по обычаю те же вопросы и ему. Уверенно толковал о пастбищах и водопое, об условиях для нагула скота в нынешнее лето и видах на предстоящую зиму. Был он в

теле и ухожен. Его спокойные черные глаза не глядели в упор, но замечали все вокруг. Он не воротил свое круглое красивое лицо от собеседника, а демонстрировал полное к нему уважение, рассуждая при этом ровно, обстоятельно и деловито, не перескакивая с предмета на предмет.

В правом углу хлопотала по хозяйству, готовила угощение Маржан и напряженно прислушивалась к разговору мужчин. Балпан был сдержан, все больше молчал и слушал гостя. Он непроизвольно взвешивал каждое слово Байсала, искал в них намек, потайной смысл. Серьезный, умный разговор о вещах значительных и интересных не иссяк и за чаем. Отец волостного часто разъезжал по степи, постоянно бывал на людях, потому и был осведомлен о всех новостях. Однако этим он ничуть не кичился, никак не подчеркивая своего превосходства, и беседовал с Балпаном как с равным – с приятной, располагающей к себе учтивостью. Его слова, жесты, манера держаться свидетельствовали, что перед Балпаном человек воспитанный и мягкий.

Беседа не прекращалась и после того, как убрали дастархан. Гость расхваливал байские пастбища, его джайляу и водопои. Балпан насторожился было и даже подумал, не имеет ли отец волостного виды на его земли. Однако эти подозрения вскоре развеялись.

Сварилось мясо, гость отдал должное стряпне Маржан. Казалось, теперь-то уж он обязательно приступит к самому главному. Но он молчал. Маржан подала ему большую чашку кумыса от молодой кобылицы, и Байсал, наполовину опорожнив ее, произнес благодарственную молитву. Бай Балпан прямо-таки заерзал в ожидании, когда же гость произнесет имя его дочери, – ничуть не бывало. Гость по-прежнему молчал. Балпан не верил своим ушам, прикидывал в уме – уж не прослушал ли, не упустил ли тонкий намек на этот счет. Гость, словно бы догадавшись о его терзаниях, зорко глянул ему в глаза, будто ненароком объяснил, что проезжал мимо по делам, а добравшись до здешних мест, счел неприличным не остановиться на часок-другой, не осведомившись о здоровье и житье-бытье.

Байсал поднялся. Балпан вместе с женой проводил его.

Когда отец волостного удалился на почтительное расстояние, супруги недоуменно посмотрели друг на друга,

но ни один не проронил ни слова. Страшный груз свалился с их плеч, и оба, окрыленные, радостные, направились каждый по своим делам.

Балпана удивило посещение Байсала, тем более что тот ни разу раньше не переступал порог его юрты. Но, коль скоро опасения его развеялись, этот странный приезд сам собой выветрился из головы, и Балпан совершенно успокоился.

Тут-то нежданно-негаданно и нагрянули два незнакомых гостя. Они не стали томить хозяина пустой болтовней и без излишних вступлений прямо открыли цель своего приезда. Появление Байсала оказалось отнюдь не случайным. Он надумал женить младшего сына, который учился в городе, в русской гимназии, и подыскивал для него невесту. Байсал в былые времена знал Кадырбая, тестя Балпана, не раз сиживал с ним за одним дастарханом, вот и решил, что внучка Кадырбая не должна быть дурнушкой. Вернувшись к себе домой, Байсал не скрывал, что и девушка, и родители пришлись ему по душе. Не теряя напрасно времени, он послал к ним сватов. Сваты из аула волостного не сомневались, что уж кому-кому, а им-то отказа не будет, и потому не стали попусту языки трепать, воду в ступе толочь, как тот сивобородый, поминать прародителей наших Адама и Еву. Не источали они лести, не били себя в грудь, клянясь в верности и дружбе, а просто и коротко сообщили о намерениях почтенного Байсала. Бай Балпан и Маржан хотя и разволновались, однако виду не подали. Балпан в который раз недобрым словом помянул про себя баламута Можана. Если уж говорить начистоту, Балпан вовсе не против отдать дочь в такую семью. Чем плохо породниться с аулом волостного? Но Ажар, во-первых, кажется ему еще ребенком, уж очень трудно оторвать ее от себя, а во-вторых, уважь он просьбы сватов, дурень Можан завтра же пойдет скакать по аулам и злобствовать: «Ну, видите? А что я предсказывал?!» В голове Балпана лихорадочно проносились мысли о том, что сейчас он богат и знатен, и без того завистников у него хоть отбавляй, так зачем же давать еще повод для сплетен да наговоров? Чтоб всякий, кому не лень, трепал его доброе имя... Байсал – человек умный, дальновидный, уж он-то все поймет как надо. А не поймет, так бог с ним. Он, Балпан, тоже не лыком

шит, не тощ и не хил, чтобы перед волостным робеть да расстилаться. И, порассудив так, Балпан дал гостям такой же ответ, что и другим сватам.

Гости из аула волостного в отличие от Можана распростились без обид. Балпан с трепетом ждал, какие пойдут слухи по аулам, однако Байсал молчал, словно ничего и не произошло.

Бай Балпан втайне питал надежду, что после его отказа отцу самого волостного другие поприжмут хвосты и оставят их в покое. Но в народе стали шушукаться. Одни ехидничали: «Апырау, что это за девушка такая, что ее даже за брата волостного не отдают!.. Жена Балпана вроде бы такая же баба, как все. Может, она не девку, а золото родила?!» Другие негодовали: «Ну и ну! Совсем обнаглел Балпан, раз уж так самого Байсала срамит. Ох-ох, он теперь небось и бога в грош не ставит!» Даже те, кто и видов-то никаких не имел на дочь Балпана, разъярились и грозились проучить гордеца.

В разгар этих событий к Балпану пожаловал известный в степи задира и скандалист Даржан. Прибыл он в сопровождении огромной свиты, словно не в гости собирался, а на войну. Его большой вислый нос весь был в багровых прожилках, серые глаза хищно поблескивали. С вызывающим видом вступил он в юрту Балпана, не дожидаясь приглашения, прошествовал на почетное место и не проронил ни слова, пока рассаживалась по обе стороны его свита. Хозяева сникли, не ожидая ничего доброго от столь суровых гостей.

Маржан знала, что задире Даржану угодить нельзя, хоть на колени перед ним плюхнись или на части разорвись. Она учтиво выждала, пока гости расположились поудобнее, и сразу же покинула юрту, чтобы позаботиться об угощении. Отметив про себя, что Даржан не намерен, как подобает по обычаю, задать вопросы о здоровье, о благополучии аула, Балпан обвел всех взглядом и тихо произнес: «Здоровы ли ваши семьи и цел ли скот?» Гости принялись невнятно бормотать все разом, а позже всех едва разомкнул губы Даржан. Соблюдя приличия, Балпан вышел отдать необходимые распоряжения. В юрте поднялась веселая колготня.

Утеген приволок из отары жирненького барашка с тугим курдюком. Балпан отправил сына к гостям, а сам

остался около котла, сделав вид, что помогает по хозяйству. Разговор в юрте разгорался все жарче, гости шумели, байская юрта содрогалась от оглушительного хохота.

Внесли самовар, вслед за ним вошел и Балпан. Перед гостями расстелили широкий дастархан. На нем горой возвышались баурсаки, кучками лежали иримчик и курт, в расписных чашках аппетитно желтело топленое масло, отливал жиром куырдак на железном подносе. Разговор угас. Гости с показным безразличием посматривали на угощение, словно, еще не отведав его, были сыты. Потом, не выдержав, набросились на еду так, будто прибыли из голодного края. Вовсю заработали челюсти, из-за больших чашек масляно поблескивали усы, воровато, жадно зыркали по дастархану глаза.

Балпану было ясно, с чем к нему пожаловал Даржан. Есть у него сын, такой же, как отец, забияка, горлодер, пустобрех. И вот для него-то решил он выторговать Ажар. «Пусть и мысли такой не держит, наглец этакий, – думал Балпан. – Я самого Байсала отверг, так Даржану и подавно дам от ворот поворот. И пусть он хоть лопнет от досады, злодей, а своего не добьется».

Управившись с барашком, крикливая свита утихла. Балпан с самого начала понимал, что все это воронье слетелось сюда не для того, чтобы полакомиться вкусной свежатинкой, а чтобы поглазеть, как будет куражиться над хозяином самодур Даржан. Ему же эти прихлебатели, эти холуи нужны были в качестве восхищенных зрителей. Потому Даржан и держался столь холодно, надменно и вызывающе.

Даржан поджал под себя ноги, выпрямил грудь, подождал, когда появится Маржан. Когда она вошла в юрту, он выкатил на нее свои нахальные зенки, потом перевел их на Балпана и заговорил хриплым, противным голосом:

– Эй, Балпан, Маржан! Дастарханов за свою жизнь мы повидали немало. Нас ими не удивишь, хотя за угощение, само собой, спасибо. Родители, у которых девка на выданье, знают небось, зачем к ним едут гости. Род мой, вам известно, не из захудалых. Дед мой, Алтай, был бесстрашен, как лев, и на всех наводил ужас. А чем хуже других я сам?! Я почтенный старейшина в своем ауле. Нельзя утверждать, что степь тесновата для моих табунов и воды для них в водоемах маловато, но кое-какое состояние, слава создателю, я наскреб. Сын мой не кале-

ка. Крепок и в здравом уме. Люди говорят: счастье – это когда подрастает сын и вовремя пристраиваешь дочь. Вот и я пожаловал просить твою дочь – как ее кличут-то? – для моего сына. Что ты на это скажешь?

Серые, с красными прожилками глаза холодно буравили Балпана, будто хотели пронзить его насквозь.

Балпан заранее приготовил нужные слова, но они вдруг вылетели из головы, испарились куда-то. Кровь бросилась ему в лицо, он помолчал немного, собрался с духом, произнес спокойно и твердо:

– Дареке! Ничего предосудительного ни в вашем приезде, ни в вашей просьбе нет. Верное есть присловье: «Кто на девушек не зарится, кто кумыс хмельной не пьет?!» То, что наша дочь выросла, люди заметили раньше нас. И до вас к нам кое-кто сватался. Вам мы скажем то же, что и остальным. Мы никому не отдаем предпочтения, для нас все, кто сватался, одинаковы. Мы просто намерены держать нашу дочь пока что при себе.

Даржан тупо молчал, как бы ожидая еще каких-то слов. Потом снял с решетки камчу, сунул в сапог.

– Ага, значит, так, Балпан! Мы, казахи, которые и сыновей, что соколов горных, растили – не кичимся. А ты, воспитав девку, свысока на всех глядишь. Прямо скажу: удивил! Да, удивил! Может, наши с тобой бабы родились не от женщины? Или, может, они с неба свалились? Они же не торчат возле материнской юбки, а спят с нами в одной постели! Обижайся не обижайся, но я тебе, милый мой, – вот что скажу: ты, видать, и на судьбу, и на волю божью, и на обычаи предков вознамерился чихать. Думаешь, «десять лишних овец в отаре – для врага приманка», да? Думаешь, если богат, можно всеми пренебрегать? Ошибаешься! Ох, смотри, не просчитайся! Не одна твоя Маржан девок на свет производит. Мой сын без жены не останется. А ты заруби себе на носу: хочешь, чтобы дочь не позорила тебя при жизни, а после твоей смерти чтила отцовскую память – держи ее в руках покрепче. Нынче такие пошли времена – не то что девка, на которую с малых лет разные кобели пялят глаза, сыновья даже, опора и надежда дома, отбиваются от рук! И уж коли твоя любимая дщерь осрамит тебя – пеняй на себя. На сородичей не греши! – выпалив все это одним залпом, разгневанный Даржан поднялся.

Ему затеять скандал было, пожалуй, важнее, чем за-

получить байскую дочь. За ним дружно повскакивала его многочисленная свита. Оскорбись, в свою очередь, Балпан и полезь он на рожон, старый бузотер разошелся бы вовсю. Кусая от унижения и сдерживаемого гнева губы, Балпан благоразумно остался сидеть на месте.

После этого удача отвернулась от него. Он не мог отважиться рассорить между собой знатных и богатых людей. И потому и купец Шурен, и толмач Бекес, и бий Алшагир, чей род пользовался всеобщим почтением, все получили от Балпана отказ, все услышали один и тот же ответ. Всем сватам без исключения пришлось довольствоваться лишь щедрым балпановским угощением.

Два года над аулом висела густая пыль, поднятая копытами лошадей, на которых со всех концов наезжали гости.

Наконец Балпана оставили в покое. Редко кто заворачивал в их аул. Много барашков таким образом сохранили свои жизни. Утихомирились сваты, но теперь уже бай Балпан не испытывал облегчения. Не по себе становилось от непривычной тишины. Его тяготили тяжкие предчувствия. И не напрасно. Вскоре прямо-таки на глазах начали таять его несметные табуны. Заходило солнце, и под покровом ночи неведомые враги обрушивались на лошадей, угоняли их косяками. Спасения от них не стало: конокрады объявлялись то с одной, то с другой стороны; замучили и коней, и табунщиков.

В отчаянии он было пожаловался знакомому царскому улуку, и тут же по аулам пополз мерзкий слушок, что-де бай Балпан хочет сплавить свою засидевшуюся в девках дочь рыжебородому чиновнику. В который раз бай убедился в том, как странно устроены люди: из-за быстрого скакуна шею себе свернут, не пожалеют, а из-за красивой юбки готовы честью поступиться. Так уж истари повелось.

Потом и табуны оставили в покое. Начали выслеживать, подстерегать Ажар. Дерзкие джигиты, которые недавно угоняли байских лошадей, теперь повадились ночами в аул Балпана, кружили возле юрты. Уследить за девкой сложнее, чем сторожить табун. Ночи напролет Балпан сторожко прислушивается к каждому скрипу, к каждому шороху. Нередко по головам назойливых ухажеров гуляла палка или плеть, но, вернувшись домой, они похваля-

лись тем, что добились своего: провели бурную ночку с недотрогой Ажар.

Наступила для Балпана пора не о своем покое и табунах беспокоиться, а ломать голову – как бы оградить дочь от позора и бесчестья. Недаром, понял он, сваты, которые еще недавно, словно град, обрушивались на его голову, вдруг разом испарились. И все в округе отшатнулись, отвернулись ныне от него и ждут не дождутся, когда он споткнется, попадет в беду и вместе с дочерью униженно склонится к их ногам. Думая об этом днем, Балпан лишался улыбки, ночью лишался сна. От бесконечных дум голова его шла кругом. Балпан обратился за советом к родственникам, но те холодно намекнули, что если бы он прислушался к их словам вовремя...

После долгих и тягостных раздумий бай махнул на всех рукой и принял необычное решение. Он нашел тонкий выход из положения, который, как он полагал, позволит ему смягчить, а то и развеять обиду почтенных и знатных людей, растопить злобу в сердцах врагов, ниспославших на его голову всяческие кары. Слава творцу, дочь его редкая красавица. У многих, кому довелось видеть ее, слюнки потекли, а джигиты – так те готовы биться из-за нее, что тебе льдины в половодье. К тому же по всей степи не сыщешь человека богаче Балпана. Как бы ни дулись на него – стоит ему лишь пальцем поманить, каждый мигом примчится... Балпан ждал удобного случая донести до уважаемых степняков свое решение. И тут, к счастью, пожаловал к нему свататься Саутбай – да будь он благословен! Балпан радушно принял гостя, а прощаясь, высказал свою волю: «Саке, благодарю за оказанную честь. Но и до вас достойные люди сватали мою дочь. Я всем отказывал, желая, чтобы она не покидала дом раньше срока. Многие на меня в обиде и переносят свою обиду на Ажар. Дочь моя чиста и ни в чем не виновата. Мне не хочется, чтобы к ней относились с неприязнью. У меня в мыслях не было кого-либо унизить или отдать дочь самому богатому и знатному. Я решил так: пусть она достанется тому джигиту, кто победит в состязании самых сильных, ловких, искусных и удачливых. Кто победит всех в борьбе и в состязании певцов, чей скакун придет первым в скачках, тому и будет принадлежать моя дочь. Такова моя воля. И если люди при-

мут ее, согласятся на этот спор, я от своих слов не откажусь. Ради детей не жалко богатства. Я препоручу дочь вместе с богатым приданым победителю перед всем народом. Да будет так!»

Слова Балпана мигом облетели степь. Вновь к юрте Балпана отовсюду потянулись гости. Те, кто втайне рассчитывал на удачу, спешили выказать свое уважение баю и, лакомясь отборным барашком, расхваливали на все лады решение Балпана, называли его мудрым и справедливым. Пусть, твердили все хором, красавица Ажар достанется джигиту, который одолеет всех в честном поединке.

Наконец-то мир, который померк, сузился для Балпана, как бедняцкая лачуга, опять стал светлым и просторным. Бай Балпан отправил гонцов с вестью, что в споре за байскую дочь может участвовать каждый, состязания начнутся перед осенней стрижкой овец, а на них приглашаются все-все, кто пожелает быть свидетелем этого небывалого зрелища.

## 2

Бай Балпан вновь ощутил твердую опору под ногами. Бог даст, его зятем станет самый смелый, сильный джигит, искусный к тому же в пении и игре на домбре, обладающий быстрым, как ветер, скакуном. И породнится Балпан с родом древним и богатым, ибо лишь такой род способен воспитать лучшего из лучших джигита. Он, Балпан, устроит столь щедрый той, какого еще не видела степь, и слава о нем птицей пронесется через во-о-он те голубой дымкой окутанные перевалы, дойдет до неведомых ему родов и народов, а потом, после его смерти, еще долго будет греметь в этих краях.

За несколько дней до начала стрижки овец, сопровождаемый большой свитой, Балпан объездил окрестности в поисках места, пригодного для состязаний и торжеств. Такое место нашлось: это было широкое привольное плоскогорье – сколько угодно всадников могут скакать одновременно, не опасаясь задеть друг друга стременами. На западе течет извилистая речка. Вон там, на востоке, на южных склонах двух холмов, близкие и дальние родичи бая Балпана развернут для гостей шестьдесят просторных и белых, как яйцо, юрт. На зеленом лугу около реки будет стоянка для дойных кобылиц. Меж двух холмов в

лощине выроют больше сотни жерошак – продолговатых ям для котлов. Над каждой из них приспособят гигантский казан. На месте тоя обычно скапливается множество разной животины, поэтому одногорбых верблюдиц лучших пород будут держать на расстоянии полдневного пути и оттуда доставлять молоко в бурдюках. Вон те островерхие, как девичьи груди, холмы послужат финишем для скачек. От сторожевого холма, что в сорока верстах отсюда, скаковые лошади будут возвращаться, и в четырех местах их будут поджидать и подбадривать криками погонщики.

Все аульные мужчины четко распределили между собой обязанности. Тридцать зрелых мужей, понимающих толк в разделывании туш и распределении мяса по подносам, будут находиться у котлов. Сорока джигитам отрядили гладких, темно-рыжей масти без единого пятнышка лошадей. Они должны доставлять блюда с мясом к юртам. Сорок джигитов, которые будут подстерегать на дистанции и подбадривать скакунов, обещал выделить аул Кадырбая, тестя Балпана. За сладостями и пряностями дважды ездили в город возницы. Посуду собрали из всех близлежащих аулов. У каждой из шестидесяти юрт решено было поставить по два самовара. Разливать и подавать гостям чай будут пригожие, ловкие, шустрые молодки. Для свиты Ажар, для ее подружек и служанок, выделяются две юрты.

Такого размаха и щедрости в этих краях еще не видывали – и не то что на проводах девушки, но и на поминках знаменитых баев. Поистине имя бая Балпана будет восторженно поминаться во всех уголках степи, где обитает хотя бы один казах.

Бай Балпан с мужчинами своего аула осмотрел юрты для гостей. Тщательно проверили все: и подстилки, и ковры, и решетки, и красивую шерстяную ленту, скрепляющую стыки решеток. Каждая юрта предназначалась для определенного аула, чей представитель участвовал в состязании. Даже место для коновязи и стоянки дойных кобылиц бай выбирал лично. Мало того, он собрал старух и сам обсудил с ними, какие яства и блюда достойно украсят дастархан.

Вечером он намеревался еще раз осмотреть приданое дочери. Для него отведена отдельная юрта, из которой после тоя оно будет доставлено специальным караваном

в аул счастливого победителя. Приданое – и драгоценности, и утварь, и скот – давно уже определено баем. Самым поразительным зрелищем, венчающим той, должно стать кочевье с приданым Ажар, Шею, грудь и круп каждого верблюда украсят подвески, слитки серебра, дорогие ожерелья; за исключением одного, на которого навьючат деревянный круг юрты – шанрак, все остальные верблюды будут покрыты дорогими коврами с кистями; верблюжьи поводки свиты из блестящего шелка.

Пестрый, переливающийся всеми цветами радуги караван поведет единственная женге невесты, жена брата – Жазыл. Когда верхом на белом грациозном иноходце, сама в яркой шапочке-саукеле, украшенной перьями филина, она поведет этот не виданный никем и никогда караван, бесчисленная свита, окружающая кочевье, затянет жалобный, традиционный плач-прощание невесты с родителями и родимым краем. Свита невесты будет восседать на отборных иноходцах. Акын Кушен, покрывая плач своим зычным голосом, затянет терме – утешение и печальной невесте, и горестным родителям. Джигиты из аула Балпана подведут к Кушену и привяжут к тороке его седла тугогорбую, брюхатую белую верблюдицу – дар бая акыну. Восхищенный его щедростью певец, импровизируя, начнет воспевать Балпана и этот невиданный, неслыханный доселе той. Вдохновенная песня акына навеки останется в памяти всех, кто присутствовал при ее рождении, и их потомков. Затем певцы, музыканты и борцы во главе с Кушеном отправятся в аул жениха.

И тогда-то уж, насмотревшись на все это великолепие, тайные недоброжелатели, горлопаны, придурки, вроде Можана, наконец, поймут, как далеко им до достославного бая Балпана, и заткнутся раз и навсегда. Сваты же, будущие родственники, будут на седьмом небе.

Парадный караван как будто наяву виделся баю Балпану, однако и без каравана охваченный радостной суматохой аул был чрезвычайно красочен. Далеко у горизонта – крутобокие перевалы в сиреневой дымке. Вокруг – девственно чистая, не тронутая никем степь. Воздух прозрачен и свеж. В торжественный ряд выстроились пышные юрты для гостей. Их тыльная сторона покрыта белой кошмой – издали кажется, будто на зеленый луг опустилась стая белых лебедей. Привлекают взор пунцовые решетки и синие потолочные круги юрт. Крепкие, рослые джиги-

ты между делом заигрывают с молодайками. Те не остаются в долгу – кокетничают вовсю. То здесь, то там слышится волнующий шелест атласных и шелковых платьев, то здесь, то там потянется какая-нибудь молодайка кверху, спадут к плечам широкие рукава, мелькнут обнаженные, манящие руки. Белея высокими тюрбанами, байбише и старухи зорко наблюдают за работой молодых, сыплют замечаниями и советами, следят, чтобы поднимали потолочный круг, и не слишком высоко, иначе юрта будет островерхой, неустойчивой, и не слишком низко – иначе юрта станет приземистой и расплющенной. Когда унины закреплены и остов юрты установлен, решетки накрепко затягиваются широкими яркими лентами, с унин опускаются пестрые кисти. А уж напоследок юрту покрывают белоснежной кошмой.

Кишмя кишит людьми и лощина между двумя холмами. Там вовсю роют продолговатые ямы, устанавливают в них огромные казаны. Молодайки с коромыслами на плечах гурьбой отправляются по воду. Нежно тренькают ожерелья, монисты на их шеях и чолпы в волосах. Вдалеке, поднимая копытами мягкое облачко пыли, спускается с перевала косяк жеребят и отара превосходных трехгодовалых овец, которых забьют завтра к тою. Засиял, сказочно преобразился аул, когда из двух белых юрт вдруг высыпали разнаряженные девушки из свиты Ажар. У всех черные косы с вплетенными чолпами – до пят. От их красных, белых, желтых атласных платьев зарябило в глазах. Девушки спустились к речке на прогулку, и степь, обычно тускнеющая к вечеру, мигом ожила, расцвела красочным многоцветьем тюльпанов.

Это пышное великолепие, сотворенное его волей, эта веселая суета, толчея, суматоха вокруг по-молодому бередили сердце Балпана, наполняли его счастьем. Оживленный, в предвкушении небывалого праздника, он направился в юрту, чтобы пораньше лечь и хорошенько выспаться до прибытия гостей.

Подготовка к тою не затихала ни на час. Женщины так и не сомкнули глаз, всю ночь позвякивали чашками, пиалами, кесушками, распределяя их по юртам. Хлопоты и беготня продолжались до самого утра.

Мужчины поднялись с зарей – и бегом к котлам. Наточили ножи, принялись резать жеребят: надо было разделать туши по утренней прохладе. Вскоре вдоль лощины

появились одинаковые бугорки жеребячьих туш. Почтенные мужчины, засучив рукава, ловко управлялись с ними, женщины в летах чистили кишки и требуху. Молодые женщины и джигиты таскали с речки воду, носились, не чуя под собой ног, взад-вперед, обмениваясь шутками-прибаутками. Не меньше суеты было около юрт: как-никак каждую надо было обиходить, расстелить подстилки, развесить ковры. Перед юртами, как часовые, стояли до блеска начищенные медные самовары.

Когда выглянуло солнце, молодые женщины принялись под руководством Жазыл обряжать невесту. До самого отъезда из отцовского аула Ажар будут украшать круглая шапочка из выдры, щедро расшитая драгоценными камнями; платье из золотистой парчи, пышное, широкое, аж с четырьмя оборками; поверх платья – легкий расписной чапан из голубого бархата, на шее – ожерелье из яхонта, на руках – дорогие браслеты.

Когда утро совсем вступило в свои права, между двумя холмами устремились к ясному небу тонкие и прямые, как пики, струйки дыма. Казалось, это Балпан подавал условный сигнал всем, кто желал прибыть на той. И, будто приняв этот сигнал, в ответ ему начали показываться издалека разбросанные группки всадников, а у горизонта, куда ни кинь взгляд, взметнулась пыль. И всадников, и клубящихся облачков пыли становилось все больше и больше; вскоре гости плотным кольцом окружили аул. Испепеляющий летний зной был позади, с севера налетел легкий, ласкающий прохладой ветерок, небо необъятным голубым куполом раскинулось над степью. Шестьдесят белых юрт, поставленных вдоль речки, манили путников к себе.

Степное марево растаяло, улетучилось. Расстояние между всадниками и аулом сокращалось и сокращалось. Отдельных верховых уже можно было рассмотреть. Бай Балпан и самые уважаемые аксакалы поджидали гостей на холме. Те, что издали заметили Балпана и его свиту, направили коней прямо к нему, спеша приветствовать знатного бая.

Первым добрался Шурен – купец из далекого города, с ним – сорок верховых. На поводу под дорогой попоной купец вел сивого аргамака. Вслед за ним, тоже в сопровождении большой свиты, прибыли Саип и Бекес. Джигитов из аула Байсала можно было отличить по саврасым

лошадям. Немало понаехало гостей и из совсем незнакомых родов. Джигиты Балпана услужливо встречали гостей, помогали им спешиться, отводили лошадей к месту стоянки. Все участники состязаний должны явиться к обеду, не позже; большинство их прибыли вместе, скопом, и Балпан всех приветствовал и сам провожал до юрт. Сегодня гостей ждут пиршество и отдых. Состязания начнутся завтра.

Со всех сторон в аул стекались охотники за счастьем. На стоянке для лошадей стало тесно.

Старейшины прибывших гостей, отдавая Балпану почтительный салем, поздравляли с тоем, витиевато желали удачи и всяческих благ. Джигиты, едва спешившись, молча таращили глаза, потрясенные великолепием байского аула.

Шестьдесят просторных юрт были битком набиты людьми. От разговоров, шума, колготни над аулом стоял сплошной гул. Около красовавшихся в чинном ряду самоваров засновали, забегали взволнованные общим вниманием молодые женщины. Джигиты, что по-боевей и по-разбитней, толпились у входа в юрты, притворяясь, что уступают место старшим, и без зазрения совести пялили хитрющие глаза на хлопотавших рядом женщин.

На краю аула кружились, принюхиваясь одна к другой, а то и отчаянно грызлись собаки.

Едва гости разместились в юртах, им поднесли кумыс в деревянных чашах. Не успели они утолить жажду, как начали расстилать широченные дастарханы и вносить самовары. Гости наперебой стали восхищаться убранством юрт и обилием дастархана: при всем желании не к чему было придраться. Городских сладостей на дастархане, которых редко доводится отведать степняку, – ешь не хочу. Румяные баурсаки навалены аппетитными горками; иримчик, курт по всей скатерти раскиданы щедрой рукой, а куырдака столько, что на всю степь хватит.

Многие гости потратили на дорогу два, а то и три дня, сильно притомились и теперь блаженствовали, удобно устроившись на мягких подстилках и подушках. Не спеша, смакуя, ели, попивали умело заваренный, хорошо настоявшийся чай. После чая почувствовали себя полегче, пободрее: пожилые гости предались долгой и приятной беседе, молодые отправились на простор, на свежий воздух, поглазеть на торжественный, праздничный аул, да и себя заодно показать. Они обсуждали, строили догадки,

спорили, кому же все-таки здорово повезет – достанется красавица Ажар, ради которой расточается столько богатства и съехалось столько народу.

В полдень гостям подали мясо. Джигиты на темно-рыжих, лоснящихся конях сгрудились вокруг котлов; получив по два громадных подноса с мясом, спешили плавной рысью к юртам. Там с осторожностью вручали их подавальщикам, поджидавшим у входа, и вновь скакали к котлам. На блестящих крупах иноходцев, отражаясь, играло солнце.

Вокруг котлов многолюдно и оживленно. Настал черед распределять поровну мясо. Мужчины с длинными кривыми ножами в руках похожи на мясников в купеческих лавках. Они священнодействуют. Поставив перед собой необъятные подносы из дерева, они перво-наперво вываливают на них объемистые, тяжеленные кусищи; потом, молниеносно орудуя острыми в жиру ножами, плоскими кусками режут на каждый поднос курдючное сало; поверх кладут свежайшее баранье филе, ребра, позвонки; и, наконец, стругают постный огузок и хрящеватый подгривок жеребенка.

Мужчины, отряженные к котлам, поднаторели в этом искусстве: несколько мгновений – и подносы заполнены мясом. Вот пожилой мясовар, выудив из котла два увесистых куска, отошел в сторонку, собрал вокруг ватагу чумазых голоногих мальчишек и принялся потчевать их мясом: ведь их, пострелят, к парадному дастархану и близко не подпустят. Мальчишки, получив каждый свою долю, радостные, прыгают, визжат и, сверкая голыми пятками, стремглав несутся к коновязи. Там фыркают, храпят, грызутся лошади всех мастей и со всех краев.

Полуденное тепло и обильная пища разморили всех. Улеглась суматоха у котлов. Повара и разносчики, исполнив свои обязанности, сами устроились вокруг казанов, лакомятся мясом. Ржанье лошадей, смех и гомон в белых юртах, звон чолпы в косах молодок, хлопочущих у самоваров, – все приутихло и доносится до аулчан смутно, приглушенно. Небо выцвело, горизонт сузился и зыбится в сиреневом мареве.

В центральной юрте у бая Балпана собрались самые знатные, самые почетные гости. Среди них – хазрет Асанбай. Когда покончили с мясом, самый старший из находившихся в юрте, восьмидесятилетний Досбай произнес

благословение: «Да будет вся жизнь бая Балпана богата и прекрасна, как этот той! Да сопутствует удача и счастье его дочери, которая станет женой джигита из джигитов!» Все молитвенно сложили ладони у лица, и дружное «аминь» огласило юрту. Старый Досбай степенно, от смуглого лба до белой бороды, провел ладонями по лицу, затем, прищемив двумя пальцами кончик бороды, учтиво склонил голову перед хазретом Асанбаем. Хазрет – сероликий, с суровыми глазами старик, сидевший по правую руку от Досбая, опустился на колени и глухим, скрипучим голосом затянул на бухарский манер суру из корана. В юрте наступила благоговейная тишина. Непонятная, волнующая музыка слов молитвы умиротворяла бая Балпана, ласкала его слух, сладкой истомой разливалась по жилам. Глухая гортанная мелодия арабских слов пробуждала в нем довольство собой, гордость. Священная молитва, казалось, плыла в воздухе, заполняя все пространство. А хазрет, распаляясь, читал нараспев, все громче и громче, а потом, будто невзначай сорвавшись вниз с высоты, зашептал еле-еле, закрыл глаза и замер. Все встали на колени, подвигали губами, провели ладонями по лицу. Маржан принялась убирать дастархан, и гости обратились к ней: «Да благословит тебя аллах!»

Опять внесли самовар. Начаевничавшись всласть, гости выбрались из юрты. Солнце уже перевалило зенит. Небо, которое только что было мутным, словно прокисшее молоко, теперь очистилось, заголубело. Снова повеял прохладный северный ветерок, утихший было в полдень.

Гости расселись в тени юрт, отдуваясь и кряхтя. Аксакалы с медными вытянутыми кувшинами – кумганами в руках величаво зашагали к укромной излучине, чтобы совершить омовение. Джигиты отправились к коновязи посмотреть на лошадей.

Из двух белых юрт, шелестя шелками, выпорхнули девушки в ярких, радужных нарядах. Среди них – невеста в легком, небесного цвета чапане. Девушкам наскучило сидеть в юртах, и они решили порезвиться за аулом. Увидев девушек, джигиты напряглись, как кони перед скачками, однако спохватились, застеснявшись старших, и нехотя, вразвалку пошли к коновязи. Правда, здесь ни один из них даже не взглянул на лошадей: их глаза, казалось, сами поворачивались вслед за девушками.

Старики, совершив бесин-намаз[1] собрались в юрте Балпана, чтобы обсудить условия и детали завтрашнего состязания. Обговорив все, разошлись по отведенным им юртам, где начали кумекать с сородичами, как лучше обойти соперников.

К джигитам побежал байский слуга с вестью, что хозяин тоя пожелал лично, в сей час ознакомиться с претендентами на его дочь и их скакунами. Женихи и их слуги, ведя на поводу скакунов, направились к склону холма – месту сбора. Здесь лошадей накрыли самыми изысканными попонами; женихи еще раз провели тщательную ревизию своей одежды. Решившие поймать птицу счастья, статные, как на подбор, джигиты смущались, волновались в ожидании приближающейся из аула внушительной толпы.

Впереди, отдельной группкой, шествовали Балпан и аксакалы. За ними, держа приличествующую дистанцию, жадно глазея по сторонам, двигалась туча любопытных, праздных людей. Им не терпелось поскорее узреть и женихов, и скакунов. Чтобы их можно было отличить от джигитов, не претендующих на байскую дочь и богатство, женихи сами держали скакунов под уздцы.

Отец невесты и почтенные аксакалы медленно поднялись на вершину холма. К ним приблизились женихи; рядом с ними стали их родители и близкие родичи. Бай, сопровождаемый двумя стариками – знатоками лошадей, подошел к жениховскому строю. Молодцы робко поздоровались – как-никак, а может, это будущий тесть. Женихов оказалась прорва.

Согласно обычаю Балпан расспросил каждого джигита: откуда он родом, как зовут его почтенного отца. Женихи были один другого краше, хоть сейчас любого зятем назови. Рослый, стройный, рыжеватый джигит оказался сыном Байсала, которого когда-то сватали к Ажар. Хоть и учился он в городе, в русской гимназии, по всему видать – скромен, застенчив, как девушка. Пока Балпан беседовал с Байсалом, юноша глаз не поднял на старших. Прослышав о состязании, Байсал не поленился – съездил

---

[1] По мусульманскому канону правоверный должен пятикратно молиться за сутки. Бесин-намаз – молитва, совершаемая после полудня.

в Хорезм и выпросил бело-сивого аргамака у одного своего знакомого. Аргамак был потомком прославленной в тех краях скаковой лошади. Старики лошадники придирчиво оглядели аргамака со всех сторон и не нашли в нем ни единого изъяна. Градом посыпались вопросы из любопытной толпы о статях скакуна, Байсал отвечал обстоятельно и с достоинством. Но Балпан старался не задерживаться сверх положенного возле Байсала, дабы не обидеть представителей других родов. Отходя, еще раз покосился на джигита, подумал про себя с некоторым сожалением: «Бледен и жидковат немного. Вряд ли выдюжит в борьбе».

А этот со звездочкой на лбу, темно-рыжий скакун принадлежит, должно быть, купцу Шурену. Он известный пройдоха, недаром судачат, что он кого угодно вокруг пальца обведет. И скакун его небось не промах. Словно боясь, что скакуна могут сглазить, хитрый Шурен почти целиком укрыл его пышной попоной: нечего заранее открывать всем его достоинства. А вот и сам купец стоит, поджидает Балпана. Выпер вперед могучее брюхо, опоясанное широким кожаным ремнем с металлическими узорами, на мясистом грубом лице застыло высокомерие. И сын весь пошел в него: такой же плечистый, хоть по джигиту сажай на плечо, мешковатый верзила. В борьбе он, пожалуй, всех положит на лопатки. Балпан на минутку представил себе, как приедет он в просторный, железом крытый купеческий дом, горделиво возвышающийся в самом центре города, а навстречу ему с услужливым поклоном выкатится самый богатый и влиятельный купец. Так, глядишь, ему, степному баю, владеющему раздольным междуречьем, удастся заполонить весь городской базар жирными баранами...

Белоголового саврасого скакуна пригнали сюда из аула, раскинувшегося неподалеку от города. Его хозяин – долговязый, темнолицый мужчина. Лихо покручивая густые усы, он рассказывает что-то веселое глазеющим людям. Его сын, рослый, миловидный, с добрыми глазами, сдержанно улыбается.

Ого, и Бекес здесь, прибыл с племянником. Бекес резко выделяется среди гостей своим суконным, городского покроя бешметом. Голову его плотно облегает татарская такия с кисточкой. Растопырив пальцы, решительно же-

стикулируя, он что-то втолковывает племяннику. Приятный черноглазый шатен, вполуха слушая дядю, внимательно смотрит на Балпана.

...Балпан уже приближался к концу ряда, когда заметил смуглого юношу, одетого обыденно, в поношенный чапан из верблюжьей шерсти. Юноша примостился на отшибе, смущенно опустив голову: стыдился то ли своей одежды, то ли тощей, кости выпирают, лошадки игреневой масти. Балпан подошел и к нему, осведомился, кто он, из какого рода. Рядом с парнем не было никого. Он что-то пробормотал, вконец смущенный, аж взмокший весь от волнения. Балпан вгляделся в него повнимательнее и тут приметил на виске парня большой шрам. «Ну, бедняга, – проникся к нему сочувствием Балпан, – его засмеют. Скажут: башка в трещинах, а туда же метит». Бай отвернулся. Стоявшие рядом джигиты бросали на юношу кто пренебрежительные, а кто и ехидные взгляды.

Завершив церемонию знакомства, Балпан зашагал к аксакалам – они пребывали в важных позах на холме. Вдруг кто-то ухватил его за полы чапана. Он наклонил голову и увидел у своих ног слабоумного Есена, сына Салака. Несчастный помешался еще в раннем детстве; к тому же он был уродлив. Одно ухо у него было изуродовано, глаза сильно косили. Зимой и летом пропадал Есен в степи. До него донеслась весть о состязании, и он одним из первых прискакал на той. Было ему под сорок, но ходил он в холостяках. Отец его, Салак, обшарил все аулы окрест, сулил богатый калым, но никто не решался отдать дочь за слабоумного. Отец давно оставил надежду женить сына, но сам Есен надежды не терял и вот решил наравне с самыми ладными джигитами испытать судьбу в состязании. «Пусть, дурачок, тешится»,– подумал Балпан и распорядился, чтобы и его включили в число претендентов.

Отвязавшись таким образом от Есена, бай Балпан влился в круг аксакалов. Те вели горячие споры о том, кто выйдет победителем. Гости уже успели налюбоваться красотой аула и ревниво изучили всех прибывших на состязание. Особенно настороженно и зорко приглядывались друг к другу женихи-соперники. Среди всеобщего волнения, среди тех, кого лихорадило от мысли о предстоящей борьбе – ради чести, славы и богатства, – один бай Балпан казался невозмутимым. «Что бы там ни было, побе-

дит сильнейший, достойнейший. А мне ничего больше и не нужно», – размышлял про себя Балпан.

### 3

В ауле заполыхали пожаром споры о преимуществах и недостатках скаковых лошадей, о том, кто завтра будет объявлен мужем Ажар. Яростная, до пены у рта, перепалка не примирила, конечно, заядлых спорщиков, и они ударяли по рукам, заключая пари.

Девушки и молодые женщины, придирчиво с ног до головы изучившие женихов, окружили Ажар и наперебой, захлебываясь от возбуждения, расхваливали ей и того, и другого, и третьего. Они никак не могли определить лучшего из лучших – так все женихи были хороши. Кое-кто из молодок втайне завидовал Ажар, другие не считали нужным скрывать свою зависть:

– Ох и счастливая же ты, девка, и повезло тебе! Кому еще привалит такое счастье – самой выбрать себе по сердцу джигита?!

Щеки Ажар загорались огнем от подобных слов. Люди толпами сновали туда-сюда. Каждый навострил уши, к любому словечку, слуху, шепотку прислушивался. Участники состязания подсылали друг к другу лазутчиков. Те шныряли по юртам, в толпе ловили малейший звук, дознавались, кто о ком и о чем говорит. Соперники неприязненно косились друг на друга и на скакунов, которые, по мнению просвещенного большинства, должны были первыми прийти к финишу. Иные дрогнули. Даржан, не надеясь на удачу, грозился уехать, но его со всех сторон окружили, обступили болельщики и давай до небес расхваливать и его сына, и скакуна. Самолюбивый Можан заявил: «На этом шабаше джиннов нам делать нечего!» – и, обругав про себя последними словами Балпана, швыряющего на ветер, на потеху презренным крикунам состояние, убрался восвояси. Некоторые джигиты тоже стушевались, струсили. Одинокий юноша со шрамом сразу же после смотрин решил незаметно исчезнуть. Под разными предлогами уехало еще несколько человек.

Перед заходом солнца гостям вновь было подано щедрое угощение. Горы мяса источали соблазнительные запахи. Однако на этот раз за дастарханом не было оживления и шумного веселья. Гости были утомлены, да

и обеспокоены завтрашним днем. Ели сосредоточенно, молча, с насупленными лицами.

Никто больше не вступал ни с кем в спор, не заключал пари. После еды в разных местах небольшими кучками собирались джигиты. Им было интересно послушать разные забавные байки из уст бывалых стариков, повидавших на своем веку не один грандиозный той. Если приближался посторонний, кто-то из чужого аула или рода, старики ловко поворачивали разговор на погоду, на грядущую зиму или начинали вовсю расхваливать радушие бая Балпана.

Вечером бай пригласил в свою юрту аксакалов, чтобы потолковать, посоветоваться с ними, выведать их мнение о женихах. Старики сказали: «В состязании участвуют сплошь имущие аулы, именитые роды. Трудно вынести заключение о том, что этот, мол, хуже, а тот лучше. Предсказать победителя трудно. Ясно одно: и тебя, и дочь твою ожидает счастье».

Девушки из окружения Ажар, молодухи, разжигавшие самовары, тараторили без умолку, на все лады обсуждая женихов.

Аулу, как видно, не суждено сегодня уснуть. Всю ночь в каждом уголке шушукались и шептались...

## 4

На другой день равнину заполнили люди. На траве расстелили в ряд, один к одному, пестрые ковры. Аксакалы выбрали казы – судьями состязания – старца Досбая, хазрета Асанбая, акына Кушена.

Судьи тут же подозвали к себе старейшин аулов и обговорили правила и порядок состязания. Было решено, что сначала женихи продемонстрируют свое искусство пения и игры на домбре, потом померяются силами в борьбе, а заключит все байга – скачки лошадей.

Затем судьи пригласили на круг Балпана. Хазрет Асанбай вытащил из-за пазухи коран. Положив руку на священную книгу, бай поклялся, что не откажется от своего обещания и отдаст дочь победителю. Хазрет стал поочередно выкликать старейшин аулов, и они поклялись на коране не оспаривать решение судей. Когда Асанбай вызвал Салака, вместо него выбежал его сумасшедший сын. Он стоял вразвалку, улыбаясь своей улыбкой умалишенного, один глаз его уставился в землю, другой – устре-

мился в небо. В толпе раздались смешки. Хазрет Асанбай терпеливо объяснил ему порядок и условия состязания. Есен сказал, что у него тоже есть условие. И, продолжая ухмыляться, безапелляционно заявил: «Петь я не умею. И не буду. Если бай Балпан желает выдать замуж дочь за горлопана, пусть выдаст ее за шайтана. Мне же драть горло не пристало. Я родовит, именит и богат, и вообще не хуже других. Хоть мне и сорок, все равно с любой девкой справлюсь. И любую переживу. Я буду участвовать в состязании. Никто мне не запретит. А орать благим матом и по струнам хлестать нет на то моей воли. И в вертеп джиннов меня не затащите!» Люди хохотали над идиотом до коликов в животе. И только хазрет был по-прежнему строг и суров. Он посмотрел на вытиравших слезы Досбая и Кушена, головой показал на приосанившегося Есена, словно советуясь, как с ним поступить. Оба сразу посерьезнели, застыли в недоумении. Угомонилась в ожидании и толпа. Судьи, посовещавшись между собой, посчитали нужным обратиться к другим аксакалам. И тут раздался пронзительный голос забияки Даржана:

– Эй, люди добрые! Он же единственный старый хрыч среди стольких молодых джигитов. Пусть потешится. Допустите его. Коли целая свора парней уступит девку этакому дуралею, то пусть они провалятся от позора сквозь землю.

Вокруг одобрительно загудели, и аксакалы добродушно махнули рукой: «Допустить его к состязанию. Кому он, балда, дорожку перебежит?!» Растянув губы в блаженной улыбке, Есен произнес слова клятвы и поплелся на место. Он был рад, что отбоярился от пения и игры на домбре и тем не менее будет среди всадников в байге. Есен только никак не мог уразуметь, отчего надрывает животы, пускает от смеха слезу и щиплет себя за щеки от восторга эта многолюдная толпа. Хазрет Асанбай едва успокоил развеселившийся народ.

Джигиты между тем готовились к первому испытанию. Для него отвели большущий ковер; рядом развернули ковер для аксакалов. Зрители, кто сидя, кто стоя, расположились вокруг. Когда расфранченные парни заполнили середину ковра, волнами прокатился шум восхищения. Молодые женщины, сгорая от любопытства и волнения, что-то нашептывали друг дружке на ухо. Спокойствие и

сдержанность выражали только лица аксакалов и девушек из свиты невесты, напоминавших маленькое созвездие. Акын Кушен, во исполнение дедовского обычая, предоставил почетное право начать состязание гостю, проделавшему самый длинный путь, – сыну Шурена. Тот выступил вперед, громадный и внушительный, низко поклонился, и взбудораженная толпа, не успев еще услышать его голос, стала подбадривать молодца одобрительными возгласами.

Сын Шурена взял в руки черную, инкрустированную костью домбру и бойко ударил по струнам. Он хлестал и хлестал по ним, все набирая темп, потом резким голосом, как-то неожиданно даже, взял высокую ноту и долго, на одном дыхании, тянул ее – совсем как жаворонок в заоблачной выси. После этого певец так же круто понизил голос, будто готовясь к новому взлету. Завладев вниманием зрителей, он обрушил на них стремительный речитатив. Проникновенные слова и мелодия, извергавшиеся сильным и красивым потоком, не исчезали бесследно под ясным, открытым небом, не растворялись в бескрайней степи, а желанной птицей опускались на струны души. И хотя подбородок певца едва-едва покрылся нежным пушком, пел он о жестокости и лживости этой юдоли печали, в которой обречены на неизбежную гибель самые высокие помыслы и дерзкие мечты, о ненасытности и слабости рода человеческого.

Горячая кровь, взыгравшая в жилах и ударившая в головы слушателей при первых звуках домбры, теперь будто застыла, побежала к сердцу, леденя его холодом. Казалось, на радостно трепещущую душу, послушно устремившуюся было ввысь за голосом-властелином, набросили вдруг аркан, как на скакуна на полном скаку. Восторг сменился печалью, на глаза набегали слезы, к горлу подкатывал горький ком. Толпа поникла, оживления, легкомысленного бездумья как не бывало; озорные, игривые глаза потухли, устремились вдаль, к плотно прижавшимся один к другому, словно озябшие дети, холмам и перевалам. Певец теперь подчинил себе толпу, как хорошо объезженную лошадь, и делал с нею все, что хотел. Сию минуту все сидели, понурившись, ни дать ни взять облитые холодной водой, и вдруг, по воле певца, встрепенулись разом. Светлый напев и задорные слова всколыхнули

людей, вырвали из тяжких раздумий. Плечи распрямились, заблестели глаза, щеки зарумянились.

Певец пел о том, что храброму джигиту ничто не страшно. И даже краткость жизни не пугает его, ибо смысл и радость ее – в непреклонной воле, дерзости духа, неукротимости желаний; уж коли суждено тебе было прийти в этот мир, взмывай орлом в поднебесье, промчись по земле огненнокопытым скакуном.

Толпа восторженно вопила, благодарила певца, просила его петь еще и еще. Акын Кушен подал знак: пой, если есть охота. Певец покрутил колки, перестроил домбру на другую тональность и запел тихо, проникновенно о любви к девушке. Песня была нежной и страстной одновременно, в ней были таинственный намек, ласка, очарование, противиться которому невозможно.

Покоренные слушатели восторженно причитали:

– Ойпырмау, вот молодец, вот сокол! Этот, видать, с ходу выиграет в первом соревновании. Ну и силен! Более хладнокровные и терпеливые возражали:

– Подождите! Впереди еще и не такое увидим... Певец почувствовал, что выступил удачно, понравился всем. Вытирая мокрый лоб, с пылающим лицом он освободил место следующему претенденту.

И в самом деле, вскоре выяснилось, что он не единственный умелец среди соперников. Слушатели и судьи сбились с толку: кто же самый голосистый и умелый певец? Они еще не раз приходили в восторг, кричали, перебивая друг друга, а особо темпераментные вскакивали с мест, бурно жестикулировали. В этом сплошном гаме ничего нельзя было расслышать и понять. Но вот выходил очередной певец, затягивал свою песню, и люди мигом успокаивались, утихали, все обращались в слух, будто ожидали нового чуда.

С севера временами налетал робкий ветерок, вдали, у горизонта, поднималось к лазурному небосводу облачко, легкое, как пушинка. Печаль по мимолетной обманчивой молодости, которая, подобно тюльпанам, цветет ярко, но коротко, бравурные напевы о колдовских чарах красавицы, сиянии ее глаз, сводящих с ума доброго джигита; горькая жалоба на жестокую судьбину, разлучившую влюбленных; хвала светлой мечте, всю жизнь куда-то влекущей людей, пленяли, погружали в сладостную истому и людей, и холмы-близнецы, и ровную, гладкую, как доска,

равнину, и ослепительный небесный свод, и реку, покрытую легкой серебристой рябью.

Певцы не повторяли друг друга. Чем больше джигитов побывали с домброй на ковре, тем заметнее вдохновлялись, загорались остальные. Вначале многим под любопытными взглядами окружающих было не по себе; теперь они расправили плечи, им не терпелось схватить домбру и выйти поскорее на круг. Чем ждать свой черед под любопытными взглядами, волнуясь, краснея, обливаясь потом, уж лучше петь. Всем им хотелось избавиться от тягостных сомнений и сжигающих душу надежд, от опаляющей зависти к сопернику при виде его успеха. Всем хотелось обрести крылатое чувство свободы. Перед песней отступают разом все тревоги, все волнения. Чистые, сокровенные чувства благодатными родниками пробиваются из глубин души, преображают молодой звонкий голос, одухотворяют лицо, зажигают глаза священным огнем – огнем самого высокого, самого светлого, что заложила в человеке природа. Они вливаются вместе с песней в сердца очарованных людей, подобно сказочному, живительному бальзаму из драгоценного сосуда. Человек освобождается от повседневной мелкой суеты, очищается от житейской скверны.

В такие мгновения даже самые черствые, самые черные натуры ощущают себя заново родившимися, свободными от бремени неурядиц и мрачных воспоминаний. Даже они с упоением, восторгом открывают для себя, как прекрасен мир. Бездонная синь над головой, жемчужная полоска горизонта, блестящие крупы красавцев скакунов, юные, стыдливые девушки, чарующие голоса певцов. Все-все буйство, половодье белых, красных, синих, зеленых красок, символизирующих непобедимость, торжество жизни...

Песни джигитов загипнотизировали всех. И все живое и неживое, весь мир видится будто в сладком сне, окутан зыбким розовым туманом, который стоит над степью ранней осенью.

Люди предались одухотворяющим мечтаниям. Даже на заросшем щетиной лице Есена появилась осмысленная улыбка.

Казалось непостижимым, что звучные, гордые эти песни, которым было тесно даже на степном просторе, что такие сокровенные и смелые мечты, такая сила духа скры-

вались, хранились в тайниках души безусых юнцов, почти детей, еще вчера игравших в асыки и гонявшихся за стригунками... Неужели со временем отгорят, очерствеют их сердца, беды иссушат их, волосы покроет седая пыль?.. Неужели они, такие чистые, отважные, будут перед кем-то унижаться, боязливо заглядывать в чьи-то глаза, довольствоваться крохами с чужого стола?! Жить бы им до конца дней привольно и красиво!..

Увы, мало кому это суждено. Беспощадная судьба старит молодых, укрощает строптивых, унижает гордых, скакунов превращает в кляч, острое – в тупое. Доберется она однажды и до них...

Состязание певцов закончилось после полудня. Судьи не знали, кому отдать предпочтение, и приняли решение допустить всех участников первого тура ко второму – к борьбе. Ублаженный песнями, удовлетворенный мудростью судей, народ валом повалил в аул. Захлебываясь, наперебой люди расхваливали певцов. Масса, у которой, казалось, только что были одни глаза, уши, одно единое сердце, впитывавшие в себя песню, теперь, словно брошенная горсть бобов, рассыпалась, покатилась в разные стороны, по склонам холмов. Люди сбивались в маленькие кучки: там двое-трое, тут четверо-пятеро. У всех на устах звучала хвала: «Ай да зрелище! Ай да чудо! Ай да музыканты!» И если на пути им попадался кто-нибудь из певцов, каждый считал своим долгом выразить восторг, цепляясь при этом чуть ли не за полы чапана джигита. «Ну, милый, – слышалось из разных мест, – ты всех за пояс заткнул. Нет тебе равного!» И выразительно прищелкивали языками, пожирали выбитого из колеи певца ошалелыми глазами. Если тот совсем терялся и никак не реагировал на их упоение, говорили с усмешкой: «Бедняга совсем, видать, с ума спятил от успеха. Даже язык отнялся». Если же польщенный певец улыбался в ответ и благодарил за доброе слово, толпа ехидно похмыкивала, дурачилась, шептала: «Вот болван, всерьез принял наше славословие». И срочно отыскивала в певце какой-нибудь изъян, надувалась от чувства собственного превосходства над тем, кто совсем недавно так властно увлек ее в прекрасную страну чудес. Теперь, двигаясь навстречу тому привычному и низменному, что было неотъемлемой частью их жизни, люди опять превращались в крикливую

толпу, которую хлебом не корми – дай позлословить, осквернить святое и светлое...

Джигиты шли почти стремя в стремя в искусстве пения. Мудрые, дальновидные мужи соперничавших родов и аулов были озадачены и лихорадочно соображали, каким образом помочь их ставленникам выиграть спор. Они отводили в укромные местечки своих джигитов, озирались по сторонам, будто передавали им что-то ворованное, торопливо и таинственно шептались. Все еще взволнованным, озаренным своим выступлением, своей песней парням опытные старики спешно втолковывали азы хитрости и коварства. Заветная, сладкая, как мед, мечта победить в открытом состязании подтачивалась на оселке честолюбия, незаметно оборачивалась жестким расчетом взять верх любой ценой. Простодушным джигитам внушали: когда все соперники будут посрамлены, а их род опозорен, когда горе сведет у других брови на переносице и остановит в жилах кровь, он, победитель, будет ликовать, праздновать победу, он познает тогда пьянящий хмель честолюбия, вкус счастья.

Неопытным юношам было невдомек, что с этого мгновения они невольно вступают в беспощадную байгу, которая зовется жизнью. И у этой байги только один приз, а претендентов на него не счесть. Многих она увлечет, раззадорит, раздразнит, однако желанного финиша удается достичь одному-двум, остальные же – поверженные, проклинающие белый свет – выдыхаются на полдороге к цели.

Окончание первого тура бай Балпан ознаменовал новым угощением. Опять расстелили дастархан, обильно заставленный яствами, опять, долго, с наслаждением пили чай. Правда, гости из соперничавших аулов были озабочены и ели-пили вяло, без аппетита.

Спустя час-другой народ опять подался к месту состязаний. Судьи вновь призвали к себе аксакалов, основательно посовещались. На этот раз в кругу расстелили белое полотно, и аксакалы бросили на него свои камчи. Акын Кушен старательно перемешал их и поманил к себе двух несмышленышей – мальчика н девочку лет трех-четырех. Обращаясь к народу и аксакалам, акын сказал:

– Пары борцов будут определяться по тем камчам, которые вынут эти дети. Все ли с этим согласны? Аксакалы ответили:

– Конечно, младенцу на ухо нашептывает сам ангел, а ангел – посланец бога. Разве мы вправе противиться его воле?! Каждый из джигитов – раб божий. Судьба его во власти всевышнего. Перечить ему – грех. Решение судей неоспоримо.

Акын Кушен посмотрел на хазрета Асанбая и старца Досбая и решительно заявил: «В таком случае начнем!» Держа мальчика и девочку за руки, он подвел их к полотну, затем обратился к девочке: «Возьми, доченька, одну из этих камчей и подай мне». Люди замерли, и девочка в мертвой тишине наклонилась и подала камчу акыну. С такой же просьбой акын обратился и к мальчику. Подняв высоко над головой обе камчи, акын Кушен спросил:

– Все видели?

Толпа откликнулась разом!

– Видели! Видели!

Потом он показал камчи аксакалам, те тоже покивали головами.

– А теперь пусть владельцы этих камчей выступят вперед! – распорядился Кушен.

На круг вышли два аксакала. Акын сказал им, чтобы они вызвали своих джигитов. Рядом с аксакалами встали два джигита в легкой, удобной для борьбы одежде с кушаками. Акын Кушен вновь повернулся к толпе:

– Ну как, люди добрые, нет сомнений, вопросов?

Толпа одобрительно загудела.

Кушен попросил джигитов пока отойти в сторонку. Мальчик и девочка выбрали еще две камчи, и владельцы их выкрикнули следующую пару борцов. Разделив таким образом всех соперников, судьи объявили о начале второго вида соревнования.

Боролись сразу две-три пары. Напирая друг на друга, люди двинулись поближе к кругу. Едва борцы схватились за пояса, как холм зашевелился, взревел, взвыл. В неистовом шуме нельзя было расслышать даже соседа; люди чуть ли не на плечи друг другу взбирались, чтобы хоть краешком глаза узреть, как разворачиваются события на маленьком белом пятачке. Бывалые борцы, те, что состязались когда-то на тоях и торжествах, орали до хрипоты, хлопали себя по бедрам, размахивали руками: «Эх, досада, сорвалось!»; «Так, так, за голень его подцепи!»; «Держись, держись!»; «Изнутри подсеки, недотепа!»; «Тьфу, растяпа!»; «Вай-вай, ну и ловкач!» Аксакалы старались

держаться с достоинством, однако, ясное дело, всей душой болели за своих и шептали: «Ия, святой дух! Аруах! Подсобите ему, предки!»

Вот сошлись в схватке два джигита. Оба взмокли и тяжело, прерывисто дышали; все кружилось перед их налитыми кровью глазами: бесчисленные ноги, подолы ярких платьев, полы разноцветных чапанов... Жадная до зрелищ, праздная толпа, казалось, прилипла взглядами к спинам борцов... Если кто-то сейчас одолеет, положит противника на лопатки, она всколыхнется, загалдит:

«Э, барекельде!» А другой, тот, что проиграл, считай, покрыл на веки вечные позором и себя, и белобородого отца своего, и свой аул, и весь род. Теперь он готов сквозь землю провалиться. Рад будет выбраться из этого орущего людского муравейника и спрятаться подальше от лихорадочно горящих, осуждающих, насмешливых, злорадствующих, сочувствующих взглядов.

А пока пот струится по спинам борцов, ломит напряженное тело. Цепкие, сильные руки противников сжали друг друга в тиски – вот-вот затрещат ребра, навалива-ясь могучими плечами, каждый будто хотел вогнать соперника, как кол, в землю. Крякнув, оба закружились-завертелись и вдруг остановились, затоптались на месге, выжидая и зорко схватывая каждый жест, каждое движение другого. Обоих охватила минутная дрожь, будто на них брызнули ледяной водой. Долго раскачивались, маяча из стороны в сторону. Наконец один слегка оторвал правую пятку от земли, но тут же больно ударился головой о широкую спину противника. В голове зазвенело, перед глазами поплыли радужные круги; парня ослепил гнев, злой комок подкатил к горлу, и, не успев опомниться, джигит шлепнулся боком на мягкую, как зола, землю. В диком отчаянии, изо всех сил, рванулся он, чтобы подняться на ноги, но на грудь ему с тяжестью, показавшейся непомерной, навалился соперник и накрепко припечатал к земле. Поверженный почувствовал в груди такую боль, словно чья-то жестокая рука полоснула ее ножом; сознание его помутилось, глаза закрылись, пальцы разжались, и бессильная рука упала. Он лежал в пыли – подшибленный пес, да и только.

Победитель поднялся и изящным легким рывком схватил за руки своего недавнего соперника, помог ему встать.

Белый свет померк в глазах униженного джигита. Не оглядываясь, опустив посрамленную голову, бросился он вон, пробиваясь сквозь толпу. Позади шумели, горланили, ликовали, а он, не останавливаясь, бежал к коновязи. Тяжело сопя, за ним неслись земляки, крича на ходу: «Стой! Стой! Погоди!» Но он не мог сейчас видеть никого. Отвязал своего скакуна, вскочил на него и галопом понесся в степь – прочь, прочь, прочь отсюда. Пока друзья нашли да отвязали своих коней, он уже был далеко. Позор поражения жег его пламенем. Мысли путались, безысходный гнев и отчаяние сдавили грудь. Ветер развевал гриву скакуна, бил в лицо джигита, шершавым языком облизывая его воспаленный лоб. В парне что-то надломилось, он припал лицом к гриве скакуна и затрясся от рыданий. Слезы бессилия, торчавшие костью в горле, вдруг хлынули, полились бурно и неудержимо. Задыхаясь, давясь ими, рыдал джигит, вместе со слезами исторгая из себя гнев, отчаянье, стыд. Он почувствовал облегчение и, подняв голову, заметил, что бурая степь мчится ему навстречу, словно темная река в половодье. В душе его были пустота и безразличие, потом внезапно и отчетливо перед глазами всплыл недавний поединок. Джигит застонал от униженной, утраченной чести, которая еще вчера позволяла ему гордо держать голову. Сегодня эта честь оказалась истерзанной в клочья – словно шерсть паршивой овцы, что остается на кустах и колючках, валялась она сегодня под ногами распаленной зрелищем праздной толпы. Побежденный содрогнулся от горя, безудержно заплакал...

Он не знал, сколько прошло времени. Солнце давно уже скрылось. Бледно-розовый отблеск у горизонта затмевала, наваливаясь на него, клочковатая черная туча. Быстро надвигалась темнота. Все вокруг погружалось во мрак, и в этом все густеющем мраке брел сын степи, одинокий и несчастный, как жеребенок, которого чьи-то жестокие руки вмиг отлучили от матери, от ее молока, тепла и ласки, от безмятежного детства.

Джигит этот был не единственным, чье унижение и горе скрыла в эту ночь равнодушная степь.

Ночь была душной. Соперники кончили борьбу уже при заходе солнца. И пока толпа спустилась с холмов в долину к юртам, землю окутали сумерки. Над аулом на-

висла взъерошенная, как верблюд-самец по весне, зловещая туча.

Встревожены и мрачны были многие из тех, кто остался в праздничном ауле. Радость победителей была недолгой – теперь их мучили неуверенность и сомнения перед скачками – последним и решающим туром состязания. Проигравшие тихо, под покровом ночи отбыли в свои аулы. Они, казалось, старались теперь ступать по земле неслышно и незаметно.

Спать в ауле улеглись рано. Рано потух и огонь в ямах под котлами. Из юрт не доносилось голосов; никто не играл на домбре и кобызах. Часть гостей разъехалась, некоторые юрты опустели. И лишь глухо доносившиеся из разных углов разговоры да пофыркивание лошадей свидетельствовали, что жизнь в ауле еще не совсем угасла.

В эту душную, темную, тревожную ночь уснуть было нелегко. Джигиты, которым предстояли завтра скачки, время от времени вскакивали с постели и отправлялись проверить лошадей. У порога двух белых юрт для невесты и ее подруг устроились старухи с чутким сном. Однако эта предосторожность была напрасной: никто из джигитов и не посягал на девушек. При малейшем шорохе старухи вскидывали головы, прислушивались настороженно. Те, кому и вовсе не спалось, ходили и переговаривались возле реки и коновязи.

Во всем ауле безмятежнее всего, будто после трудов праведных, спали двое: бай Балпан и слабоумный Есен. Хлопоты последних дней и впрямь утомили бая. Сегодня он весь день проторчал на ногах – любовался женихами. Тело его притомилось, а душа была спокойна. В пении и борьбе, как по заказу, победили те, кому он втайне симпатизировал.

Не горевал и Есен. Мальчик и девочка – да благослови их аллах! – выбрали, к его счастью, ему в соперники сына скандалиста Даржана, такого же, как отец, красноглазого забияку. Уж кого-кого, а сына Даржана Есен знал как облупленного и вовсе не намеревался уступать ему победу. Как-то прошлым летом Есен напился до одури коиртпака и сидел у колодца, томясь от скуки. И тут, к его удовольствию, господь пригнал к нему этого задаваку. Прискакал, значит, напоил коня и хвать бурдючок Есена. А там булькал вчерашний кислый айран, перемешанный с

Девятиклассник Абиш Кекильбаев среди участников областного смотра художественной самодеятельности. Атырау. 1956 г.

Абитуриенты. Слева во втором ряду Абиш Кекильбаев. 1957 г.

Студенческие годы. Мухтар Магауин, Абиш Кекильбаев, Ораз Телемгенов. 1959 г.

На завершающем курсе университета. 1962 г.

Будущая супруга писателя Клара в студенческие годы. 1962 г.

Абиш Кекильбаев, Арон Утеуов, Жумекен Нажимеденов.

Молодые прозаики Оразбек Сарсенбаев и Абиш Кекильбаев.

Журналист А. Кекильбаев на развалинах древнего города Тира. Ливан. 1968 г.

Со студентками из Мали. 1963 г.

По местам детства. 1996 г.

Наскальный храм Бекет-Ата.

Тепло родного очага. В гостях у брата Мукура Ниязова (второй слева). Село Онды на Мангышлаке. 1988 г.

Экскурсия по родным местам с юными краеведами г. Актау. 1992 г.

Абиш Кекильбаев с внуком Абулом и сыновьями Аулетом и Даулетом.

густым, как расплавленный свинец, свежим овечьим молоком, охлажденным к тому же в колодце. Конечно, пить прохладный пахучий коиртпак в жару – одно наслаждение, но зато после он начинает бурлить в желудке, что тебе кипяток в котле. Аж в пот бросает – места себе не находишь. А этот ублюдок от жадности и опрокинул в себя зараз три чашки. Немного погодя коиртпак дал о себе знать: парень заметался, за брюхо хватался, по земле катался, вот-вот сиганет в колодец. Есен злорадно поглядывал на его мучения, посмеивался довольный, но потом пожалел: достал из колодца три бадьи студеной воды, облил с головы до ног незадачливого обжору. Тот постепенно отдышался, пришел в себя и ну приставать: «Есен-ага, давай поборемся! Какая блажь не придет в голову от безделья?! Схватились за пояса. Дважды повалял его Есен, а один раз он Есена.

Сегодня на холме Есен начал бой с некоторой опаской: парень молодой, за год мог сил набраться, да и вообще стать половчее и поухватистее. Однако сынок Даржана был прежним – неумел и неосторожен. Перебирал ногами, пританцовывал, как кляча, которую кусают слепни. Обнаружив в сопернике слабинку, Есен увереннее схватил его за пояс, рывком притянул к себе, а тот рукой потянулся к заду, наверное, опасался, что свалятся штаны. Есен сделал несложную подсечку и подцепил ногой его за щиколотку. Недотепа не на шутку растерялся, со страху уцепил Есена за жидкую бороденку, в жизни еще не видавшую бритвы. Есен поднял рев, подскочили судьи. Есен уселся на землю, по-бабьи запричитал: «Ох-хо-хо, этот бесстыжий схватил меня за бороду, оскорбил мою честь. Ох-хо-хо, стало быть, он проиграл, а я победил. И все тут!» Судьи рассудили, что хватать мусульманина за бороду – предел неучтивости и, пожалуй, даже тяжкий грех, и объявили Есена победителем. Раздувшись от самодовольства, как индюк, Есен отправился в гостевую юрту и развалился на самом почетном месте.

Вечером за едой все сидели мрачные, кислые какие-то. Есен поглядел-поглядел на хмурые лица, потом решительно придвинул к себе деревянный поднос с мясом, деловито засучил рукава и пошел-пошел загребать, как лопатой, широкой своей пятерней жирные куски мяса и пихать их

в рот. Давясь и урча, почти не жуя, заглатывал он душистую баранинку, и вскоре поднос перед ним опустел. Потом он с присвистом выпил здоровую чашку бульона, но и на этом не остановился – за бульоном последовал кумыс.

Есену показалось, что соседи по юрте что-то от него затаили, перебрасываются туманными намеками, а сами при этом на него глазами зыркают. «У, чертовы дети, и чего секретничают, уж не заговор ли строят какой, может, тайком хотят спалить аул бая Балпана», – подумал Есен и вышел из юрты. Он спустился к реке, посидел на берегу, опустив ноги в воду, потом вернулся в аул и завалился спать.

Лохматые черные тучи обложили небо, они все ниже и ниже нависали над аулом, сгущая духоту и темень, и с утра разразились дождем. Запрыгали, зашлепали крупные, с горошину, капли в одно мгновение смочив подушки и одеяла тех, кто постелил себе на свежем воздухе. Все попрятались в юрты, а дождь отхлестал кошму, поскакал вокруг юрт, попугал-попугал всех и остановился сразу. Трава, вытоптанная людьми и скотом за эти дни, ожила; дождь прибил пыль, промыл зелень, очистил, вылизал, омолодил землю.

Сегодня предстояли самые захватывающие и самые трудные состязания. Одному из двадцати джигитов, допущенных к байге, суждено стать сегодня обладателем богатой и красивой невесты. С утра на холме царило необычайное оживление. Мальчики-наездники уже сидели верхом на скакунах, которых прогуливали взад-вперед опытные наставники. Они давали мальчишкам последние советы, наставления, в который раз твердили о разных уловках и хитростях. Двадцать джигитов, чьи судьбы теперь зависели от быстроты скакунов и умения мальчишек-наездников, волновались так, словно решался вопрос жизни или смерти. Однако на виду у зрителей они старались держаться спокойно, с достоинством. Они находились чуть в стороне и, не отрываясь, смотрели на своих скакунов. Аксакалы и почтенные мужи аулов, участвовавших в байге, также расположились поодаль, своими компаниями. Лица их были напряженными, осунувшимися, как после бессонной ночи.

Больше всех шумели те, кто сам не принимал участия в байге. Они толпились возле скакунов, осматривали их с

головы до копыт, глубокомысленно обсуждали их стати, бились об заклад, заключали пари.

Скачки решили начать по утренней прохладе. Согласно указанию судей двадцать скакунов выстроились на стартовой меже. Двадцать мальчишек-наездников, чьи головы были туго обмотаны белыми платками, неотрывно глядели на белый флажок в руках акына Кушена. Вот он взмахнул флажком, и тишина, установившаяся было на миг, взорвалась оглушительным топотом. Вслед за ним, вслед бешено мелькавшим копытам понесся ликующий вопль толпы. Крик из тысячи глоток покрыл топот и храп лошадей. Несколько дней томились аргамаки на привязи, кусали удила, нервно перебирали ногами и теперь, когда с них сняли путы, пустились вскачь яростно, с неудержимостью падающей звезды. Их держали все это время под толстой, плотной попоной, они задыхались, обливались потом. Сейчас они с наслаждением окунались в свежий, упругий воздух, чувствовали, как встречный ветер гладил, ласкал их бока, их круп, и мчались, рвались вперед, радуясь желанной свободе и легкости собственного тела.

Когда кони показались из-за склона холма, раздался гул, исходивший, казалось, из земной утробы. Это косяк перепуганных каракуйруков и косуль устремился к голубеющей узенькой полоске горизонта. Пузатые барсуки и откормленные суслики, дремавшие в норках, выскочили из своих жилищ и в безумном страхе сиганули в кусты. Бурая степная трава, давно не видавшая копыт, поникла, притаилась. Чистый нетронутый чуть ли не с самого сотворения земли воздух качнулся, как море от налетевшего внезапно шторма, лишился своей первозданной прозрачности, своей зеркальной ясности, взвихрился, взбаламученный пылью. Спавшие на бурых буграх одинокие могильные камни пробудились от векового сна, решив, что это враг ворвался в степь; они пристально смотрели на мчавшихся мимо скакунов, однако, не обнаружив всадников с пиками и дубинками, успокоились, подумали, что это, должно быть, какая-то детская забава, игра. И вновь склонили свои каменные головы, притаились за склонами холмов и перевалов.

Кони мчались скопом, дробя копытами жесткий солончак. Позади остались перевалы, заросли, кустарники, гладкие, как зеркало, солончаки, бугорки и пригорки. Когда скакуны сорвались со старта, притаившийся в типчаке

ветер вскочил яростно, обрушился на них со всей мощью, однако не выдержал напора, отступил и принялся заигрывать с ними, облизывая их бока, брюхо, круп.

Скакунов забавляло озорство ветра, который трепал их гривы, развевал холку и хвосты, нежно поглаживал морду и бока, вытирал, сбивал пот; ветер радовался возможности порезвиться, поиграть с разгоряченными, крутобокими, ошалело мчавшимися по степи лошадьми. Но почему напряжен, как струна, человек в седле, отчего беснуется толпа – этого не знал, этого не мог понять не только легкомысленный бродяга-ветер, но и умные, обузданные скакуны. Впрочем, скакунов это и не заботило сейчас. В данный миг они были счастливы, ибо нет для них большего счастья, чем нестись вот так привольно, в едином порыве, разрезая грудью серебристые волны безбрежного простора. Потом, когда они устанут, они замедлят бег, успокоят дыхание, пощиплют травку и отправятся на водопой. С потных их спин снимут седла, и они ощутят блаженство, повалившись в густую, мягкую, как хвост ягненочка, траву. Они похрумкают нежные запашистые стебельки, почувствуют на губах кисловатый, терпкий сок. Когда они насладятся вдоволь травкой и почувствуют в горле сушь, не торопясь отправятся к озеру. Его ровная гладь блестит на солнце, будто ртуть. Скакуны ударят раз-другой копытами, начнут упоенно цедить теплую чистую воду, бережно касаясь ее губами. Под ноздрями трепещет, мельтешит, мелко-мелко дрожит огромное белесое небо. На мелком песчаном дне стелются легкие, перистые облака, похожие на белые пушистые попоны. Лошади стараются поймать их губами, проглотить, но тщетно: облака уплывают из-под самого носа, неуловимые и дразняще прекрасные. Сомлев от сытого блажества, скакуны вяло бредут на выпас; постоят там немного, будто в дреме, потом побегают по кругу, порезвятся, чтобы разогнать кровь, и опять готовы нестись навстречу ветру.

Скакать, когда зудят копыта, хрустеть травой и пить студеную воду – в этом, и только в этом и есть счастье скакуна. Даже во сне он видит густое, сочное разнотравье, пушистый комочек облака, отраженный в зеркальной глади озера, да блестящие крутые бока своих собратьев по косяку. Не много ему нужно для радости: он радуется, если слепень пролетит мимо него и не ужа-

лит; он доволен, если камча чуть-чуть скользнет по крупу, а не обожжет его.

Их, скакунов, уже давно приручили эти двуногие, однако лошади никак не могли постичь их сущность. Стоило какому-нибудь коню вырваться вперед, как всадник начинал хлестать его камчой пуще прежнего, колотить пятками. Обойдет он еще одного скакуна, наездник опять его понукает, торопит: все ему мало, все хочется во что бы то ни стало быть первым. Зачем ему это?.. Видно, есть у человека какая-то своя, недоступная пониманию коня цель, любой ценой он стремится достичь ее. Потому и колотит скакуна пятками; обжигает его камчой.

А между тем они, эти двуногие, возомнившие себя владыками коней и всего сущего на земле, не догадываются о самом простом и важном: живя в вечной спешке, подстегивая себя и других, они постепенно утрачивают счастье; ведь радость доступна лишь тем, кто умеет довольствоваться немногим, а те, кто поддается ненасытной жадности, пожирающему честолюбию, превращаются в рабов...

Вдруг светлый, сияющий мир взбаламутился, затянулся серой пеленой. Откуда-то сбоку раздались топот, гиканье и вопли. По крупу скакуна пробежала дрожь, он покрылся холодной испариной, но темпа не сбавил и несся, несся, несся, как ветер. Однако куда же исчез сивый аргамак, который все время трепыхался впереди белым пламенем? А где саврасый, какую-то минуту назад обогнавший его? Ах вон он, теперь отстает и при этом странно припадает на ногу. Теперь скакун неожиданно оказался первым. Гвалт, шум стали громче и слышней. Сторожевой холм уже обогнут. Теперь преодолеть бы вон тот перевал, а там уж чернеет и орущая толпа. А тут из-за зарослей, растущих возле перевала, напоминающего дромадера, внезапно выскочили пять верховых. Почему у них в руках березовые дубинки? Уж не за матерым ли волком они гонятся?.. Скорей, эх скорей бы перемахнуть через перевал, оттуда два шага до финиша. И тогда... О, тогда свобода! От истошных воплей, от нестерпимо бьющего в глаза ветра, от огненной плетки!..

Но его уже нагоняют всадники с дубинками. Один из них, страшный, как чудовище, грозно взмахнул черным соилом, однако, дубинка лишь скользнула по крупу скакуна и глухо ударилась об иссохшуюся землю. Спустя

мгновение скакун почувствовал страшную боль на кресте. Разгоряченный, он не сбился с бега. Верховые не отступали ни на шаг, они летели рядом, по обе стороны, стремя в стремя... Мальчишка-наездник закричал пронзительно на одной ужасающей ноте. От этого крика по спине скакуна пробежала дрожь, а потом перед его глазами, как ангел смерти, промелькнул черный соил, удар чудовищной силы пришелся в висок, и он, споткнувшись, рухнул на всем скаку. Светло-голубой мир треснул пополам, раздвоился, ослепительно вспыхнуло небо, и тут же что-то клейкое, теплое, черное залило ему глаза. Скакун не знал, что страшная неодолимая тяжесть, распластавшая его на земле, и есть смерть. Не суждено ему было узнать, что после его гибели между двумя родами вспыхнет непримиримая вражда и еще долгие-долгие годы в сердцах людей будут гнездиться ненависть и месть... Топот и крик уносились, стремительно растворялись в воздухе, наступила тягостная тишина. Скакун судорожно забил ногами, захрипел, горячая кровь его вдруг вся прихлынула к виску, в который угодил предательский соил; голову обволакивал туман – жизнь в нем угасала медленно, неохотно.

А на холме с еще большей страстью безумствовала, неистовствовала толпа. Из-за перевала, похожего на одногорбого верблюда, показались всадники. Кони шли плотно, не отрываясь друг от друга. Одолев перевал, стремительно спускались по склону к низине, сплошь покрытой еще зеленой травой. Конные, сопровождавшие на этом отрезке пути скакунов, начали отставать. Теперь наконец можно было разглядеть самих аргамаков. Их ряды заметно поредели. Лошадей шесть или семь безнадежно затерялись на дистанции. А передние между тем быстро приближались.

Первым в отчаянии вскрикнул Байсал. Его красавец аргамак выделялся среди всех прочих. В начале байги он вырвался вперед, и многие спорщики, заключая пари, ставили на него. Сейчас его вообще не было в головной колонне скакунов. Не видно было и саврасого со звездочкой на лбу, который почти весь путь шел с ним рядом. Пока возглавлял байгу темно-рыжий скакун купца Шурена, остальные кони мчались бок о бок, стремя в стремя. Вдруг, весь распластавшись, из общей массы вырвался невзрачный чалый. Чем сильнее вопила, шалея от собственного крика, толпа, тем легче, стремительнее бежал

чалый. Вот уже два скакуна идут голова в голову, не в силах оторваться друг от друга, вот чалый вырывается вперед на длину курука[1]. Баи, чьи кони участвовали в байге, ошарашенно переглядывались, шептались: никто не знал, кому принадлежит чалый. Старики лошадники, чинившие смотр скакунам, не обратили на него внимания. А чалый, опередив всех, во весь опор несся к финишной меже. За спиной толпы раздался захлебывающийся от нетерпения голос Есена: «Что? Уже видно? Уже близко?!» С утра он вместе со всеми смотрел-смотрел на перевал, ждал, когда же выскочат из-за него скакуны. Потом это ему наскучило, и он, махнув рукой: «А ну вас к богу! Когда-нибудь прискачете!», отправился к юртам побаловаться кумысом. Услышав рев на холме, он решил, что теперь пора возвращаться. Запыхавшись, обливаясь потом, Есен поднялся на холм и глазам своим не поверил: к финишу приближался его чалый. Слабоумный запрыгал от радости, подбросил над головой засаленный треух, издал ликующий вопль...

Толпа хлынула потоком к призеру. Вторым прискакал к желанной меже темно-рыжий аргамак с белой отметиной, прискакал и тут же рухнул замертво. Купец Шурен бросился к скакуну и, к своему ужасу, обнаружил, что подпруга из сыромятины врезалась в живот скакуна на четыре пальца. Видно, кто-то перед скачками приложил руку, сделал черное дело. Конь, должно быть, задыхался, мучился всю дистанцию, ронял, бедняга, в пыль кровавые хлопья пены. Теперь многие гости смекнули, почему среди скакунов не оказалось их коней.

И такое вдруг началось на холме! Все перемешалось: восторженные крики, плач, проклятья, ругань, угрозы.

Бай Балпан, важно восседавший на сивом иноходце, в первые минуты ничего не понял. Только недоброе предчувствие сжало его сердце, и он растерянно поискал глазами судей, но их поглотила бурлящая толпа. Он хотел было направить к ней иноходца, но в это время толпа сама расступилась. Из нее вышли судьи, держа под уздцы чалого, за ними шествовал слабоумный Есен. Одной рукой он вытирал потное лицо помятым треухом, другой хватал жидкий хвост своего скакуна и звонко целовал его.

---

[1] Курук – длинный шест с петлей на конце, приспособление для ловли неприрученных и строптивых лошадей.

Бай Балпан видел чалого еще до скачек. Покрытый грубой старой попоной из верблюжьей шерсти, он все эти дни стоял одиноко на краю аула... Судьи обратились к Балпану, что-то сказали. Разрази его гром, если он хоть что-нибудь понимал! Ничего нельзя было расслышать, кругом кричали так, словно все свихнулись. Какие-то люди, грозя кулаками и ругаясь, стремглав поскакали к перевалу. Хазрет Асанбай подошел к Балпану, вытащил из-за пазухи коран и потряс им. У Балпана вдруг захолонуло сердце, кровь кинулась в голову, перед глазами поплыли красные круги. Как подстреленный, припал он к гриве иноходца.

Балпан очнулся от плача, горестно витавшего над аулом. Плакали, раздирая душу, женщины в белой юрте Ажар. На холме было безлюдно. В лощине между двумя холмами, будто вырытые могилы, зияли черные пасти ям для котлов. На ковре у его изголовья нахохлившейся стаей сидели перепуганные старики. Неподалеку, рядом с чалым, укрытым рваной попоной, стоял Есен. Мокрые губы его расползлись в блаженной улыбке идиота.

*Перевод В. Панкиной*

## ТЕПЛЫЙ СНЕГ

Старуха домовничала. Темнолицая, о долгополом платье, и просторном белом жаулыке, она неуклюже швыркала веником, прибирала в закоулках комнат, в узком, длинном коридоре, и, казалось, уборке не будет конца.

– Э, будь оно неладно, это городское жилье! Всех углов-закутков не перечтешь...

Время от времени она мельком косилась на переднюю дверь. «И чего дрыхнуть до обеда, когда кругом раскардаш?!»

Жила бы, как прежде, в своей немудреной четырехстворчатой юртешке, давно прибралась бы, что языком вылизала. Чего там? Четыре домотканых паласа-алаша – два в полоску, два в узорах, выцветшая холщовая сума для постели да замызганный, копченый куль для утвари – считай, все убранство. Взял в охапку, нынес на ветер, тряхнул раз-другой – и уборке конец. А уж рассохшийся деревянный поставец для тюков и кое-как сбитый деверем-кузнецом ларь сдвигают с места лишь при кочевках. Вот оно и все богатство. И это-то нынче пылится вперемешку с дровами в летней кухне – шошале замужней дочери.

Разбирали юртчонку – горькими слезами обливалась. И теперь еще все перед глазами: три связки унин швырнули в угол за железную бочку из-под солярки; четыре ветхие боковые стенки – кереге затолкали под кучу хлама – сопревшие кошмы, войлочные подстилки и прочую ветошь; потолочному кругу из тальника не досталось места

в тесном закутке и потому забросили его на крышу шошалы. Вот так, рассовывая по углам дочкиного подворья свой привычный скарб, прямо-таки захлебывалась от слез. А попробуй удержи их, если посреди белого дня рушат твое родное гнездовье. Рушат юртешку, только чужому глазу убогую, а сердцу теплую, кровную. Ее ведь когда-то сам свекор-свет ставил, а хлопотунья свекровушка своими руками ладила гнутые жердины-унины. Сколько воды с тех пор утекло, сколько всего пережито, а стояла юртешка, надежно и верно стояла на земле, не покачнулась не рассыпалась даже в лихую годину, а теперь, когда кругом мир да благодать, разобрали-разнесли по щепкам и бросили за ненадобностью.

Суму для постели и куль для утвари, уезжая, двум сношенницам на добрую память подарила. Ларь и деревянный поставец двум невесткам передала. Другим аульным бабам, пришедшим провожать ее, раздала резной половник и все чаши. Только остов юрты да закопченный казан просила не трогать. Перед дорогой отвела дочь в сторонку, строго наказала:

– Летом поставь юртешку возле дома. Не гнушайся ею, сама в ней выросла. Потом... кто знает... может, еще не уживусь в большом-то городе... Назад притащусь. Тогда хоть крыша над головой будет...

Из привычных с юных лет вещей забрала с собой только верную забаву – прялку-юлу со свинцом в основании. Под потолком юрты висел узел с верблюжьей шерстью. Его она тоже на всякий случай прихватила. Скатала и связала также два узорчатых войлочных паласа: не сидеть же в городе на голых деревяшках, а в пути под изголовье сгодится.

Когда в ауле пополз слух, что сын заберет ее в город, бабы обсуждали эту весть на все лады. «Ну-у... теперь-то будешь жить-поживать в сказочном тереме. Сверху блестит, снизу сверкает, а посередке ханша обитает. Вот этой ханшей ты и станешь! Пай-пай! Сложишь вчетверо пуховое одеяло и будешь восседать, как на троне, на почетном месте. А что? Вода – в дому, дрова – в дому, а в казане сладко булькает. Городская жизнь – рай. Ни забот тебе, ни горюшка... Счастливая!..»

А она, бывало, с тревогой рассуждала: «Апыр-ай, разве усидишь с утра до вечера на мягких подстилках? От скуки свихнусь».

Бабы смеялись, не в лад галдели:

«Э, милая, не беспокойся! Уж сидеть сложа руки тебе не придется».

«Не успеешь и оглянуться, как твой кучерявый приведет в дом тонконогую крашеную кралю...»

«А им нынче палец в рот не клади. Перестарками ведь замуж выводят. Такой не возрадуешься».

«А как выйдет – так сразу пузо арбузом».

«Вот и сиди тогда с внучонком, пока молодые по кинам да по театрам этим слоняться будут».

«Тут и заладишь колыбельную...»

«А то и волчицей взвоешь».

«Ай, такая уж наша бабья доля! До самой смертушки покоя не будет. Все едино: что в городе, что в степи».

Вслушиваясь в бабьи пересуды, она подумала про себя:

«Что ж, может, так оно все и случится. Нынче ведь бабы не бабы, а провидицы. Все наперед знают. Только, пока сын приведет невестку, а та еще понесет да разродится, должна же я хоть как-то убить время. Вот и скрасит мое одиночество прялка-юла».

И сунула ее в уголочек дорожной сумки.

Однако надолго ли хватит искусной пряхе клока шерсти, привезенного из дальней дали? Он давно уже превратился в клубок пряжи и наверняка где-нибудь валяется, если его не закатила куда-либо игрунья кошка. Чем же еще заняться одинокой старухе? Принялась было забавы ради за уборку, да в городской квартире сам черт ногу сломит, и все валится из рук. Тогда она с досадой отшвырнула веник и прилегла на мягко пружинящую деревянную кровать. Приняв удобную позу, погрузилась тотчас в думы. Только о чем думы-то? Отпала ведь надобность думать ей, городской старухе, о верблюдице на выпасе или о верблюжонке печально ревущем на привязи за юртой. Об одном нынче все думы – о сыне и невестке...

Перебралась она в большой город осенью, а уже к лету следующего года местная власть – да будь она трижды благословенна! – как на ладони, преподнесла им прямо в центре столицы квартиру, о какой и во сне не мечталось. Как уж это получилось – не ее ума дело: то ли пожалели старуху, приехавшую за тридевять земель, то ли сын того заслуживал, а может, просто посочувствовали их одиночеству – кто знает... Как бы там ни было, но сбылось все, что предсказывали аульные бабы, сами не

нюхавшие и не видевшие ничего, кроме керосинного чада и кизячного дыма. Повернешь один краник – вода течет; повернешь другой – огонь горит. Хочешь помыться-постираться – милости просим: вот тебе банька. Да что там банька? Приспичило нужду справлять – не спешишь в овражек за аулом, накинув на голову чапан, как бывало прежде. Достаточно юркнуть в закуток возле кухни. Вначале – теперь-то и вспомнить смешно – страсть как смущалась заходить в этот теплый нужник. О аллах, разве усидишь на ослепительно белом каменном сиденье, когда за тонкой перегородкой священная пища варится в казане? Но верно сказывали предки: человек на третий день даже к аду привыкает. Теперь, слава всевышнему, и к этому приноровилась. Приедет в гости какой-нибудь степняк, не больно искушенный в городских порядках, она мигом ему все растолкует: «Почтенный, если вам нужно руки помыть, будьте добры в эту дверь, а появится другая надобность – не стесняйтесь, зайдите вот сюда...»

А вообще, что там говорить, город для женщин действительно истинный рай. На расстоянии брошенной палки гудит-бурлит базар, где бойкие тюбетейки перед тобой подстилкой стелются: «Бери да бери!»; на расстоянии взмаха камчи блестит-сверкает магазин, где с утра до вечера смазливые молодки в белых наколках учтиво тараторят: «Пажалста да пажалста!» Бывает, иной аульной бабе не терпится поделиться с кем-нибудь новостью, и она, бедняжка, волочит подол через всю улицу, поневоле бросая тысячу домашних дел, а городской сплетнице и спешить никуда не надо: поднесет ко рту железку, развалится поудобней в кресле и чешет себе языком, сколько душе угодно.

Всю жизнь, сколько себя помнит, в пыли и грязи копошилась, спину в ауле гнула, а теперь вот, на старости лет, благодаря своему сыну ненаглядному, зрачку своих очей, верблюжонку черноглазому, ягненку кучерявому, жеребенку легконогому, солнышку своему на небе, месяцу ясному, утесу несокрушимому, озеру гладкому, повелителю грозному, вороненку беспомощному, негоднику озорному, нечестивцу чернолицему, из-за которого ночей не спала, сердцем извелась-изболелась все эти годы, она вдруг нежданно-негаданно, будто в сказке, очутилась в раю. Когда переезжали сюда – а до того мыкались некоторое время на краю города в боковушке зловредно-

го, морщинистого старичка – обладателя завалюхи-мазанки за шатким забором, злого кобеля, маленьких, подозрительных глаз и редкой бороденки, – друзья сына играючи забросили два-три узла в багажник такси. Так же играючи внесли их в новую квартиру. С чемоданом и с одним узорчатым паласом сын расположился в передней комнате. С другим чемоданом и второй узорчатой алашой скрылась в боковой комнате она. Пять-шесть тарелок и вместительная полосатая кастрюля обосновались на кухне.

Друзья-приятели сына, с восторгом разглядывая голые стены новой квартиры, наперебой колготали:

– Ну, брат, берлогу отхватил что надо! Привалило счастье той, что тебя обратает.

– Ты, главное, не позволяй ей садиться на голову. Пусть помнит, куда ее привел.

– Да, да... на все готовенькое...

– Не то что наши, бедняжки: столько лет с дровами входили, с золой выходили. В чужом углу ютились.

– Что и говорить, крупно повезло!..

Опустошили шумные джигиты парочку белоголовок, противопоказанных истинно правоверной душе, еще раз потискали-пожали руки счастливым новоселам и разбежались, кто куда. В просторной пустой квартире, каждый в своей комнате, остались вдвоем мать и сын.

С самого приезда из аула ни разу, кажется, слезинки не уронила, а тут вдруг отчего-то сердце сжалось и в глазах защипало. Пришлось то и дело кончик жаулыка к ним прикладывать.

Вспомнился муж-покойник, которого она, как благочестивая степнячка, называла про себя хозяином, а то и мужчиной этого дома. Так вот он, мужчина этого дома, когда родился сын, на радостях подарил единственную телку повивальной бабке. А она, богом данная супруга, помнится, посетовала тогда: «Ты что делаешь? Ведь телка завтра обеспечила бы ребенка белой пищей!..» «Ничего, женщина, – ответил он. – Не волнуйся. С сумой по домам-аулам пойду, милостыню буду просить, а чтоб единственный сынишка голодал – не позволю». Верно, не позволил... Только и двух годиков не исполнилось сыну, как ушел на войну. Всего лишь два письмишка-треугольничка и успел прислать. И те были написаны чужой рукой в госпиталях. В первом сообщал, что ранен в бок, а в

последнем – в голову. Ну, раз ранен в голову, какой из него вояка, решили в ауле, значит, скоро вернется домой. Но не оправдалась надежда. Очухался, видно, и снова ринулся в пекло. И больше ни слуху ни духу. «Черная бумага» пришла еще в войну, но несколько лет пылилась в конторе аулсовета, и вручили ее вдове, когда уже сын погибшего смертью храбрых закончил четвертый класс. Да будет ему земля пухом, одно утешенье, что отросток все же оставил после себя, память и след на земле...

А сынишка рос странноватым, совсем не похожим на аульных шалопаев. Попросишь ягнят пригнать или теленка-сосунка придержать во время дойки, а он убежит на край аула и смотрит, разинув рот, на багровый закат. Час глядит вдаль, не шелохнется.

Старший деверь-чабан, бывало, из себя выходил:

– Не-ет, помяни мое слово, человека из него не выйдет. Да где и когда видано, чтобы казах от скотины рожу воротил?! Отдала бы ты его мне на лето, я бы мигом из него дурь выбил, заставил бы ягнят пасти, за отарой брести. А ты все дрожишь над ним, надеешься, вырастет – облагодетельствует. Черта с два! Этот мямля сам себя не прокормит. Вот увидишь!..

Вечером, когда укладывались спать, сын тревожно зашептал на ухо:

– Апа... а, апа... Если я не стану человеком, то кем же стану?

– Как это «кем»? Человеком и станешь! Через десяток лет вот таким джигитом будешь!

Но слова старого чабана, видно, крепко запали в душу мальчонки. Уверенность матери, казалось, его не убеждала. Он молча и задумчиво разглядывал сквозь прорехи ветхой юрты зыбкие звезды, мерцавшие на бездонном небе. И мать с опаской косилась на сына. В самом деле, со странностями парнишка. Бабки-асыки не собирает. В лянгу не играет. За ягнятами не бегает. А увидит клочок бумаги, гонимый ветром, бежит за ним опрометью. Снимет с колючего кустарника, развернет, разгладит и читает на ходу, аж спотыкается. А то задумается – слов вокруг не слышит. Или сядет перед юртой и с утра до вечера любуется причудливой игрой степного миража. Может, неспроста все это? Может, с головой у бедняги не все в порядке? Не на это ли намекал хромец-кладовщик, что обрил недавно мальцу голову? «Ну и черепок у сорванца,

а! Лобная часть кругла, точно спелая дынька-канделяшка, а затылочная – вся в буграх, будто недозрелая тыква. На висках же вмятина, словно кто-то полоснул плетью. Такой шишковатой башки я еще не видел!» Так молол языком нечестивец кладовщик, пока не спохватился: «Что это я сегодня разболтался?! Не дай бог еще сглажу. Как-никак я ведь племянник баксы Кураша. Тьфу-тьфу!» – и доморощенный брадобрей смачно сплюнул на синеватый, бугристый череп мальца, боявшегося шелохнуться в страхе от сверкающего лезвия опаски и цепких, узловатых пальцев, клещами зажавших виски. «Ай, ай! – продолжал восхищаться кладовщик, чтоб ему было пусто. – Вот это казанок! Попомни мои слова, тетушка: сын твой или птицу счастья за хвост поймает, или станет растяпой, не способным сладить даже с паршивой овечкой. Да, да!»

Она тогда только усмехнулась над словами пустомели-кладовщика. А про себя решила, что, к сожалению, больше на правду смахивает вторая часть его предсказания. В самом деле, пошлет, скажем, сына сосед за конем, а он, бедняга, походит-походит вокруг табуна да и притащится домой ни с чем, волоча по земле уздечку. С горем пополам взберется на опущенного на колени верблюда и тут же плюхается на землю, точно куль с мукой. И отчего такой неумеха? В кого уродился таким недотепой? Говорят: уродился удалец в материнскую родню. Ну так, слава аллаху, мужчины в ее роду были сплошь забияки-задиры. Как говорится, с походного коня не слезали, с камчой не разлучались, на недругов страх наводили. Род их никак хилым не назовешь, но мужчины становились жертвами своего буйного нрава и раньше времени покидали белый свет. Вот и осталось-то сородичей на земле семей сорок. Да и те разбрелись – одни в верховьях Арки, другие – в низовьях Хорезма. Пошел бы сын в них, был бы забиякой и задирой, каких свет не видывал. А вот отец его, аллах свидетель, малахольный был, по силе-сноровке уступал даже жене. Да и к хозяйству интереса не питал. Все у него как-то получалось не по уму-разуму. В старину, во время кочевок, верблюдов вьючила она со старшим деверем, а он, мужчина этого дома, и жена деверя только зазря суетились и путались под ногами. Вдвоем, бывало, средней величины тюк не осиливали. Зато веселье-сборища муж любил – страсть. Все мог отдать ради скакуна и домбры. Был такой случай.

Приехали, как водится, сваты с ее стороны и то ли в шутку, то ли всерьез затеяли разговор: «Овец у нас тьма-тьмущая. Под копытами табунов земля дрожит. Нам за невесту не калым нужен, а памятный подарок. Подарком же нам приглянулась чалая скаковая лошадь нашего зятя. Ее мы и хотели бы получить». Мужчина этого дома сидел незаметно у порога и, услышав эти слова, тихонько выскользнул вслед за тетушкой, хлопотавшей у самовара. Гости продолжали колготать за дастарханом. Вот уже два-три самовара опорожнили. Потом мяса до отвала наелись. Потом белой пищи – квашеного верблюжьего и кобыльего молочка – отведали. Потом сотворили благодарственную молитву и, разморенные, отяжелевшие, вышли на свежий воздух поразмяться. «Оу, а где призовая лошадь, стоявшая на привязи!»–«Вот те раз! Недавно ведь еще была».– «Земля, что ли, поглотила? В небо, что ли, взмыла?!» Тут свекор-свет по сторонам тревожно оглянулся: «Куда же наш сынок-женишок подевался?» И сваты спохватились, переглянулись: «В самом деле, не видать, что-то нашего зятя». «Ну, ясно. Ускакал, значит, на призовой кобылке. Разыскать стервеца!»

Пятеро джигитов сели на коней, умчались в погоню. На другой день, к обеду настигли в безлюдной степи незадачливого жениха, пригнали в аул, как нашкодившего мальца. А он потупился, одно долдонит: «Пусть забирают свою дочь, но чалую лошадку оставят». Не вышло по его, отдали-таки легконогую чалую сватам. А она там, на чужой сторонушке, затосковала, захирела. Едва очутилась за родным аулом – кровью стала мочиться. За весь год так и не вошла в тело. Задумалась родня: «Нет, не станет кобылка скотиной. Видно, верно сказано: обида племянника и зятя обернется бедой». Вернули лошадь, да не на радость, и родные луга уже не помогли: через месяц и вовсе обезножела. Ох, и переживал тогда мужчина этого дома. Долго хмурился, на жену глядя. «Все беды-напасти от твоей родни»,– буркнул однажды в сердцах. И потом уже, спустя годы, скорбно вздыхал, едва речь заходила о чалой призовой кобылке. Такой был страстный лошадник. Так, выходиг, сын и не в отца пошел. Иначе бы с коня не слезал.

Ну а дед по отцу крепкий был старик, багроволицый, носатый, грудь нараспашку, вечно исходил потом, и все на свете было ему нипочем. Свекровь была из богатых,

однако прижимистая, расчетливая. Из тех, что не расщедрится, пока не расхвалишь, не вознесешь до небес. Зная ее повадки, старик свекор, случалось, пускался на безобидную хитрость. Заметит, бывало, что заварка поблекла, подождет, пока старуха отвернется по делу, ловко выхватит из ларя пачку фамильного чая и разом высыплет все в заварник, а обертку швырнет в огонь под таганом. Потом, с наслаждением потягивая темно-коричневый чай из пиалы, покрякивает да жену похваливает: «Ну что, ребятки, признайтесь, где еще удается вам пить такой чай? Э, никто, кроме моей старухи, не умеет так заваривать. Одна ее заварка стоит жирной ярки». У свекрови от таких слов румянцем вспыхивает морщинистое личико, редкие реснички вздрагивают-трепещут, сама она начинает ерзать, то и дело откидывает за плечо кончик жаулыка, и, наконец, не выдержав, достанет из заветного ларца еще одну пачку и тоже опрокидывает в пузатый заварник.

Да, широкой натуры был свекор, она это помнит, и жил открыто, щедро. И другие предки, сказывают, были гордецы, этакие простодушные увальни, любили прихвастнуть, но ухарей или смутьянов среди них отродясь не было. В лихую годину, когда стычки и набеги случались нередко, аул этот так и не прославился храбрыми и дерзкими воителями, хотя и снабжал народных мстителей и заступников добрыми конями. Когда бесстрашный батыр Конан обрушился на калмыков Сарайшика, говорят под ним был боевой конь именно из этого аула. Выходит, здешние мужчины издревле не испытывали тяги к пике и дубине и никогда не отличались воинственностью. Потому не только чужаки, но и отчаянные забияки и задиры из сородичей нередко совершали набеги на мирный аул и беспрепятственно угоняли табуны лошадей. Видно, иссони здесь было так: трезвые речи в почете, а ратная доблесть – никогда. Так чего же тут гадать-рядить: не в дерзкий материнский род, значит, пошло дитя, а в отцову родню – любомудрых и благодушных созерцателей...

Астапыралла! Чего только не лезет порой в голову! Вывел ее бред болтливого кладовщика из душевного равновесия. Едва-едва не взяла грех на душу, недобрым словом помянув священных предков, да будь они трижды благословенны. Что этот словоблуд может знать! Мелет что попало, а ты потом сиди, ломай голову. Как-то не

удержалась, поделилась своей тревогой с хмуролицым, косматым учителем. Тот – как всегда, неулыбчивый, суровый – только усмехнулся: «Бросьте вы, женгей, горевать раньше времени. Казахов, понимающих толк в скотине, и без вашего сына хватает. Пусть любуется себе закатом, пусть смотрит на луну, сколько хочет, главное – он первый ученик в школе». Вот тебе и рохля! Уж больно легко дается ему учение. Из класса в класс переходит с похвальной грамотой. Эдак скоро обвешает ими все стенки четырехстворчатой юрты.

И опять неспокойно материнское сердце, и опять поневоле начинает она тревожить дух незабвенной памяти предков. Ведь не доводилось еще слышать, чтобы из этого аула вышли какие-то особенные грамотеи или красноречивые мудрецы. А между тем они, жители аула, весьма гордятся тем, что приходятся сватами знаменитого байбактинца Шолака. Того самого Шолака, от которого родился Дат – отец батыра Срыма[1]. Сам Срым, сказывают, почитал этот род, называл племянниками. И поныне еще стоит только встретиться двум старичкам из этого аула, как начинаются бесконечные разговоры про то, как на поминки славного батыра их предки пригнали сорок голов жертвенного скота и привезли сорок бурдюков хмельного кумыса. И еще особенно охотно жители этого аула любят рассказывать про свою родовитость, считая, что по материнской линии они происходят от славного батыра Есена, сына Есенкула, под предводительством которого обосновались некогда в этих краях. При этим они с каким-то снисхождением отзывались о том племени, из которого брали жен, называя его то родом краснобаев, то аулом пустомелей. Как бы там ни было, в излишней скромности аул этот не обвинишь. И к ней, своей невестке, относятся по-разному. Наиболее суровые, сдержанные так и называют ее «келин» – невесткой, подчеркивая, что она пришлая, а добряки кличут ласково – «племянница». Словом, со странностями оказался род: сам ничем выдающимся не отличался, зато с древних времен окружал себя говорунами, певцами, весельчаками и забияками. Получается все-таки, что кучерявый, большеголовый

---

[1] Срым Датов (?–1802) – руководитель восстания крестьян и части патриархально-родовой знати в Казахстане против гнета царизма, хана и султанов Младшего жуза (1783–1797).

ее малец пошел именно по стопам материнского рода. Ну, конечно, как же иначе?! Не о том ли, бывало, благодушно мурлыкал себе под нос незатейливую песенку и ее отец, самолично помешивая мутовкой терпкий кумыс в бурдюке: «Поселились по соседству два племени, два рода, мы – батыры, судьи – вы, ах, славная порода...»? Значит, предки по материнской линии наградили своими достоинствами и дальнего потомка...

И когда она думает обо всем этом, душа ее, сумрачная, как заброшенный колодец в пустыне, вновь наполняется тихой радостью и надеждой. Прав, конечно, бровастый аульный учитель. Казахов-скотоводов и без ее сына вполне хватает, а таких, кто с книгой и бумагой дружит, должно быть, не больно густо. И, решив так, она не принуждала единственного сына бегать за отарой да загорать на сенокосе. И без него как-нибудь управятся. Найдется, небось, кому пастуший посох держать и вилами орудовать. У мальца, должно быть, другая судьба.

Один из родственников, бригадирствовавший в колхозе, все шумел:

– Колхозу рабочих рук не хватает, а ты такого бугая взаперти держишь. Чем изводить бумагу и малевать разных шайтанов, лучше бы граблями помахал, сено убирал!

«Болтун! – думала она о родственнике в сердцах, опираясь на вилы. – Ради чего я запрягу сынишку, единственную память павшего смертью храбрых, в бесконечную колхозную работу? Почему я должна лишать его сладкого зоревого сна? Ради двух-трех горстей проса, что потом выделят на трудодень? А мальчишка не такой сноровистый и прыткий, как другие. Разинет рот да засмотрится на что-нибудь – и свалится с телеги или угодит под косилку. Как тогда посмотрю людям в глаза? Что отвечу духу усопшего?

Подумать-то подумала, а слова родственничка все же за живое задели. Что значит – изводит бумагу? И с чего это он взял, что сын малюет чертей-шайтанов?

После обеда косари возвращаются домой. Переступила она порожек юрты... Помилуй аллах!.. Что она видит? Что за чертовщина?! Чего этот бесстыдник буравит ее в упор? Почему не здоровается? Даже не моргнет, нечестивец.

Вгляделась попристальней – сам свекор-свет живехонек восседает на почетном месте. В руке держит пиалу.

Рядом стоит пузатый, ярко расписанный фарфоровый заварник. С наслаждением потягивает свекор густой чай, и пот катит с него градом. Поднес кусочек сахару ко рту и застыл на мгновение, глядя на сноху, оробевшую у порога. А в зрачках лукавые искорки. Видно, только что удачно подшутил над простодушной старухой. На кончике уса повисла прозрачная капелька пота – вот-вот сорвется. Подглазье в испарине. Ворот рубахи по обыкновению распахнут. Один край прилип к влажной груди, другой воровато высунулся из-за уха, точно мышонок, выскользнувший из лап кошки. А на голове круглая плоская тюбетейка из плюша, которую она когда-то расшивала по краям.

Она застыла у порога, разинув рот. Неужели померещилось? Немудрено, если за день, подгибаясь под тяжестью, сотню ворохов сена вилами перекидаешь. Иначе с какой бы стати привиделся ей свекор, давно уже истлевший на краю старого кладбища в чужом городе? Мыслимо ли, что именно сегодня, в августе сорок девятого, он восседает в ее юрте и как ни в чем не бывало попивает чай?..

Она протерла глаза, посмотрела вновь. Оказалось, свекор-свет сидел не на земле, а на небе, точнее сказать, в вышине, на стене юрты, между двумя раздвинутыми унинами. Раньше на этом месте висел какой-то усатый полководец, выпятив грудь сплошь в ослепительно-ярких наградах. Теперь его вытеснил свекор-покойник.

Все стало ясно. Вот, оказывается, что имел в виду родич-бригадир. Какой же это джинн-шайтан? Выходит, бедняга своего близкого родственника на рисунке не узнал!

Но каким образом этот сорванец намалевал так похоже своего дедушку, которого отродясь не видел. Должно быть, наскучило ему с самим собой разговаривать, собственной тенью забавляться да указательным пальцем тыкать в небо, вот и полез от скуки в сундук. Там среди всякой всячины в заветном уголочке хранился паспорт мужчины этого дома, полученный им еще в то время, когда нанимался на Кара-Бугазе возить тачкой сульфат. А в паспорте лежала давным-давно пожелтевшая одна-единственная фотография свекра.

Однажды в аул, где в продымленных юртешках жили вперемежку казахи и туркмены, – на берегу быстроводного пролива, соединяющего море и залив с устрашаю-

щим названием «Черная пасть», – заглянул бог весть откуда долговязый, дочерна загорелый детина в широкополой войлочной шляпе. В то время в аулах понятия не имели об инопланетянах, а то бы непременно решили, что их навестил космический пришелец. Объявился он в чем мать родила. Лишь потом разглядели, что стыд «пришельца едва-едва прикрывал полотняный тоже выцветший лоскуток. Могучая грудь обросла свалявшейся шерстью. В шерсти были и плечи, и спина. Толстые, как у верблюда-самца, ноги тоже были покрыты рыжеватой, кудрявившейся волосней. Прокалился он на солце; так, что, казалось, тело его было заковано в непробиваемую темно-бронзовую броню. Огромный, мосластый, он шлепал босыми ступнями по раскаленному пухляку, брел по аулу и заглядывал то в одну юрту, то в другую – того и гляди утащит на воловьей своей шее чей-нибудь дверной косяк. Заглянет, кудлатой башкой туда-сюда повертит и шагает себе дальше. И вот приближался он к их четырехстворчатой кошомной лачужке на краю аула. На привязи за юртой томился серый ишачок, на котором после того, как обезлошадел, ездил верхом свекор-отец. Увидев ишака, пришелец отчего-то обрадовался, возликовал, будто родного отца встретил. Даже по крутым ляжкам от восторга себя похлопал. Подбежал к ишаку, обнял его за шею и давай целовать кончики длинных ушей. Свекровь слыла тихоней, но иногда жалила исподтишка, будто оса:

– До чего же неприхотливы и неразборчивы, однако, эти нечестивцы в своей любви!

В юрте затихли. Никто не осмелился рассмеяться. Пришелец, вдосталь обласкав ишака, разжал, наконец, объятия и протиснулся в юрту. Шел он напролом, едва не наступив на дастархан – скатерку – и не отрывая взгляда от свекра.

– Упаси аллах! – поневоле вырвалось у женщин. Мужчина этого дома возлежал спокойно, словно ни в чем не бывало. Скатал, подоткнул под грудь яркое цветастое одеяло и допивал чаек, не отнимая пиалу от рта.

Свекор растерянно заерзал – никак не мог решить, следует подать руку этому верзиле, протянувшему ему обе кисти-лопаты, или не стоит. А тут еще старуха шпыняла-жалила сбоку.

– Не такой уж ты святой, чтобы к твоей руке прикладывались. Да и этот безбожник вряд ли о благочестии печется.

– Бросьте вы, – спокойно проронил мужчина этого дома, получивший некоторое представление о чужих правилах, пока возил сульфат на тачке. – Подай руку. Так у них принято: сначала обнимут тебя, а потом знакомятся.

Свекор, быстро-быстро помаргивая, метнул взгляд на сноху, как бы спрашивая: «Что же ты, голубушка, посоветуешь?», а она поспешно потупила взор, как бы отвечая:

«Что же я могу знать, свекор-отец? Решайте уж сами».

Старик вяло подал руку. Гость осклабился в добродушной улыбке и плюхнулся на мешок кизяка у порога.

– О, раздери его нечистая сила, весь кизяк мой искрошит. Вылез бы сейчас тарантул из мешка да ужалил бы бесстыдника и мягкое место – поделом бы ему! – заверещала свекровь, видя, как гость своей тушей раздавил топку, собранную ею рано утром по прохладе.

– Тс-с-с... дьявольское отродье! – Свекор незаметно ущипнул старуху в бедро, встревоженно косясь на пришельца.

Гость, казалось, никуда не торопился. Посмотрел на ведро, что-то пророкотал.

– Воды просит, – с важностью пояснил мужчина этого дома.

– Э, чего воду хлестать, пусть чай пьет, – тотчас вскинулась свекровь. – Или он думает, что вода Кара-Бугаза так же сладка, как родниковая в предгорьях Каратау? Как бы не так! Черпак выдуешь – мигом брюхо скрутит...

Свекор раздосадованно прицыкнул на старуху.

– Чего мелешь? Он ведь твою болтовню все равно не понимает. Прикуси лучше язык и подай, что просит.

Свекровь гневно вытаращилась на старика, но перечить не осмелилась. Гость опростал черпак одним духом. Обильный пот мгновенно выступил на облысевшем лбу. Он стащил с головы войлочную шляпу, вытер ею лицо, шею, волосатую грудь, и снова пришлепнул на макушку. Потом, обращаясь к свекру, залопотал. Насколько помнит она, тот сказал вроде: «Бабай кароший. Маладес! Бота ай, жаксы! Маскуа байдош. Казит байдош!». Она, молодая сноха, сгорая от смущения, сидела неподалеку от почти голого верзилы, но каждое слово его впитывала, как откровение Корана. Странно звучит в устах этого черта слово «бота»! Неужели он имеет в виду единственную скотину этого дома – годовалого верблюжонка! К

чему этому голяку скотина?! Даже с какой стороны подойти к ней не знает. Наверно, он говорит о чем-то другом... Тем более при чем тут газета? Что общего может быть между газетой и верблюжонком! Наверно, она ослышалась.

Мужчина этого дома как-никак вращался некоторое время среди пришлых, пил их кислый «куаз», научился малость калякать по-ихнему, потому не преминул выказать свою осведомленность.

– Он говорит, у тебя, старик, чудесный верблюжонок. Ты, говорит, отдай его мне, я увезу его в Москву. Дашь верблюжонка – я тебя в газете пропечатаю, распишу, хороший, дескать, старик.

У свекра-отца и свекровушки глаза выпучились от ужаса. И она, сноха, немало удивилась таким словам. Все на некоторое время растерялись. Когда они всей семьей перебрались сюда из Мангышлака, от былого поголовья осталась лишь одногорбая черная верблюдица. В прошлом году она, напившись по неразумению нефти, сдохла. Остался от нее верблюжонок. Здесь люди день-деньской добывали и возили сульфат, копошились в едкой пыли, и никто не грозился взять так называемый единоличный скот на учет. Выходит, этот долговязый о том пронюхал. Конечно, уж коли новая власть – дай ей аллах тысячу лет жизни! – безошибочно видит то, что скрыто под землей, почему бы ей в самом деле не знать, что таит в своей душе чернолицый старикашка казах в потрепанном треухе? В этом он имел возможносгь убедиться еще несколько лет назад, когда однажды нагрянул из района кривоногий уполномоченный и, развернув перед ним сплошь испещренную каракулями бумагу, будто ясновидец, точно перечислял, каким состоянием обладали его предки едва ли не до седьмого колена. От удивления он тогда, как говорится, за ворот схватился. Однако сварливая старуха жена взяла на душу грех, обвинив во всех их бедах неуемного горе-активиста – сыночка Досана. «Это он, он, твой непутевый четвероюродный племянник, – разорялась она,– на нас донес. Это он, дурень, никак не уймется, все баев-кулаков вынюхивает. И невдомек ему, что мы, голые и босые, кое-как дотащились сюда из Желтау». Зря старуха распалялась. Совсем ни причем тут родственник-активист. Власть нынче сама все насквозь видит. И этому волосатому верзиле вряд ли тот мокрогубый не-

доумок с войлочной сумкой на боку нашептал о верблюжонке.

– Э, забирайте, таксыр, уж коли приглянулось. Все равно с одним паршивым верблюжонком мне не разбогатеть. Дай аллах здоровья сыну и снохе – как-нибудь прокоротаю оставшийся свой век. Мое состояние – то, что детки зарабатывают своим горбом. А от скотины нынче толку нет. Раз уж мои предки ничего не нажили, то мне и подавно богатства не нюхать. Бери, дорогой. Задарма бери. Ничего не жалко. Хочешь – сейчас уведи, хочешь – завтра на ишаке сам пригоню, куда прикажешь.

Смирение и отчаяние звучало в голосе бедного свекра. Старуха и сноха поневоле прослезились. А верзила-гость вскочил с мешка из-под кизяка, начал похлопывать хозяев по спинам да утешать-приговаривать. И опять из его мохнатой пасти вывалились те же нелепые слова: «Нешауа! Нешауа! Бабай кароший, бота кароший. Все красибай будет». И бросил перед свекром небольшой бумажный сверток, пожал-потискал руку и выбрался из юрты.

Вся семья с недоумением глядела вслед странному гостю, удалявшемуся по направлению к броду вскипавшего волнами залива. Незнакомец то и дело оборачивался, махал им руками, а горстка степняков, стоявшая у входа в юрту, озадаченно переглядывалась.

Вернувшись на свое место, свекор-отец развернул бумагу и извлек фотографию. Посреди поселка возвышался чугунный памятник вождю, возле него напряженно улыбался, сидя на ишаке, старик.

Свекор покачал головой: в старике он узнал себя. Еще более удивившейся старухе начал, смущаясь, объяснять, как все это было. Оказывается, он недавно ездил на тот берег в лавку за хлебом. Ишак безмятежно потрухивал под ним. Возле памятника вождю стояли и разговаривали между собой трое незнакомых в белых войлочных шляпах. Заметили его, жестом подозвали к себе и уговорили встать возле памятника. Один из них поднес болтавшуюся на груди железную штучку к глазам и нацелился на старика. Старик перепугался, ткнул ишака в круп, но остальные двое, расхохотавшись, ухватились за узду и вновь отвели к памятнику. И тогда он решил про себя: «Ладно, будь что будет. На ишаке далеко не ускачешь. Если эти решили стрельнуть в меня из этой железной штуки, они могут это сделать и вдогонку». Долго целился тот из бле-

стящего глазка, почему-то вскинул руку, и в этот самый момент что-то щелкнуло. У серого ишака вздрогнули кончики ушей, а у его хозяина – сердце.

Компания у памятника еще больше развеселилась, глядя на то, как перепуганный старик на ишаке давал деру.

Теперь свекор с недоумением разглядывал свое изображение на фотографии. Мужчина этого дома от растерянности тоже почесывал затылок. У снохи тревожно забилось сердце, и только свекровь по обыкновению пилила старика.

– Говорила-долбила: зачем тебе, старому, возле магазина околачиваться?! Нет, не слушал. Все несет тебя куда-то. А я-то чуяла: добром это не кончится. Только вроде избавились от напастей и лиха. А ты сам растревожил свернувшуюся в клубок змею. Теперь тебя, косоглазого дурня, на бумагу пришлепнули. Попробуй-ка вырвись. На небо взлетишь – за ноги ухватят, в землю зароешься – за уши вытянут. Считай: не дадут нам спокойно умереть.

Целый месяц после этого прожили в тревоге и страхе. И вот однажды, разрывая газету на закрутки, мужчина этого дома застыл, будто колом по темени хватили. Взгляд его споткнулся на снимке на последней странице: на сером ишаке, щуря глаза, восседал отец. Он не знал даже, что сказать. Взял газету с собой на работу, чтобы узнать у других: «Что бы это означало?» Приятели, друзья утешили: «Вот это да! Теперь твоего старикашку знает вся страна. Ничего не скажешь, красивое фото!» Только тогда он усек, что в тот раз гость-верзила вел речь вовсе не об их скотине, а именно об этом снимке. Когда он обо всем этом рассказал дома, старый отец возликовал, будто взобрался вдруг нечаянно на ханский трон. Теперь уж настал его черед позлорадствовать над сварливой старухой.

– Вот видишь? Говорил же тебе, что у того верзилы доброе лицо, что не может он сделать худа. А тебе всюду всегда мерещится конец света. И не только ты – все твои предки до седьмого колена были такими паникерами и трусами. Собственной тени боялись. От шороха камыша дрожали.

И в таких случаях свекровь, вообще-то не имевшая привычки лезть за словом в карман, смущенно и благоразумно молчала, с еще большим усердием прихлебывая из пиалы чай.

Вот на ту фотографию дедушки и наткнулся сегодня ее сынок. И рассказы о том случае он слышал не один раз. И, видать, все до мелочей запомнил.

А тот волосатый верзила оказался поистине ангелом-хранителем, добрым духом семьи. За три года до начала войны семья перебралась из-за моря на родной берег. Через залив плыли на барже. По дороге остановились в Баку, походили по городу, послонялись по базарам и едва не отстали от парохода, что тащил их баржу. Их уже не хотели пустить на судно. Вконец растерянный мужчина этого дома достал из-за пазухи памятную фотографию, сунул под нос контролерам, и они так и сяк повертели карточку, долго разглядывали старика, потом ишака, покачали головами и, наконец, решив, что человек, запечатленный возле памятника великому вождю, не может быть простым смертным, пропустили-таки их на отчаливавший пароход. И тогда они все так обрадовались, что в простоте души воздали хвалу не всевышнему и не славным духам предков, как это искони принято в мире правоверных, а в один голос помянули благодарным словом того самого иноверца в белой войлочной шляпе, который некогда расцеловал в ухо серого ишака.

Нет, что ни говори, а в душе ее сорванца теплится какая-то искорка. Как он оживил смутные очертания старой, потускневшей фотографии! Как в жизни, предстал перед взором давно умерший свекор-отец. Откуда такой дар у аульного парнишки? По тому, как у него неплохо подвешен язык, видно, он отнюдь не пошел по стопам материнской родни. Что касается мужчин этого аула, то те, кто обладают конями, – разъезжают по гостям и забавляются охотой, бесскотные же занимаются ремеслами: кто молотком по наковальне потюкивает, кто фуганком орудует, кто кожу мнет. Неужели из ее мальца вырастет такой же копуша? Нет, должно быть, страсть к рисованию – одна из детских забав. И все же надо отдать должное: редко кто в аулах малюет так ловко, как он. Не о том ли думает и ее свекор на рисунке, лукаво прищуривший глаз? Кажется, сейчас он вскинет бровь и спросит: «Ну как, милая сношенька, жива-здорова ли? В добром ли расположении пребываешь?..» И хочется ей открыть-выпотрошить перед ним всю душу. «Слава всевышнему, незабвенный свекор-отец. Живется-можется нам помаленьку. Правда, мы уже не такие, как при твоей памяти.

Ведь сколько бед-горестей за эти годы пережито? Тебе, дорогой свекор, не суждено было лежать в родной земле, покоятся твои останки в краю туркмен. Помнишь своего друга-ровесника – жаумита[1] Жумагельды, с которым ты вечерами, расположившись в тени, так бурно спорил о шариате? Так это он сотворил по тебе поминальную молитву. И ему моя свекровушка за старания и память подарила твой пояс, отделанный серебряными пластинами, – тот самый, в котором ты впервые ездил сватать невесту. В придачу еще отдали твой молитвенный коврик-жайнамаз и четки. А на поминки зарезали черного верблюжонка, который всегда норовил забрести подальше в степь.

После того, как ты, почтенный ата, покинул нас навсегда, свекровь совсем приуныла и стала еще более раздражительной и суетливой. Часто уходила из дома и часами глядела в безмолвную и таинственную степь, беседуя с причудливыми миражами. С того дня не давала она нам покоя: «Уедем, уедем – все твердила она.–Хочу, чтобы тело мое предали родной земле». Вот мы, твой сын и я, уволились с работы, и на пароходе, отходившем с того берега раз в несколько месяцев, подались в отчий край. На том месте, куда я прибыла снохой, к тому времени образовался колхоз, в который мы по приезде сразу вступили. Утром, когда мы уходили на работу в поле, бедная свекровь оставалась дома одна в слезах, а вечером, когда мы возвращались, она опять плакалась. «Сколько уж лет обзавелась я снохой,– приговаривала скорбно она, – а бог не дает мне внучонка. Дом мой – что могила. Услышу ли когда в нем детский голосочек?..» От этих ее слов я каждый раз немела и бывала готова провалиться сквозь землю. О аллах, убивалась я про себя, чем я тебя прогневила, отчего ты лишаешь меня единственного женского счастья? Неужели бесплодна моя утроба, неужели не суждено набухать молоком моим грудям?!

Очень тогда боялась, что я, выросшая на степном приволье, надорвалась на непосильной работе на соляных копях, наглоталась едкой сульфатной пыли и обречена на бесплодие – самая страшная кара аллаха для женщины. И в часы отчаяния я только к тебе, к одному тебе, атажан, обращалась с мольбою. Я ведь никогда не переступала,

---

[1] Жаумит – представитель одного из туркменских родов.

атажан, тебе дорогу, никогда ни в чем не возражала, не перечила, а всегда старалась, как положено учтивой сноxе, угодить тебе. И, может быть, потому ты относился ко мне всегда ласково, называл неизменно «келинжан» – «милая сноха». И вот в моей памяти ты остался не едва заметным в безлюдной степи бурым холмиком, а всегда живым, улыбчивым и щедродушным. Хотя и не было тебя с нами, но добрый дух твой незримо присутствовал в убогом нашем жилье, вселяя надежду.

После возвращения в родной край, через два года, я родила первого ребенка. Думала, бедная свекровушка, так долго ждавшая внука, начнет сердиться-гневаться из-за того, что разродилась я низкородной девочкой, но нет, обрадовалась, засуетилась, сама нагревала воду, сама стирала пеленки, готовила для меня варево, пока я не окрепла. Раньше, бывало, она хмурилась, дулась, осуждала, что бы я ни делала, а теперь подобрела, хлопотала по хозяйству больше меня. Внучку свою назвала Инкар – Желанная. Иногда ночь напролет не спит, сидит, сгорбившись, возле крохотной люльки, мурлычет что-то тихое, нежное у изголовья внучки, и, глядя на обычно суровую свекровь, я от неизъяснимого чувства, усугубляющего мою грусть, то плачу, то смеюсь. А твой сын в таких случаях толкает меня в бок и ворчит спросонья: «Что делается с женщиной этого дома? С ума, что ли сходит?!» Ну почему же мне с ума-то сходить? Если и сходила, то от счастья, от благодарности к благосклонной судьбе. Разве может быть у долгополой бабы большее счастье, чем видеть, как ее долгожданное дитя, рожденное в муках, всеми любимо, всем желанно и над ним трясутся, в нем души не чают больше, чем она сама? И в те радостные дни, дорогой атажан, я часто вспоминала тебя и благодарила твой дух за доброту и щедрость, ибо в душе своей всегда сознавала, что это ты воздал мне безмерным счастьем за мою скромность, внимание и учтивость. И оттого, должно быть, что душа моя тогда просветлилась и возликовала, а вскоре, едва отняла девочку от груди, снова понесла. На этот раз, дорогой ата, я родила сына, такого же носатого крепыша, как ты.

Удивительно легкими были мои роды. Летовали мы в песках. А приближалась зима. Повадки своего сына вы сами хорошо знаете. Домашние хлопоты и заботы его не интересовали. Как только наступал вечер, собирал он

аульную молодежь и затевал веселье: песни распевал, на домбре играл. Он, по-моему, еще в пеленках с домброй сдружился и искусно тренькал на ней с малых лет; не расставался с ней и позже, когда оброс кудлатой бородой. Сидит, бывало, матерый мужичина в кругу юных плясуний в ярких шапочках, украшенных перьями филина и, не стыдясь бороды, наяривает вдохновенный кюй.

Скажу тебе, свекор-отец, когда твой сын в последний раз вышел из этой юрты, было ему ровно тридцать лет и три года. Нынче многие в его возрасте еще в холостяках ходят.

Где пир, где веселье, – там и ваш сын. Как же? Разве без него обойдутся? Уедет и неделями, бывает, не показывается. А свекровушка и по дому копошится, и от внучки ни на шаг не отходит. А я уже на сносях, того и гляди рассыплюсь, но – делать нечего – брожу по барханам, собираю кизяк и хворост и волоку-тащу домой тяжеленные мешки. Однажды – день, уже клонился к вечеру – я еле-еле добралась до дому и только опустилась, обессиленная, возле стога, как сын ваш разворчался, недовольный тем, что я не успела состирнуть ему белую рубаху, в которой он обычно красовался на вечеринках. Я до того не имела привычки возражать ему, а в тот раз черт дернул меня за язык. Взяла и ляпнула: «Другие гуляют – куда ни шло, а ты-то... Посмотрел бы на себя в зеркало!» Буркнула, а сама дыхание затаила. И тут боль огнем обожгла мое правое плечо. Сын ваш хлестнул меня раз камчой и вышел, как ни в чем не бывало. «Вот пес, что он делает, а?!» – только и промолвила растерявшаяся свекровь.

Разве можно было в то время от унижения и обиды реветь и рвать волосы на глазах свекра или свекрови? Эка невидаль, богом данный муж стеганул тебя разок плетью!.. Я вся сжалась и точно окаменела. Ни слезинки не проронила. Поздно вечером, после ужина, я молча постелила для свекрови постель, уложила дочку в люльку, погасила лампу, опустила тундук – потолочный войлок, потом вышла из юрты и укрыла топку старой кошмой, чтобы не отсырела от росы. И только потом тихо пробралась к своей постели, прилегла и дала волю слезам. И то лишь молча, без единого всхлипывания и стона. Остановиться не могу. Только никому нет дела до моих слез: родной супруг уехал в верховье с Красной юртой и весе-

лится в свое удовольствие. Утром я сготовила для свекрови чай и снова отправилась к степь собирать хворост.

Как мне повезло в тот день! Наткнулась я неожиданно на густые заросли сухого жузгена. О такой топке в пустынной степи только мечтать. От радости обо всем забыла на свете. Только и делала, что вязала вязанку за вязанкой. А когда взвалила все на спину – подогнулась вся, зашаталась, будто нечистая сила меня оседлала. А я ведь, атажан, крепкая баба: огромный казан, полный мяса, запросто одна с треноги снимаю. А тут вдруг ноги подкашиваются. Да и песок – будь он неладен! – зыбучий такой, прямо уплывает из-под ног. Вся тяжесть тянущей болью отозвалась внутри живота, а ноги стали будто ватными. Кусая губы, обливаясь потом, я двинулась в обратный путь чуть ли не ползком. Кое-как, с бесконечными остановками – дотащилась до крайней юрты крохотного аула среди барханов. Тут я не выдержала – шлепнулась на песок вместе с вязанкой за спиной. В глазах потемнело. Вдруг услышала странный, душераздирающий крик и не разобрала, то ли я сама вскрикнула от боли, то ли завопил дурниной кто-то другой.

На крик этот выбежала из юрты свекровка. Присеменила, спотыкаясь о длинный подол, засуетилась вокруг меня.

– О аллах всемилостивый!.. Разродилась бедняжка... опросталась...

Вот так, добрый атажан, появился на свет ваш единственный внук, нарисовавший вас сегодня, как живого, и повесивший ваше изображение на почетное место нашей невзрачной лачуги...

С того дня мою свекровку будто подменили. Сами ведь, атажан, знаете: тороватостью она никогда не отличалась. Все, что попадало ей в руки, она тотчас складывала во вместительный сосновый сундук, сколоченный проезжим мастером-армянином, а ключ от него хранила при себе, на шее, точно драгоценный амулет. Когда же родился внучек, она враз охладела ко всяким тряпкам. С утра до вечера только и крутится между двумя люльками, забыв обо всем на свете, точно завороженный воробышек. А ваш сын, ушедший накануне разгневанным из дома, едва услышав, что у него родился сын, тотчас примчался, развевая полы чапана. Смешно вспомнить: гусаком носился по юрте.

Теперь уже я надула губы. Заважничала. Ведь испокон веков степняк покорно сносил капризы снохи-молодки, если она рожала сыновей на великую радость мужа и всего рода. Щедрый закатили пир в честь рождения сына. Не одного барашка на радости порешили. Пусть малыш растет здоровым и крепким. Пусть не оставят его всемогущие духи! Тому, кто перерезал пуповину, подарили телку. Тот, кто сотворил благодарственную молитву и нарек новорожденного, получил дорогое, инкрустированное седло. Тому же, кто обрил младенцу головку, досталась суягная овца. Вот так, ошалев от радости, сын ваш налево и направо транжирил свое скудное состояние, а я, глупая баба, целый год на него дулась, не в силах забыть то, что он однажды поднял на меня руку, и выказывала свой норов, точно строптивая кляча. Теперь, когда я думаю об этом, у меня, атажан, щеки горят от стыда. Когда, в какие времена бывало, чтобы низкородная баба могла по достоинству оценить свое счастье? Ведь – если подумать – все у меня тогда было: и муж, и дочка с сыном; над головой – надежная крыша, и, как говорится, постель тепла и казан не пуст, и можно жить да поживать, довольствуясь тем, что есть, и не гневить всевышнего. Так нет, я как ослепла от обиды.

Целый год хмуро сводила брови. Теперь же, атажан, я поняла: счастье, когда оно есть, никогда не ценишь, как не ценишь верного пса у порога, которого, случается, походя пинаешь в морду и вспоминаешь лишь тогда, когда на твоих овец нападают волки. Мужчин же так уж создал бог, что они иногда разбушуются, точно гроза в знойный день, но потом сразу же отходят, а мы, долгополые дурехи, из-за случайной вспышки и себе душу травим, и мужей изводим. А бабье счастье не в том, что муж ее не дубасит. Вот уже сколько лет ни один мужчина пальцем меня не тронул... Сколько нас, вдов, тоской исходит от вольной волюшки, будто яловые кобылицы, без узды-повода пущенные в дикую степь. А где оно, счастье-то? Какой бабе по душе такая воля? И теперь, дорогой атажан, когда я думаю о том времени, у меня не только щемит-плачет сердце, но и та хлесткая боль, обжегшая мое правое плечо, чудится мне сладкой. Сын ваш горемычный никогда не был бездушным упрямцем, у него было чуткое, доброе сердце.

Он, конечно, давным-давно простил столь долгий гнев

неразумной бабы, не затаил же он досаду в сердце, не унес с собой обиду на тот свет. Так я думаю, так я надеюсь, дорогой, незабвенный атажан. А я, как могла, лелеяла его хрупкую веточку, его кровинушку, отросток его рода, ночей не досыпала, все мытарства-беды перенесла и вот уже почти довела до ума-разума. Вырос, атажан, ваш внучек. И тянет его к странному искусству-ремеслу, о котором никто в его роду – во всех семи поколениях – и не слыхивал...»

Все это она рассказала то ли вслух, то ли про себя, глядя на разительно похожий, живой портрет доброй памяти свекра, и очнулась от дум лишь тогда, когда зашипел, яростно клокоча, черный, густо закопченный чайник на треноге.

В тот день, после обеденного перерыва, она шла к косарям легко, бодро, будто летела на быстроногом скакуне. После смерти свекрови она никому не раскрывала душу, многое накопилось, наслоилось в закоулках сердца, а тут вдруг почувствовала небывалое облегчение.

Чернявый мальчишка увлекся рисованием всерьез. И она поначалу думала, что это просто одна из многочисленных ученических забав. И вот однажды, спустя многие годы, когда сын уже учился в городе-столице, завернул как-то к ней старший деверь-чабан:

– Невестушка, ты, хоть знаешь, на кого наш шишкоголовый учится? По тому, как он укатил на край земли, я-то полагал, он учится на секретаря райкома или председателя райисполкома. Думал: и из нашего рода кто-то в люди пробьется, нас облагодетельствует. А он, негодник, шантрапа, говорят, какой-то чепухой занимается. Недостойным мужчины делом. И виновата в этом ты, только ты. И сама все молчишь, и другим рот затыкаешь. Получается, как в страшном проклятье: сам ничего не ведай, а ведающего не слушай. Вот и проглядела мальца. Вырос бестолочью!

И в праведном своем гневе деверь отхлестал куцехвостую гнедуху и ускакал прочь.

Как она тогда плакала от обиды и унижения! Окончив школу, ее шишкоголовый упрямец полез однажды в сундучок, достал из заветного узелочка пачку приятно шелестящих пестрых бумажек, сунул их в карман и в кузове попутной машины, вертя во все стороны курчавой головой, умчался в район. От горя и тоски она была готова

реветь в голос, но крепилась изо всех сил, чтобы не накликать беды. Только прижала на прощание сына к груди, поцеловала по обычаю в лоб и осталась как вкопанная стоять одна-одинешенька...

Она даже не спросила, куда сын поступает, на кого намерен выучиться. Только получив от него долгожданную телеграмму, зарезала на радостях жирную ярку и пригласила аульных старцев, чтобы они дали ее единственному благословение – бата.

С того времени на душе ее стало спокойно и умиротворенно. Она уже не утомлялась, как прежде, и не тяготилась одиночеством. Как бы ни уставала на бесконечной колхозной работе, придя домой и напившись крепкого чая, предавалась сладким мечтам о будущей благодатной жизни, ожидающей ее после возвращения сына с учебы, и тяжесть повседневных забот мгновенно улетучивалась.

Подумаешь, осталось ждать каких-нибудь пять лет. За такой срок родившееся нынче дитя едва научится оправляться без постронней помощи. А потом она, мать новоиспеченного специалиста, всю жизнь привыкшая жить на задворках захудалого аула сакманщиц, чабанов или косарей, разом переберется на центральную усадьбу. Так повелось: с учебы из больших городов аульные парни возвращаются или ветеринарами или врачами, или – на худой конец – учителями. Всем им в аулах – почет и уважение. Вот ненаглядный сынок вернется из столицы достойным человеком и будет жить в новом просторном доме. Нынешним молодым людям при желании нетрудно достичь состояния и положения. Дай только аллах здоровья и немного удачи-везения. Так и ее сын: проработает годика два-три, встанет на ноги, накопит деньжат и вместо этой ветхой, полуистлевшей лачужки поставит шестистворчатую белую парадную юрту всем на радость. Уже теперь подруги-сношенницы поговаривают о том, что непременно подкинут каждая пару мешков шерсти и по куску кошмы, когда – после окончания сыном учебы – надумает она ставить новую юрту. Ничего, живы будем – и до этого доживем.

А какая это будет юрта! Верхние боковые кошмы белые-белые, как неснятое молоко; по ним идет широкая опояска, обшитая по краям красной тесьмой и украшенная белой аппликацией в форме крутых архаровых рогов; сама юрта, ослепительно белая, как яичко, издали манит-

притягивает взор: ее верхний остов – потолочное отверстие-дымоход отделан вырезаным орнаментом и отливает синевой; потолочные кривые жердины – унины окрашены хной; нижние решетки – кереге – толщиной в руку; весь каркас юрты крепок и высок; изнутри юрта отделана тонким, красочным войлоком с яркими лентами из разноцветной пряжи с кистями; все стенки увешены домоткаными коврами; пол устлан плотными самотканы-ми паласами-алаша: на почетном месте постоянно воссе-дают уважаемые гости. А дальше?.. А дальше, если к ним будут приезжать гости из города, утверждая, что во всей округе нет другой такой опрятной и уютной юрты и столь щедрого дастархана; а со всех сторон стекаться по-ауль-ному бесцеремонные и шумные степняки, похваливая улыбчивую невестку за густой, душистый чай; а сын уч-тиво спрашивать у матери позволения зарезать ярочку в честь заезжей знаменитости; а невестка советоваться о том, какое платье подарить супруге уезжающего почтен-ного гостя; а баловень-внук, кулачком вытирая несуще-ствующие слезы, канючить возле уха: «Бабушка, а, бабушка, отругай мою апашку, она мне конфеты не дает»; а сама она горделивой ханшей сидеть на мягких подстил-ках и подушках, благодаря всевышнего за все благодея-ния, то, признайтесь, люди добрые, может ли быть у простого смертного на этом свете еще большего счас-тья-талана?!

И вот теперь почудилось, что вечно недовольный, свар-ливый старший деверь-чабан той самой своей короткой плетью, которой ни за что ни про что отхлестал покор-ную изможденную клячу, вдруг в одночасье разбил в пух и прах ее так старательно взлелеянное в мечтах видение. Что он мелет, несчастный? Как мог ее сын, первый уче-ник школы, так сплоховать и учиться там, где ему не разрешат стать даже скотным лекарем?! Что же он на-творил, бедолага?! Никому ни слова не говорила о своих сомнениях и смятении, однако саднящая боль все эти дол-гие годы таилась клубком, свернувшись в уголке души, пока не пришло однажды от сына коротенькое письмо с ликующей вестью:

«Апа, нам с тобой дают квартиру!» Когда уезжала из родного аула, состарившийся деверь-чабан вдруг просле-зился на прощание:

– Доброй и верной невесткой нам была, к сердцу при-

росла. Теперь наш грамотей-племянник... пес этакий... выучился и тебя от нас за тридевять земель забирает. Кто знает... увидимся ли еще когда-нибудь?..

Она ответила:

– Не убивайтесь, старший деверь. И не осуждайте меня. Я ведь, когда мой единственный сынок дорос до того, что сам мог удержаться за гриву коня, поклялась святым духам, что не стану ему мешать ни в чем. Куда поедет, кого возьмет, чем займется – его воля. Я же только буду при нем, постараюсь быть ему поддержкой и подмогой. И умру там, где настигнет меня смерть. Слово свое сдержу. Не обижайтесь, что уезжаю от вас. С кем же мне еще быть, как не с сыном? Пожелайте нам удачи. Да минуют нас всех беды-горести!

Аулчане, собравшиеся на проводы, были растроганы.

– Ах, милая, – сказали старейшины, – хоть и долгополая баба, а мудро рассудила. Да сопутствует ей счастье-удача!

«Ия, аллах... сберегла я чадо кровное от хищника крылатого, от зверя клыкастого... дай мне и остаток жизни прожить при нем. Ни о чем больше не молю тебя. На окраине чужого города, на чужом кладбище покоится прах его дедушки. Неизвестно, где и под каким кустом захоронены бренные останки его отца. Так чем я их лучше? Душой? Судьбой? Или телом? Мне ли выбирать, где прожить остаток своих дней и где, в какой земле лежать после кончины?! Если в роковой час постоит у моего изголовья родной сын, а потом бросит в мою могилу горсть земли – я благодарна судьбе...» – так рассуждала она про себя, трясясь в кабине разболтанного колхозного грузовика, грозившего развалиться на ухабистых дорогах родного края, который она покидала, быть может, навсегда.

Слева и справа мелькали, раскаленными угольями, обжигая глаза и душу, сызмальства знакомые холмы и песчаные увалы. Вдалеке, за барханами, плавящиеся в причудливом мираже, смутно темнели могилы предков. Из-за угла испуганно выскакивала стайка чутких косуль, разбегалась врассыпную и через несколько мгновений, снова сбиваясь в косяк, сторожко смотрела вслед. Впереди машины, со свистом прорезая воздух, ошалело носились белогрудые ласточки с острыми, раздвоенными хвостами.

Все родное и близкое вокруг провожало ее с грустью, жгло сердце, тянулось к ней, точно оплакивая разлуку.

А уже в поезде, на монотонно качавшейся полке ей приснился сон. В верховом, чей треух смешно вздрагивал в такт рыси, она узнала свекра. Узнала и всерьез испугалась. А что, если свекор вдруг гневно закричит: «Куда вы улепетываете, разворошив родное гнездо, а?!» Что она, сноха, тогда ответит? Но свекор ни слова не сказал, только издали помахал рукой. А сам заспешил-погнался за пышнохвостой красной лисицей. «Что за наваждение? Свекор ведь никогда не увлекался охотой...», – подумала она и проснулась.

И вот, добравшись из такой дали в столичный город, кое-как приютилась в чужом доме. Всю жизнь сама собой распоряжалась в собственной юрте, а тут вдруг, когда уже, казалось, птица счастья уселась на плечо, надо было угождать чужим людям, у которых сын снимал угол. Она пригорюнилась было и все чаще вспоминала предостережения старшего деверя-чабана.

А потом, когда вошли в новую квартиру, глазам своим не поверила – растерянно озиралась то на потолок, то на пол, и сын, покосившись на нее, усмехнулся. Оказывается, он не забыл, сердешный, тот давнишний разговор.

– Ну что, апа?– заулыбался он.– Вышел из меня человек?

– Вышел, вышел, мой жеребенок! Да еще какой! Нет, не забыла она, как бушевал, бывало, старший деверь-чабан, недовольный тем, что племянник день-деньской малюет что-то на бумаге. «Почему не запрягаешь его в работу?! – шумел он на невестку. – Думаешь, из его мазни выйдет толк?!» Какой с бедняги чабана спрос, если он привык видеть смысл жизни и богатство лишь в той отаре, которая послушно трусит перед ним? Откуда ему знать, что «мазня» племянника хотя и не может обернуться достоянием, но вполне может обеспечить теми разноцветными бумажками, на которые обретают всевозможные житейские блага?..

И потекла жизнь своим чередом, и, похоже, сбываются не предсказания старшего деверя, у которого, по поговорке, волос короток да ум долог, а досужий треп аульных баб, у которых до ног волос, да короток ум. В самом деле, разве эта квартира – не тот самый сказочный терем, где сверху блестит, снизу сверкает, а посе-

редке ханша обитает? И разве не она, степнячка, воссе-дает в этом тереме ханшей на вчетверо сложенных белых подстилках? Все получилось так, как говорили аульные невестки-подружки. Только где она, та крашеная, тонко-ногая краля, которую однажды, ни слова не сказав мате-ри, приведет в дом ее ненаглядный сын! Неужели тут аульные вещуньи допустили промах?

Каждую женщину, которой судьбой уготовано стать матерью, неминуемо ждет день великой тревоги и день великой радости. Так вот, день великой тревоги она бла-гополучно пережила: дочку посчастливилось выдать за-муж за человека из достойного, состоятельного и самостоятельного рода. Можно сказать, повезло, и от сердца сразу отлегло: отныне уже не надо матери беспо-коиться о судьбе дочери и ее детях – настоящих и буду-щих. Она, как говорится, в надежных руках и за каменной стеной. А день великой радости, когда сын, наконец-то, приведет в новый дом желанную невестку, что-то явно запаздывает и заставляет темноликую старуху в высоком белом тюрбане целыми днями томиться-горевать в оди-ночестве у широкого во всю стену окна.

Каждый день сын рано уходит из дому. А возвращает-ся поздно. Иногда приходит веселый, сияющий, а, случа-ется, притащится как в воду опущенный, усталый. Правда, на все расспросы матери отвечает подробно, как при-лежный ученик у доски. Пока он говорит, вроде все ясно, а умолкнет – бедная мать и не сообразит, что к чему. В последнее время, догадавшись о непонятливости матери, сын все реже пускается в обстоятельные объяснения и лишь бросает на ходу:

– Не беспокойся, апа, ничего страшного. Для челове-ка, изнывающего от тоски и одиночества изо дня в день, эти слова не могут послужить утешением. Еще вчера она, казалось, знала все о своем дитяте, знала, что его трево-жит, где болит, отчего печален, чему радуется, а теперь собственный сын, плоть от плоти ее, вроде стал чужим: у него, оказывается, есть свое дело, своя жизнь, свои тай-ны, свои радости и горести. И у родной матери уже нет права лезть ему в душу. Просто неприлично донимать взрослого мужчину назойливыми вопросами: что болит, отчего невесел, почему пропал аппетит, какая забота ом-рачает душу. Вот и молчишь поневоле. Варишь-готовишь, стол накрываешь, самый лакомый кусочек подкладыва-

ешь, каждое движение ловишь, в рот смотришь. А приляжет – на цыпочках по дому ходишь, следишь, ладно ли спит, приоткрыта ли форточка, высока ли подушка, тепло ли одеяло. И уже ласковые слова, как прежде, вслух не скажешь. Сон его потревожишь, да и телячьи нежности сыну не очень-то по душе. Вот и говоришь про себя или бормочешь чуть слышно, уйдя в свою комнату, усевшись на свою постель, сама с собой, точно тронутая, разговариваешь.

Что ни говори, а невеселая это штука – одиночество. В одной комнате, не зная, кому излить свою тоску, изнывает старая мать; в другой, скрывая от посторонних свою душевную сумятицу и маяту, томится сын. И для того, чтобы помочь обоим, избавить их от иссушающего душу одиночества, толково и понятно объяснить матери, что за напасть такая грызет исподволь сына, а сыну поведать о тревогах матери, нужен некий посредник, некий чуткий толмач – все знающий и все понимающий. И даже не посредник – а посредница, долговолосая особа, рожденная от другой матери. Без ее содействия, без ее щебетания обитающие под одной крышей мать и сын, самые близкие и родные, готовые жертвовать жизнью один ради другого, кажется, уже не способны на сердечное, задушевное общение. Без нее, пока что таинственной посредницы, не избавиться им от тягостной тишины, гложущей сердце незаметно, исподволь, изо дня в день.

Иногда, чтобы хоть немного поразвеяться, она выходит во двор. Там, на шаткой деревянной скамейке греется на солнышке совоглазая старушка-соседка. Они давно уже улыбаются друг дружке и неизменно обмениваются приветливым «здрясти», а вот дальше беседа не идет, потому что с помощью двух слов – «кякой» и «кароший» – не больно поговоришь. Совоглазая соседка, пощупав краешек высокого белого тюрбана, удивленно разводит руками. Означает это недоумение: сколько же метров ткани ушло на такой головной убор? Она, мотнув головой, растопыривает пять пальцев. Собеседница еще больше поражается: неужели от такой тяжести шея не болит? Нет, нет, усердно качает она головой, не болит. На этом, к обоюдному сожалению, разговор иссякает. Ну а что, если б они даже понимали друг друга? Едва знакомой старухе, знать не знающей ни твоего рода-племени, ни твоих близких, что поведаешь: историю своего сватовства и заму-

жества или воспоминания о короткой своей супружеской жизни?! В таких случаях с тоской начинаешь думать об аульных товарках, с которыми можно было запросто чесать языками и про печальный рев верблюжонка, и про закопченное дно старого казана. А только подумаешь о них – тотчас всплывает перед глазами родной аул. И нет потом уже никаких сил избавиться от этого наваждения.

Мгновенно чудится неистребимый терпкий запах степной кудрявистой полыни. Мерещится сладковатый дух нежного мясца молоденького барашка, сваренного в сыворотке от квашеного молока. И звучит в ушах протяжный, томный рев верблюдицы, спешащей из степи на дойку, ибо ноют ее набрякшие от молока сосцы. И от одних этих воспоминаний начинают пощипывать кончики пальцев у исконной степнячки. Эх, накинуть бы сейчас на руку подойник, подойти бы, нежно приговаривая ласковые слова, к верблюдице, истомленной от любви к своему верблюжонку, услышать бы, как цвиркают из-под пальцев о дно подойника тугие струйки молока... Или устроиться бы в затишке возле юрты и накладывать заплаты на истлевшую кошму, или вить аркан, или катать войлок, или придумывать затейливые узоры. Все аульные девки-молодки, называя ее учтиво «женеше», спешили, бывало, к ней на выучку. Ведь на все руки мастерицей слыла – всем бабам на зависть. К ней неизменно обращались за помощью все и всегда в ауле: то новорожденного искупать и запеленать, то приучить ягненка к строптивой матери, отказывавшейся подпустить его к своим сосцам, то вдуть воздух в легкие только что появившегося на белый свет верблюжонка. И она никогда никому ни в чем не отказывала и не набивала себе цену. Но к одному аульному свойству – к шушуканью по углам, к бабьим сплетням так и не смогла приноровиться. Говорила всегда напрямик, без обиняков то, что думала. И невестки-товарки, если хотели ее похвалить, конечно же, находили в этом ее достоинство, но когда им хотелось ее осудить, ставили ей в вину именно этот ее «изъян»: «Да ну ее! Ляпает в глаза, что попало, и хоть ты тресни».

Кому до всего этого есть дело в грохочущем городе, по улицам которого с утра до вечера шастают взад-вперед толпы разноликих и озабоченных людей? Никому из них твои аульные россказни неинтересны. И знать о том не знают, и слушать не желают. А то и скажут: пустой треп...

Вот если бы сын привел невестку, ей можно б было кое-что порассказать. Потому что так уж создан женский род, что ни одна бабонька от досужего разговора не увильнет, не скажет, махнув рукой: «Да ну вас!», а, наоборот, навострит ушко, прислушается хоть к какому бреду, даже если ничего не поймет. Кто знает, думает ли вообще ее сыночек о тонконогой, пышноволосой крале, о которой в ауле бабы все уши прожужжали, а вот ее эти думы в последнее время денно и нощно не оставляют в покое, словно болезнь какая-то. Иногда она начинает даже обижаться на сына. Что за мужчины такие в городе?! Только и знают что слоняться по комнатам. В аулах парню едва стукнет восемнадцать лет, как он девкам проходу не даст. Бедные родители, у которых подрастает дочка, сна лишаются. Потрется об юрту невзначай верблюжонок, как уже вскакивают с постели: а вдруг ухажер какой под покровом ночи девку из дому выманивает? Или – не приведи аллах – надумал ее умыкнуть? Ведь не погонишься за ней на лошадях, не затеешь потасовку-сечу с насильниками, как в старину. Нынче все делается по-другому. Один того и гляди умыкнет девушку на легковой машине, другой, менее прыткий да ухватистый, – на водовозе, бензовозе, грузовике, а уж третий, совсем нерасторопный, растяпистый, приползет за зазнобушкой на тракторе с волокушей. За ними разве угонишься? К таким разве подступишься? Целый год родителям девушки и белый свет не мил. Бушуют, всех и все на свеге проклинают. Но что толку? Через год, когда беглянка разродится первенцем, сами к ней на поклон едут, чтобы поглазеть на внука или внучку. Так было. И так будет, наверное, еще долго. И только непонятно, о чем думает и что делает родной сын. Десять долгих лет учился в школе, пять лет протирал штаны в институте, и еще два года проваландался холостяком, и еще вот эта, нынешняя, зима на исходе, а он, сердешный, все один мается, все один болтается, как берцовая кость-ботало на шее бродяги-верблюда. А между тем ему, как говорится, пора не только усы отпускать, но и бороду отрастить. И так уже в иной день по два раза бреется. Аллах знает, что у него на уме! Может, рассчитывает, что мать, приехав из аула, по стародавнему обычаю соберет почтенных родичей, у которых хорошо подвешен язык, и отправит их высватать для сына смазливую дочку какого-нибудь городского баскармы? А откуда бы она

взяла таких родичей, которым позволено запросто вва-литься с таким деликатным делом в дом почтенного на-чальства? Ну, допустим, наберется она храбрости, вырядится в свой лучший чапан, затянется нарядным по-ясом с серебряными пластинами и постучится в дверь высокочтимых людей, но разве они догадаются, что она пришла их дочку сватать, скорей всего, просто подума-ют, что заблудилась аульная бабка и в лучшем случае выведут ее под руку за порог. Ну, ладно... скажем, сын ее растяпа, мямля. Но куда смотрят сами девушки? Разве не о них, городских, говорят, будто они сами джигитам на шею вешаются? Правда, женскому племени искони поло-жено быть скромным и стыдливым, всегда и всюду блюс-ти свою гордость. Должно быть, и городской не так-то просто первой навязываться джигиту. Но он-то, он-то каков?.. Неужели не встрепенется? Так и будет брести в одиночку? Странно... И рост – что надо, и голова не мя-киной набита. Те времена, когда за невесту требовали калым – косяк лошадей и отару овец, слава всевышнему, канули в небытие. Ныне достаточно, чтобы у жениха име-лась крыша над головой да работенка подходящая. По этой части у сына все благополучно. Не хуже других. Да и собой недурен: лобастый, курчавый, носастый, смуг-лый, ясноглазый, стройный. Вон, гляди, тоненькая, хруп-кая девчонка-картинка повисла на лохматом, обросшем, как бродяга, узкоглазом, плосконосом, кривоногом вер-зиле и счастлива. Чем хуже ее сын? Почему девчонка-картинка не с ее сыном под руку ходит? Э-э... выходит, вся причина в нем самом. Не умеет за себя постоять. Не способен себя показать. Слоняется только и ждет, когда яблочко, созрев, в рот ему упадет. Эх дуралей, губош-леп... яблочко-то, конечно, поспеет, да только в твой ли рот угодит, когда к нему столько рук вокруг тянется. Вот учили, учили их, а в ином деле у этих грамотеев ума меньше, чем у аульной бабы, не ведавшей ничего, кроме своего очага. Иначе как объяснить, что из несметного табуна ярко-пестрых девок, шныряющих по улицам города, точ-но косули по вольной степи, ни одна тебя не приголубит, не осчастливит?

Так и стояла одинокая старуха у большого, во всю стену окна, томясь немудреными и неторопливыми дума-ми. Долго стояла, даже резкую трель звонка не расслы-шала. Очнулась только, когда за дверью нетерпеливый зов услышала.

– Апа! Апа!

Открыла, спохватившись, дверь. Сын стоит у порога. Смущенно так, глуповато улыбается. А рядом – светло-смуглая, худенькая девчонка застыла. Взор потупила, уголки губ чуть-чуть вздрагивают. Сын, подхватив два чемодана, первым вошел в дом. За ним, дробно постукивая каблучками, прошмыгнула незнакомка.

Сын, деловито отдуваясь, поставил чемоданы в коридоре. Робкая его спутница жалась к стенке, кончиком блескучего платка прикрыла рот, носком туфли засверлила пол. Сын взял ее за руку, отвел в комнату матери. Незнакомка присела на краешек стула у двери.

– Апа, это Роза, – сообщил сын и куда-то заспешил. – Я сейчас... мигом...

– Здравствуй, милая!

– Здравствуйте-е...– учтиво отзвалась девушка.

– Учиться приехала, да?

Незнакомка не ответила, но зарделась вся, облилась румянцем.

О чем с ней говорить дальше, старуха не представляла. Про себя только решила: не иначе как в институт поступать надумала. Сейчас самая пора: девчонки, окончившие школы, табунами едут-стекаются из аулов. И это только поначалу они такие стыдливые да послушные, словечка из них не вытащишь. Зато потом, едва минует годик, мать родная не узнает: косы обрежут, платьица обкорнают, а то еще в брючишки влезут, до бесстыдства обтянув тощие зады, глазки подведут, бровки повыщипают, всем телом подтянутся, подберутся, точно вышколенная гончая. А эта-то, видать, и впрямь скромница. Ну ничего, голубушка, дай срок, и ты такой же станешь. Будешь еще глазищами шнырять-зыркать по сторонам, да нам, старухам, рты затыкать. Да, да... небось слова вымолвить никому не дашь... Эх, наивные аульные сородичи! Им все чудится, что если уж кто в Алма-Ату перебрался, так непременно головой небо подпирает. Какое там?! Неужели этот недотепа способен кого-то еще в институт устраивать? Откуда такая прыть? Нет уж, милая, придется тебе лишь на счастье-удачу свою уповать. Может, и повезет. Повезло же ей, бедной вдове, гробившей себя на колхозной работе в глухом ауле: единственный сын взял да и поступил без чьей-либо подмоги-подпорки. Да, но чья эта все-таки пташка? Старшего деверя-чабана? Но та,

помнится, была рыжеватая, жидковатая, вся в мать. Дочки младшего деверя-кузнеца, должно быть, еще подлетки. Да и навряд ли он додумается дочку свою Розой назвать. А-а... видно, это дочка начальника районной милиции, дальнего родственника покойного мужа.

– Ну, как... отец-мать живы-здоровы?

– Вроде и здравии-благополучии.

«Что она лепечет? Что значит «вроде»? Вчера только выехала из дома и не знает, как живется отцу-матери? Или я что-то путаю? Со мной бывает. У кого еще в нашем роду могут быть такие чистенькие, ухоженные детки?»

Старуха поневоле поискала глазами сына. А он, оказывается, прирос к телефонной трубке.

– Да... так вот получилось...

«О чем он?»

– Нет, ничего не знает.

«Кто не знает? Чего не знает?»

– Пока, видно, не догадалась. Должно быть, обрадуется.

«Что за тайны? Не о гибели же отца, чьи кости давно истлели, оповещать собирается...»

– Да, да... сами соберемся и ладно. А я сбегаю пока в магазин.

Сын тотчас подхватил рыжую хозяйственную сумку и хлопнул входной дверью.

«Ладно... довольно догадки строить. Кто бы ни была, чувствуется, гостья смущена и растеряна. Видно, издалека приехала, устала, проголодалась. Пойду, чай поставлю.»

Старуха прошаркала на кухню, поднесла спичку к газу, поставила чайник на огонь. Вернулась – а гостья все так же сидит на стуле, только еще больше сжалась, сгорбилась. Да и личико вроде осунулось, побледнело. И глазки оплыли слезами. Э-э... Хоть и школу кончает и о равноправии верещит-стрекочет, а девчонка девчонка и есть. Не успела из дома выехать, а уж глаза на мокром месте. По маме, оставшейся в ауле, небось тоскует, потерпи, милая... Все еще утрясется, образуется. Не дитя ведь неразумное...

– Не горюй, дочка. Устала с дороги, да? Иди помойся.

Девушка благодарно кивнула, вскочила, впорхнула в ванную комнату, заперлась. И тут же ошалело залился звонок над дверью.

– Ну, апа, поздравляем! С радостью вас!

– Да сбудутся ваши пожелания, детки. Спасибо! С шумом, грохотом ввалились пятеро джигитов. У каждого в руке по громоздкому свертку. Вот этот кривоносый, тонконогий, длинноволосый тощий парень помогал им при переезде. А этот гладколицый, щербатый, чернявый, кажется, взвалил тогда на себя всю посуду, да еще пошучивал, дескать, ему сподручнее с казанами-кастрюлями возиться. Странно: с чего они вдруг все всполошились? И по какому случаю поздравления? Вроде недавно только поздравляли и с приездом, и с переездом, и еще с чем-то. Вольные ребятки, ведут себя будто в отцовском доме. Бесцеремонно прошлись по всем комнатам, заглянули во все углы, недоуменно развели руками.

– Эй, а этот кудлатый дьявол не гулять ли отправился со своей зазнобушкой, а?

И опять задзинькало над дверью. И слова: «С радостью вас, апа!», «Поздравляем!» Ну, и она знай одно долдонит: «Спасибо, детки! Да сбудутся ваши слова!»

На этот раз нахлынула ватага побольше. Среди них и несколько молодок. Они пронесли огромную раздувшуюся сумку на кухню. В сумке что-то позванивало, позвякивало.

Старуха вконец растерялась. Что за суматоха воцарилась в ее тихом доме? И куда ее сын, негодник этакий, исчез? А-а, вот он, легок на помине. Все разом загалдели, обступили его, давай тискать, обнимать. Молодки жеманно расцеловали его; а из парней кто-то дал подзатыльник, кто-то ткнул в грудь. Тоже мне игры-ласки: так резвятся разве что годовалые верблюжата по весне. Этак они невзначай еще оборвут сыну кудлатую башку на тощей шее...

– А ну, ответь: куда спрятал невестку нашей апы?

Щербатый с грозным видом схватил ее сына за грудки.

– А это ты спроси у самой апы!

О чем он? Какая невестка? О аллах всемилостивый, выходит, эта девчушка, пришедшая к ним нежданно-негаданно, – ее долгожданная невестка? Как же так? Почему этот нечестивец, да сбудутся все его желания, не предупредил ее? Она хотя бы осыпала невестушку горстью-другой конфет, как велит обычай.

Теперь все гости на нее уставились.

– Что этот лохматый все мелет? Разве это невестка? Тогда она заперлась в ванной...

Все весело расхохотались и разом направились к двери ванной. Оттуда, смущенно улыбаясь и поблескивая глазами вышла им навстречу юная невеста...

Что тут началось! Гвалт, смех, колготня. Все попеременно бросились обнимать и лобызать вконец растерявшуюся девушку. Последней подошла она и степенно поцеловала невестку в лоб, – по-матерински приветствуя и благословляя ее.

В самой просторной комнате – комнате матери – прямо на полу расстелили праздничный дастархан – чистое полотенце, клеенку с кухонного стола, а где не хватило – просто газеты и расселись вокруг. У стенки, на почетном месте, усадили ее, мать. Молодки, пришедшие с друзьями сына, близко не подпускали ее сегодня к кухонным делам. А тот, щербатый, чернолицый, засучил рукава и, без умолку тараторя, начал закладывать мясо в большую синюю кастрюлю. Кто-то мыл посуду, кто-то протирал рюмки, еще кто-то резал колбасу. Шумно и суетливо стало, как в многодетном доме легендарного Шурмена.

Она сидела как во сне. Головой в недоумении покачивала. Разве свадебные пиры так проводятся? Разве аул жениха не готовится неделями, а то и месяцами к встрече невесты? Разве не ставятся родичами заблаговременно парадные юрты, не пригоняется убойная скотина, не запасаются впрок кумысом, не собирают посуду со всей округи? Разве не бьются учащенно сердца у всех аулчан в предвкушении радостей пира? Разве не ждут с нетерпением того вожделенного часа, когда мальчишки-вестники на караульных холмах, завидя у горизонта клубящуюся пыль, с ликующим воплем «Суюинши-и-и!» опрометью мчатся в аул, оповещая всех о приближении свадебного кочевья и прося подарки за радостную весть? А потом... О, потом первыми въезжают в аул жених с дружками. Им навстречу выходят, разбрасывая горстями белые пончики-баурсаки – почтенные бабушки. Потом нарядная, разноцветная толпа девушек и молодок отправляется встречать невесту с ее свитой и уже все вместе, шумно и весело, вступают в аул. Тут уже со всех сторон сбегаются и стар, и млад, чтобы собирать шашу – печенье, конфеты и прочие сладости, которыми щедро осыпают жениха и невесту. Несколько дней длится всеобщее веселье, но

наступает конец и свадебному пиру и тогда невесту вводят в отведенную для молодых юрту – отау. У порога расстилают только что содранную овечью шкуру мехом вниз. Невеста должна переступить порог с правой ноги, и если она не поскользнется на шкуре, не споткнется, то ждут ее удача и счастье в семейной жизни. После этого зычноголосый певец во все горло, будто раскалывая небесный свод, заладит искрометную песню – напутственное слово невесте. Потом начинается чаепитие, и всем собравшимся хочется получить чашку чаю непременно из рук юной невесты. Вдоль стенок в тесные ряды усаживаются бойкие, языкатые бабы, требующие с гостей подарки за смотрины. И еще полгода по всех соседних аулах на летовке будут без устали вновь и вновь вспоминать все подробности памятного свадебного тоя. А сами те события западут в души молодых на всю жизнь, согревая и утешая их в часы радости и горести, которых выпадет, конечно же, немало на долгом пути супружества.

Думала-гадала ли бедная мать, когда, опершись о край тальниковой люльки, предавалась сладостным грезам, что свадьба ее единственного сыночка обрушится столь неожиданно и промелькнет так быстро, будто скачки стригунков? Вот эти ребятки, собравшиеся со всех углов казахской степи, выросшие в тяжкие годы в нужде и лишениях, изо всех сил стараются поддержать и утешить друг друга, взаимной участливостью и сочувствием скрашивая свою сиротскую долю. А доля у всех, конечно же, была сиротская, ибо, едва успев появиться на белый свет, чуть не каждый из них лишился отца. Все они, собравшиеся на куцую свадьбу ее сына,– безотцовщина, вдовьи дети, бог весть как пробивающиеся в люди. И какое счастье, что они нашли друг друга и вместе, сообща кинулись в безбрежное житейское море на утлых лодчонках дерзких стремлений, отчаянно гребя веслом надежды! Правда, маловато еще силенок у гребцов, и лодки их нещадно швыряют крутые волны. Но это их, кажется, не особенно заботит, они уверены в себе, говорят вдохновенно, хохочут громко, от души. Особенно вон тот – кривоносый, длинноволосый, тощий, как жердь, парень, с трудом смыкая тонкие лиловые губы, разглагольствует обо всем на свете, причудливо сплетая прошлое и настоящее, ведомое и неведомое, мыслимое и немыслимое.

Время от времени он умолкает на мгновение, резко

встряхивает космами до плеч, и тогда поток слов извергается из него с новой, неудержимой силой. Откуда они у него только берутся! Сидящие за дастарханом благоговейно внимают ему, восторженно качают головами, цокают языками. Пай-пай, какой златоуст, какой краснобай! Мать от изумления, забывшись, губами чмокает. Гости, должно быть, все понимают, о чем говорит кривоносый и поражаются, она же ровным счетом ничего не понимает и тоже поражается. Просто диву даешься, как можно так ладно и складно плести слова и ни разу не оговориться, не споткнуться. «Ну, конечно, конечно, – думает она про себя, – зачем же им надо было тогда столько лет болтаться в чужом городе, вдали от родных мест и корпеть над мудрыми книжками, если бы мы, темные аульные бабы, были бы в состоянии их понять?» Зато все, что говорит щербатый, чернолицый, понятно до единого слова. Слушаешь его – и поневоле вспоминаются аульные подруги-приятельницы. Они тоже говорят так горячо и убежденно, будто им одним ведомо все на свете. Вон, слушай... Он говорит, пуча глаза и что-то упорно вдалбливая в головку застывшей в безмолвии невесты. А говорит, между прочим, дельно. «Да, да... братцы-родичи мои! То, что я вам скажу, – не треп. Вдумайтесь! Вон сидит на почетном месте наша апа – наша общая мать. Что она хорошего видела в жизни? Ничего! Горя хлебнула вдосталь, а радостей – никаких. И эту радость она ждет теперь от вас, почтенные молодожены. Ты, милая невеста, с сегодняшнего дня приходишься нашей апе и невесткой и подругой. Невесткой – потому что ты жена ее единственного сына. Подругой – потому что, покинув родной край, лишившись приятельниц, оказавшись в непривычных условиях города, она обрела тебя, нашла тебя. Значит, ты обязана восполнить то, что наша апа безвозвратно оставила в степном ауле. Благо и радость этого очага отныне зависят от тебя. А это, братцы-родичи, скажу я вам – штука непростая...» Ай, айналайын-ай, как он это хорошо и просто сказал. Будто в самую ее душу проник. И откуда он все это только знает?! У самого давно ли губы от материнского молока обсохли... Ах, детки мои, родненькие... Еще недавно вроде босыми ногами шлепали по пыли, и коленки ваши были исцарапаны верблюжьей колючкой, а губы растресканы от ветра и зноя. А теперь уверенно ступаете по каменным улицам боль-

шого города. И только головы ваши охвачены одним желанием – исправить все оплошности, допущенные предками: научиться тому, чему они не научились, узнать, увидеть и совершить то, чего они не узнали, не увидели и не свершили. Это вы без сожаления, будто колесо старой ненужной арбы, оставили и выбросили в барханы древний тальниковый остов юрты, служившей не один век – с самого сотворения тверди и воды – вашему роду-племени надежным кровом. И отныне от вас пойдут потомки, о которых, видно, скажут: не в горца уродился и не в степняка, а в неведомого чужака. И не мудрено, если уже ваши внуки, пальцем тыча на овечку, с недоумением спросят: «А это что?» Но все это со временем забудется и все можно будет простить, если эти любомудрые юнцы, сменившие раздолье степи на удушливый асфальт, а юрты – на каменные коробки, и безмятежно галдящие сейчас за скромным дастарханом из газет и облысевшей клеенки, достигнут потом вопреки голодному и холодному детству и отрочеству вершин взлелеянной в душе мечты. И как будет жалко и досадно, если разбредутся: впоследствии по увалам-перевалам, лощинам-оврагам многотрудной жизни и отстанут от всеобщего великого кочевья, тащась где-то посередке, ни там ни тут, никому не нужные, неприкаянные. Избавь вас аллах от такой ничтожной доли...

Всю ночь напролет пировала молодежь. Лишь на рассвете разошлись по домам. Невестка и сын пошли провожать друзей. Мать прилегла тут же, с краешка дастархана, и тотчас забылась в коротком сне. И явился ее мужчина этого дома. Он сидел на корточках за порогом. И был на нем тот самый коричневый бархатный бешмет, в котором он уехал навсегда из аула. Голову укрывала белая войлочная шляпа, прошитая крепкими нитками по краям. Смотрел он на жену кротко и печально. Давным-давно, еще в девичестве, когда по поводу какого-то торжества аульная молодежь собралась у качелей, ей запомнился этот взгляд. Другие джигиты пялили глаза на девушек бесцеремонно, жадно и хищно, и только он, ее суженый, глядел по-другому. Сейчас он чуть заметнее загорел, что ли? И вроде печать усталости на лице... Вроде осунулся.

Она протянула к нему руки: «Ты что, мужчина этого дома, на пороге стоишь? Проходи же в дом!» Он испуганно вскочил и отступил на шаг-другой. Казалось, он не

узнал ее, состарившуюся, морщинистую. А он ведь такой молодой, красивый. Ей даже неловко стало от своего порыва. Она быстро отдернула руки и ощутила что-то теплое, влажное. Стряхнула сон, открыла глаза – оказалось, опрокинула бокал с вином. На клетчатой клеенке расплылась коричневая лужа.

Она быстро посмотрела на порог. Порог как порог: низкий, привычный. Ни за ним, ни на нем ни души. Значит, смекнула она, дошла до бедняги, царствие ему небесное, весть о женитьбе сына, и дух его обрадовался. Если во сне явится усопший, проходит на почетное место и отведает с дастархана пищи, это к беде, сказывают. А этот мытарь так и не переступил порога, ушел восвояси. Выходит, и на том свете печется о желанном наследнике, в котором и при жизни души не чаял.

Узнав о том, что мужчину этого дома отправят на фронт, она, положив сына-малютку в сундучок, как в люльку, верхом на верблюдице поздней студеной осенью отправилась в близлежащий город, где расположился военкомат. На белопенных беснующихся волнах качался вздрагивал всем корпусом большой пароход. По деревянному трапу поднималась на палубу длинная цепь хмурых бритоголовых мужчин. В конце цепи шел он – мужчина этого дома. Он на мгновение подбежал к ней, жадно приник губами к крохотным кулачкам безмятежно посапывавшего во сне малыша и сказал дрогнувшим голосом:

– Слушай, женщина... Береги сыночка. Что бы ни случилось, как бы тяжело ни было, а его сбереги!

И, сказав это, отвернулся. И, сутулясь сильнее прежнего, пошел, пошел по трапу, а потом на палубе еще раз повернулся, блеснул зубами и махнул рукой.

Как бы отзываясь на многоголосый плач женщин на берегу, провожавших своих мужей на войну, белый пароход тягуче-скорбно гуднул напоследок и медленно отплыл. Море, потемнев волнами, бурлило, тужилось, взбухало – точь-в-точь печень варилась в огромном котле. И по этим крутобоким черным волнам сиротливо плыл-пробирался, все более уменьшаясь, белый пароход. Почти у голубеющего горизонта он издал прощальный гудок и скрылся из глаз. Ревела бурая верблюдица, тоскуя по оставшемуся в ауле верблюжонку. Беззвучно плакала, сидя на ней безутешная молодая степнячка. В ушах ее звучали томительно густой гуд белого парохода, растворившегося в зыбком

морском мареве, и несколько слов, сказанных на прощание мужчиной этого дома. В сундучке, словно в люльке, не ведая ни о чем на свете, спал, укачанный монотонной верблюжьей рысью, крохотный сын...

Теперь он, единственный, желанный, встал на ноги, возмужал. Исполнилась сокровенная мечта его отца, не дожившего даже до половины человеческого века. Должно быть, и в предсмертный миг, захлебываясь в собственной крови, думал бедный о своем побеге-отростке в далеком ауле – о продолжателе рода. Да исполнятся все его желания, да осуществится все, что не успел осуществить простодушный степняк, сложивший голову за всех, кто ныне жив!..

И в священный час зарождения нового дня, когда первые розовые лучи проникали в окно, одинокая черная старуха, сидя у скромного первого совместного дастархана сына и невестки, обливалась чистыми, облегчающими душу слезами и, благоговейно раскрыв перед своим лицом ладони, сотворила от всей души благодарственную молитву.

В первый день она свою невестку даже не разглядела толком. Оказывается, ничуть не ошибешься, если ее – как предсказывали аульные бабы – назовешь хоть длинноволосой, хоть копноголовой. Распустит обильные волосы по плечам – вот тебе и длинноволосая. Начешет на лоб, накрутит на макушку – мигом становится копноголовой. И так, и сяк ей хорошо. Причешет волосы гладко, сложит узлом на затылке – становится похожей на тщедушного верблюжонка-сироту. Соорудит себе копну на голове – степенная взрослая женщина. Брови вразлет. Нос прямой, аккуратный. Глаза открытые, с блеском. Все на месте – придраться не к чему. Однако щупловата, в кости мелка. От таких дети рождаются чаще всего хилыми, болезненными. Такая месячишко-другой покормит ребенка грудью и конец: начнет потом возиться с кашкой да бутылочкой с соской. Брови близки к переносице, подбородок узкий, продолговатый, шейка тонка, аж просвечивается. Должно быть, мнительна и вспыльчива. Но губки пухлые, и брови не жидкие, как у капризных, лоб широкий, ясный, глаза добрые, светящиеся. Хоть и вспыльчива, да отходчива. Не из тех, кто, раз прогневившись, дуются потом неделями-месяцами, срывая на всех злобу и навевая тоску-уныние. В груди, пожалуй, узковата, но

станом стройна, подтянута, тонка в талии. Если уж внимательно приглядеться, то можно заметить и огрехи в фигурке: вроде таз плосковат, посадка низкая, да ноги коротки. Хорошо, когда молодуха поджара, легка и порывиста, точно призовой скакун. Нынешние молодые люди мало что смыслят в скотине, в земле, в человеке. Тогда что они вообще понимают? И разве старики в древние времена глупцами были? Разве напрасными были их старания? Как бы не так! Раньше, бывало, когда мальчик становился взрослым, все почтенные мужчины из его рода седлали коней и отправлялись и дальнюю поездку по степи. Вернувшись, делились впечатлениями – у кого какая дочка на выданье: хороша ли собой или дурнушка, худа или туготела, расторопна или ленива, как стоит, как ходит, как говорит, как чай подает. Иногда эти разговоры возмущали: «О чем они? Ведь не гончую собаку, не ловчую птицу выбирают...» А оказывается, не зряшный это разговор, не пустой. Выбирая сватов и взвешивая их богатство-состояние, обсуждая манеры, воспитание, красоту и характер будущей невестки, они, старики, заботились прежде всего о здоровье потомства, о благополучии семьи, о мире и согласии будущих супругов. Все-все взвешивалось и учитывалось. Слава богу, нынешние молодые люди избавились от необходимости считаться с имущественным состоянием родителей понравившейся девушки. Но это ведь не значит, что можно также не обращать внимания и на ее внешность. Вместо того, чтобы месяцами бродить под ручку, любоваться ночью на звезды, а днем считать листья на деревьях, не лучше ли хорошенько присмотреться друг к другу. Шутка ли: пятнадцать лет учили их уму-разуму. В их возрасте прежние мужчины не только семьями обзаводились, а целыми родами верховодили. А эти, нынешние джигиты, только и умеют что зариться на смазливых девиц, а тех, что позволяют себя разок обнять, тотчас покорно ведут в ЗАГС. Такие вот пошли растяпы. Зато как рассуждают! Только и слышно: «любовь», «возвышенная страсть», «семейное счастье», «супружеское согласие», «забота о потомстве». Иные слова и произносить-то неловко. Иногда кажется, что нынешние молодые намерены прожить жизнь порхая, танцуя, целуясь, наслаждаясь. Будто не существует заботы о детях, о старых родителях, и нет необходимости обзаводиться кровом, очагом и разным житейским скар-

бом. Словно никогда не надо думать о чьем-то горе и страдании, о радостях и боли, о добре и зле, о чести и низости, благородстве и подлости. Точно вся жизнь – сплошной праздник.

Как-то свекор-отец, спешно сняв их со становища, повез на промысел в Кара-Бугаз. Когда они, отъехав далеко, поднялись на пестро-бурый холм, сердешный повернулся лицом к северу, где вдали оставалась окутанная миражом родная сторонушка, и сказал:

– Родной край, надежный кров и теплый очаг издревле святыней почитались степняками. Ради крова и очага мы покидаем отчую землю. Да не лишит нас создатель блага и единства, что сулят нам кров и очаг!..

Прослезился тогда старик, однако смысл его слов не сразу дошел до сознания. А оказывается, без надежного крова и теплого очага жизнь двуногих ничем не отличается от существования четвероногих. Выходит, человек и живет-то благодаря тому, что горит огонь в очаге, да сладко булькает в казане, да добрый смех звучит под кровом. А ведь, если подумать, ключ от всего этого извечно находится в руках женщины. Она самая верная, испытанная хранительница очага. Так неужели нынешние многомудрые мужья не в состоянии понять эту простую истину?

Думы черной старухи разбредаются, как дрофы в степи. А потом начинают вновь и вновь кружиться вокруг ее родного аула. Вспоминает она аульных девушек-невест. Э, что и говорить, никто в ауле не отказался бы выдать дочь за ее сына. Разве мало было женщин, говоривших: «Пусть только подрастет моя козочка, я ее сама отведу в твой дом!» Разве мало было красоток, вспыхивавших от смущения и опускавших голову, но радостно сиявших глазами, когда, бывало, их матери полушутя, полусерьезно говорили: «Вот кончит моя учебу, и я породнюсь с тобой»?! Особенно часто приходит на память дочка ее многолетней соседки. Единственная дочка-шалунья, выросшая среди трех старших и двух младших братьев.

Всем взяла: и лицом пригожа, и повадками мила, а уж об осанке-стати и говорить нечего. Такую невесту сыскать! И родители – приятные, уважаемые люди. И родовиты, и богаты. Не кичливы. Не спесивы. Да и по летам ей ровня. Вот уж кто мог стать утешением одиноким джигиту и старухе! Заболит голова, заноет душа – поговори со сватом; хочешь поделиться тайной – посплетничай со

сватьей; томишься одиночеством – развеселят тебя пятеро братьев невестки. Но главное – дочка. Нет ей равных во всей округе. Такая общительная, открытая – вся душа без утайки. Глянет на тебя, улыбнется – будто солнышко обласкает. Рослая, гибкая, нежно-смуглая. Чего стоят одни только косы – тяжелые, длинные до пят! Ослепительно-белые ровные зубки, влажные черные глаза, пухлые розовые губки, маленький, точеный носик, высокий чистый лоб, обрамленный милыми завитушками, овальное личико, мягкий, чуть вытянутый подбородок, гладкая шейка – о аллах, вся-вся, как живая, до сих пор стоит перед глазами. И выросла в дружной, крепкой семье. Мать и отец отменно здоровы. Нетрудно себе вообразить, какие хорошенькие и здоровые детки родились бы от нее.

Помнится, как-то раз соседка с дочкой зашли помочь катать кошму. Поглядывая на девочку, она сказала:

– Придет время – заберу твою дочку к себе невесткой.

Девочка смутилась и как ошпаренная понеслась домой. А они, две матери, весело рассмеялись над ее забавной выходкой. Однако со временем девчонка привыкла к подобным шуткам. По нескольку раз на дню заглядывала к ней. Без лишних слов, охотно помогала по хозяйству: то потолочную кошму приподнимет, то войлочный полог опустит, то за верблюжонком присмотрит, то воду принесет, огонь разведет, чай сготовит, письмо от сына вслух прочтет – все она, голубушка ненаглядная. Нередко даже ночевала с ней, спали на кошме рядышком. Сердцем приросла к девчонке, как к родной дочери. И поныне, случается, во сне видит.

Маленькая была – бывало, на сына обижалась, плакала: «Он мне бумаги не дает... красок-карандашей не дает...» Потом, когда он приезжал на каникулы, отчего-то избегала его. Близко к юрте не подходила, на глаза старалась не попадаться, пока он не уезжал вновь на учебу. Мать понимающе улыбалась, иногда затевала при сыне разговор о дочке соседей, похваливала ее. Сын вяло откликался: «Да-а? Неужели! Вот как!» И продолжал заниматься своим делом. Ни разу, негодник, не посмотрел в сторону соседней юрты. Не прислушался к легким шагам-шорохам. Ночью дрыхнет, раскинув руки-ноги, у стенки юрты, а днем с этюдником на плече бродит как неприкаянный по барханам или часами малюет вершины меловых гор.

После отъезда сына соседская дочка вновь наведыва-

лась к ней, однако как-то робко переступала порог и ходила подавленная, понурая. И мать чувствовала себя виноватой перед ней. И от растерянности начинала хулить родного сына:

– Такая уж он бестолочь. Примется за что-нибудь – за уши не оттянешь. А тут еще учителя наказали сделать на лето какие-то зарисовки. Вот он и проторчал все каникулы у холста. Провались оно, такое занятие! Я-то думала, картнну намалевать – раз плюнуть. А это, оказывается, труднее, чем отремонтировать трактор. Кое-как закончил. Даже к тебе не мог заглянуть, кесушку чая из твоих рук принять. Однако раза два заметил: «Да чего же моя сестренка-соседка похорошела! И как подросла! Настоящая невеста!»

Мать осторожно косилась на девушку и успокаивалась, видя, как сквозь смуглоту проступал на ее личике стыдливый румянец.

И опять, как прежде, часто приходила к ней девушка. И через порог переступала уже без недавней робости.

В год отъезда из аула мать напрямик спросила у сына?

– Ты о чем хоть думаешь?

Он, по обыкновению озабоченный, отрешенный, не поддержал разговора, не открылся. Только нахмурился и буркнул:

– Ладно, апа... Может, оставим это... до поры до времени?

Теперь-то ясно, почему он тогда не пожелал об этом говорить. Выходит, напрасны были мечтанья матери. Должно быть, и соседская дочка о том догадалась.

– Не тратьте зря слов, апа,– сказала она как-то.– Не может же быть, чтобы какая-нибудь городская не закрутила до сих пор голову вашему сыну.

Она сказала это с улыбкой, однако с затаенной грустью и обидой в голосе.

Значит, все, все видела и понимала, сердешная. Так и не сложилась у бедняжки судьба. Недавно гостил у них молодой председатель колхоза, приехавший в столицу на двухмесячные курсы. Так вот он сказал: до сих пор девушка дома сидит, желающих взять ее в жены достаточно, но ни к кому из них не лежит у ней душа, всем, говорит, решительно отказывает. Выходит, при ее-то красе однолюбкой оказалась. Какая досада! Вот до чего довела невинная шутка! Не молола бы тогда языком смеха ради,

может, у девчонки и не возникли напрасные надежды... А теперь как бы виновата в ее незадавшейся жизни...

И когда вдруг нахлынут эти непрошеные думы, крупная старуха, восседающая на почетном месте, сразу вся сжимается в комок. И тогда она пристальней и строже начинает следить за каждым шагом, за каждым движением молодки, озабоченно снующей между двумя комнатами и кухней. Видно, и невестка это замечает. Уже несколько раз старуха ловила ее настороженные взгляды. Однако ни та, ни другая не позволяли себе малейшего укора. И все же в иные дни невестка ходила по утрам с красными глазами. Может, плачет, жалуется мужу, дескать, не любит меня твоя мать, нехорошо на меня смотрит?

Это, конечно, зря. Ничего ровным счетом против невестки она не имеет. Однако с того самого момента, как возник разговор о будущей женитьбе сына, в ее душе сложился совсем иной образ – девушка, то ли похожая на дочку соседки, то ли еще на кого-то, но явно с другой статью, в другом обличье. И вот сын как-то сразу и неожиданно разрушил то укрепившееся за все эти годы представление, когда привел в дом свою возлюбленную. И мать порой помимо воли смотрела на нее с каким-то удивлением и даже отчуждением, не находя соответствия между подлинной невесткой и тем воображаемым образом, к которому успела привыкнуть в своих одиноких думах.

Да и нынешняя молодежь, что ни говори, со странностями. Зачем ей, невестке, придавать всему этому какое-то значение? К чему тревожить сон мужа и смущать его душу своими подозрениями? Если она хороша, о том скажут завтра сами люди. А если плоха, то оттого, что свекровь смотрит на нее восхищенными глазами, она лучше не станет. Неужели им, молодым, невдомек, что и у других есть свое мнение, своя приязнь или неприязнь, с чем тоже надобно как-то считаться?..

И сын будто на глазах переменился. Не вваливается, как прежде, в комнату матери, а входит робко, словно стыдясь чего-то. Раньше, придя с работы, шутливо спрашивал:

«Ну как, апа, живется-можется?» И она, растроганная, отвечала: «Хорошо, сынок, хорошо». И, приговаривая ласковые слова, ставила для сына чай. И, приговаривая нежные слова, готовила ужин. И, приговаривая сладкие

слова, кормила его. Стелила ему постель. Копошилась по дому до глубокой ночи, прислушивалась к каждому шороху из соседней комнаты и называла сыночка, как в детстве, умилительными и смешными прозвищами. И так, сама с собой тихо разговаривала, удовлетворенная и счастливая, уходила ко сну.

А теперь?.. Теперь она, считай, только дважды на дню и видит сына: утром шмыг через дверь, и он помчался на работу, вечером шмыг в дверь, и скрылся в своей комнате. Все остальное время он сам по себе, она сама по себе.

Сейчас в нем появилось что-то новое – придя с работы, каждый раз спрашивает: «А где апа? Дома?» Странно, где же еще ей быть? Или, думает, пошла верблюдицу пригонять с выпаса? Или кизяк собирать в степи? Или гуляет где-нибудь на пирушке, которых так много случается среди родичей? Ничего подобного! Как сидела утром одна-одинешенька в своей комнате, так и сейчас сидит. Точь-в-точь как в детской сказочке: сверху блестит снизу сверкает, а посередке ханша обитает. Куда еще ей деваться? Родственник, что ли, ее ждет, раскинув объятия? Или подруги-приятельницы толпами вваливаются к ней в дом? Сидит-посиживает ханша то ли в дивном тереме, то ли в каменной пещере...

Недавно от тоски и скуки отправилась в тихий садик в центре шумного города. Там старухи водили детей, а молодки прогуливали собак. На скамейку рядом с ней присела светлолицая старушка в вышитом головном уборе – кимешеке. Старушка оказалась разговорчивой: видно, тоже по живой собеседнице истомилась, бедняжка. Мигом расспросила: откуда родом, давно ли в городе, где работает сын, хороша ли невестка, просторна ли квартира. А потом, разузнав все, щедро поделилась своими новостями. На севере уже больше недели льют дожди. На юге стоит несусветная жара. В горах сильно тает снег и возникла опасность селевого потока. На стадионе во время футбольной игры вспыхнула грандиозная драка. Правда, все эти новости она и сама слышала вчера по телевизору. Но вот о том, что какой-то крупный деятель за взяточничество лишился поста, она услышала впервые. Когда вечером поведала о том сыну, тот пояснил, что случилось это в чужом царстве-государстве за синим морем-океаном. Ну и слава аллаху! Она и сама недоумевала: разве у нас

может такое быть? Что это, нашему начальству спокойная жизнь, что ли, надоела? Пугает что-то говорунья старушонка... Потом выяснилось: все, что слышала светлолицая бабка в кимешеке по радио и телевизору, она на свой лад пересказывала другим. Что же еще остается городским бабушкам? Своих-то новостей нет. Друзья-приятели, с кем она в состоянии отвести душу, – лишь радио да телевизор. С ними, быть может, даже интересней, чем с сыном и невесткой. Хоть утешат иногда, да отвлекут от назойливых и бесплодных дум.

А молодые – что? Они заняты собой. Утром под ручку уходят на работу. Вечером под ручку приходят домой. Лишь дважды в день собираются всей семьей за кухонным столом. При этом утреннее чаепитие проходит в страшной спешке, да и за ужином большей частью только и слышно позвякивание ложек. Тихая пошла какая-то жизнь. Все молчком да на цыпочках. Шур-шур – и в спальню. Звяк-звяк – и на кухню. Шмыг-шмыг – и в коридор. Даже разговаривают приглушенно, чуть ли не шепотом. И о чем – непонятно. Все как-то отрывисто, бессвязно: шу-шу-шу... А до матери и дела нет. Сидит себе или слоняется из угла в угол в своей комнате. Иногда ночь напролет глаз не смыкает. В молодые годы, оказывается, думаешь главным образом о себе, да о том, с кем делишь постель, и еще, конечно, о малых детках. А вот в пожилые годы все прошлое-пережитое самым непостижимым, причудливым образом мерещется в глазах. Особенно когда ты подавлен и печален, тебя со всех сторон обступают, всплывая в услужливой памяти, лица близких и знакомых, с которыми некогда делился всем – радостью, бедой, тайной и пищей.

Много-много лет назад кто-то из родственников, несомненно, желая добра, посоветовал: «Ты, голубушка, еще молода. С того света никто еще не возвращался, а живому – жить. Не раздумывай: иди замуж за кого-нибудь из сородичей мужа. И тебе негоже куковать одной, и сыну нельзя жить сиротой». Как она тогда негодовала! Несколько дней ходила сама не своя от обиды. «Как так можно?!» – возмущалось-кричало все ее существо, и в мыслях ее вновь и вновь оживала одна и та же картина: грохочущее, вздымающееся волнами море, потерянно качающийся белый пароход, бритоголовые хмурые мужчины, поднимающиеся по трапу, мужчина этого дома,

шепчущий прощальные слова-наставления, и подрастающий сын, боязливо и коротко взглядывающий на чужого мужчину в ее доме. «Нет, нет... Пропади оно пропадом, решила она про себя твердо. – Уж коли суждено мне было пережить лихую годину вместе со всеми, то не стану обманывать вдовью судьбу и искать утешения для себя одной».

А немало в те годы безутешных вдов-молодок искали себе радости и наживали детишек на стороне. Одни от позора глаза прятали, от людской молвы тщетно скрывались, другие, наоборот, точно гордились нежданным обретением, прилюдно укачивая на коленях разномастных сосунков и напевая бог весть что. Иные из забубенных матерей-одиночек подтрунивали над ней: «А ты-то, дуреха, кого ждешь? Ради кого честь блюдешь? Или не надоело спать в холодной постели, кусая подушку? Подыщи себе пока не поздно хахаля, сообрази ребеночка, чтобы и тебе утешение было, и сыну не обидно. Государство тебя в беде не оставит, пособие подкинет. Глядишь, и чаем-сахаром себя обеспечишь до самой старости. Не то засохнешь, как одинокий куст в степи...»

От таких наставлений-советов тошно становилось, и душа, бывало, ныла. Бедная старушка свекровь ревниво следила за ней, точно пигалица-птица вокруг увивалась. Стоило чуть задержаться на работе, как ходила по дому мрачнее тучи и даже не садилась за вечерний дастархан пить чай. Если же невестку отправляли на сенокос или на отдаленное чабанское становище, старуха не находила себе места в родном доме. А когда – не приведи аллах! – какой-нибудь случайный путник привязывал лошадь у ближней коновязи, свекровь сжималась и бледнела, будто кто-то собирался сватать ее невестку. Она даже ополчалась на мужчин-родственников, приезжавших иногда, чтобы расспросить про ее же житье-бытье. «И чего все шляются тут, оморок их возьми! – ворчала. – За чем к нам едут? За деньгами или за советом, а?!»

Долго болела сердешная, сильно мучилась. Каким-то уж очень хлопотливым выдался тот год: невестка почти дома не живала. Узнав о том, что хворь приковала свекровь к постели, она отправилась от становища, где строили овчарню, пешком в аул. Еле добрела тогда, а когда пришла – увидела: лежит старушка – ни жива ни мертва – почти у порога, на своем привычном месте перед ларем

для продуктов. Высохла вся. На морщинистом личике чуть-чуть светятся глаза. Лежит – не шевелится. Смотрит в одну точку, на дверь. Видно, не день, не два ждала-дожидалась невестку. Увидела ее – мелко-мелко задрожала подбородком, однако вымолвить ничего не смогла. Только схватила огрубевшую натруженную руку невестки, подсевшей к ней в изголовье, и чуть-чуть погладила. Потом отвернулась к стенке, вздохнула и испустила дух. Что она хотела сказать в предсмертный час? Может, одолевали ее тяжкие сомнения: «Ну вот, невестушка... сторожила-берегла я очаг единственного сына от чужого глаза и недобрых слов, точно дряхлая орлица свое гнездовье, а теперь и сама ухожу туда, откуда нет возврата. И что с тобою станет, когда не будет меня?» А может, что было ее завещанием-наказом: «При жизни моей ты не осрамила чести нашего рода. Так уж посгарайся не тревожить мой дух, когда я умру...» Кто знает, о чем подумалось тогда старухе, но тот сумрачный вечер в ту ненастную зиму и поныне стоит перед глазами. И помнила она его всегда. Приняв однажды решение, на том стояла. Решительно отмела прочь лукавые желания и соблазны. Так и состарилась. Мальчишка, над которым тряслась всю жизнь оберегала от дурного глаза и досужих сплетен, вырос и вышел в люди. А послушалась бы тогда жалостливых баб да ухватилась бы за полы какого-нибудь старичка, кто знает, дожила бы до такой жизни или нет. Скорей всего тот старичок, отчим ее сына, подобно старшему деверю-чабану, сказал бы однажды: «Нечего тебе, паршивцу, учиться. Все равно секретарем райкома тебе на стать», – и погнал бы парнишку с посохом в руке брести за отарой.

Слава всевышнему, все вынесла, сдюжила, вырастила-таки и поставила на ноги единственного сыночка. Чего только не вытерпела ради него? Разве что не умерла. А так не один раз душой мертвела, сердцем каменела. В заботе о нем, однако, каждый раз вновь воскресала и забывала о холоде, о голоде, об усталости и смертельной тоске. В ненастную пору через горы, через долы неслась, как дурная, в школу.

Как-то глухой осенью три дня и три ночи беспрерывно лил черный ливень. Все ручьи-ручейки вспучились. Залило, казалось, всю степь. Со всех концов мчались гонцы с недоброй вестью: там чью-то отару половодьем унесло, там чье-то становище затопило, беда, беда... Узнав об

этом, она сорвалась и побежала в школу за пять верст от аула. Прибежала, запыхавшись, а в школе и детей-то не осталось. У кого были отцы, дядья или братья, давно уже верхом на лошадях по домам разъехались. И лишь ее мальчишка-сиротинка сидел, пригорюнившись, возле древней старухи – школьной уборщицы.

– Это я удержала мальца, – прошамкала старуха. – Боялась, водой унесет.

Ах, горе мое, горе!.. Между школой и аулом находилась широкая впадина. Стекаясь с верховья, дождевая вода мигом превратила ее в раздольное море. Попробуй одолей его, когда грязные потоки с грохотом и ревом, беснуясь и закручиваясь воронками, не дают и шагу ступить. Того и гляди – унесет неуклюжего мальца, вырвет из рук. Тянула-волокла его за собой, пока не выбилась вконец из сил. Тогда взвалила увальня на спину и, спотыкаясь, падая, еле-еле дотащила до дома. А там, не успев отдышаться, выжала разок одежду на себе и понеслась в степь спасать колхозные отары.

И сейчас еще, когда, бывает, расстроится, видит она себя во сне бредущей по тому бескрайнему грязному половодью. Крутобокие, как скалы, мутные волны, сметая все на своем пути, обрушиваются на нее из бурлящего за аулом оврага, и там, в той кипени, безнадежно барахтается, задыхаясь, ее курчавый ягненок-сынок, и она спешит к нему, отчаянно протягивает обе руки, но никак не может, не может, не может до него дотянуться. Сердце ее замирает от страха. Руки-ноги немеют. Жадные пенистые потоки захлестывают ее. И тут она, к счастью, просыпается, убеждаясь, что то страшное половодье давным-давно прошло и сын живехонек и здоров, спит-похрапывает себе в соседней комнате, и губы ее шепчут благодарственную молитну. Будто вчера все это было.

А теперь тот беспомощный мальчишка стал мужчиной, побрел послушным бычком на поводу своей зазнобы и уже родную мать не видит, не замечает. Покажется на миг по утрам и вечерам и больше нет его. Раньше, бывало, чуть что – он уже на пороге материной комнаты. Потопчется с ноги на ногу, растерянно спросит: «Апа, как тут быть?!» И вот отпала нужда в матери. Зачем она ему? Сорочку теперь и молодая жена состирнет. И пуговички, если надо, пришьет. И обед сготовит, и стол накроет. И еще приласкает, приголубит. Оставил сынок

родную мать одну на терзание изнуряющих дум и воспоминаний о лихих годах, а сам безмятежно дрыхнет в объятиях чужеродной молодки. Какое им, молодым, дело до терема, где сверху блестит, снизу сверкает, а посередке ханша обитает? И невдомек им, что терем этот для старой матери обернулся каменной темницей. И что сама она, никому не нужная мать, не ханша сказочная вовсе, а затворница, на одиночество осужденная, и пусть даже обрушится блестящий потолок или провалится сверкающий пол ее сказочного терема – двое счастливцев за стенкой, пожалуй, и не шелохнутся. Они только и видят, как по утрам, охая и кряхтя, поднимается с постели неуклюжая старуха, которую почему-то надо терпеть, и как вечером она, так же постанывая и вздыхая, укладывается в ту же постель. Вот и все. И не приходит им в голову спросить, почему она хмурая и молчаливая, что ее гнетет и заботит. Нет... скользнут по ней разок равнодушным взглядом и молча скрываются за дверью спальни. Еще раз взглянут искоса, как бы удостоверясь, что она еще есть, не улетучилась, не испарилась, юрк-вьюрк на работу.

Ну, бог с ней, с невесткой, с рожденной чужой материю какой спрос? Но что случилось с сыночком?..

Слезы невольно наворачиваются на глаза. Она зарывается лицом в подушку и дает им волю. Плачет долго, безутешно, вздрагивая плечами. Жалостливые объятия одиноких, скорбных дум притягивают ее к себе все крепче, и чудится, будто ее неумолчно засасывает гиблая топь. От глухих рыданий точно раскалывается голова. Густой мрак зыбится-дрожит перед глазами, наваливается на нее. Боль, оглушенная, онемевшая, словно вытекает из ее бесчувственного тела. Спасительный сон одолевает ее. Бесчисленные затейливые видения, на миг отступившие куда-то, тотчас вновь наплывают из мрака. И уже снится ей, будто леденеют руки-ноги. Будто кто-то тихонько подошел к ее постели. Она решила, что это сын, и уже приготовилась высказать ему все обиды, дескать, ты что, неблагодарный, жестокосердный, от вспоившей-вскормившей тебя матери отворачиваешься, но тут явственно увидела подле себя тщедушную, мелко-мелко трясущуюся свекровку-покойницу. Свекровь осторожно укрыла ее, подоткнула со всех сторон одеяло. «Ах, сердешная!.. Выходит, и на том свете до сих пор печется о своей невестке, жалеет ее. Ведь она никогда ни в чем ей не перечила,

была всегда послушна и услужлива, вот, видно, и тоскует свекровушка о ней, чует ее одиночество и горе, сочувствует...» С этими думами и проснулась. Оказывается, давно уже рассвело. Невестка привычно хлопочет на кухне, гремит посудой, ставит на стол. Она, мать, чувствует себя неловко: с каких это пор она позволяет себе валяться в постели, когда уже в доме встали, да отродясь такого не бывало, стыд-то, боже, стыд-то какой... Она быстро поднимается и поправляет сбившийся во сне набок белый жаулык.

И начинается новый день. И пошло-потекло все по одному и тому же кругу. Торопливый завтрак за маленьким кухонным столом. Лихорадочное поглядывание на часы. Короткий обмен незначительными словечками. Все то же: «Ну, пошли-побежали!» И еще: «Ну, апа, затвори за нами дверь...»

Когда солнышко начинает припекать, она выходит во двор. Устраивается на лавочке. И сидит долго, опять одна-одинешенька. На огромном дворе ни души. Даже ребятишек, резвящихся обычно на детской площадке, не видать. Они, пострелята, завидев черную старуху в высоком белом тюрбане, мигом слетелись бы к ней, как воробьи. Полюбовались бы прялкой-юлой. Пощипали бы клок верблюжьей шерсти. Потрогали бы ее браслеты, перстни. Щебетали бы на все лады. И от их веселой возни сладко замирала бы душа, томилось сердце. Особенно привязался к ней соседский рыжий мальчонка с пушистыми, как метелка ковыля, волосами. Он откровенно ревнует ее к другим сверстникам, не допускает никого: «Это моя бабушка!» Такой потешный, дьяволенок: запросто подходит к ней и начинает шарить по карманам камзола. И чтобы доставить мальцу удовольствие, она каждый раз кладет в карманы несколько конфеток. Сегодня и его что-то не видно. Должно быть, чуть свет отвели в детский сад.

Встала, заложила руки за спину, прошлась вокруг дома. Раньше она охотно разглядывала нарядных девушек, бойко снующих мимо, стуча каблучками по асфальту. Ныне она потеряла к ним всякий интерес. Теперь ее больше привлекают играющие дети. Вот уже за год перевалило, как сын привел невестку, а никаких намеков на прибавление семейства незаметно. Все безошибочно предугадали всезнающие аульные бабы, а по этой части дали промашку. С некоторых пор она особенно придирчиво пригля-

дывается к невестке, но никаких перемен в ней не подмечает: по-прежнему тонка, поджара, точно гончая. И все что-то помалкивает, даже расспросить о чем-либо не решаешься. Чует мать: не все гладко в последнее время между невесткой и сыном, не то нелады какие пошли, не то тяготит некая тайна, бог знает... Запрутся в своей комнате и о чем-то бормочут, шушукаются часами. Пес поймет, что в доме происходит. Говорят, ученая невестка редко когда со свекровью ладит. Может, в самом деле о ней говорят, ее осуждают? Или, может, уж больно скудное житье бедной старухи-вдовы и сына-сироты не по душе молодой невестке? Как бы там ни было, молчит все, хмурит брови, и личико такое скучное-скучное, будто все виноваты перед ней. Лишь когда по телевизору показывают что-то смешное, случается чуть-чуть дрогнет губами. Родители ее, судя по всему, тоже из образованных. Выходит, и сватов бог не дал, с которыми можно было б при встрече вдосталь наговориться обо всем на свете, выложить все, что накопилось в душе, до самого донышка, без утайки. А ученому человеку разве есть дело до темных закоулков ее души? Ему и недосуг выслушивать бабий бред. Не дай бог сделает он изумленные глаза и начнет от тебя шарахаться, как от прокаженной – лучше уж провалиться сквозь землю, чем пережить такой позор. И так до сих пор никак не удосужатся пригласить в свой дом, чтобы оказать, как заведено предками, честь-уважение. Сын пока все тянет-оттягивает. «Как их позовем в пустой, будто ограбленный дом? – говорит. – Вот очухаемся малость, сведем концы с концами...» В последнее время жилье их заметно преобразилось. Сначала купили матери деревянную кровать. Потом и сами обзавелись множеством сверкающих деревяшек: и не поймешь сразу, что для какой надобности. И только невестка ходила, как прежде, сумрачная, будто осенняя наледь никак не оттаивала в ее душе. Какая боль ее тревожит – не догадаться. Одно хорошо, что хоть не жалуется, не бушует, ни на ком не срывает зла. А что бы делала старая мать, если б невестка затевала каждый божий день скандалы? Но нет... учтива невестка и вежлива. Словечка грубого или резкого не скажет.

Теперь мать все чаще печалится о сыне. Баба – она и есть баба, молодая ли, в годах ли, образованная или нет – все едино. Это она, невестка-то, с ней, со свекровью

своей, не говорит, а муженька, должно быть, ночи напролет пилит. А разве позавидуешь мужчине, который мечется меж двух огней, стараясь угодить двум бабам – жене и матери?! Ах, несчастный ты мой, бесталанный!.. А я, старая, еще обижаюсь на тебя, что не открываешь перед матерью, как прежде, душу. Знаю, сердцем своим чую, как несладко тебе, верблюжонок мой, сиротинушка. Ведь не могу я тебя прямо спросить: «Как живется-то тебе с молодой женой?», не могу, да и ни к чему это. Получится, будто свекровь не жалеет невестку, подозревает в чем-то, преследует. Стыд-то какой: жизнь прожившей старухе не доверять начинающей жить невестке!

Хоть родные они, мать и сын, как говорится, плоть от плоти, кровь от крови, а душа и сердце у каждого свои, а потому и существует между ними некая черта, которую не переступишь. Потому и изводит себя мать, мучается, не в силах понять, что происходит в душе сына. А каково невестке, пришлой, чужеродной, в новой семье? Видно, и ее тяготит что-то необъяснимое. Но ведь молода, неопытна, могла бы и поделиться своей болью-тревогой, поговорить с матерью-свекровью. Небось зла не пожелает, дурного не посоветует. Легко ли – все при себе держать, непосильный груз одной носить? Можно и надорваться! Но молчит невестка. Видно, что-то неладно на душе. Видно, и тайна такая, что никому не скажешь, ни с кем не поделиться. От этой страшной догадки становится не по себе, будто какой-то жучок-паучок покусывает-жалит материнское сердце. Даже на еду смотреть не может. К столу-то, конечно, подходит. И вместе с сыном и невесткой за одним дастарханом сидит. И кесушку с чаем ко рту подносит. Но до еды дотрагиваться не может: печаль горьким комком подкатывает каждый раз к горлу.

И тогда она, согбенная от дум, проходит в свою комнату, ложится в постель и подолгу глядит в потолок. Жила бы в юрте – считала бы звезды через потолочный круг. А в этом каменном дому, где сверху блестит, снизу сверкает, а посередке ханша обитает, не увидишь ни неба, ни земли, будто висишь посередине. Ворочается и так, и сяк и, наконец, погружается в удушливое забытье. И вновь снится ей мужчина этого дома. Обросший, осунувшийся. Усы повисшие, борода свалявшаяся. Примостился на краешек порога. Надулся, насупился. «Ты что, болезный, как сирота, у двери жмешься? – говорит она. – Проходи же!»

Но покойник молча встает и уходит, растворяясь во мраке. Она только разводит руками и смотрит вслед. Очнувшись, опять начинает думать-гадать. Что это значит? Почему он преследует ее? В тот раз он приснился довольный, умиротворенный. А сегодня – сердит и мрачен. Может, покойнику тоскливо там, на том свете? Может, он хочет, чтобы они, живые, помянули его? Чтобы давняя спутница-супружница напекла в его честь поминальные лепешки? В самом деле, живут семьей, домом, а усопших давно не поминали. Ладно, пусть только наступит утро...

За утренним чаем она впервые за долгое время внимательно посмотрела на невестку и обомлела. Что стало с бедняжкой? Исхудала – все косточки видно. И личико осунулось, поблекло. А раньше розовое было, просто румянилась, видно, невестка. Мать незаметно, поверх кесушки покосилась на сына. И он, о боже! – отощал. Глаза ввалились. Скулы обострились. Только волосы по-прежнему буйно курчавились, как подгрудная шерсть у озорующего верблюда-самца.

Сын подхватил под мышку потрепанную папку и вышел. Невестка на мгновение задержалась у зеркала, что-то сделала со своим лицом и тоже выскочила.

Убрав со стола и помыв посуду, и она покинула кухню. Долго слонялась по квартире, не зная, чем себя занять. Потом схватила веник, оглянулась. Везде и всюду чисто, будто языком вылизано. И когда только успела прибрать все?! Даже не похоже на дом, в котором люди живут. Ни соринки, ни пылинки. Залетит невзначай муха – так с голодухи околеет. Такой чистюли, как ее невестка, и свет не видывал. А это, если верить предкам, совсем не к добру. Чистюле-невестке, говорят, бог детей не дает. Неспроста, как щепка, худа, хоть и замужем больше года.

Походила-походила – делать нечего: все разложено по полочкам. Только на столе сына вроде не на месте лежит свернутый трубкой плотный лист бумаги. И дома сын без дела не сидит. Что-то все черкает, малюет – сам себя изводит. Развернула лист, пригляделась: красивая молодка с длинными, ниже талии, косами несет на коромысле воду. Должно быть, кому-то учтиво уступала дорогу: застыла напряженно, чуть прикусив нижнюю губу.

– Воспитанная, совестливая девушка, – заметила вслух.

Приятно видеть совестливые лица! Особенно девичьи. Ну, конечно... это же та самая аульная девушка, дочка ее

бывшей соседки. Даже взгляд ее – робкий, доверчивый – сын уловил и изобразил точь-в-точь. Да, но почему он ее нарисовал? Или о прошлом подумалось? Сокровенное вспомнилось? А-а, милый друг, то-то же... Не однажды еще вспоминать будешь. «Апа, может, оставим это... до поры до времени?» Попробуй, голубок, если сможешь... Как бы не так! Ты-то, может, и повременишь, да жизнь ждать не станет. У прошлого, сказывают, нет следа. Напрасно говорят так. След остается, но это след досады, след печали. Вот и будешь, бедняга, всю жизнь изливать на бумаге свои мечты неосуществленные да утешать себя миражами прошлого...

Грустно стало на сердце, и в глазах защипало, затуманилось. Она вновь свернула твердый лист бумаги и ушла к себе в комнату. Жалко стало сына, хоть плачь. Ох, напрасно я сетую на него, зря извожу его своими горестями-капризами. Он, мой бедненький, и так надломлен, опечален. И ему, видно, кусок в рот не лезет, когда родная мать не в духе. Э, провались все на свете, пусть хоть горы на меня обрушатся, пусть, небо обвалится, но отныне ни за что, ничем не омрачу сердца моего ненаглядного, единственного...

И тут ей вспомнился приснившийся ночью сон. Ах, вон оно что! Выходит, и впрямь неспокойно покойнику, чует, значит, на том свете, как маетно на душе сына-наследника. Чует он сочувствует, переживает, ничем помочь не может, бедный, бедный... Был бы жив, да жили бы вместе, разве сидели бы вот так, каждый в своем углу. Он ведь был нетерпелив и решителен. Заметил бы хмурь на лице снохи, тотчас обрушился бы на жену: «Это ты, что ли, ее обидела? Ты что-то сказала, да?!» Только напрасно он так: ни одного слова она не сказала. Да и с какой стати? Но, видно, редко так бывает, чтобы две женщины под одной крышей нашли общий язык и ладили-дружили между собой. Они терпят друг друга, а то и взаимно внимательны и учтивы лишь тогда, когда рядом находится строгий и справедливый мужчина, способный одним лишь взглядом гасить все обиды-недоразумения домашнего очага. Но разве способен на это сирота-мальчишка, воспитанный матерью-вдовой? Что он может, кроме того как бросать жалостливо-тревожные взгляды на двух мрачно насупившихся с двух сторон женщин?..

Она вытерла краешком платка слезы и отправилась на

кухню. Достала из мешка муки, замесила тесто. Надо помянуть усопших – настряпать семь жертвенных лепешек. Вспомнила, что нет в доме нутряного бараньего сала. Взяла сетку и пошла в магазин. Не спеша походила по рядам, изучала витрины, пока не высмотрела комковатый нежно-белый нутряной жир.

Сначала она тонко раскатала небольшие поминальные лепешки. Должно быть, отвыкла за последнее время от кухонной работы: не рассчитала и замесила теста больше, чем надо было. Постояла немного, соображая, как быть. И сала еще оставалось много – отливавшего янтарной желтизной, рассыпчатого. В теле, видно, была яроч-ка, справная. Раньше, еще в ауле, когда, бывало, резали овцу, сын каждый раз просил: «Апа, состряпай пирог, а?..» Почему бы из оставшегося теста не сладить пирог и сейчас? Небось сын детство вспомнит, обрадуется... Она раскатала большую лепеху. Расстелила тонким слоем пленчатое сало. Потом сверху посыпала репчатый лучок, нарезанный кружочками, корицу, красный перец, положила несколько лавровых листьев. Потом завернула все в тесто и поставила в духовку.

Первой пришла с работы невестка. Едва открыв дверь, принюхалась, затрепетала крылышками ноздрей. «А-а... голубушка, то-то же... Думаешь, длиннополая старуха из аула только и умеет, что мясо закладывать в котел. Э, нет... она еще на кое-что способна».

Невестка прошмыгнула в спальню, переоделась в халатик и вышла на кухню. Застыла в недоумении, никак не беря в толк, откуда сочится приятный дух.

Тут резко задзинькал звонок – вернулся сын.

– Оу, откуда этот запах? – воскликнул он, еще не успев снять ботинки. – Вку-ус-сно-о!

Только сейчас мать поднялась с места. Колыхаясь крупным телом, медленно расстелила дастархан. Так же молча и торжественно выставила на стол плоскую чашу с семью тонкими лепешками.

– Бисмилля-а, – благоговейно прошептала она, отломив кусочек от верхней лепешки. Невестка и сын тоже потянулись к редкому яству. Жила бы в ауле – разносила бы, как того требует обычай, жертвенные лепешки по домам. И все обрадовались бы и благодарили стряпуху. А здесь, в городе, сунься-ка с одной тонюсенькой лепешкой в чью-либо квартиру – тебя наверняка за сумасшедшую примут.

После того, как все отведали поминальной стряпни, старуха, сложив ладони, прошептала молитву из Корана. Потом встала и степенно направилась на кухню. За ней последовала невестка. На белоснежной газовой плите недовольно шипел, клокотал чайник. Над заварником витал запах настоявшегося чая. И еще откуда-то струился устойчивый сытный дух. Обычно строго-унылая кухня сегодня празднично преобразилась. Старуха открыла духовку, с таинственной торжественностью извлекла из нее румяный и пышный пирог. В этот день у всех троих радостно сияли лица. Хмурь растаяла-разгладилась меж бровей. Молчунья невестка, поблескивая глазами, не раз восторженно заметила:

– Ай, хорошо! Ах, вкусно!

И при этом незаметно косилась на мужа, довольная, оживленная. Личико ее раскраснелось. Лоб покрылся испариной.

В эту ночь старуха уснула сразу и спала безмятежно, крепко. Только на рассвете на мгновение очнулась оттого, что кто-то будто прикоснулся к ней. Она приоткрыла глаз и увидела, как невестка поправила сползшее одеяло, укрыла ее грудь. Тут-то она и смекнула, когда невестка успевала по утрам прибирать квартиру.

Привычные дни текли-проходили обычной чередой. Только сын что-то кашлял в последние дни натужно и тяжко. Жаловался, что холодно и сыро в мастерской. Вот бухал-бухал, хрипел надсадно, маялся и, наконец, слег. Невестка натащила гору лекарств и каждый раз, уходя на работу, оставляла новые. Сын хворал тяжело, метался в жару. Мать ни на шаг не отходила от него. Держала за руку, щупала лоб, давала лекарства, отпаивала горячим молоком с топленым маслом и красным перцем. Целыми днями сновала между кухней и комнатой больного. Как могла, изгоняла из его тела злую простуду.

Вечерами, когда сын забывался в коротком сне, женщины – свекровь и невестка – вдвоем на кухне пили чай. Старуха пристально взглядывала на молодку. Та, кажется, еще заметнее осунулась. Скулы выпирали. Под глазами легли тени, а возле носа и на щеках выступила коричневая сыпь, будто зернышки проса.

Больше недели маялся сын, с постели не поднимался. И невестка вся извелась: ночами не спала, на обед с работы прибегала. Испуг и тревога застыли в ее больших и

влажных глазах. Вот этот взгляд, глубокий и с сокровенной печалью, видно, и околдовал, зачаровал сына...

А больной был плох. Таял на глазах. Сегодня, как только невестка ушла на работу, он, кажется, уснул. Но щеки его пылали, и на просторном лбу выступили крупные капли пота. И дышал он неровно, с хрипом. Мать, глядя на него, всплакнула украдкой. Мелькнула ужасная мысль: не приведи аллах, случится что – как быть ей, одинокой старухе вдове, в чужой сторонушке... Подкрадется беда – немного найдется людей, на которых можно было б опереться. Вся надежда, единственная опора – маленькая, хрупкая женщина, выкормленная грудью другой матери. Раньше старуха почти не замечала – ушла ли, пришла ли невестка. Теперь прислушивалась к каждому шороху и, едва услышав ее шаги, радостно спешила открывать дверь.

Вечером, придя с работы, невестка сразу кинулась к мужу. Проверила пульс, измерила температуру, дала лекарство. На другой день и на работу не пошла. Дважды вызывала врача, сбегала в аптеку. Больному сделали укол.

А потом свекровь и невестка до глубокой ночи вдвоем сидели у постели больного. Наконец невестка уговорила старуху лечь спать: «Хватит тебе, апа. Отдохни малость. Я уж побуду с ним до утра».

Старуха неохотно ушла в свою комнату. При тусклом свете ночника сын казался особенно бледным и изможденным. Ворочалась-ворочалась на новой деревянной кровати и лишь на рассвете смежила веки.

Проснулась от непривычного холода в груди. Удивилась, что лежит раскрытой: одеяло наполовину сползло. Встала и еще больше поразилась: в квартире не убрано, полный тарарам. И не слышно было, чтобы по обыкновению бесшумно хлопотала ни свет ни заря невестка.

Умывшись, старуха сама взяла в руки веник. Однако даже коридор подмести оказалось делом непростым, и она время от времени бросала взгляд на дверь спальни, что это сегодня стряслось с хлопотуньей невесткой...

Любопытство взяло верх: с веником в руке она толкнулась в комнату молодых. На высокий подушке белело лицо сына. Она сразу заметила, что оно спокойно. Лоб гладок и чист. И дышал сын ровно, легко, невестка, скрючившись, спала у изножья. Видно, сон сморил-таки сиделку на рассвете. Была она в одном легком халатике; должно быть, продрогла и теперь вся съежилась, по-дев-

чоночьи подтянув острые плечи к голове. А худенькая какая – страсть: все ребрышки на виду. Только стан заметно округлялся, выпячивал животик, да на личике коричневых пятен стало больше. Вон оно что, подумала про себя старуха, задохнувшись от жалости и тихой радости, теперь-то мне ясна твоя худоба...

Старуха сняла с себя плюшевую безрукавку с подкладкой из верблюжьей шерсти и осторожно накинула ее на свернувшуюся у ног сына невестку. Потом прошлась веником по дорожкам по обе стороны широкой кровати, прибрала разбросанные по стульям одежки. Проходя мимо книжного шкафа, неожиданно обратила внимание на две картины за стеклом. Этот курчавоголовый, толстогубый – ее родной сын. Таким он был в год окончания школы. А вот эту ясноглазую трепетную девочку с двумя толстыми косами на груди она, кажется, видит впервые. Неужели это та самая, которую недавно изобразил сын с двумя ведрами на коромысле? Глаза большие, доверчивые, как у верблюжонка. Очень смахивает на дочку ее аульной соседки. Впрочем, нет... Эта более тонкая, хрупкая... Подожди... так это ведь... ну и ну!.. ее невестка. Надо же! Пригоженькая была, оказывается... хорошенькая. Ишь, хитрец, как он ее только высмотрел!..

Старуха провела длинным рукавом платья по стеклу и, что-то шепча, тихо выбралась в коридор. У порога споткнулась о край паласа и едва не грохнулась. Путаясь в длинном подоле, прошла на кухню. Выглянула в окно. Еще с вечера кудлатые тучи затянули небо. Теперь они грузно ползли, едва не волоча клубящийся хвост по земле. Мелкий снежок лениво сыпал из них. И не снежок вовсе – невесомые хлопья, кружась, будто птичий пух, падали с сумрачной вышины, неслышно опускались на голые ветви тополей, на крыши домов, на асфальт улиц, на деловито снующих взад-вперед прохожих, на машины и тотчас таяли, будто гасли. Как всегда, с утра очень оживленно на стоянках автобусов. Вместе с теми, кто спешил на работу, толкались у дверей и древние старухи с посохами в руках. Бог мой, им-то что не сидится в такую рань?! Ах, да-а... сегодня ведь пятница – молебный день правоверных, и эти старушонки едут в мечеть отмаливать грехи.

В такой день положено поминать усопших. Пожалуй, неплохо бы испечь горку поминальных лепешек. Может, опять получится тихий и уютный семейный праздник в

честь выздоровления сына? Она сунула руку в кармашек камзола, извлекла несколько синих хрустящих бумажек. Вспомнила: вчера девчонка-почтальонка занесла пенсию. Вот и доставит детям неожиданную радость: сходит в магазин, купит нежное баранье сало и настряпает лепешек. Она тотчас облачилась в нарядный выходной чапан – подарок замужней дочери. Заново замотала на голове белоснежный тюрбан. Схватила вместительную хозяйственную сумку и, сказав по привычке «бисмилля», вышла из дому. День занялся по-весеннему свежий и бодрый. Белые хлопья все кружились, кружились в небе и, казалось, ластились к крупнотелой старухе в непривычном одеянии. Прохожие радовались последнему снегу затяжной зимы, ловили пушистые хлопья на ладошки и улыбались. Плосконосый карапуз семенил позади сухонькой старухи, деловито постукивавшей клюкой об асфальт, забегал слева, справа, беспрестанно сыпал вопросами:

– Бабушка, а бабушка... когда же наступит весна?

– Завтра, внучек, завтра.

– Скажешь тоже, бабушка! Почему же тогда сегодня валит снег?

– А это, внучек, теплый снег. Его еще называют крыльями вешней птицы. После него стуже наступает конец.

– Бабушка, а бабушка... а он и вправду теплый!.. Нечаянно подслушанный разговор вызывал улыбку. Какой пострел! А ведь так и есть: в народе последний снег зимы издавна называется крылом птицы – вестницы весны. После него просыпается природа, очищаются людские души, обновляется жизнь. А валит-то как: густо и умиротворенно. Видно, доброе, благодатное выпадет лето.

Нетрудно представить, как провожают нынче зиму в аулах. Все жители с утра высыпали на улицу. Ходят из дома в дом, говорят друг другу добрые пожелания. Даже отъявленные скупердяйки достают из потайных сусеков последние запасы пищи – вяленые или копченые куски мяса и закладывают в казан. Иначе отвернется счастье-удача. Весна – начало года и надежд. И с прошлым следует расставаться достойно. В этот день черный котел на треноге не должен пустовать, даже если он на худой конец будет наполнен просто водой. В каждом доме гостей угощают чашей традиционной жидкой похлебки – наурузкоже. Только тогда сытный дух не покинет очаг.

Сейчас она придет домой, поднесет спичку ко всем

конфоркам газовой плиты, наполнит чем-либо всю посуду, имеющуюся в доме, поставит на огонь. Пусть счастливым будет год! Да обоснуется прочно благо в их новом обиталище!

Сухонькая старушка с разговорчивым карапузом-внуком скрылись в толпе. Ничего-о... Если судьба проявит милосердие и щуплая невестка-молчунья побережет себя, будет и у нее желанный внук. Придет время, и будет он так же, как тот плосконосый малец, бойко семенить за бабушкой и донимать ее бесконечными расспросами. Бог даст, и тот день уже не за горами.

Как многолюдно сегодня на улицах! Вся детвора, казалось, высыпала из домов. Чистое пышное покрывало укрыло газоны, и дети, весело гомоня, играют в снежки. Из тяжелых, низких туч, клубящихся над городом, бесконечно сыплются белые хлопья, кружатся, резвятся в воздухе, забавляя ошалевшую от радости малышню. Тьфу-тьфу, только бы не сглазить, в хороший, удачливый год должен родиться ее внук. И старуха, расчувствовавшись, неслышно шептала молитвенные слова, благословляя теплый весенний день, обильный пушистый снег – последний снег зимы и добрых прохожих, улыбавшихся ей...

Снег повалил еще гуще. В причудливом хороводе кружились невесомые хлопья.

Небо медленно прояснялось. По многолюдной пестрой улице большого города, радостная и просветленная, шла-спешила домой темноликая старуха в высоком белом тюрбане.

*Перевод Г. Бельгера*

## ДОМ НА ОКРАИНЕ

Будто вчера только все это было, будто вчера...

– Ах, как летит, однако... времечко! – случалось, вздыхала она, вспоминая ту пору. Произнести слово «жизнь», висевшее на кончике языка, она почему-то не решалась. И каждый раз его заменяла словом «времечко».

Да, славными были те денечки. А произошло бы в самом деле чудо, да вернулись бы они вновь. Тогда... о, это юное очаровательное создание, запечатленное во всей своей неотразимой красе вон на той фотографии на стене, разве не сидело бы разнаряженное в пух и прах за отполированным до зеркального блеска столиком, томно закатив большие, влажные глаза и опершись нежным, круглым подбородком на изящную белую кисть руки?! Разве яркий сноп лучей, струящихся из широкого окна, чуть порезвившись в пышных, волнистых волосах молодой женщины, не заиграл бы, словно завороженный, со своим многоцветным отражением на крупной, с палец, фамильной бриллиантовой брошке между двумя тугими холмиками грудей, трепетных, как два живых голубя за пазухой?! И разве тогда наиболее смелые и дерзкие мужчины, из тех, кто покорно дожидался приема к высокому начальству, не затевали бы с ней игривый разговор, а скромники и тихони не глазели бы на нее молча и потрясенно?! И в тот момент, когда эти бедняги, и без того не очень-то везучие в жизни, растерянно вскакивали с места и суетливо направлялись к двери начальника, разве она не смеялась бы откровенно и дразняще им вслед?!

Если же кто-то из этих бедолаг выходил из кабинета, скажем, в добром расположении духа, то, проходя мимо, он разве не бросал бы на нее напоследок явно заинтригованный взгляд? А она в это время разве не опускала б, чуть хмурясь, глаза долу, будто ничего не замечала? А тот незадачливый, вконец растерявшись, разве не удалялся бы со смутной тревогой на душе?

Ах, было все это, было... Только кто теперь это знает, кто о том догадывается, кроме этой белой, как мышь, иссохшей старухи, попеременно смотрящей сейчас то на улыбчивую красотку в рамке на стене, то в старый, потрепанный альбом, обтянутый коричневым бархатом?

– Да-а... умчались, ушли невозвратные дни... С шумом захлопнув увесистый альбом, она откидывается на спинку заметно потертого кресла и погружается в бездонные, как пучина, думы.

Да, будто вчера только все это было, будто вчера... Будто вчера ходили у всех на устах слова ее матери, этой юркой, востроносой, со впалыми глазками на морщинистом личике старухи Черного Махмута, которого одинаково почитали русские и казахи, уйгуры и татары, дунгане и киргизы небольшого городка у подножия снежных вершин. Будто вчера направо и налево рассказывали, что она, ее мать, не однажды говорила своим соседкам: «И-и, алла, дай только здравия моему чернявому старику да трем моим дочкам... уж восседать мне тогда на почетном месте не в одном знатном доме!»

Как в воду глядела покойница, разговорчивая старуха Черного Махмута из небольшого городка, где тогда самым людным, самым видным местом была Торговая улица. Старшая дочь, Зубаржат, досталась татарам – родичам по материнской линии. Средняя, Зулкия, стала снохой уйгурам – родичам бабушки по отцовской линии, ну, а горластым и простодушным казахам, располагавшимся в просторных хоромах Черного Махмута, как у себя дома, приглянулась младшая – вот эта самая Зухра. А выросли дочки в сытости и холе одна другой краше – белым ликом в мать, крупной статью – в отца.

Был Черный Махмут правой рукой богатого хозяина – владельца большого магазина на главной Торговой улице. И поэтому не только дом его кишмя кишел гостями, но, как говорится, и двор. Если к парадному крыльцу чинно подъезжали в мягко пружинящих фаэтонах почтенные

господа, в цилиндрах да фесках, то с другой стороны через высокие железные ворота деловито въезжали на ревущих верблюдах, на орущих ишаках степные казахи и кишлачные уйгуры в замасленных лисьих треухах, мерлушковых шапках, войлочных шляпах, вышитых тюбетейках.

В двухэтажном сосновом особняке с утра до вечера, во все времена года толпились бесчисленные гости – все сплошь родственники, все сплошь уважаемые и достопочтенные агаи и апаи, ани и абзи, амашки и энешки. Если в одной комнате оглушительно стреляли пробки шампанского и переливчато звенели бокалы, то в другой – благочестивые мусульмане клали поклоны на молитвенных ковриках – жайнамазах или отрешенно перебирали четки.

Вообще-то, глядя на дастархан, можно было подумать, что дом принадлежит богачу уйгуру; судя, однако, по бойкой беседе за дастарханом, хозяин его казался из не менее состоятельных татар. И лишь по кучке верблюжьих кругляшков в углу безмерно огромного двора, да еще по тому, как Черный Махмут после обильной трапезы имел обыкновение распахнуть на улицу окно и рыгать на всю округу, можно было предполагать, что дом этот определенно имеет также некоторое отношение и к казахам.

В пользу того, что Черный Махмут относился все же к казахскому роду, свидетельствовало еще одно немаловажное обстоятельство: он обожал многолюдье не только в своем магазине, но и в своем доме. И совершенно бесспорно, что всевышний вполне преуспел в своем благодетельстве по этой части, хотя и трудно сказать, исполнил он в той же мере остальные его желания или нет. Если учесть, что к разномастному люду, падкому до ярко-пестрого товара в магазине Черного Махмута, присоединялись еще добрые джигиты-молодцы, жадно искавшие благосклонность трех его красоток дочек, то и без прочих объяснений понятно, почему в его просторном доме зимой и летом, с утра до вечера бывало так колготно и шумно, будто на реке в половодье.

Особенно, когда к обеду в мягком, новехоньком фаэтоне выезжала на прогулку по городу прелестная дочка Черного Махмута в дорогой широкополой шляпке, от местных хлыщей прямо-таки проходу не было. Видя, как женихов толпами притягивало в дом, маленькая сухоли-

цая старушка, ликовала: «И-и-и, алла-а... Красота разве кого равнодушным оставит? Не-ет, та не женщина, за которой не волочится косяк мужчин. Да, да!» И при этом сморщенное личико ее розовело, в глубоких глазах мерцали искорки, а губы змеились в улыбке.

Вечерами, случалось, обучала она дочерей уму-разуму. – Не гляди, что мужик не пригож, гляди, на что он гож. Если хват, то и богат. А в богатстве – честь и достоинство. Пригожей пристало быть женщине. И-и-и, откуда вам, дурехам, знать? Но запомните: у мужчин бывает два невидимых и три видимых достоинства. Одно из невидимых достоинств мужчин – ум. Второе – вы пока слишком молоды – объяснить вам не могу. А три видимые достоинства: внушительность на лице, сила в руке да тугой карман. Если вы ошибетесь, не разглядев невидимых достоинств, – не беда. Главное: не допустить промаха в достоинствах видимых. А это ох как нередко случается с нашей несчастной сестрой! Да спаси вас создатель от такой позорной слепоты!

И крохотная старушонка, как бы испугавшись своих слов, озиралась по сторонам.

Оправдала Зухра надежды матери или нет – судить ей трудно, но что отцу угодила – это точно.

Горбоносый, усатый (не усы – мочалка), Черный Махмут отличался нравом суровым и крутым. Властный торговец, привыкший не потакать покупателю, а навязывать ему свою волю, держал и домочадцев в узде, даже если и пропадал целыми днями в своем магазине. Когда наступили новые времена и не одного прохиндея с Торговой улицы сослали в края, где, по слухам, ездили на собаках, он и тут вывернулся, уцелел каким-то образом. И даже более того – стал одним из небольших начальников, руководивших немногочисленными торговыми точками в городе. Как это ему удалось, о том не то что посторонние, но и родные дочери не догадывались. Правда, всегда все знающая прислуга мусолила по углам слушок, будто кто-то из тех, кому Черный Махмут помог в свое время выучиться, ходил ныне в больших чинах.

Иногда, в отсутствие посторонних, Черный Махмут, хмуро поглядывая на дочку, сетовал на судьбу:

– Эх, дал бы бог вместо тебя сыночка, держал бы сейчас вот в этих руках какой-нибудь поводок новой власти.

– Аллах с тобой, Махмут... ты что?! Неужто невдомек

тебе, что иной зятек лучше родного сына, а? – отчего-то всполошившись, отвечала в таких случаях маленькая старушка. – Сын ведь может и против твоей воли пойти, а зять такое себе не позволит...

Махмут, не зная, как возразить своей старухе, лишь вперялся в нее строгим взглядом и молчал.

А еще как-то, искоса метнув на дочку взгляд, он неожиданно для нее сказал:

– Нынче, замечаю, комсомол силу набирает. Каждый божий день собрания проводит, до хрипоты горланит. А ты-то почему в сторонке отсиживаешься? Пошла бы тоже...

В самом деле, все те места, где раньше, бывало, собиралась золотая городская молодежь, в последнее время незаметно прибрал к рукам комсомол. И вместо прежних танцев, былого безмятежного веселья пошли сплошные собрания с бесконечными, ожесточенными спорами. Ничего в них не понимала Зухра, но, послушная родительской воле, исправно посещала.

Боже, какие то были собрания! Выходишь, бывало, после них, словно из бани: пар от разгоряченной головы валит. Выступали азартно, вдохновенно; рубили сплеча, не шадя друг друга. Зухре иногда чудилось, что от возбужденных голосов качался потолок: того и гляди рухнет. Невозможно было уследить, кто о чем говорит. Молодые хриплые голоса оглушали ее, и тогда она, не вникая в суть спора, принималась разглядывать лица выступавших. Они дышали юным задором, бесшабашностью и какой-то грозной, неуемной силой, отчего у Зухры замирало сердце. Так и казалось, что кто-то из этих спорщиков накинется сейчас на нее, дескать, чего выставилась, что высматриваешь, и от этой мысли становилось не по себе, и Зухра поспешно опускала глаза, смотрела в пол, но вскоре, чувствуя, как от шума кружится голова, вновь начинала обозревать зал.

Однажды цепкий взгляд ее выхватил из толпы светлолицего джигита – лопоухого, с жидкими, как ковыль, волосами, внимательно, опершись подбородком на руку, вслушивавшегося в речи. Он тоже изредка устремлял на нее робкий взгляд карих глаз. И при этом близоруко щурился. Если же невзначай встречался с ней взглядом, мгновенно вспыхивал и торопливо отворачивался.

Среди сплошь задиристых и отчаянных юнцов в зале этот лопоухий казался Зухре единственным покладистым

и добросердечным человеком. Она ни разу не видела его на трибуне. Он – когда бы она ни смотрела – сидел себе тихонько с пылающими ушами и все слушал, слушал других. Лишь изредка, когда какой-нибудь очередной крикун уж больно распалялся на трибуне, лопоухий что-то буркал под нос. И этого бывало достаточно, чтобы распаленный говорун на трибуне тотчас сбивался с речи и с ожесточением набрасывался на него. Тогда лопоухий мгновенно умолкал и начинал ерзать, будто готовый провалиться сквозь землю. Но тут каждый раз порывисто вскакивал с места его сосед – смуглый, кучерявый, прямоносый, остроглазый малый – и направлялся к трибуне. Ох и доставалось же от него тем, кто осмеливался задеть лопоухого! Когда кучерявый, размахивая руками, сверкая ястребиными глазами, громыхал на трибуне, зал охватывало неистовство.

Раскаленные слова, исторгавшиеся из молодых глоток, не задевали сознания Зухры. Все ее помыслы занимал светлолицый молчаливый джигит, который как бы еще больше сжимался от бурных рукоплесканий в честь его кучерявого друга.

И с Жанибеком-то она познакомилась благодаря все тому же светлолицему молчуну. Как-то, спускаясь с трибуны, взбудораженный спором кучерявый вдруг заметил прелестную девушку, которая издали украдкой поглядывала на его друга. И с того дня его как подменили. Отныне он, до того настороженно ловивший каждое слово ораторов, прямо-таки когтил ее своими ястребиными глазами, повернувшись к ней, всегда устраивающейся с краешку, будто у него ни с того ни с сего искривилась шея. Зухре теперь даже украдкой не удавалось посмотреть в сторону робкого лопоухого, потому что каждый раз натыкалась на горящий взор его смуглого приятеля.

В то время было небезопасно ходить по темным улицам, по обе стороны которых, точно ночные разбойники, темными рядами смыкались сумрачные тополя. И потому так уж случилось, что после собраний, нередко кончавшихся за полночь, двое приятелей провожали ее домой. Рядом с ней широко шагал, разлохматив буйные волосы, смуглый джигит, а чуть позади враскачку следовал лопоухий. Тогда-то она и заметила впервые, что он слегка припадает на одну ногу.

О, славная была пора! «Как летит, однако... времечко,

– вздыхала она, вспоминая те годы и не решаясь опять-таки произнести слово «жизнь»...

Черный Махмут, от природы сдержанный и даже скупой на какие-либо похвалы, испытывал неподдельное удовольствие, когда речь заходила о его зяте. Тут он, отойдя душой, начинал ковыряться в зубах или вздыбливать густые, жесткие усы. Просматривая за утренним чаем газеты, он неизменно искал глазами фамилию зятя. В то время было совершенно исключено, чтобы в какой-то день не состоялось какое-либо собрание и чтобы на нем не выступал Жанибек. Где Жанибек? Ну, разумеется, на собрании. Где Жанибек? В Москве на совещании. Где Жанибек? На активе в области.

Узнавая об этом, Черный Махмут чувствовал себя так, будто подпирает своей макушкой небо. И, должно быть, потому в дочке своей души не чаял.

Жанибеку достался на окраине города справный бревенчатый дом со всеми необходимыми хозяйственными пристройками. Гости приезжали толпами. И толпами уезжали. Кого только не было среди них! Степные казахи. Почтенные горожане. Студенты, обучавшиеся в далеких городах. Просто знакомые. Приятели. Товарищи. Друзья. Среди этого многолюдья, громоздясь, толкался и Черный Махмут. И только почему-то не видать было того молчаливого рыжего с редкими, как ковыль, волосами. Как-то мимоходом спросил было о нем у зятя, тот коротко ответил: «В области». Ну, и бог с ним! Со временем Черный Махмут и вовсе забыл о нем.

Когда разразилась война, Жанибек в составе воинской части, сформированной в Казахстане, отправился на фронт. Черный Махмут сильно приуныл. Правда, и в это лихое время состояние его не особенно пошатнулось, благодаря чему Зухра не испытала ни тягот, ни лишений. Сыночка Жанибека взяли к себе дедушка с бабушкой. Сама Зухра, как прежде, всегда ходила нарядная. И лицом была, как прежде, пригожая. И почему-то чудилось ей, что ничего страшного в мире не происходит, что Жанибек просто уехал – хотя и в далекую, но все равно в обычную, безопасную командировку. Или, как всегда, выступает где-то перед воинами, идущими в бой. И еще казалось, что вот-вот кончится эта война, и Жанибек, по обыкновению радостный и шумный, ввалится в родной дом.

На улице, в толпе подавленных, осунувшихся людей, она чувствовала себя неуютно и потому поневоле спешила домой. А дома, как всегда, все было тщательно прибрано, чисто, будто вылизано. И слово «война», которое не сходило с уст людей, Зухре упорно мерещилось отнюдь не бедой, а всего лишь одним из многочисленных сборов в каком-нибудь другом городе, которые временно вырвали из ее объятий неугомонного мужа.

Только на этот раз «сбор» уж слишком затянулся. Задержался что-то Жанибек. И, думая о нем, Зухра все чаще проводила бессонные ночи. Ворочалась в постели в изнурительном томлении. И мерещилось бог весть что. Прямо-таки неотступным наваждением преследовали сладостные видения счастливой супружеской жизни. И, случалось, лишь к утру, почувствовав тяжесть скомканного одеяла на груди, забывалась в коротком, тревожном сне.

Она внушила себе: сон – забвение и чем дольше и крепче она будет спать, тем, быть может, скорее кончится война. И в долгих снах своих она каждый раз видела Жанибека, возвращающимся из командировки. Он привозил ей подарки – изящные безделушки. Подойдя к ней, наклонялся к ее лицу, губами нежно и щекотно касался ее ушка. И душа ее замирала, растворялась в невыносимом предчувствии счастья.

И в тот раз чьи-то жесткие, сухие губы, будто клещ, впились в ее висок. Горячее дыхание обожгло ее. Неожиданная приятная истома захлестнула ее разом, лишила воли, и не было сил даже разлепить отяжелевшие веки. Знакомый и столь желанный греховный жар, огнем обдав правый бок и разливаясь все шире, подбирался к груди, и тело ее покорно подчинялось неодолимому зову плоти, испытывая блаженство от властной тяжести, грубо навалившейся вдруг на нее. То не было привычной и бездушной тяжестью скомканного одеяла. Точно так же и Жанибек когда-то... да, да, так же нетерпеливо тыкался лицом в ее подбородок, в шею, и жесткие волосы тоже так же щекотали ее лицо. И он так же в каком-то мужском неистовстве резко отшвыривал одеяло, словно надоевшую помеху, и во всех его движениях чувствовались нетерпение и необузданность.

И вдруг эта тяжесть, которая, казалось, хотела ее раздавить, разом отпустила ее, исчезла, и недавний жар мгновенно истаял, улетучился. Истомленному телу стало зябко.

Она пошарила вокруг рукой, потом, все еще в полусне, потянулась к одеялу на полу, и в это время где-то рядом что-то резко чиркнуло. И вслед за этим из кухни потянулся удушливый запах махорки. Потом донесся чей-то приглушенный кашель. И тут только она стряхнула удушливый сон, заметила, что ночная рубашка ее непристойно задралась, и тотчас ощутила озноб в отяжелевшем, разбитом теле.

Городской госпиталь был переполнен ранеными. Подлечившихся перед отправкой на фронт обычно на несколько дней устраивали на постой в ближние дома. Вот и к ней накануне утром работник военного комиссариата привел одного офицера, расположившегося в боковой комнате рядом с кухней.

После работы она не решилась пойти домой и отправилась к родителям. Засиделась там до ночи. И все время ощущала в себе какую-то смутную тревогу, места себе не находила. Отчего-то учащенно билось сердце, жар подкатывал к лицу и даже вроде как подташнивало. Поняв, что здесь, у родителей, ей не уснуть, она отправилась домой. Долго стояла иа остановке в ожидании автобуса. Вскоре продрогла на промозглом ночном морозе, и стынь эта, казалось, окончательно вытравила из нее и все недавние сомнения, и нерешительность, и назойливые, преследовавшие весь день думы о губастом, чернявом, поджаром офицере с жестким ежиком волос. Когда уже начала колотить ее знобкая дрожь, показался, наконец, дежурный автобус, редко курсировавший в сторону гор. Все чудилось ей как в дурмане. Она только помнила, как села в промерзший автобус. Помнила, как вышла на знакомой остановке. Помнила, как своим ключом отперла дверь. Помнила, как, не включая свет, разулась в прихожей, как на цыпочках, неслышно прошла в свою комнату. И еще помнила, как тотчас бросилась в постель и никак не могла согреться под привычным пуховым одеялом. Тогда она, сдерживая озноб, встала, достала еще одно одеяло и укрылась им. Лишь после этого ледяные иголки, впивавшиеся в тело, смягчились, отпустили ее, или сломались под спасительной тяжестью тепла. Согревшись, тотчас провалилась в сон.

А теперь она лежала в полной растерянности, не понимая, померещилось ей все это или нет. И не могла даже сообразить, сама ли сбросила во сне одеяла, или их

решительно скинули, содрали с нее чьи-то нахрапистые, бесстыжие руки. Она напрасно силилась вспомнить, закрыла ли ночью за собой дверь на крючок. Надо было сейчас встать, проверить, но что-то сдерживало ее, может быть, боязнь ступить босыми ступнями на холодный пол.

Она плотнее укрылась, подоткнула одеяло и настороженней прислушалась к звукам из боковой комнатки. И когда до нее донесся скрип стальных пружин, она вся вздрогнула, сжалась, а сердце заколотилось, забухало неровно и тяжело. Так она лежала в смятении и понемногу привыкала к тишине, смирясь с одиночеством, но в это время снова донесся до ее слуха смущающий покой скрип кровати. И, сдерживая дыхание, словно боясь, что ее может услышать незнакомый мужчина в соседней комнате, она осторожно повернулась на другой бок. И опять обрушилась выморочная тишина. И опять коротко застонали пружины в боковушке.

Так и промаялась, лишь временами забываясь, до самого утра.

Утром, при сумерках, она, встав, сразу же кинулась к двери. Дверь оказалась на крючке. Зухра холодно усмехнулась. Испытывая тяжкую опустошенность, с усилием выпила чашку чая. На столе оставила заварник, укрыла его полотенцем, чтобы не остыл. Проснется гость, попьет, может... Выходя, покосилась на застекленную дверь боковушки: незнакомец спал, отвернувшись лицом к стенке. Крупный, жилистый мужчина. Боясь, что под ее взглядом он невзначай проснется, она отвела глаза, торопливо вышла.

На работе она никак не могла отвлечься от призраков прошлой ночи, то и дело вздыхала и отчего-то вся вспыхивала. В тот день она не зашла к родителям, а сразу отправилась домой. Всю дорогу не могла унять дрожь в сердце. Схватившись за ручку двери, застыла то ли в страхе, то ли в бессилии. Она, никак не могла сосредоточиться и решить, как поступит, что скажет сейчас при виде чернявого, поджарого, губастого постояльца. Но ловила себя на мысли, что хочет его увидеть, желает обмолвиться с ним хотя бы словечком. А тут еще чудилось, что кто-то следит за ней, подглядывает за изгородью...

Она перевела дыхание, рванула дверь. На столе лежала записка. «Простите. Спасибо». Два слова... Всего два оглушительных слова. И больше ничего. Все... Все...

В глазах зарябило. Слабость ударила в ноги. Как подбитая, опустилась на стул. На краешек листа, вырванного из тетради в клеточку, с шорохом упало несколько слезинок. Вдруг показалось, что кто-то, наклонившись, пристально глядит на нее из-за ее плеча. Уж не постоялец ли? Может, ему вздумалось над ней пошутить? Вызнать, как она поступит? Схватив со стола и судорожно скомкав записку, она вскочила, оглянулась и столкнулась с взглядом Жанибека на портрете. Сердце захолонуло. Смуглый, остроглазый мужчина смотрел на нее строго и грустно. Она, растерянная, застыла, все еще держа в ладони смятую записку.

Тогда-то, кажется, и поняла впервые Зухра, что такое война.

А потом... чего только не было потом в ее жизни! «Как летит однако... (сказать «жизнь» было выше ее сил) времечко»,– вздыхала она, вспоминая прошлое.

С того памятного дня ей часто мерещилось, что эти строгие и печальные глаза неотступно следили за каждым ее шагом. Идет она на кухню, глаза эти, затаившись, следят из гостиной. Пройдет в гостиную – они выслеживают из кухни. И не было от них спасения во всех четырех комнатах особняка. И даже в постели чудилось, будто кто-то, подкравшись, всматривается в ее лицо. Она стала спать, укрывшись с головой одеялом.

Отныне Жанибек на портрете не улыбался, как прежде, добродушно, а как бы ухмылялся, не сводя с нее цепкого взгляда. И она, находясь дома, не решалась поднимать глаза, будто боялась, что кто-то выйдет вдруг из-за угла и без утайки выложит все, все, что было или показалось ей в ту ночь.

С того дня по пятам преследовали ее подозрения. Выйдет во двор – будто некий соглядатай прочь бежит от ограды. И на улице случайные прохожие почему-то оглядываются на нее. В автобусе совершенно незнакомые люди смотрят на нее так, словно у нее что-то не в порядке. Особенно мужчины, как сговорившись, прилипчиво и бесцеремонно ощупывают ее взглядом с головы до ног. И все будто знают о ней что-то неприличное, нехорошее, будто догадываются или слышали о ее позоре и будто осуждают ее за ту постыдную слабость. Да-а... Видно, неслучайно сказывают, что земля слухом полнится.

Должно быть, существует все же некое недремлющее

око, все слышащее ухо, болтливый язык, которые видят маленький твой проступок, слышат и ловят каждое твое неуместное словцо, тотчас рассказывают о каждом твоем опрометчивом шаге, и нет от них спасу нигде, никогда. Должно быть, они успели о том поведать, всему городу. Конечно... Иначе с какой стати все вокруг пялили на нее глаза?

И разве такой слух останется в пределах одного города? Как бы не так! Наверняка дополз он и до фронта, дошел до Жанибека. Потому-то и перестали вдруг приходить от него письма. Ну, Жанибека можно понять. Однако как объяснить ее теперешнее спокойствие, даже равнодушие какое-то, когда еще недавно она не находила себе места, если от мужа не было вестей более одной недели? И разве не желает она в душе, чтобы сейчас эти письма еще немножко задерживались в пути? Как бы она поступила, получив в эти дни от мужа письмо? Нашла бы в себе силы и решимости тотчас взяться за перо и написать ему ответ? Вряд ли... И потому, может быть, лучше сейчас и для нее, и для Жанибека вот такая неопределенность. Только сколько она может длиться? Ведь если она сейчас испытывает стыд, робость всего лишь перед письмом мужа, то как ей быть завтра, когда он сам предстанет перед ней? Как посмотрит ему в глаза? А не хочется ли ей в душе, чтобы не только его письма, но и сам Жанибек задержался еще на некоторое время там, на фронте? Но ей было неприятно сознаваться себе в этом, и даже сами эти думы были противны. Да и зачем понапрасну ломать себе голову и изводить себя думами о том, что еще когда-то будет или не будет? Ей достаточно теперешних ее забот.

Теперь ее забота – как входить в собственный дом и как выходить из него. Теперь для нее забота – как отделаться от навязчивых взглядов уличной толпы. Теперь уже забота – какими глазами смотреть на родного сыночка, на маленького Алибека, воспитывающегося у бабушки и дедушки.

Раньше, хотя и редко, но, случалось, забирала она Алибека к себе. Теперь она на это не решалась. Ей упорно казалось, что в просторном четырехкомнатном особняке нет ни одного уголочка, где бы можно было скрыть ее тот ночной срам от невинного детского взора. И раз так, то уж лучше оставаться одной со своими душевными муками.

Видно, замечала маленькая старушка: что-то неладное творится с дочерью. «Чего такая бледная ходишь? – спросила ее при последнем посещении.– Или тяготит что-то?» Только сыночек никаких перемен в матери не замечал. Чернявый, гладкий мальчонка, завидев мать, издалека бежал, смешно перебирая ножками, навстречу, бросался ей на шею. И чем сильнее он обвивал ее своими ручонками, тем ощутимей сковывал ее душу непостижимый холод. Ее охватывал страх. Раньше, лаская своего ребенка, она испытывала ни с чем не сравнимое блаженство. Что же теперь с ней стало? Откуда эта умерщвляющая душу стужа, эта черствость? Будто некая черная сила или таинственное, как возмездие, зло неодолимой преградой встало между нею и другими людьми – близкими, знакомыми, родными, отцом, матерью, более того, кровным дитятей, вышедшим из ее лона, и раз и навсегда провели резкую, как пропасть, грань между нею, несчастной, отторгнутой, и всем остальным, бесконечно многообразным миром. Отныне даже думы о Жанибеке вселяли необъяснимый страх. И, казалось, нечего ей ждать в этой жизни, кроме бессилия и опустошенности.

Все вокруг нее как-то сразу лишилось всякого значения и смысла. По утрам, как неживая, брела на работу. Вечерами так же тащилась домой. Даже не помнила, во что одевалась. Лишь, приходя на работу, бросала мимоходом рассеянный взгляд на большое зеркало у входа и тотчас успокаивалась. Лоб был по-прежнему чист и гладок. Брови вразлет. Ресницы густы и длинны, да еще с загибом. Большие, как блюдца, глаза полны огня и света. Губы, как в лучшие годы, сочны, ярки и полуоткрыты в ожидании желанной сладости. И вся она чистенькая, ухоженная. Одета с иголочки, ну надо же... Как же так?! Разве не чувствовала она себя только что подбитой, опустошенной, будто чья-то жестокая рука вынула из нее сердце и пнула его собаке на съедение? Или зеркало лжет? Разве эта цветущая красивая молодая женщина не она? Каким же образом ее душевная маята, ее глухая тоска, сковавшая душу холодом, никак не отразилась ни на ее лице, ни в глазах? Видно, какая бы гора горя ни обрушивалась на нее, эта женщина не может не следить за своей внешностью. Видно, какая бы гора неприятностей, ни наваливалась на нее, эта женщина не потерпит ни одной пушинки, ни одной лишней складки на себе. Видно, какая

бы гора неудач ни обрушивалась на нее, эта женщина просто по своей природе, по своей изначальной сути не может не быть красивой. Видно, какая бы гора лишений ни придавливала ее, эта женщина не может задохнуться, захлебнуться от боли и тоски... Впрочем, нет, нет... спаси ее аллах от всех напастей! Она содрогнулась от одних только этих мыслей.

Но гора горестей все-таки обрушилась на нее. Зашла как-то после работы к родителям, увидела их поникшими в безутешной скорби и сразу обо всем догадалась. Так и застыла у порога, привалилась к косяку, в растерянности не соображая, как ей быть, как поступить. Лишь через некоторое время как бы очнулась и бросилась к отцу, обхватила его за шею. Черный Махмут зашелся, затрясся в плаче. И из ее глаз хлынули слезы. Она еще не знала, отчего эти слезы, кого оплакивает, то ли сложившего свою кучерявую голову Жанибека, то ли себя, неутешную вдову, то ли сиротинушку Алибека, то ли старых родителей, убитых бесталанностью своей любимой дочери, нет, не знала она еще, не знала, а только все плакала, исходила слезами, крепко прижав к груди белую нынче, будто мукой посыпанную голову своего отца – Черного Махмута.

Недолго пожил Черный Махмут после той черной вести. Отправился однажды на базу, схлестнулся отчего-то со строптивым кладовщиком, да и рухнул вдруг, закатил глаза на тюк тканей. Эти две смерти, два больших горя, казалось, начисто смыли грех с души, будто вытравили из памяти ту злосчастную ночь. Теперь чудилось, люди глядели на нее не осуждающе, а сочувствуя, сожалея. Во взглядах, сопровождавших ее на улице, в автобусах, на работе, она видела лишь человеческое сострадание и жалость.

Это она впервые отчетливо осознала... да, да... именно тогда, когда пришла на прием к тому... давнему знакомому молчуну; с редкими, как ковыль, волосами. Она и раньше не раз слышала эту фамилию – Кузембаев. Знала, что он один из немногих, облеченных большой властью в этом городе. Но разве могла она предположить, что Кузембаев – тот самый лопоухий молчун, который некогда робко взглядывал на нее?!

А направила ее к нему старая мать. Еле-еле уговорила. Востроносая старушка сильно сдала после смерти мужа,

согнулась чуть ли не пополам. Однако, когда распалялась, в бесцветных старческих глазах, как и прежде, вспыхивали колючие искорки:

– Смерть кого угодно подкосит. Лишилась старика своего, и вот видишь – к земле меня пригнуло. Что и говорить, горе не красит. Но я стара и свой век отжила. А тебе-то, молодой-горячей, зачем горю-унынию предаваться?

Бедный Жанибек погиб в кровавой битве. Никто не сможет тебя упрекнуть, что не ждала его. У женщины, сказывают, сорок свечей в душе. Одна угаснет, другие светят. Еще не поздно: можешь еще свою жизнь наладить. Но не думай, что одинокой бабе и заскорузлую шкуру обнять – утешение. Такая доля не для тебя. Уцепись за полы достойного и удачливого мужчины. И не гляди, что есть у него жена, дети. Красота женщины – украшение удачливого мужчины. А состояние избранника судьбы должно служить женской красоте. Так уж повелось исстари. Тебя всевышний щедро наделил красотой. И не устоять перед тобой ни одному, кто родился мужчиной. Поверь мне. Только сама не будь раззявой, не прохлопай свое счастье, не упускай своей доли. На твоего отца тоже зарились пять-шесть казахских красоток и столько же татарских вертихвосток, а я его у них из-под носа увела. Вот так-то! Своим благом надо воспользоваться умеючи и вовремя. Не то останешься ни с чем. И никто тебя не пожалеет... От меня, дочка, уже проку нет. От сына, воспитанного вдовой, толка тоже не выйдет. Так что не мучайся понапрасну, отдай Алибека туда, где учат детей погибших командиров. Иначе будет только путаться под ногами и мешать. Этот Кузембаев – слышала? – большой начальник, давнишний приятель Жанибека. Об этом мне не раз говорил твой покойный отец. Так сходи к Кузембаеву, поговори, он – увидишь! – в два счета все решит. Ты слушай, слушай: это мой тебе совет. Не сделаешь так – локти потом кусать будешь. Ох, и пожалеешь! А узнав, что ты тут, как задрыпанная, зачуханная баба, нюни распустила, я тебя на том свете прокляну: «У, безмозглая тварь!... Сучка бестолковая!» Да, да... так и скажу. Учти!

И впилась колючим взглядом в дочь, как бы спрашивая: «Ну, как? Все поняла?» Видно, допекло старуху: решила и дочку приструнить. Позвав нежно-смуглого

мальчонку, игравшего во дворе, настояла, чтобы пошел вместе с матерью.

Да, он был все такой же, светлолицый молчун. Когда она вошла в дверь, явно растерялся, вскочил с кресла. Провел ладонью по редким своим волосам, заблестел карими глазами, кинулся навстречу. Сначала учтиво и долго жал руку, потом, предупредительно подхватив под локоток, подвел к широкому, обитому сафьяном дивану, усадил ее, а сам, стоя рядом, как и тогда, бросал на нее робкие взгляды. Смотрел долго и молча, будто пересохло в горле или будто от неожиданности не знал, что говорить.

Наконец все же заговорил. Несмело, точно через силу. Выразил свои соболезнования. Да, да... как же... сразу две смерти... жестока судьба... Потом опять умолк. И после долгой паузы поинтересовался: как жизнь, как работа...

Зухра про себя уже пожалела, что пришла сюда, и была готова уйти восвояси. На что она надеется? Вряд ли этот мямля, робеющий перед собственной тенью, способен чем-либо помочь ей...

Должно быть, Кузембаев догадался, о чем она подумала. Спросил вдруг:

– Я слушаю, Зухра. Говорите: какая забота привела вас сюда?

Она выпрямилась, подняла глаза. Огромный, сверкающий гладкой поверхностью стол, ряд разноцветных телефонов на отдельном столике сбоку, тяжелые, необъятные кресла, обшитые сафьяном, как бы свидетельствовали о том, что хотя сам хозяин и не производит впечатления грозного и властного начальника, но место, которое он занимает, достаточно внушительно. Зухре на мгновение почудилось, что там, за разноцветными телефонами, притаилась согбенная, морщинистая старуха мать и жутковато ухмыляется, как бы выжидая, заговорит нерешительная дочь о своем деле или промолчит. Ей стало вдруг страшно. Запинаясь, словно чужим голосом, заговорила сбивчиво, торопливо. Кузембаев внимательно слушал. Маленькие карие глазки еще больше сузились, льдисто поблескивали. Под тонкой кожей на шее пульсировала голубоватая жилка. Рука стиснула пучок карандашей, будто боясь рассыпать их невзначай. Голова чуть склонилась, и макушка сквозь редкие, как ковыль, волосы

медленно наливалась краской. «Что с ним? Уж не злится ли он на меня?» – подумалось невольно Зухре. Однако, опасаясь грозной и нетерпимой морщинистой старухи, притаившейся за телефонами, она тотчас задавила в себе все сомнения и решила довести свой невеселый рассказ до конца.

Светлолицый тихоня не перебивал ее, а дослушав, обескураженно молчал некоторое время. Потом прокашлялся, как бы приняв решение, и, ничего не говоря, потянулся к крайнему черному телефону.

– Алло... Это военный комиссариат?

И потом, как прилежный ученик, точь-в-точь повторяющий слова учителя, он связно и вразумительно пересказал все, что только что поведала ему Зухра.

Черный телефон молчал. Молчал. Молчал. Молчал мучительно долго. Наконец трубка прошипела что-то односложное и, послушная воле светлолицего тихони, описала медленно дугу и покорно легла на рычажок.

– Товарищи из военного комиссариата сделают все как надо. Ну, что еще у вас?

– Спасибо. Других дел у меня нет. Она встала. Поднялся тотчас и Кузембаев. Провел до двери.

– Может, перейдете на работу сюда? Как-никак ближе... под присмотром, так сказать... Может, помощь какая...

– Спасибо.

Дойдя до порога. Кузембаев левой рукой схватился за медную ручку массивной двери, а правую подал на прощание. Зухра лишь на мгновение глянула ему в глаза и оробела: столько было в них молчаливого сочувствия, невыразимой жалости, покорности. Казалось, еще одно мгновение и из этих карих, преданных глаз польются слезы. Никогда, ни в чьих глазах она еще не видела такого выражения. Она торопливо простилась и бросилась на улицу. Только там перевела дыхание и чуть-чуть, лишь краешком губ, улыбнулась.

Позже, спустя годы, вспоминая то мгновение, Зухра вздыхала: «Ах, как летит, однако... (сказать «жизнь» она не решалась) времечко...»

После того случая она и в автобусе, и в магазинах, и на работе постоянно ловила в глазах мужчин тихую жалость и сочувствие. Она с трудом удерживалась от улыбки, когда это же выражение печали и нежности замечала

в глазах мужчин внушительных и строгих, которые и ступали-то по земле так, будто для них не существовало никаких преград.

Вскоре маленького Алибека направили в далекий город в нахимовское училище. Боже, все на нем было неправдоподобно крошечным, игрушечным. И брючишки. И рубашонка. И курточка. И пальтишко. И блестящие пуговички на нем. И ботиночки. И черный чемоданчик. И сам он, боже милостивый, точно гномик из сказки, стоял, застыв, возле этого чемоданчика. Беспомощно торчали крохотные ушки; невинно поблескивали маленькие глазки. Она с жалостью и умилением глядела на этого мальчика с пальчик, – на игрушечного мужичонку, на своего кровного дитятю. Неужели это ее плоть, ее кровинушка? Да у какой матери на белом свете есть еще такое милое дитя?! Она не могла наглядеться на него. А подтянутая, красивая девушка в военной форме, наоборот, не спускала своих глаз с нее.

Долго стояли так на вокзале. Наконец девушка в военном сухо сказала:

– Время вышло. Прощайтесь.

Она обхватила, обняла крохотного сыночка, всего-всего общеловала – и крохотное личико, и крохотный носик, и крохотные ушки, и крохотные преданные глазки – всего, всего...

Маленький Алибек, оставив на перроне одну ха-а-рошенькую тетеньку, нехотя побрел-потопал за другой ха-а-рошенькой тетенькой. Он всегда смущался, робел перед той ха-а-рошенькой тетенькой, оставшейся сейчас на перроне, и то же смущение, ту же робость испытывал и перед этой совсем чужой ха-а-рошенькой тетенькой, которая решительно вела его за ручку куда-то. Если бы сейчас... ну, хотя бы на мгновение показалась согбенная, светлоликая старушка... он бы вырвался от обеих ха-а-рошеньких тетенек и опрометью бросился бы к ней... обхватил бы ее за шею крепко-крепко, так, чтобы никто не мог его оторвать, отнять, зарылся бы лицом в ее грудь, вдыхая столь знакомые, родные запахи... и, избавляясь от непосильной тяжести тоски и обиды в своей маленькой груди, долго-долго плакал бы, плакал, плакал... И не успокоился бы, пока не получил из маленьких, морщинистых рук или горячий пирожок, или конфетку в яркой обертке.

При входе в вагон он оглянулся в последний раз. Бабушки не было видно. А его ха-а-рошенькая тетенька еще стояла на перроне и глядела на него...

Беспомощный, жалобный взгляд Алибека в то мгновение почему-то напомнил Зухре светлолицего тихоню в огромном кабинете.

Четырехкомнатный особняк встретил ее привычной, опостылевшей тишиной. В какую бы комнату ни входила – ни единого шороха, кроме скрипа двери. В комнате, где прошлую ночь спал маленький Алибек, чуть-чуть высовывались из-под широкой железной кровати с никелированными шарами на боковинах аккуратно поставленные домашние тапочки. Боже, до чего же малюсенькие!...

В глазах Зухры опять всплыл чистенький мальчик-крохотуля с печальными глазками. Вот он стоит, надувшись, у вагона... Она сама себе улыбнулась.

Гладкий, до блеска отполированный стол. Гладкое, начищенное зеркало. Гладкий, лаком покрытый паркетный пол. Гладкий сверкающий телефон. На гладком столе гладкая лощеная бумага. Перо скользит по ней, точно конькобежец по катку. Даже футляр из-под пишущей машинки на низеньком журнальном столике и тот сверкает чистотой.

Сквозь гладкие, прозрачные оконные стекла льются сочные солнечные лучи и, отражаясь в слепяще-гладком зеркале, играючи скользят по глади стола и паркета. И когда эти игривые зыбкие лучи, густея, начинают накаляться, стеклянные часы в блестящей коробке на выкрашенной, до блеска гладкой стене издают хрустально-чистый перезвон. И в то же мгновение ярко накрашенная, выхоленная молодая женщина, дробно постукивая каблучками, подходит к гладкому, будто вылизанному, столу у тщательного вымытого окна легко и изящно опускается на стул. И так она сидит, сидит, сидит до тех пор, пока стеклянные часы в блестящей коробке на выкрашенной до блеска гладкой стене не зайдутся снова в хрустальном перезвоне. Как только раздается этот бьющий отбой перезвон, так холеная молодая женщина вспархивает со своего места.

В этом гладком, старательно отполированном мире, оказывается, и глазу твоему не за что уцепиться.

В этом гладком, старательно отполированном мире,

оказывается, и желания твои бесконечно скользят, скользят по поверхности.

В этом гладком, старательно отполированном мире, оказывается, и дни твоей жизни скользят, неведомо куда, не оставляя следа.

И теперь сама Зухра уже не припомнит, когда, после скольких лет службы в этом гладко-паркетном учреждении случилось то памятное ей событие. Но когда оно вспоминается, перед взором ее тотчас встает широченный брезентовый плащ в грязных, глинистых разводах...

Да, самый обыкновенный, грубый брезентовый плащ, от малейшего прикосновения шуршащий, точно камыш в огне. Плащ-палатка, надежно укрывающая тебя с головы до пят. Без рукавов. Вместо них по бокам полуаршинные прорези, через которые при необходимости можно просунуть руки. К вороту наглухо пришит просторный башлык. Не плащ – непробиваемая, непроницаемая броня. Как это здорово – улиткой вобраться под необъятную накидку, накрыться башлыком и долго любоваться неистовым ливнем! Крупные, прозрачные капли дробно стучат по башлыку, словно норовя пробить его, и, обессиленные, струйками стекают по шершавой, плащевой ткани, бесследно исчезая в вязкой глине под твоими ногами.

Небо точно разверзлось и бесконечно сыплет прозрачными бусинками. Будто нанизанные на невидимую нить, они струятся и струятся с поднебесной выси и час, и два, а то и день, и ночь.

Часами могла наслаждаться Зухра, испытывая в душе ликующую радость, при виде этого чуда природы. Небо лохматое, всклокоченное, в темно-бурых клубах, чумазое какое-то, как подол неряшливой бабы. И земля такая же – исхлестанная потоками, в неприглядных лужах, – замызганная, сальная. А в пространстве между грязными небом и землей ошалело резвятся невинно-чистые дождинки. Особенно шалеют они, когда начинают прыгать по поверхности непроницаемого плаща, под которым надежно укрылась Зухра. Казалось, эти прозрачные бусинки зарождались не где-то там, в небе, а в ней самой. Или, точнее, будто она сама превращалась в тысячи, миллионы, миллиарды серебристых дождинок.

Дивное диво – этот мир! Сколько в нем неистребимой радости, девственной чистоты, бесшабашной удали! Все

грязное, пыльное, сальное, гадкое – отвратительные запахи, выхлопные газы, копоть, сажа, угольная пыль, бензинная гарь, отбросы и жалкие останки человеческого бытия – разом исчезло, испарилось, будто и не было никогда. Только чистый, без единой пылинки, воздух да прозрачные, серебристые дождинки в этом беспредельном, ликующем мире:

– Может, сестренка, свежим воздухом подышим, а?

– ...

– Вы когда-нибудь живых фазанов видели?

– ...

– Нет ничего красивее на этом свете!

– ...

– Не видели – так я вам с удовольствием покажу.

– ...

И вот теперь она дышала этим чистым, свежим воздухом. Да что там дышала – сама вся растворилась в нем, вся-вся, без остатка, разом очистившись от всевозможной скверны. Будто после долгой разлуки вновь свиделась с природой, или, точнее, сама превратилась в нее, слилась с ней, отрешенная от себя, от всего житейского и низменного. Подобное состояние она испытала, пожалуй, один-единственный раз в своей жизни – в первую брачную ночь. Тогда, помнится, так же кружилась голова, замирало сердце.

И этому состоянию она лишь недавно нашла объяснение: оказывается, и счастье пьянит. И тогда она была пьяна от счастья. Но сейчас... что же с ней происходит сейчас... Отчего она сейчас-то опьянела? От вселенской чистоты? От свежего, дождем очищенного воздуха? Может быть... Может быть... Иначе почему же у ней, как тогда, приятно кружится голова и замирает сердце? Мириады дождевых капель, сливаясь, вдруг обернулись перед ее отуманенным взором безбрежным морем.

Упругие струи, сбиваясь, хлестали ее слева и справа, снизу и сверху и мерещились неотвратимо надвигающимся потопом. Сейчас, через мгновение, неукротимый поток подхватит и ее, как щепку, как высохшую камышинку, как беспомощно сучащего лапками черного жучка, как яичную скорлупу, как разбухший окурок, как пустую спичечную коробку и понесет, закружив в воронках, неведомо куда. Разве удержишься перед неистовым напором этого грохочущего, ревущего, гудящего, хляскающего, плеска-

ющего, все сокрушающего и сметающего на своем пути водопада? Нет, не удержится, не устоит на своих ногах. Через миг-другой и ее щепкой затянет в этот дикий круговорот и понесет вместе со всем многоликим мелким мусором. Кто ее спасет от грязно-мутного потока, свирепо скачущего по исхлестанной ливнем земле.

Во всем ее теле медленно нарастала дрожь. Прозрачные дождинки, резко скакавшие по поверхности брезентового плаща, вдруг тоже чего-то испугались и торопливо отскакивали прочь, тотчас исчезая в стремительных ручьях у ног. И ей хотелось, как эти дождинки, бежать, бежать, куда-нибудь без оглядки – но не могла; и ей хотелось изо всех сил сопротивляться, противостоять этой дикой необузданной стихии – и тоже не смогла. И когда уже, смирившись со своим бессилием, она... Тут кто-то крепко схватил ее под локоть. В следующее мгновение грубо и властно сграбастал сзади. Кто это? Что это? Человек или селевой поток? Она не могла этого сразу понять и лишь покорно подчинилась неведомой силе. А она, властная сила, внесла, втолкнула ее в теплое нутро черной «Волги», сверкавшей зеркально гладкими боками под упругими струями ливня. Опрокинув ее навзничь на разложенные мягкие сиденья, все та же неведомая сила все увереннее подчиняла ее, подминала, обдавая жаром, от которого растекалась по телу истома, сами по себе закрывались глаза и мутилось сознание. Чтобы избавиться от головокружения и накатывающейся тошноты, она сильнее зарывалась лицом в теплые объятия. Где-то снизу, сбоку толчками обжег ее жар, хлынул к груди, обдавал, захватывал ее всю. И она вдруг, поняла каждой клеточкой своего разомлевшего тела, что именно этого жаждала ее истосковавшаяся душа... что плоть ее с восторгом откликнулась на этот горячий зов, на этот все сильнее распаляющийся жар... и ничего не надо, ничего, ничего, ничего ей больше не надо... лишь бы не угас этот жар, не лишился он своей испепеляющей силы, не оставил ее одну, наедине с опостылевшим зябким ознобом в теле. И поэтому она помимо воли, уже совсем не помня себя, страстно потянулась навстречу своему желанному огню.

Вдруг в этой сладостной беспросветной тьме что-то ослепительно блеснуло и вслед за этим обрушился страшный грохот, от которого вздрогнула машина, защищав-

шая их от обвального черного ливня. Она на мгновение открыла глаза и увидела чью-то мокрую распаленную грудь, еще сильнее придавившую ее, будто норовила задушить, ее в своем неистовстве. Хотя ей и трудно было дышать, но она еще с большим упоением уткнулась в эту сильную, самовластную грудь. И тут опять блеснуло, высветив гигантской вспышкой серую безотрадную мглу, и от жуткого грохота небо будто раскололось. И в это мгновение подчинившая ее всецело своей воле неотвратимая сила завладела ею грубо и решительно, будто разрывая ее онемевшую от сладкой боли плоть.

Она словно сквозь завесу услышала странный звук – то ли плач, то ли задушенный смех, и самым странным было то, что это был ее голос. Она крепко-крепко зажмурила глаза и поплыла куда-то на мерных волнах невыносимого упоения. В ней погасло ощущение времени, будто провалилась в забытье. И когда снова, с усилием открыла глаза, то с удивлением заметила: дождь перестал, сумерки сгустились, веяло сыростью и прохладой. Она вся сжалась и вновь прильнула к той спасительной, горячей груди, ища забвения.

Через некоторое время, придя в себя, она опять приоткрыла отяжелевшие веки и еще больше удивилась. На небе роились, перемигивались отмытые дождем звезды. Откуда-то слабыми толчками налетел бодрящий ветерок. Откуда-то струились дурманящие запахи. Где-то упоенно щебетала, выпевала что-то горная птаха. Еще где-то, должно быть, в низине, непристойно расквакались лягушки. Звезды в вышине на мгновение настороженно застывали, вслушивались, силясь понять, откуда доносился этот неуемный лягушачий хор. Ночь насупилась. Чуть поодаль призрачно темнела машина. То ли от жутковатого мрака вокруг, то ли от ночной прохлады Зухра вздрогнула, съежилась. Осторожно заворочалась, ища надежной защиты и тепла. И, словно отзываясь на ее безмолвный зов, все та же горячая, мускулистая грудь тотчас склонилась над ней, затмевая мерцавшие звезды на небе.

В эту ночь она безропотно покорилась желаниям этой горячей, неутомимой груди.

Утро выдалось ясным, пышным. Проснулись они, когда солнце поднялось над горизонтом на длину лошадиных пут. Обильная роса на траве успела высохнуть. Когда он поднял с земли брезентовый плащ и набросил его на пле-

чи, Зухра, увидев мокрые грязные разводы под лопатками, вспыхнула. Да-а... что было – то было. «Ах, как летит, однако... (сказать «жизнь» было выше ее сил) времечко...» – вздыхала она, спустя годы, вспоминая ту славную пору.

Как она только раньше не замечала такого чуда! Все вокруг казалось ей сейчас чистым-чистым, без единого пятнышка, и белым-бело, будто выпал пушистый снежок. И посредине этого белого царства находилась она. Теплая, приятная волна словно окатывала, лаская, все ее успокоившееся, удовленное тело. Мелкие, невидимые твари, еще недавно ползавшие по ней, покусывавшие, покалывавшие тысячью иголок, наконец, присмирели, утишились. Но как только она увидела измазанный глиной грубый брезентовый плащ, на спине, между лопатками, тотчас начинало зудеть, будто притаился там большой рыжий мураш.

Потом они сели в машину. И долго кружили, петляли по тропинкам, по бездорожью, по оврагам-холмам, пока выбирались на широкое шоссе. Тут уж машина понеслась во всю свою прыть. Зухра, устало откинувшись на спинку переднего сиденья, молчала, а жжение между лопатками так и не отпускало ее: рыжий мураш копошился там всласть, чувствуя полную свою безопасность.

Тугой ветер бил в открытое окно. Густая шерстка на крупных, сильных руках, стиснувших руль, колыхалась. Время от времени тяжелая, обнаженная по локоть правая рука уверенно обхватывала шею Зухры, притягивала к крепкой, горячей груди, и каждый раз чудилось, будто еще один крохотный голодный мурашик, переползая по волосатой руке к ней через вырез платья, быстро-быстро перебирался, присоединялся к тому, что затаился на спине между лопатками.

Серая лента асфальта разматывалась бесконечно. И, казалось, не будет ей конца: она тянулась от перевала к перевалу. Машина скользила по ней как одержимая, и ветер, врываясь в открытое окно, гудел монотонно и заунывно на одной предельной ноте. И еще он беспрестанно шевелил шерсть на мускулистых руках, как бы подчеркивая их грозную и властную силу, а правая рука всю дорогу то и дело обвивала ее белую, нежную шею. И назойливых, голодных, бесцеремонных муравьев становилось все больше и больше, и расползались они по всему телу, причиняя нестерпимый зуд.

Ехали долго. Город будто упрямо удалялся от них. Наконец-то показались дома на окраине. Рыжие мураши обжигали, покусывали ее все нещадней, иногда они жалили, словно овод. Свербило так, что не было спасу. Особенно рьяно закопошились мураши, когда машина сбавила скоросгь, начала плутать по кривым окраинным улочкам, и прохожие, мерещилось, с любопытством косились на них.

Еще через некоторое время машина вывернула на проспект, упирающийся в горы. Наконец резко тормознула у особняка за оградой. Мохнатая рука в который раз обвила ее шею, сжала, как в тисках голову, и мясистые упругие губы, истомившие ее за ночь неутоляемой страстью, жадно впились в ее распухшие, изболевшие губы, обжигая ее сладким и гибельным огнем.

Ух, наконец-то отпустил...

И только теперь она отчетливо осознала вдруг, что переступила невзначай ту, казавшуюся ей столь страшной, будто черная пропасть, грань, одни только думы о которой еще недавно ввергали ее в ужас и смятение. И до чего все это оказалось просто! Странно: чего она столько времени боялась? Ну, да ладно, о том она успеет подумать спокойно потом, когда уляжется в свою привычную, чистую постель. А пока у ней одна забота – как можно скорее избавиться от невидимых мурашей, причиняющих ей невыносимый зуд во всем теле. Надо же, даже в глазах затуманилось и зачесалось.

А вот тебе и сюрприз! На лавочке у ворот сидел неуклюжий с виду крупный лысый мужчина с черными усами. Увидев ее, поднес большой палец к ноздрям и гулко, будто в бочку, чихнул несколько раз кряду. Потом неторопливо сунул пузырек из-под пенициллина, в котором хранил нюхательный табак, в задний кармашек просторных брюк. Когда вскочил, едва не запутался в полах длинного чапана. Чуть поодаль стояла невзрачная серолицая женщина в длинном, до пят, пестром платье, поверх которого надела длинный, явно не по росту, мешковатый серый пиджак. Вся грудь женщины была увешана бусами. Судя по всему, многодетная...

– А-а... если не ошибаюсь, ты, наверное, Зухра? – сказал мужчина, по-аульному простодушно и многословно здороваясь.

– Здравствуйте...– едва пошевелила губами женщина.

Зухра ответила сдержанно и вяло. Отперла дверь. Черноусый, крякнув, взвалил что-то на плечи. Зухра прошла – каблучками цок-цок: те незнакомые последовали за ней – шлеп-шлеп. Зухра замешкалась в прихожей, сняла обувь. Те двое остановились, войдя лишь в гостевую комнату. Лысый верзила, раздумывая, куда бы скинуть с плеч громоздкий полосатый мешок, постоял немного в растерянности, потом неуклюже прислонил его к полированному шифоньеру в углу. После этого, шумно передохнув, отряхнул ладони и плюхнулся на венский стул возле сверкающего, как зеркало, стола. К счастью, стул хоть и затрещал, но выдержал, не развалился. Серолицая женщина скромно опустилась на краешек табуретки возле двери. Черноусый развалился вольно, будто зашел в отчий дом, а серолицая вся сжалась, согнулась, словно не терпелось ей скорее уйти отсюда.

Молчали все трое. Спросить, кто они, гости, и откуда, Зухра не решилась. Отвечать, когда ни о чем не спрашивают – гости не решались. Вот и продолжалась, неизвестно сколько, эта тяжкая молчанка. Первой все же не выдержала хозяйка. Схватив медный самовар, вышла во двор. И снова вошла в дом лишь тогда, когда самовар начал насвистывать свою немудреную песенку, как бы вопрошая: «Вы что, милые люди, языки проглотили или обет молчания друг другу дали?»

Принялись так же молча пить чай. Верзила сопел, отдувался и шумно водил кадыком. Женщина, сжавшись в комок, точно напуганная птица, осторожно касалась губами краешка чашки и причмокивала. Оба сразу же обильно вспотели. Женщина без конца потягивала-пошмыгивала плоским носом и прикладывала ко лбу широченные рукава ярко-пестрого платья. А мужчина, словно не представляя, каким образом удобно остановить два темных ручейка, струившихся по скуластому лицу, время от времени искоса взглядывал на смазливую молодку, учтиво разливавшую и подававшую чай.

Если степняк искони привык обходиться без носового платка, то горожанке невдомек подать полотенце гостю, обливающемуся потом. Однако усатого детину, широко и вольно расположившегося за столом, это обстоятельство не особенно обескуражило: он схватил со спинки свободного стула чистое накрахмаленное полотенце, с яростью провел им раза два по взопревшим, как после бани,

лицу и голове, и, смятое, потемневшее, будто тряпку, швырнул рядом.

Выхлебав самовар, супруги уединились в затишье за домом и о чем-то тихо переговаривались.

Зухра не находила себе места от невыносимого зуда – казалось, вся кожа горела. А тут еще приковал внимание и раздражал ее пыльный полосатый мешок, прислоненный к полированному темно-коричневому шифоньеру. Как неуместен был этот мешок в чистой, будто вылизанной, гостиной комнате! И что это за люди, так некстати и бесцеремонно ввалившиеся к ней?!

Весь день гости и хозяйка настороженно поглядывали друг на друга. А день, как нарочно, не убывал. Еле-еле дождались вечера. Еле доспело, наконец, и мясо в котле. Так же, сопя и отдуваясь, управились и с вечерней трапезой. Усатый верзила, сыто рыгнув, принялся ковыряться в зубах. Его маленькая серолицая жена поминутно взглядывала на мужа, будто боялась, что ее могут в любое мгновенье невесть куда уволочь. Но и это еще ничего.

Зухра предоставила гостям спальню, где по стенкам стояли две кровати. Мужчина сразу же плюхнулся на ту, что стояла у правой стенки, а женщина, словно стесняясь собственной тени, что-то копошилась и копошилась, пока не угас свет во всем доме, а потом, не замечая пустующей кровати у противоположной стенки, тоже шмякнулась рядом с мужем, помянув раза два всевышнего. Бедная кровать застонала, едва не касаясь податливой сеткой пола. Если гостья и понятия не имела о привычке замужних горожанок спать на отдельной кровати, то хозяйка не имела представления о том, что истая степнячка считает предосудительным не то что спать отдельно от живого мужа, но даже класть под голову отдельную подушку. Зухре, наоборот, показалось неприличным, что серолицая долгополая баба развалилась в гостях рядом с мужем, будто боясь, что кто-то, воспользовавшись темнотой, завладеет им. А особенно раздражало то, что супруги, едва коснувшись головами подушки, опять принялись шептаться. И опять серолицая зашлепала, зачмокала губами так же, как и во время чаепития. Что за отвратительная манера! Наконец-то чмоканье прекратилось. Но тут почти без паузы раздался могучий храп усатого верзилы – со стонами, с замиранием, с дрожью и перепадами. Время от времени храп ослабевал, куда-то

проваливался, а то и вовсе исчезал, обрывался, но вслед за недолгим напряженным затишьем взрывался вдруг такой натужной силой, что, казалось, сотрясался, вздрагивал дом, срубленный из сосновых бревен. Можно было подумать, что из предгорных зарослей выбралась стая диких кабанов и в неистовом рвении подкапывает особняк.

Перед глазами Зухры неотвязчиво замельтешили уродливые видения. Она подоткнула со всех сторон одеяло, укрылась с головой, но тщетно: от могутного храпа не было никакого спасу. А серолицей хоть бы что: лежит себе, посапывает, и, кажется, даже во сне губами причмокивает. Правда, изредка и она принималась яростно скрипеть зубами, и тогда Зухре мерещилось, будто дом кишмя кишит бог весть какими тварями. Раздражал и стойкий, затхлый запах, шедший от громоздких, растоптанных сапог, небрежно брошенных у порога. Время от времени вспарывали ночную тишь, сотрясая небо, и самолеты, пролетавшие над крышей. Дескать, ладно уж, какая разница, все равно тебе уж нынче не уснуть...

Да-а, сон не шел. До чего же мнителен и привередлив человек! Скотина или зверь в таких случаях спит себе безмятежно и в тесноте, не обращая внимания на звуки и запахи. А человеку подавай отдельную келью, свою постель, тишину и прочие удобства. Это разве жизнь в тесноте и грязи?!

Так и промаялась Зухра всю ночь, не смыкая глаз.

За утренним чаем не засиживались, как вчера: пили в спешке. И потому, должно быть, пот с лица гостей не струился так обильно, как накануне. Едва убрали со стола, как супруги встали. Сначала несколько растерянно переглянулись, потом оба разом уставились на громоздкий полосатый мешок, с каменной неподвижностью прислонившийся к боку сверкающего шифоньера. Наконец, еще немного потоптавшись, гости вышли – чем-то явно смущенные. Зухра выглянула в окно: серолицая, поблескивая стальным зубом, что-то быстро-быстро выговаривала мужу, а он, такой долговязый, громадный, еще вчера точно подпиравший головой потолок, вдруг отчего-то странно сник, согнулся весь и ступал неуверенно, заплетаясь ногами.

«Кто же они такие? Что от меня хотели?» – впервые всерьез задумалась Зухра. Среди ее близких и знакомых,

насколько ей известно, таких простодыр вроде не было. Может, это были какие-нибудь родичи покойного Жанибека, которых она и в глаза не видела? Вполне может быть... Однако строить догадки и раздумывать об этом у нее сейчас не было ни желания, ни сил; невидимые мураши копошились, бегали по ее телу, причиняя горячий зуд. Она опрометью бросилась в ванную, лихорадочно сбросила с себя все и встала под горячую упругую струю душа. И тут только – боже! – нестерпимый зуд отпустил ее, будто все эти гадкие твари, терзавшие ее со вчерашнего дня, разом разбежались в страхе. Что-то сразу улеглось в душе, успокоилось, и вновь вернулось желанное облегчение. А она все яростнее скребла себя, все свое обмякшее вдруг тело, вновь и вновь намыливаясь душистым розовым мылом. И вместе с хлопьями пены, казалось, с нее сходила, смывалась некая липкая нечисть. Ух, как хорошо принадлежать самой себе! Какое наслаждение быть иногда одной, совсем-совсем одной. Зоркоглазое лихо по имени стыд, смущавшее ее со вчерашнего дня, упорно навевавшее сомнения и ощущение какой-то вины, вдруг оставило ее, куда-то ушло, спряталось, и сразу же с ее души свалился неимоверный груз.

Обернувшись широким пушистым полотенцем, она вышла из ванной. Задернула плотные оконные шторы. Плюхнулась в постель. Разморенное, распаренное ее тело смугло белело в сумраке, испытывая блаженство оттого, что избавилось, наконец, от ненасытных невидимых тварей, терзавших ее плоть со вчерашнего дня. И все же неясная тревога не покидала ее. Что это? Какая тревога? Она и сама не могла понять. Одно было очевидным: нет большего удовольствия, чем оставаться наедине с самой собой. В присутствии посторонних человек – что ни говори – не чувствует себя свободным: начинает смущаться, зажимать себя. Даже самим собой, собственным телом не распоряжается.

Зухра всегда чувствовала, что хороша собой. Чувствовала по долгим взглядам, всюду преследовавшим ее. А теперь воочию убеждалась сама в том, что не просто хороша, а поистине красавица. Какие у ней, оказывается, стройные ноги! Щиколотки тонкие, стопа маленькая, пальцы ног будто выточены. Икры полные, упругие, покрыты ровным смугло-матовым загаром. В этих юных, гибких мышцах, играющих под нежной, чистой кожей, ощущает-

ся задорная сила и неуемная жажда движения. И груди у нее тугие, полные, неутомимо вздымаются и опускаются, дышат трепетно, радостно.

Надо же... еще недавно испытывала такую разбитость, усталость во всем теле, что думала: провалится в забытье, едва коснется головой подушки. А теперь тело ее будто ожило, наполнялось смутным, но сладостным желанием, и жаждало оно не покоя, не тишины, нет, нет... а некоей силы, решимости, воодушевляющей, одухотворяющей эту красоту. Да, да, эти круглые, горячие бедра, эти упругие, трепетные груди, тонкий, сильный стан, гладкая, мягкая шея, покатые плечи, по которым рассыпались волнистые черные волосы, испытывали сейчас неодолимую тоску по жарким, нетерпеливым ласкам, по грубоватым, причиняющим сладостную боль движениям, таким, как в прошлую ночь, как на рассвете под открытым небом. Этому здоровому, налитому молодой силой телу нужны не сонная тишь, не размоpенная благость, а яростная сила, бурная страсть, живая тяжесть, от которых вспыхивает в жилах кровь и немеет в самозабвении истомленная плоть. Ей будто только сейчас открылось то неведомое, что столько времени ее тяготило.

Ей вдруг померещилось, что кто-то в сумеречной комнате подслушал ее затаенные мысли и ядовито хмыкнул.

Точно пламя полыхнуло по ее обнаженному телу. Она вскочила с постели. Отшвырнула мохнатое полотенце. В круглом зеркале напротив мелькнуло отражение. Она с удивлением застыла перед ним. Впервые она видела себя такой. И почувствовала тотчас, как вспыхнули ее щеки. Она смущенно отвернулась. В раме за стеклом краешком губ желчно ухмылялся Жанибек. Она сама не заметила, как сорвала со стены портрет и сунула его под ворох белья в шкаф. Неясная тревога, преследовавшая ее все что время, тут же развеялась, словно потухла сразу. Зухра, успокоенная, вновь бросилась в постель и тотчас уснула. И проспала, как убитая, до утра.

Все-таки мудреная штука – жизнь... Вдруг подхватит, закружит, понесет тебя бог весть куда. И не успеешь сообразить толком, что к чему... С некоторых пор после обеда на Зухру ни с того ни с сего наползала неизъяснимая скука. В неприемные дни ее начальник во вторую половину дня или отправлялся в вышестоящие инстанции, или, собрав своих подчиненных, проводил у себя же бесконечные совещания.

В эти часы Зухра не находила себе места. Должно быть, оттого, что в ее услугах никто не нуждался, а в обычно оживленной приемной не оказывалось ни одной живой души, на нее нападало вдруг сонливое состояние, и она только потягивалась и без конца зевала. И чтобы только, не дай бог, не задремать за своим столиком, она нехотя подходила к широкому, во всю стену окну и глазела на улицу. Глядела на то, как и во что одеты женщины. Потом любовалась легкими, сверкающими машинами, то и дело подкатывавшими к парадному подъезду импозантного здания, где располагалось ее учреждение.

Едва машины с легким шуршанием шин останавливались у входа, из них стремительно выныривали озабоченные, деловые мужчины и тотчас исчезали за дверью. А те, что уже закончив дела, выходили из здания, ступали важно, степенно и застывали на нижней гранитной ступеньке, словно боясь замочить штанину, и продолжали стоять до тех пор, пока машина не подруливала к ним вплотную. И когда шофер почтительно распахивал дверцу, они, эти деловые мужчины, с подчеркнутым достоинством усаживали себя на сиденье, успевая при этом обязательно оглянуться на ряд окон.

Вот подкатила, сверкая начищенными боками, еще одна черная «Волга». Сейчас из нее выскочит, как заполошный, тщательно отутюженный мужчина с ягнячьим брюшком и, энергично стуча каблуками по гранитным ступенькам, юркнет в дверь... Нет... вот тебе раз! Смотри-ка... совсем не так. Видный, представительный мужчина с седыми висками распахнул дверцу черной «Волги» и не выскочил, как все, а повременил, посидел, как бы раздумывая, выйти или нет. Потом все же вышел, да так медленно, потягиваясь, будто делал кому-то одолжение. Потом с явным небрежением повел взглядом вдоль окон на всех этажах, как бы желая удостовериться, глазеет ли кто на него. И только после этого направился к входу. Да не суетливой побежкой, как другие, а вразвалку, вальяжно, четко и крепко ступая по ступенькам. Казалось, каждый шаг его отзывался эхом. Вот он идет по коридору. Вот остановился за дверью. Потом рванул ее резко, переступил порог, зыркнул на нее и расплылся в улыбке, обе руки раскинул, не скрывая, как иные, своего восхищения.

— Уах, истинная пери!

И при этом звучно щелкнул языком.

«Вот это мужчина!» – восторженно подумала она, невольно улыбаясь в ответ.

Он уверенно вступил в приемную, развалился в кресле напротив. Из кармана дорогого, с иголочки, костюма достал изящную, с золотым ободком, роговую шакшу – табакерку. Медленно насыпал на ладонь щепоть кудрявистого, темно-зеленого насыбая, заложил привычным движением за губу. Потом, вращая зрачками больших, как плошки, глаз, принялся ее бесцеремонно разглядывать. Взгляд этот завораживал, пронизывал насквозь. И нос был крупный, с горбинкой, с нервными ноздрями. Волосы густые, жесткие, тщательно приглаженные на висках, с заметной проседью. Казалось, попробуй только перечить ему – эти жесткие волосы тотчас ощетинятся, точно иголки ежа. Она смутилась, опустила глаза. Но чувствовала, как дерзкий взгляд мужчины властно ощупывал ее, медленно скользя по ее лицу, по шее, по приоткрытой груди, по обнаженным рукам, по талии. После этого он вновь вперил цепкий взгляд в ее полные губы и круглый подбородок. Выждав долгую паузу, он мягко спросил:

– Доченька, Кузембаев у себя?

– У себя.

– Тогда доложи ему, милая, мол, профессор Себепбаев просит принять его.

Она вышла из-за стола, привычно и стремительно направилась к двери кабинета, ощущая на себе тот опытный, пытливый взгляд, заскользивший теперь от талии ниже, ниже.

Выходя от Кузембаева, Себепбаев не стал задерживаться. Только еще раз оглядел ее, как бы разом вобрав ее в орбиту своих больших, круглых глаз, и бросил на прощание:

– Спасибо!

Спустя неделю, Себепбаев заехал вновь. На этот раз он сразу прошел в кабинет начальника, а когда вскоре вышел от него, то как бы в раздумье остановился возле ее столика. Остановился, молча уставился на нее, с чувством сострадания покачал головой. В тот раз в уголках его чутких, выразительных губ играла явная усмешка, теперь они выражали искреннее сочувствие, жалость. В большие, блестящие, чуть-чуть насмешливые глаза она не

осмелилась заглянуть. И сама не знала почему. Будто опасалась чего-то.

Густой, но мягкий, проникновенный голос точно обволакивал ее.

– Видно, слишком мало бываете на свежем воздухе. Вон какая бледная! Эдак не мудрено лишиться драгоценного здоровья. Шутка ли: целыми днями томиться в затхлом помещении, дышать отравленным воздухом. И дома небось сидите, как взаперти. Нет, нет, так не годится. Решительно не годится! Я думаю, вы и фазанов-то живых в жизни не видели. Не так ли? Ну, вот... я так и знал. Живя, можно сказать, в фазаньем царстве, вы до сих пор не видели райской птицы, и после этого как вы сможете утверждать на том свете, что вы тоже некогда жили на земле?! Плохо, голубушка, совсем плохо. Признайтесь: хотите видеть фазанов? Да? Значит, завтра же пришлю машину. Пожертвуйте одним днем, полюбуйтесь на фазанов, подышите горным воздухом.

Пока она решала, что сказать, пока осмелилась поднять взор, Себепбаев уже успел выйти. И когда тяжелая дубовая дверь, глухо стукнула о косяк, Зухра будто очнулась, почувствовав странное головокруженье и тесненье в груди, а перед глазами замелькали-замельтешили алые, синие, зеленые отблески – причудливое соцветие пышных фазаньих перьев...

На следующий день к концу работы под окно ее учреждения бесшумно подкатила все та же блестящая «Волга». Зухра, сдерживая волнение, пошла навстречу. За рулем сидел сам Себепбаев.

В тот день, ясное дело, Зухра не то что живого фазана – даже тени его так и не увидела.

Однако именно с этого дня она словно разом избавилась от проклятой робости и отныне уже не стала, как прежде, прятать от людей глаза. Наоборот, искоса пытливо вглядывалась в чужие лица. Особенное удовольствие доставляло ей оценивающе разглядывать мужчин. А они действительно почти все без исключения жадно пялили на нее глаза, словно выпытывали что-то. Вон стоит один грамотей у киоска, уткнулся чуть свет в газету, но стоило Зухре чуть покоситься в его сторону, как тотчас уставился на нее, словно истукан. Казалось, напрочь забыл о газете в руках. Даже если там будет извещение о смерти родного отца, и то, пожалуй, сейчас не заметит. Еще

один лопоухий на стоянке так и застыл с разинутым ртом. Она слегка улыбнулась было ему – лопоухий весь залился краской смущения. А тот сероглазый издалека на нее нацелился. Она, обернувшись, полоснула по нему взглядом – у бедняги тотчас побагровела шея и он поспешно отвернулся.

Оказывается, красивой женщине совсем не трудно определять истинную суть мужчин. Для этого вовсе не обязательно прилагать какие-то усилия: достаточно чуть поиграть глазами да разок-другой улыбнуться лишь краешком губ. И уже с помощью этих примитивных, ничего не стоящих уловок можно безошибочно узнать, что за душой у того или иного представителя петушиного рода. Если он от твоей улыбки вспыхивает, как красная девица, и опускает глаза долу – значит, робкий. Такой тебя преследовать не станет, пока сама его за ручку не поведешь.

Если в ответ на твою улыбку у мужчины расплываются губищи до ушей, и он тотчас приударит за тобой, а когда чуть нахмуришься, сразу кинется в кусты – значит, трус. От такого прока не будет. Если же твою безобидную улыбку расценит, как некий намек, и не отстанет, даже когда начинаешь хмуриться, – значит, нахал, воображала. От такого хлопот не оберешься. Если же сразу клюнет на твою улыбку и потом неотступно путается под ногами, несмотря ни на что, – значит, зануда, прилипала. У таких и чувства липкие, как рыбья слизь, а любовь – как у пиявок: присосется – не оторвешь. Если же от твоей улыбки весь расцветет, а когда хмуришься – виновато заглядывает тебе в глаза и готов расшибиться в лепешку, когда ты снизойдешь до благосклонносги, значит, тюфяк, рохля, которого можно держать на длинном поводке и помыкать им, как душе твоей заблагорассудится. Такие любят преданно, без оглядки, покорно трусят на поводу и способны ради обожаемой женщины жертвовать чем угодно, даже собственной головой.

Зухра вскоре наловчилась точно определять любого мужчину, едва взглянув на него. Пылкий, вспыхивающий от первого взгляда... шумный, азартный, но бестолковый, как ветер-пустодуй... скользкий, он занудливый и прилипчивый, как репей... сутяга, преследующий во всем гадкую корысть... пройдоха, готовый улизнуть при первой же опасности... сластена, падкий на дармовщинку... щеголь, безнадежно влюбленный в одного себя... размазня,

способный лишь наводить смертную скуку... О, аллах, до чего же разновиден этот самый так называемый сильный пол!

И только двоих из знакомых ей мужчин Зухра никак не могла отнести ни к одной из этих многочисленных разновидностей Себепбаева и Кузембаева. Они стояли особняком. Не подходили ни под какую классификацию. При одном только виде Себепбаева Зухра тотчас лишалась дара распознавать мужчин. Более того, она будто лишалась воли и не всегда даже решалась смотреть ему в лицо. Он как бы подавлял ее, и неизвестно, что тому было причиной – то ли большая разница в возрасте, то ли еще большая, как небо и земля, разница в служебном положении, то ли то, что при первом же свидании повела себя слишком послушно, покорно, безотказно исполняя все его желания. Она только и умела что удивляться каждой его выходке, каждому его поступку. Он вел себя совершенно раскованно, никогда, нигде не смущался посторонних взглядов. Случалось, на многолюдных собраниях он вдруг обращал на нее внимание и во всеуслышание подзывал к себе:

– А-а, дочка... подойди-ка ко мне.

И потом откровенно любовался ею и при этом загадочно ухмылялся. И когда он смотрел так долго и цепко, ей чудилось, что неприступная скала женской гордости в ней безнадежно рушилась, рассыпалась на обломки.

– Ну что, сестренка, – спрашивал он то и дело, – не разболелась твоя головка от нашего шума, а? А в первый же перерыв, бывало, говорил:

– Милая Зухражан, у меня срочное дело. Будь любезна, проводи меня.

И таким образом посреди белого дня на глазах у всех увозил ее на своей машине. То, что разговор, начинавшийся с невинного обращения «дочка», кончался упоминанием ее имени вслух, означало, что Себепбаев и на этот раз непременно добьется своей цели.

И к ней домой он наведывался открыто, без оглядки, в любое время дня. При этом и машину свою не загонял во двор, а оставлял на улице, прямо под окнами особняка.

Себепбаев был своеобычен во всем, даже в ласках. Обычно на людях он обращался с ней, как с малым ребенком, говорил нежно, ласково, неизменно называя ее «дочкой», «сестричкой», «душенькой», а наедине выра-

жался грубовато, двусмысленно, никак нельзя было понять, то ли превозносит ее, то ли насмехается над ней. И разговоры затевал такие, что у Зухры от смущения и неожиданности невольно вспыхивали уши.

Слушая его, она настолько забывалась, что не помнила, как и что делает. Свидания проходили, как во сне. Она приходила в себя лишь тогда, когда звякала щеколда наружной двери и удалялись знакомые неторопливые и твердые шаги. А потом вдруг замечала, что черная сверкающая «Волга» под окном исчезла. И еще с досадой чувствовала, что вместо блаженной тяжести, дарующей успокоение, остался в ее объятиях бесплотный воздух. И тогда она сжималась вся, и грудь ее пронзала острая боль, будто, проникнув вовнутрь, царапала ее там дикая, голодная кошка.

Глаза тотчас становились влажными от слез. И она понимала, что обида, замешанная на соленых слезах, оборачивается горькой досадой, гневом и яростью. И про себя принимала она тогда твердое решение не обращать на него отныне никакого внимания, не слушать его вкрадчивых речей, не отзываться на его самоуверенные ласки. Но проходил день – другой, и при первой же встрече она сама не замечала, какой послушной и покорной становилась в его объятиях.

И самое любопытное: никто ее не осуждал за связь с Себепбаевым, наоборот, может, только завидовали. Мужчины из его окружения были с ней предупредительны и приветливы. При встрече спрашивали про ее здоровье и настроение. Женщины уже в летах, но из тех, что в молодости слыли красавицами, случалось, при Зухре томно закатывали глаза и вздыхали: «Ах, Себепбаев – джигит из джигитов! Султан!» От этих слов сердце Зухры почему-то неприятно покалывало, однако, заметив на себе колючие взгляды бывших красоток, ударившихся ныне в науку, она испытывала нечто похожее на мстительное снисхождение. А Себепбаев в подобных случаях делал вид, что ничего не знает и не замечает. Он был неистощим на выдумки, которыми всегда и всюду поражал воображение Зухры.

Кузембаев же ничуть не менялся. При виде Зухры по-прежнему краснел, вспыхивал до корней все заметнее редеющих волос. И, казалось, становился еще более лопоухим. Маленькие, как пуговки, серые глазки тотчас будто

превращались и две прозрачные капли, которые вот-вот выкатятся из глазниц. Утром, направляясь в свой кабинет, он робко взглядывал на нее и застывал на мгновенье у двери. Вечером, к концу работы, он, выходя из кабинета, так же смущенно взглядывал на нее и так же на мгновение застывал у ее стола. Когда же она в течение дня входила к нему, чтобы доложить, кто просится на прием, он по обыкновению каждый раз заливался краской и от-
чего-то вскакивал с места. И говорил всегда тихо, монотонно, чуточку растягивая слова, словно постоянно посасывал леденец.

Каждый раз при виде своего начальника Зухра испытывала нечто похожее на жалость. А за глаза, изредка вспоминая его, откровенно смеялась. Однако в своей классификации мужчин не могла его отнести ни к одному разряду, так же, как и Себепбаева. А возможно, все та же неосознанная женская жалость не позволяла обнаруживать в нем ни особых достоинств, ни особых изъянов.

И все же однажды этот недотепистый Кузембаев ее сильно удивил. Было это в воскресный день. Около одиннадцати утра под окном ее особняка почти бесшумно ос-
тановилась такая же черная и блестящая, как у Себепбаева, «Волга». Зухра насторожилась, прильнула к окну. И вот тебе раз! Распахнулась передняя дверь, и из машины вылез не Себепбаев, а Кузембаев. Он открыл заднюю дверцу, с усилием выволок огромный, из грубой кожи, шершавый чемодан, набросил на согнутую в локте руку серый брезентовый плащ, потом что-то сказал шоферу, и «Волга» тотчас отъехала.

А Кузембаев решительно направился к ее дому. Ступал он уверенно, твердо. Редкие, как ковыль, волосы едва прикрывали одну сторону лба.

Скрипнули ворота. Послышался стук в наружную дверь. У Зухры пересохло в горле. Она не представляла, как ей быть. Кузембаев, не дожидаясь ответа, рванул дверь, вошел. Едва переступив порог гостевой комнаты, поставил возле двери чемодан, бросил на него плащ, поверх плаща кинул шпяпу. Потом опустился на крайний стул в длинном ряду вдоль стенки. Откинул со лба жидкую, бесцветную прядь. Поправил галстук, привычным движением провел пальцами по вороту сорочки. Стряхнул с рукава невидимую пылинку. Он всегда был опрятен, аккуратен. И ей, Зухре, нравилась эта черта в мужчинах. Может,

именно эта трогательная и наивная аккуратность Кузембаева была причиной тому, что разбиравший ее при его виде смех тотчас оборачивался состраданием к нему.

Кузембаев посмотрел ей прямо в глаза. На висках его от смущения выступили пятна. Он откашлялся. Голос прозвучал ровно, сдержанно.

– Зухра... я сегодня принял твердое решение, к которому готовился давно. Ты знаешь, что нравилась мне всегда. Но так уж получилось, что вышла ты за Жанибека. Я смирился, не встал на вашем пути. Думаю, покойник меня простит. Я пришел к тебе навсегда. И готов понести любое наказание за этот свой поступок. Для меня важно сейчас лишь одно: твое согласие.

И, выпалив все это разом, умолк выжидающе. Зухра все расслышала. Она впервые в жизни слышала из уст тихони Кузембаева столь длинную речь и удивилась про себя. Однако мало что поняла. Сначала казалось странным, что Кузембаев так долго и связно говорит, а теперь казалось странным, что он вдруг запнулся, точно воды в рот набрал, и застыл в ожидании ее ответа. Что означает его неожиданный визит? С какой стати приволок с собой этот громоздкий чемодан? При чем тут плащ, шляпа?

Смешон все-таки этот Кузембаев. Все время какие-то загадки загадывает. С какой стати, живя с ней в одном городе, он заявился нежданно-негаданно со своим чемоданом, будто из командировки приехал в родной дом? Или – точнее – выбрался в командировку. Ох и чудак... чудак! Каким был, таким и остался. Вон сидит, точно обиженный ребенок, глаз с нее не спускает. А что она ему скажет? Крохотные глазки-пуговки еще более сузились. Ей вспомнилось вдруг выражение глаз Алибека, когда он стоял у вагона и точно так же беззащитно-обиженно глядел на нее. Она через силу, вымученно улыбнулась. Почему-то ее всегда смешил преданно-беспомощный взгляд мужчин.

В сумрачной гостевой комнате, отражаясь в оконном стекле, ярко блеснул свет. Тут же резко тормознула машина. Послышались знакомые шаги. Она невольно вскочила. Кинулась к окну. И громко рассмеялась. Смеялась долго, вздрагивая плечами. Себепбаев, как всегда, был неподражаем. Из машины вышел, точно важный заморский гость. Разодетый, ухоженный, холеный. Небрежно хлопнул дверцей. Не оглядываясь, пошел, широко ступая

длинными ногами, будто журавль на отмели. Открывая ворота, выплюнул насыбай, обмахнул губы платочком. Смех распирал Зухру. Она никак не могла остановиться. По лицу потекли слезы. Глаза словно застилал туман, голова кружилась. Когда рослый и уверенный в себе мужчина, по-рысьи подкравшись, обнял ее сзади, она в испуге покосилась на крайний стул, на котором только что сидел, покорно дожидаясь ее ответа, тихий Кузембаев. Однако через крутое плечо властно склонявшегося над ней верзилы она, кроме недавно выбеленного потолка, ничего не увидела.

А Кузембаев с того памятного дня надолго исчез, будто в воду канул. Уже на следующий день, придя на работу, Зухра не застала своего начальника на месте. Сослуживцы, понятно, только диву давались, она – нет.

О том, что Кузембаев, ни с того ни с сего оставив большой пост в столице, подался по собственному желанию к черту на кулички – на новый производственный объект в пустынной степи, люди судили-рядили по-разному. И только Зухре не было дела до этих кривотолков. Спустя месяц появился новый начальник. И опять в учреждении судачили о нем на все лады. И опять одна лишь Зухра ничему не удивилась. Так уж созданы людишки – всему удивляются, всем косточки перемывают. Ушел прежний начальник – по всем углам шу-шу-шу... «Ах, зачем ушел Кузембаев?» Пришел новый начальник – опять повсюду гу-гу-гу: «Ах, как это ему удалось?» Будто во всем есть какая-то подоплека. Будто не существует ничего естественного, закономерного. А лично ее, Зухру, ровным счетом ничто не удивляет на этом свете, разве только выходки неуемного Себепбаева.

Новый начальник с первого же дня воззрился на нее томно-сладко, точно кот на кусочек сала. Однако, наткнувшись на, должно быть, неожиданную для него неприступность смазливой секретарши, он некоторое время ходил надутый, грозно вздыбливая кустистые брови. Кто знает, сколько бы это продолжалось и чем бы вообще это кончилось, если бы однажды не заглянул к нему Себепбаев. После этого сурово топорщившиеся брови нового начальника смиренно улеглись, стали прилизанными, точь-в-точь приглаженная нежной рукой шерстка у котенка.

Отныне Зухра никого не замечала, не жаловала, кроме

одного Себепбаева. Он продолжал изумлять ее изо дня в день. И изумлял до самой своей нелепой смерти. Даже мертвый и то удивлял ее. Находясь в дальней командировке, Себепбаев на многолюдной улице умудрился попасть под машину.

Когда эта весть дошла до Зухры, она не поверила. Даже усмехнулась про себя: блажит Себепбаев, очередную потеху устраивает. Она была настолько уверена в этом, что и в аэропорт, куда должны были, якобы, доставить гроб с его телом, ехала с легким сердцем. Могучий лайнер, прилетевший из столицы, с натужным ревом, тяжело колыхаясь, вырулил к зданию аэропорта. Долго не подавали трап, и ожидание становилось тягостным. Народу собралось немало, и все, не отрываясь, глядели на громадину-самолет, будто чем-то подавленные. И Зухра молча смотрела в толпе, все еще не сознавая, что вокруг происходит. Наконец нескончаемой вереницей спустились пассажиры, потянулись к аэровокзалу. Встречавшие хлынули навстречу. Началась обычная толкотня. Радостные возгласы. Объятия. Поцелуи. Зухра все еще смотрела на самолет, на трап. Все уже вышли. Зияли чернотой открытые люки. И почему-то казалось, что там, в зияющей пустоте, притаился Себепбаев. Что следит он за собравшейся толпой, довольный своим розыгрышем. Что еще немного, и он выскочит оттуда, сияя победным своим видом, и кинется к ней, сграбастает в свои медвежьи объятия, не смущаясь, на глазах у всех крепко расцелует ее. Да, да, с него станется!

Но люки задраили. Оба трапа одновременно медленно откатили. На бетонном поле, заставленном большими и малыми самолетами, ошалело заметался тугой ветер, цепко впиваясь в лоб, в щеки, в губы Зухры, беззастенчиво норовя лезть за пазуху. Она поежилась, торопливо подняла воротник. И тут увидела, как пять-шесть легковых машин стремительно направились к гиганту-самолету. Вслед за ними подкатила черная закрытая грузовая машина. Она подрулила к брюху самолета с другой стороны и застыла. Горстка людей, выскочив из легковых машин, деловито бросилась к ней, обступила ее. Через минуту-другую грузовая машина снова тронулась, и за ней гуськом потянулись легковые. Скорбный кортеж направился через все огромное бетонное поле к крайнему его углу. Ничего не понимая, то и дело спотыкаясь, добрела Зухра до стоян-

ки такси. Холодный ветер, проникший все же за пазуху, обжигал грудь, будто застыл там ледяным комочком.

На другой день, увидев – как ей почудилось – незнакомого человека, смиренно лежавшего в красном, окаймленном черными лентами гробу, выставленном в просторном, торжественном зале, она от испуга вздрогнула. Этот странно вытянувшийся мужчина в строгом, наглухо застегнутом черном костюме и с туго завязанным галстуком, ничуть не походил на Себепбаева. Тот никогда не застегивался на все пуговицы. Он никогда не одевался в черный костюм. У него и сорочка-то была всегда распахнута на груди. И вообще он питал слабость к яркой, броской одежде. Да и где это было видано, чтобы Себепбаев так напряженно, в струнку вытягивался. Он был по натуре свободен и раскован. Нет, нет, это не он. Дурит Себепбаев, опять какую-то хохму подстраивает. Уложил кого-то вместо себя в гроб, а сам притаился где-то, прикидывается никому не известным человеком. Он просто сгинул, исчез для этой толпы, с опущенными головами бесконечной вереницей проходящей мимо гроба. Исчез он навсегда и для тех, кто в траурных одеяниях застыл на стульях рядом с покойником. И для нее, Зухры, его больше нет. Всех он, балагур и гаер, обвел вокруг пальца. Над всеми всласть потешился. Ну, в самом деле, неужели этого никто не видит? Разве Себепбаев был таким длинноголовым, как этот? Разве того осмеливался кто-нибудь ударить по лбу, как этого? Да в лицо Себепбаева и дышать никто не решался. На собраниях против него выступал всего один-единственный чудила-старичок, которого никто никогда и всерьез не принимал. Наоборот, над ним всегда от души смеялись. А у этого, в гробу, виден на лбу синяк от страшного удара. Разве с Себепбаевым могло такое случиться?!

Ах, Себепбаев, Себепбаев! Как ты мог так учудить? Как ты решился покинуть свою милую душеньку Зухру? Как ей теперь быть в этом опустевшем мире? Без тебя, уверенного и властного, нетерпеливого и решительного в любви и ласках, суждено теперь ей забиться в уголок, словно зайке-сиротинушке, и обмирать от страха и одиночества. Ах ты пройдошливый, изворотливый бабий баловень! Наверняка подцепил где-то молоденькую кралю. Завел себе другую зазнобушку. Боже, отчего в толпе так много женщин в черном? Неужели они все сегодня хоро-

нят мужей? Все в безутешной скорби смотрят, смотрят на покойника. И все они, чувствуется, были в свое время одна другой краше. Зухра ловила на себе их недобрые взгляды. Видела, как у них при этом змеились губы, а в глазах вспыхивали мстительные искорки. Ах, вот оно что! Выходит, все они ее былые соперницы. Выходит, они осуждают ее за то, что она не вырядилась в траур. Им не нравится, что она пришла на панихиду ярко разнаряженной, будто на пир. Ну и пусть! Пусть осуждают! Пусть хоть лопнут от зависти! Она ведь не верит в то, что Себепбаев умер. Не верит! А потому не могла надеть траур. Ах, Себепбаев, горюшко ты мое! Пока ты был рядом, казалось, нет никого роднее, никого ближе твоей бедной Зухры. А теперь вот эта толпа, тесно обступившая твой ложный гроб, даже не намерена подпустить меня к тебе. Сколько их, близких и родных, безутешно рыдающих у этого гроба! Только нет среди них твоей верной душеньки, нет среди них, нет, и тебя самого нет... Вон подняли, понесли куда-то гроб. Толпа, колыхаясь, побрела за ним. Взвился разноголосый женский плач. Вон все расселись по машинам. И скорбная процессия направилась на кладбище за городом. У свежевырытой могилы все встали в круг. Один за другим выходили к ее изголовью степенные мужчины, с дрожью в голосе произносили гладкие, прочувствованные речи, внимая которым, толпа сдавленно всхлипывала и громко сморкалась. Вот и гроб, покачиваясь, медленно уплывал в зияющую яму... Вот вслед за ним все разом побросали по горсти земли и тотчас отошли в сторону.

Женщины в черном особенно усердствовали, старались изо всех сил не подпускать Зухру к могиле. То и дело обжигали ее ненавидящими, злорадствующими взглядами, как бы говоря: «Вот так-то, дорогуша! Поделом тебе!» Казалось, для них было высшей радостью то, что изменивший им всем в свое время Себепбаев не достался и ей, молодой сопернице.

Э, наивные бабы... глупое куриное племя! Сколько раз облапошивал вас ухарь Себепбаев, а вы до сих пор еще верите ему. Да он, хитрец, и сегодня над вами от души потешается. Пока вы тут надрываете свои души и льете слезы, он наверняка окрутил очередную юную простодыру и где-то забавляется ею. Конечно, так – тут и сомневаться нечего. Только посмотреть бы хоть краешком глаза

на эту искусительницу, так ловко заманившую к свои сети прожженного сердцееда. Однако вряд ли найдется такая долгополая, способная заарканить его. Скорее, он какую хочешь строптивицу запросто взнуздает и оседлает. Но разве эти дурехи, вырядившиеся в траур и принародно оплакивающие теперь свою былую страсть, в состоянии понять это? Им-то, должно быть, мерещится, что она его играючи окрутила. Невдомек им, что это он ее в два счета обратал, как в свое время всех их. А теперь наступил ее черед, теперь и она разделила ту же участь – участь брошенки. А может быть, и нет? Разве ради нее Себепбаев ничем не жертвовал, ничем не поступался?

Сколько раз, бывало, он покидал престижные застолья, чтобы ее заключить в свои объятия! Со скольких ответственных собраний он уходил, чтобы только прилечь рядом с ней! Так кто же может утверждать, что и на этот раз он не выкинул подобную шутку – согнал народ на свои мнимые похороны, а сам, на своей черной «Волге» подался к ней. Почему бы и нет? Себепбаев и не на такое способен...

Он всегда оживлялся, входил в азарт, когда видел самоуверенного сановного мужчину или смазливую, горделивую женщину. Тогда в него точно вселялся неукротимый бес. Он позволял себе дерзкие выходки и вытворял бог знает что. И все сходило ему с рук. Может, и сегодня этот неутомимый ерник надумал что-то такое, отчего все только ахнут?

Догадка эта вселяла надежду. Боль в груди, обжигавшая льдом, сразу отпустила. Отчего-то горели пятки. Нетерпение охватило ее. Хоть бы скорее кончился этот скорбный балаган... И домой она спешила, как никогда. И добиралась, как никогда, долго. А добравшись – остолбенела: ворота были открыты. О боже! Неужто, как она и предполагала, Себепбаев сидит дома и преспокойно дожидается ее? Жар тотчас подкатил к груди, к шее. В голове помутилось. Сейчас он выйдет навстречу, по обыкновению сграбастает в свои объятия, прижмет крепко-крепко... Щеки ее вспыхнули, а в ноги ударила такая слабость, что она с трудом переступила порог.

Вот тебе и чудеса! На приступке возле двери стоит совершенно новый кожаный чемодан. Вокруг никого. Зухра застыла в недоумении. В глубине сада кто-то свистнул. Еще и еще раз. Да так звонко, заливисто. Точь-в-точь

Себепбаев. Когда они выезжали в горы, охотились на фазанов, разводили костер, он вдруг ни с того ни с сего принимался свистеть на все лады. У него это получалось так ловко, что Зухра внимала ему с открытым ртом, будто завороженная. Посвистев так, с озорным упоением, Себепбаев вдруг резко умолкал, прислушивался. И вскоре ему отзывался издалека соловей, сначала робко, как бы пробуя голос, а потом все звонче и бойчее, самозабвенно. Озорная усмешка на губах Себепбаева мгновенно исчезала, он почему-то бледнел, становился задумчивым.

– Зухражан! – тихо окликал ее. – Ты знаешь, отчего так красиво поет соловей?

Она, улыбаясь, качала головой.

– А потому, что он только для себя поет. Он забывает обо всем на свете. Ему нет дела до того, что его кто-то еще слушает. Иначе он стал бы смущаться, робеть, оглядываться по сторонам. И тогда он не впадал бы в экстаз, не мог бы выделывать, такие коленца. Так и человек. Чтобы быть счастливым, он должен быть или абсолютно свободным, сам по себе, или ровным счетом чихать на все людские пересуды. В противном случае будешь оглядчивым и никогда не расправишь своих крыльев. А тот, кто скован, прижат к земле, счастья не ведает. Вот так-то, милая Зухражан!

Ай, Себепбаев, Себепбаев... Там, где ты, жизнь обретает особый смысл. Ты неповторим – не чета другим.

Вот и сейчас кто может с уверенностью сказать, что не ты притаился там, в укромном уголочке сада? И кто знает, какие мысли роятся в твоей седеющей, но по-молодецки буйной голове? Может, усмехаешься над той простодушной толпой, что давеча собралась у мнимой твоей могилы? И веселится-то Себепбаев по-особому. Не хохочет, не расцветает лицом, а, наоборот, суровеет, хмуро сдвигает брови. И только возле глаз собираются в веселые лучики морщинки. А когда сердится, то вопреки ожиданиям, становится ниже травы, тише воды. Голос мягчает, будто шелк. Речь льется нежно, ласково. И весь он до приторности вежливый, корректный. Так разве можно себе представить, чтобы Себепбаев, непохожий ни на кого ни в радости, ни в печали, вдруг взял да умер, как заурядный грешник?! О, нет... его смерть никак не обернется такой банальной возней. Не из таких он, Себепбаев!..

А ликующий свист за яблонями постепенно приближался. Зухра нарочно отвернулась. И тут же свист прекратился. Значит, ее заметили. Вот он на цыпочках осторожно подкрадывается к ней. Сейчас подойдет, резко обнимет ее сзади. Потом звучно поцелует в шею, в затылок. Или приподнимет, поставит, точно столб, на обочину дорожки, а сам пройдет мимо, как ни в чем не бывало. И не оглянется, пока она не взмолится, не окликнет, не остановит его. Конечно, он и сейчас что-то задумал. Наверняка ошарашит неожиданной выходкой. Она сделала вид, что ничего не замечает, и чуть наклонилась, косясь в сторону сада...

Неподалеку кто-то в черной нарядной форме, в золотистых погонах выжидающе глядел на нее. Зухра вздрогнула. Лицо это ей почудилось знакомым.

– Мама... – Незнакомец густо покраснел.

Боже, что он говорит? Кто это может называть ее мамой? Может, обознался? Однако всем своим видом он напоминает кого-то знакомого. Особенно этот преданный, робкий, нежный взгляд. Мужчины с таким взглядом всегда вызывали у ней смех. Если бы не смуглый цвет лица, можно бы было принять его за сына Кузембаева. Она улыбнулась ему и тогда он сделал два-три шага навстречу. Походка тоже напоминала кого-то. Не-ет, только не Кузембаева: тот ведь и ступал-то робко, неуверенно. Себепбаева – тоже: этот ходил гордо, вызывающе, будто напролом. А молодой незнакомец ступает легко, бодро, у кого же она видела такую же пружинистую, танцующую походку?.. Когда?.. Где?.. А-а-а.... да, да... Жанибек. Верно: он! Его манеры. Его походка. Жанибек даже в дом входил стремительно, резко – не входил, а влетал, будто выбегал на трибуну. Даже верхнюю одежду не снимал. Казалось, сейчас начнет размахивать рукой и говорить политическую речь. Но... у Жанибека был острый взгляд. А этот... самое удивительное, что он назвал ее мамой!

– Вы меня не узнали, да?

– Что верно – то верно: не узнала.

– Я ведь... Алибек.

Что он говорит?! Неужто сын? Как он успел вымахать в эдакого детину? О-о-о... сколько, выходит, прошло времени! Как она тосковала вначале по нему! Его робкий, обиженный взгляд преследовал ее долго, даже во сне. Извелась вся тогда, измучилась... Потом как бы смири-

лась, привыкла. И все равно сынишка часто снился ей. Почему-то он останавливался у порога, словно не решаясь пройти к ней в комнату, с мольбою в глазах смотрел на нее и тихо говорил: «Ха-а-арошая тетенька, я пришел...» Снился он всегда крошечным. И говорил по-казахски. А этот называет ее мамой и говорит на безукоризненном русском. В последние годы она даже во сне стеснялась встречаться с ним, а он взял да примчался в такой день, словно с луны свалился. У нее подкашивались ноги. Не решилась даже с места сдвинуться. Молодой человек, назвавший себя Алибеком, подбежал к ней, схватил под локоть. Какая сильная у него рука! И горячая – кровь волной обожгла ее.

Едва переступив порог, гость скинул ботинки. По уютной, всегда сумеречной комнате поплыл чужой, неприятный запах. Зухру замутило. Сердце мелко-мелко забилось. Она уселась у края стола. Напротив сел сын. Явно растерянные, попеременно поглядывали друг на друга. Оба испытывали странную неловкость. И так продолжалось все время, пока он не покинул отчий дом.

Утром, как всегда, она уходила на работу, а молодой гость тоже принимался за дело. Подладил сначала дувал, потом подправил крышу, побелил стены, покрасил полы. С утра до вечера пребывал в хлопотах, ходил весь чумазый, заляпанный, и в таком виде казался Зухре более родным, и она глядела на него с затаенной нежностью и сочувствием. А когда он, помывшись и переодевшись, садился с ней за стол, она чувствовала себя скованной и растерянной, как при чужом человеке, прямо-таки не находила себе места и норовила скорее выйти из-за стола.

Возможно, гость замечал это, наверняка замечал, потому что тоже ел в спешке, не поднимая головы, а поев, тотчас спешил во двор, ссылаясь на какие-то недоделки. Он даже ходил по дому тихо, осторожно, на цыпочках, стараясь не издать ни звука. Даже не осмеливался откашляться. И все равно – стыдно признаться – был он Зухре в тягость, мешал быть самой собой, и она поневоле как-то вся сжималась и ежеминутно оглядывалась по сторонам. Даже ночью спала неспокойно, ворочалась, прислушивалась. Временами будто задыхалась. И постоянно чувствовала этот неприятный, затхлый запах, шедший от ботинок в передней. Что за неистребимый дух? Точь-в-точь такой уже преследовал ее однажды... когда

же это было? Ах, да–а... в тот раз, когда припожаловали те двое, муж и жена, с пыльным мешком...

Ладный и крепкий молодой морской офицер погостил около двух недель и отправился на место службы. Сказал на прощание: «У вас, мама, есть невестка и двое внуков». И еще сказал: «Буду отныне писать, весточку слать». Сказал: «Мы ведь месяцами, а то и год находимся в плавании». Еще сказал: «Если будет в чем нужда – напишите». Так он говорил и при этом каждый раз краснел. Лишь поднимаясь по трапу, у самого входа в самолет, еще раз оглянулся большими, открытыми, влажными глазами на нее, и было в этих глазах что-то безнадежно печальное, щемящее. И только в это мгновение этот рослый, крепкий, молодой мужчина напомнил ей тогдашнего маленького ее Алибека.

Когда большой, вытянувшийся в струнку самолет, легко оттолкнувшись, взмыл в небо, она почувствовала вдруг такое облегчение в груди, будто вытолкнула из горла затруднявший дыхание горький комок.

Вернувшись домой и нырнув в уютную прохладу комнат, она скинула с ног туфли так, что они полетели в разные стороны, и с размаху бросилась ничком на кровать. Хотелось ей заплакать, неистово, горячо, но не было слез. Опять она осталась одна-одинешенька, наедине с вожделенной тишиной. И вокруг простирался огромный мир. И подумалось ей восторженно: «Ах, как все-таки хорошо быть одной!» И вспомнилось тут же, как впервые воскликнула она так же тогда, когда вернулась домой после первого и столь памятного свидания с Себепбаевым... Опять Себепбаев. Выходит, в этом беспредельном мире ей не о ком больше думать? Перед глазами тотчас встал Себепбаев с ухмыляющейся улыбкой на лице. «Ты что, дорогуша, теперь-то уверовала в то, что меня нет?» – почудилось, спрашивал он.

Она вдруг поняла, что не усидеть ей дома. Мигом собралась и отправилась на кладбище.

День был солнечный, теплый. Безмятежно перекликались неведомые ей птахи. Но самих их, птичек, не было видно. И потому чудилось, что перекликались, мелко-мелко трепеща, листья на молодых березках, грустивших между могилками.

Над головой высились заснеженные вершины, ярко поблескивали в лучах солнца. Внизу тесно громоздились

дома большого города, близко подступавшего к горам, и над ним плотно висел бурый дым. Сплошная грязная завеса окутала улицы, высотные здания, и все виделось смутно, зыбко, в неприглядном, удушливом мареве. Зухра даже удивилась про себя: как только умудряются люди жить под этим чадным гигантским колпаком? По сравнению с тем сумрачным обиталищем живых кладбище – царство мертвых под чистым небом в горах – кажется райским уголком. «Ну, конечно...– подумалось Зухре. – Уж кто-кто, а Себепбаев себе на уме. Знает, дьявол, где лучше». Однако тут же спохватилась, сообразив, что подобные мысли – сущий грех, растерянно раскрыла сумочку, достала платочек, обмахнула рот.

Могилу Себепбаева она нашла легко. Здесь все еще громоздились горы венков. Лишь золотые буквы на черных лентах заметно потускнели: то ли выгорели на солнце, то ли смыли их дожди. Одинокая пожилая женщина в черном, неуклюже двигаясь, прибирала могилку. На портрете в черной рамке, прикрепленном к глыбе черного мрамора, глядел куда-то поверх сваленных грудой венков непривычно серьезный, печально задумчивый Себепбаев. Было странно оттого, что на губах его не играла столь знакомая язвительная усмешка. Еще более странным казалось это тоскующее выражение в глазах под густыми бровями, Зухра даже растерялась на мгновение: Себепбаев ли это? Подошла поближе, наклонилась, чтобы прочесть надпись на шлифованной мраморной глыбе, и тут вдруг заметила, что женщина в черном резко отвернулась и пошла прочь. Да так быстро, стремительно, будто напугали ее. Себепбаев за скорбной рамкой, чуть повернув голову, грустно глядел ей вслед.

Сердце кольнуло так, словно кто-то невзначай ущипнул его. Неужели все-таки правда, что Себепбаев удалился в мир иной? Иначе откуда такая жалость в глазах? Откуда эта неутешная печаль?

Она заспешила уйти отсюда, подальше, подальше от свежей могилы, заваленной венками. Она смутно чувствовала, что сегодня навсегда прощается с не похожим ни на одного мужчину Себепбаевым, щеголем, ухарем, бесшабашным до отчаянности бабьим баловнем. И не только с ним – с его скорбным аруахом, его духом, бесплотной тенью. Навсегда... навсегда... Ноги сами уносили ее отсюда. Казалось, раскаленный уголек жег ее между лопатками, и хотелось скорее юркнуть в укромное местечко.

В глазах рябило от камней-стояков, и с каждого жалостливо глядели ей вслед покойники – молодые и старые, мужчины и женщины. Поразительно, в жизни все они совершенно не походили друг на друга. Все были разными: один – умный, другой – глупый, кто-то счастливый, кто-то несчастный; один – везучий, другой – не очень; красивый и безобразный, приятный и несносный – всех видов и типов. А теперь здесь, на кладбище, на стылом камне, на железной пластинке, под тускло отливающим небольшим, величиной с ладонь, стеклом, они все были удивительно похожими, все глядели покорно-жалостливо, словно вымаливали у живых сострадание и милосердие.

В этот день впервые в жизни защемило-заныло в неосознанной тревоге сердце Зухры. Выйдя за кладбищенскую ограду, садясь в пыльный автобус-коробку, она незаметно покосилась на окружавших ее людей и отметила про себя, что и они все глядели печально и отрешенно, точь-в-точь как покойники с фотографий на могильных памятниках. Ей, как никогда, захотелось быть одной, и она забилась в уголок на заднем сиденье. Автобус уже собрался тронуться с места, как вошла та самая женщина в трауре. Вошла и, словно не видя пустых сидений впереди, направилась прямо к Зухре. Походка ее была неуклюжей, будто приволакивала ногу, однако на лице застыло властное и непреклонное выражение. Открытый лоб, редкие, тонкие брови, аккуратный прямой нос. В глазах под длинными и густыми ресницами затаился холодный, угрюмо-угрожающий блеск. То ли блеск вызывающей гордыни, привыкшей властовать над людьми, то ли отсвет бессильного гнева, непреходящей, глубокой обиды, тщетно взывающей к мести. Неприступно холодная и суровая, женщина в черном уселась рядом с Зухрой и, выпрямившись, точно окаменела. Непонятная дрожь охватила Зухру: дрожь безмерного стыда и раскаяния, дрожь непостижимого страха или гадкая, туманящая рассудок дрожь ревности и ненависти – она понять сейчас не могла. Она обеими руками вцепилась в холодные поручни переднего сиденья, да так и не шелохнулась всю дорогу.

Автобус некоторое время кружил, мотаясь из стороны в сторону, по извилистой дорожке ущелья, наконец, выбрался на большак, и тогда женщина в черном неожиданно спросила:

– У вас тоже умер муж?

У Зухры жарко вспыхнули щеки. На глаза мгновенно навернулись слезы. Грозный взгляд женщины, пронзивший ее сбоку, тотчас смягчился. Соседка отвернулась и вздохнула. И в Зухре будто что-то сразу оборвалось, отпустило. Она сникла вся, как подбитая, почувствовав головокружение и тошноту. Временами ее познабливало, и она мелко-мелко вздрагивала помимо воли. На женщину в черном она старалась не смотреть. Лишь при выходе из автобуса скосила на нее мельком взгляд, заметив, как в глазах неподвижной, будто заледеневшей женщины стыло безутешное горе.

«Да-а... что было – сплыло, – думала она позже, спустя годы вспоминая ту пору. – Ах, как летит времечко... (сказать «жизнь» было выше ее сил)».

С того дня овладело Зухрой полное безразличие ко всему на свете. Отныне она редко смотрелась в зеркало. Перестала следить за своим лицом. Забыла про всякие мази, пудру, лосьоны, духи. Перестала замечать людей на улице, остановках, в автобусах. Все как-то разом лишилось смысла. Утром, по привычке, отправлялась на работу. Вечером возвращалась домой. И больше никуда не ходила, нигде не показывалась. И спала тревожно, просыпалась, не как бывало прежде, лишь после отчаянного звонка будильника. Блеклые лучи рассвета, робко проникая сквозь щели ставней, казалось, прежде всего опускались на ее ресницы. Она мгновенно просыпалась, и потом какой-то шорох неотступно преследовал ее, как наваждение. Чудилось, что идет дождь, но потом, когда выходила из дому, убеждалась, что кругом сухо. Казалось, будто под полом резвятся мышки, однако тогда было непонятно, почему они в остальное время суток не дают о себе знать. И так каждое утро, изо дня в день. Будто кому-то невидимому доставляет удовольствие играть ей на нервах. Скрип-скрип, шор-шор, шу-шу... И лишь с восходом солнца, наконец, все стихало. Ну тут уже и ей вставать пора. Она пила чай, уходила на работу.

Зухра махнула на себя рукой, решив, что превратилась в заурядную бабу, изживающую свою заурядную жизнь. Но однажды утром, придя на работу, мимоходом оглянулась на огромное зеркало в углу приемной. Оглянулась и опешила. Одета опрятно, со вкусом. Лицом пригожая, гладкая. Тонкие брови круто изогнуты. Легкая, стройная,

как и прежде. Только глаза стали вроде чуть больше. И в черных, влажных зрачках прочно обосновалась грусть. Но она, эта затаенная грустинка, делала ее гордое, ухоженное лицо еще более привлекательным. И эта ее горькая краса с примесью чуть горчащей грустинки еще более воодушевляет, привлекает разномастных мужчин. Оказывается, и на улице, и в автобусах, и на работе этих самых, кто пялит на нее глаза, – хоть пруд пруди.

Зухра снова занялась собой. Опять, как прежде, едва поднявшись с постели, бросалась к зеркалу. Э, не-ет... какое бы грозное горе ни обрушилось на нее, а краса ее ничуть не поблекла, есть еще чем привораживать падкое до всего смазливого мужское племя! На этот раз Зухра не расстроилась от своего открытия, как тогда, когда узнала о гибели Жанибека, а, наоборот, торжествовала, испытывая гордость за свою неувядающую красоту.

Высокие, тонкие каблучки ее туфель отныне опять выстукивали такую бодрую, бойкую дробь, что прохожие невольно оборачивались. Ну, а там, где женщина проявляет смелость, разве мужчина празднует труса?.. Чем краше и ярче становилась Зухра, тем гуще увивались вокруг нее те, кого еще не покинула вожделенная надежда, точно мотыльки вокруг огня. И некоторые не довольствовались восторженным лицезрением, а проявляли активность, выискивали любой повод для более тесного сближения.

И первым решился на натиск – о боже, каких только превратностей не случается на свете! – шкодливый старик ученый, неизменный и последовательный соперник удачливого Себепбаева. Глядя на то, как этот взбалмошный старик в неизменной феске с кисточкой, с которой не расставался зимой и летом, по обыкновению суетливо несся куда-то, точно ошалелая курица, гонимая собакой, покойный Себепбаев каждый раз начинал громко хохотать.

И каждый раз чудаковатый старик в благородном негодовании выпячивал грудь, задирал голову так, что того и гляди свалится с темени феска с кисточкой, и вызывающе гордо проходил мимо. Видно было, как его всего передергивает от одного только отрывистого, язвительного смеха давнего соперника. И потому всячески избегал его, старался не попадаться ему на глаза. А теперь, куда ни придешь, куда ни посмотришь, обязательно натыкаешься на его феску с дергающейся кисточкой. Толь-

ко заметит кого-нибудь из знакомых – спешит, заплетаясь ногами, навстречу. Если мужчина – ухватится за правый отворот пиджака, если женщина – норовит взять под локоток. Упрется редкими рыжеватыми щетинками под носом едва ли не в шею собеседника и начнет балабонить без умолку. Рта не закроет. На каком-то совещании подъелозил к Зухре, схватил за локоть, засвистел-зашепелявил:

– Зззздравсссствуй, Зззухражжжан... Как зззздоровье? И задрожал было голосом, тщился выдавить слезинку, чтобы выразить соболезнование, даже платок к глазам поднес, но тут выкатил им навстречу рыжий брюхан с тройным подбородком, и смятый платок замелькал сразу под птичьим носом старика. Только прошел рыжий брюхан, и старик снова зашлепал было губами, как вынырнул сбоку тощий серолиций со змеиными глазками. Не успевший обрести проникновенную дрожь голос взвился, как стальная пружина:

– Иди, иди! К благодетелю своему сначала на поклон иди! Ко мне потом подойдешь!

А сам между тем с досадой и раздражением оттискивал Зухру в сторонку. Раньше она была не в состоянии более минуты слушать болтливого старика, а в тот день он ее почему-то забавлял. Ни одно его слово не застревало в сознании, и все же она его слушала, слушала. И чем больше слушала, тем сильнее презирала. И чем сильнее презирала, тем больше разбирало ее любопытство. А старик ласкал языком без роздыху. Он разглагольствовал на улице. И в такси жужжал ей в ухо. И в тихом ресторанчике на окраине города, за одиноким столиком, все ткал и ткал паутину словес. И темой бесконечного словоизлияния был один Себепбаев, только Себепбаев. Сначала, как подобает, старик выразил соболезнование. Потом принялся расхваливать покойника до небес. Восхищенно покачал несколько раз головой: «Ой, что и говорить, редкой пробы был человек! Баловень судьбы! Орел!» Потом обрушился на безмозглых дураков, принимавших принципиальное научное разногласие между ним и Себепбаевым за заурядную, банальную зависть. Разгорячившись, даже поклялся в том, что между ними не было ни малейшего намека на взаимную неприязнь, ни тени недоброжелательства. Правда, у покойника были кое-какие недостатки. У кого их, впрочем, не бывает? Один созда-

тель, пожалуй, безгрешен. Но если бы он обитал не в небесах, а жил, как все грешники, на земле, да к тому же занимался наукой, да еще разок-другой участвовал в выборах в Академию наук, то еще неизвестно, что бы осталось от его добродетелей, наверняка свихнулся бы вконец. И, довольный своей остротой, старик длинно захихикал.

Говорил он упоенно, самозабвенно, вышли из ресторана – а он все говорил и говорил. Добрались до особняка на окраине города – а он все говорил и говорил. Долго прощались-расставались – а он все говорил и говорил. Потом, забыв о прощании, он поплелся за ней в дом и опять все говорил и говорил. И когда сидели за бутылкой легкого винца, не умолкал, не запинаясь, не спотыкаясь ни на одном слове. Даже посреди ночи, когда, сомлевшая от выпитого вина, оглушенная неистощимым потоком слов, Зухра вдруг задремала прямо на стуле, она очнулась оттого, что толстые, лоснящиеся губы на мгновение вцепились, как пиявки, в ее губы, и тотчас, как бы спохватившись, снова зашлепали. Странно: дерзкая выходка болтливого старика ничуть ее не возмутила. Только вяло, как сквозь дрему, подумалось: неужели она так захмелела...

Все же на рассвете болтливый старик воровато улизнул, должно быть, боясь попасться кому-либо на глаза. Зухра даже не проснулась, когда он убрался, но, повернувшись на другой бок, всем телом ощутила еще не остывшее чужое тепло и с удивлением почувствовала, что оно было приятным. Тягучая истома вмиг охватила ее, и тут только она поняла, отчего тогда замутился у нее рассудок, когда на заре под проливным дождем находилась в жарких объятиях неутомимого Себепбаева. Поняла она и то, по какой причине не оттолкнула прошлой ночью дрожащие и влажные от немощи руки болтливого старика.

«Да-а... чего только не случается в жизни! Как быстро, однако, летит времечко (сказать «жизнь» она не решалась)»,– думала она позже, вспоминая былые дни.

Что ни говори, а странный народец все-таки мужчины! Поначалу и так и сяк обхаживают тебя, воркуют-приговаривают приторно-сладко: «сестреночка», «душенька», «Зухражан», «милая женеше», а на уме по сути дела всегда одно и то же. И, едва удовлетворив свое желаньице, каждый норовит поскорее убраться восвояси. Зухра притерпелась к этим повадкам, не осуждала

мужчин и сама не особенно расстраивалась. Ну, что же с них взять-то, в самом деле?.. Это лишь до поры до времени они внимательны и обходительны, точно рыцари, а потом чуть что – сразу хвост торчком. А до чего же падки до всего сладкого! Верно, видать, сказывают: кто легко соблазняется – тот ревнив и завистлив. Среди двуногих, бог свидетель, самые увлекающиеся – мужчины. Следовательно, и самые завистливые – они.

Как-то поселился у нее служака-офицер, переведенный откуда-то с юга. Носатая орясина приводил во двор солдат, заставлял их чинить то одно, то другое. Потом повадился до ночи засиживаться в ее комнате, подолгу гонять чаи. А кончилось тем, что однажды его офицерские брюки с красным кантом перекочевали на спинку стула возле ее кровати.

Вначале она испытывала явное смущение. Потом стало любопытно. Себепбаев имел обыкновение заявляться неожиданно и ненадолго. Редко когда он оставался на ночь, после чего длительное время вообще не показывался. Всегда неожиданная, но яркая радость сменялась долгим, тоскливым ожиданием. А этот, новый ее поклонник, каждый вечер, уже после одиннадцати, занудливо настаивал, чтобы она стелила постель. И как только постель была готова, он с размаху швырял к порогу скрипучие сапоги и нырял под одеяло. Утром вставал с видом исполненного долга. С тем же важным видом уходил на службу. Так же важно возвращался. Такой же важный раздевался. И так же важно забирался к ней в постель. Так это что? Обязанность? Зависимость? Или это и есть как раз то, что называется супружеской жизнью, семейным счастьем, о чем везде и всюду так увлекательно говорят и пишут!

Носатый дубина, должно быть, привык командовать своими солдатами, вскоре и на нее начал грозно коситься, словно на подчиненную. Особенно выходил из себя, когда заставал ее у зеркала. Видно, был убежден, что пудра, духи, мази нужны лишь для того, чтобы совращать других мужчин. В такие минуты в его голосе вместо еще недавней смиренной мольбы все явственнее звучала начальственная командирская сталь. Уходя из дому, строго оглядывался по сторонам, приходя со службы, подозрительно заглядывал во все углы. Мало того, еще через несколько дней приволок с собой громадного пса с ар-

шинными клыками, с торчащими ушами. Сам он, служивый, оказывается, заведовал оружейным складом. Но, чудилось, пуще военного склада охранял ее, Зухру.

Так уж вышло, что все мужчины, которых она знавала, легко и охотно подчинялись ее прихотям. Один Себепбаев, пожалуй, навязывал ей свою волю. Он и в жизнь ее ворвался, как буря. И держался всегда вольно и раскованно. Потому, видно, и бывало с ним легко, просто. Те недолгие годы, которые она провела с ним, казались забавным действием веселого спектакля. И лишь теперь Зухра столкнулась лицом к лицу с гадкой и скучной обыденностью, которая именовалась реальной жизнью. Вот этот хмурый, ревнивый, глазастый мужлан, подозрительно выслеживающий каждый ее шаг – и есть прозаический быт. Вон та псина, настороженно вслушивающаяся в каждый шорох, грозно клацающая клыками, – и есть повседневная жизнь. Зухре быстро опостылело это грубое и монотонное супружеское сосуществование. Такая жизнь оказалась ей в тягость. Душа рвалась к столь привычной вольной жизни, когда она могла всецело распоряжаться самой собой. И вскоре ее желание осуществилось. Начальника военного склада перевели в другой гарнизон.

И опять Зухра осталась одна-одинешенька. Никто ей не был указ. Вольному воля: что хочешь, то и делай. И она снова убедилась в том, что мир по-прежнему огромен и беспределен, что воздух свободы по-прежнему пьянит, и она вольна ложиться и вставать, когда хочет, потому что нет у ней ни забот, ни хлопот. Так она и жила сама по себе, в свое удовольствие. А время шло, шло. Собака, которую оставил на память начальник военного склада, превратилась в матерого пса, в эдакое страшилище с львиным рыком. Когда пес взлаивал гулко и раскатисто, да еще выкатывал свирепые глаза, не только все собаки в округе пугливо поджимали хвосты, но даже Зухре становилось не по себе. Но к ней он ластился, как щенок; едва завидев ее, радостно рычал и тяжело рысил навстречу. Утром, когда она уходила на работу, пес от тоски когтями вспахивал землю, надрывно скулил.

Теперь, после отъезда майора, Зухра уже не стеснялась подолгу просиживать у зеркала. Тем более в этом появилась неотложная надобность: белое лицо ее вдруг усеяли паутинки морщин, будто трещинки на гладкой поверхности мрамора. И она тщательно замазывала их по

сорок раз на дню. Мужчины, конечно, видели эти роковые признаки, но в пылу своих желаний делали вид, что не замечают их. Однако уже не испытывали потребности задерживаться, как прежде, подолгу. В последний раз едва неделю прожил у ней заметно потрепанный жизнью и творческими муками тонкоусый поэт. Он, как говорится, почти не просыхал. Однако поразительным образом держался всегда опрятно, а одевался даже изысканно. По непролазной грязи на окраине города он умудрялся пройти будто по суху, ни единым пятнышком не замарав штанин. Другим его отличительным свойством была молчаливость. Казалось, он придерживался убеждения, что там, где за слова не платят гонорар, нечего их понапрасну тратить. Даже здороваясь, он лишь еле-еле шевелил губами, или ограничивался кивком головы. Одно лишь слово «спасибо» срывалось с его молчаливых уст, и то он произносил его глубокой ночью один раз в сутки. От этого «спасибо» у Зухры каждый раз горели щеки.

От одного только вида поэта-молчуна грозный пес приходил в неистовство. Он его решительно не переносил. Учуяв издали, уже утробно урчал. Мелькнет тень в окне – впадал в глухую ярость, рвал тяжелую цепь, захлебывался в клокочущем рыке. Тонкоусый поэт с недоумением взирал на безумствующего пса. День терпел, два терпел, три терпел... На седьмой день поэт вопреки своей привычке поднялся спозаранок. Собрал свои бумаги. Отутюжил брюки, выгладил сорочку (свою одежду молчаливый поэт имел обыкновение стирать и гладить сам). Вышел на веранду и под оглушительный лай ошалевшего от ненависти пса почистил щеткой пиджак, до блеска надраил туфли. Потом зашел в комнату, тщательно оделся, взял в руку пузатый, с блестящими замками черный портфель.

– Что ж... пора проявить человеческое сочувствие к этому кобелюге. Не желаю его больше терзать своим присутствием, сказал на прощание тонкоусый поэт и, картинно приложив правую руку к левой части груди, поклонился и с независимым видом вышел.

Ушел и как в воду канул. И не только тонкоусого поэта, но и других бывших воздыхателей будто ветром сдуло. И на работе те мужчины, которые еще недавно считали своим долгом устремлять на нее свой тягучий взгляд, отныне все чаще с полным равнодушием проходили мимо.

И, должно быть, это обстоятельство и побудило ее, вынудив руководство поистратиться на букет цветов и бутылку шампанского, уйти на так называемый заслуженный отдых.

Стала Зухра жить в просторном сосновом доме на окраине города одна со своим свирепым псом. В первое время она по давней привычке поднималась рано и подолгу смотрела в окно. Там, на улице, люди толпами спешили на работу, вид у всех был озабоченный, и, глядя на них, Зухра молча вздыхала. Потом она просыпалась все позднее и вскоре наловчилась оставаться в постели до обеда.

Никто ее не беспокоил. Раньше, бывало, в надежде, что кто-нибудь заглянет, она на всякий случай приводила себя в порядок, накрашивалась и наряжалась, но вскоре убедилась в бесплодности своих хлопот. И дом она запустила. Тонкие ноздри, всегда неприязненно вздрагивавшие от малейшего неприятного запаха, теперь, словно лишились чуткости. Вспоминая, с какой гадливостью еще недавно стирала зловонные портянки начальника военного склада, она тихо посмеивалась над собой и со вздохом думала: «Ах, как летит, однако, времечко» (сказать даже про себя «жизнь» она не решалась).

А время и в самом деле летело без остановки. Безжалостное, оно отбило у ней всякую охоту любоваться собой в зеркале. А посмотрит невзначай – увидит свое поблекшее лицо, неприглядно испещренное морщинами, которые навевали грустные думы. Эти тонкие бороздки, вдоль и поперек изрезавшие некогда холеное, прекрасное лицо, мерещились суровым приговором, написанным на неведомом языке. Хоть и не понимаешь, а содрогаешься. Чуткое сердце будто предугадывало неотвратимую беду. Потому Зухра теперь предпочитала зеркалу пухлый бархатный альбом, бережно сберегший молчаливую тень промелькнувшей молодости. Однако и он не был большим утешением. Застывшие на фотографиях изображения навевали тоску на и без того опустошенную душу. Ранее всегда стремившаяся к тишине и покою Зухра теперь изнывала от их избытка, не находила себе места в четырех столь привычных, пустующих комнатах. Одевшись потеплее (ни один сквозняк ныне ее не минует!), с собакой на поводке она выходила на улицу. Жухлые осенние листья шуршали под ногами. Она медленно прогули-

валась вдоль обочины дороги, замечая, как любопытные глаза прохожих, некогда пожиравшие ее, теперь восхищенно пожирали ее пса. Все только любовались его свирепой мордой, могучими, высокими ногами, да толстым длинным хвостом. Одни еще издалека боязливо уступали ему дорогу, другие, застывая, восторженно цокали языками. А пес, явно польщенный людским вниманием к себе, вышагивал, спесиво задрав голову и добродушно-брезгливо оглядываясь по сторонам. «Ладно, черт с вами!.. Смотрите на меня, любуйтесь. Так уж и быть!» – было написано на его чванливой, самодовольной морде. И люди глядели. И, казалось, не пса вели на поводке, а пес прогуливал свою хозяйку, которую никто и не замечал.

Но и эти прогулки ее не бодрили. Наоборот, она возвращалась вся разбитая и усталая, еле волоча ноги. Холодные стены комнат, хмуро подступавшие к ней со всех сторон, ее пугали, и она прислонялась лбом к камину и так, в молчании, сидела долго-долго, всем телом ощущая нарастающую в себе пустоту и густеющий по углам мрак.

В камине все ярче разгорались угли и зыбкий отсвет пламени усугублял тревогу. Черные тени подкрадывались к Зухре сзади, словно норовя накрыть и проглотить ее, и тогда, уже цепенея от страха, она с усилием заставляла себя вскочить и щелкнуть выключателем возле дверного косяка. Комната мгновенно заливалась светом, и вокруг ненадолго становилось вроде веселей, но вскоре опять уныние вползало в душу. Мрачно зияли черные проемы других дверей, будто гигантская пасть неведомых чудовищ, подстерегавших одинокую женщину у камина. Зухра поневоле поднималась, на непослушных ногах отправлялась в прихожую, приводила оттуда пса в гостиную. Грозный пес, с вечно вывалленным из пасти розовым языком, тотчас изгонял из громадной гостиной и кошмарные видения, и выморочную тишину. Он послушно устраивался у ног своей хозяйки с гордым сознанием своей необходимости и собачьего достоинства. Он тяжело водил запавшими боками, с языка капала слюна. В гостиной струился удушливо-кисловатый псиный дух, который она некогда совершенно не переносила, а сейчас успокаивал ее смятенное стареющее сердце и расшатанные нервы. Ей было приятно ощущать тепло покорного существа, гладким телом прижимавшегося к ее ногам.

Опять ее стали беспокоить и преследовать таинствен-

ные шорохи в предрассветную сутемень. Казалось, кто-то с дьявольской настойчивостью вгрызался в черную землю под полом или царапал стальными когтями подгнившие балки. Однако теперь эти звуки уже не пугали ее, как прежде: все-таки рядом находилась живая душа, хотя и в облике грубого пса. «Ах, как летит, однако, времечко!» – вздыхала она позже, вспоминая с тоской и эти малорадостные дни и не решаясь по-прежнему произнести слово «жизнь».

Но и эти мало или совсем не радостные дни длились недолго. Все же собачий род склонен стариться скорее, чем род людской. Пес вскоре одряхлел, начал выживать из ума. Даже во двор перестал выходить. С плошкой, со своим ошейником он полностью перебрался в гостевую комнату. Целыми днями неподвижно лежал он возле кровати то ли в дреме, то ли в беспамятстве. Взгляд его бессмысленно блуждал в пустом пространстве. Отныне уход за медленно умирающим псом стал основной заботой Зухры. Она кормила его, как беспомощного ребенка, по нескольку раз в день, убирала под ним, на руках относила в ванную, мыла его с мылом, вытирала насухо, стелила на деревянные нары возле кровати чистую кошму и половички и укладывала на них впавшего в прострацию пса. А ночь напролет тревожно прислушивалась к его дыханию. Казалось, стоит ей только смежить веки, как хлипкая душа покинет иссохшее тело любимой собаки.

Однажды ночью пес встрепенулся и завыл по-дурному. Выл он отрывисто, беспомощно, потому что ослаб и не мог задрать голову и вытянуть морду. Выл так тоскливо, что у Зухры замирало сердце. Казалось, пес жаловался на свою судьбу, проклинал в предсмертном ужасе дни, проведенные на цепи. Он не выл – а плакал навзрыд, захлебываясь в старческих слезах, содрогаясь в конвульсиях. Судорожно царапая подстилку под собой, озирался вокруг, искал утешение перед вечным забвением. Зухра подсела к нему, обняла тоскующего пса за шею, положила его голову к себе на колени. Пес перестал выть, затих. Успокоенный лаской хозяйки, он тихо-тихо засвистел ноздрями. И вдруг дыхание его оборвалось, длинные ноги дернулись и тотчас застыли, будто закоченев.

Пожалуй, впервые в своей жизни так безутешно проплакала Зухра всю ночь. Жуткая тишина вновь обрушилась на нее, изнуряя, выматывая ее душу. Лишь на

рассвете, услышав привычные шуршание, хлясканье, скрип, она как бы очнулась от сковавшего ее страха. Выбежала на улицу. Увидела на перекрестке долговязого, сумрачного дворника, сосредоточенно и тупо помахивающего длиннющей метлой. Он был весь в белесой пыли. Казалось, он сам был создан не из костей и мяса, а из мелкой уличной пыли. Она подошла к нему, сказала несколько слов, но дворник не слышал. Тогда она объяснила жестом, что ей нужно. Дворник сразу все смекнул, прислонил метлу к тополю и поплелся за Зухрой, скрипя истоптанными башмаками. Глядя на пса, бездыханно лежавшего у кровати, он укоризненно покачал головой, потом выволок его за ноги из дому, оттащил в дальний угол сада. Потом принес из дровяника лопату, вырыл яму глубиной по пояс, зарыл пса. Так же молча и равнодушно сунул в бездонный карман изодранных, заляпанных штанов пеструю бумажку, протянутую Зухрой за труды, и побрел восвояси.

В деревянном особняке на окраине города томилось одиночество. Никто не стучался в ворота, за исключением одной-единственной старухи почтальонки, заносившей к концу каждого месяца небольшую пенсию хозяйке да денежный перевод от ее сына. Целыми днями бессмысленно и бесцельно сидела Зухра у окна. И ночи напролет ворочалась в постели.

Вот эти бесприметные дни, бесследно проходившие в четырех стенах, серых и обыденных, как сама скука, вот эта глухая, могильная тишина, доводящая до умопомрачения, этот стылый, безжизненный воздух, вытравивший даже кисловатый псиный дух, все это безнадежное уныние... неужели и составляют ее желанную свободу, к которой она всю жизнь стремилась и которую так ревниво оберегала? Да разве стоило жить ради такой свободы, будь она неладна?! Зухре было страшно даже думать об этом. Она с усилием отметала эти назойливые мысли. Прочь, прочь, сомнения! Не стоит травить и без того омраченную душу...

По утрам она кое-как поднималась с постели. С первыми сумерками вновь плюхалась в так и не прибранную кровать. Почему-то постоянно ныли руки и ноги. Каждое движение давалось с трудом. Подчиняясь смутной тяге к свету, она подходила к окну. Потемневший от времени бархатный альбом она старалась не брать в руки. Если

же от скуки открывала страницы, ей мерещились не тени прошлого, а жуткие видения, которые иголками впивались ей в сердце. К тому же она теперь не различала пестрые изображения на пожелтевших фотографиях.

А за окном простирался один и тот же вид. Высокие тополя, с заметно обезлистевшими ветками. По-осеннему линяющее низкое небо. И только вдалеке ослепительно блестели под солнцем зубчатые снежные вершины, как бы подчеркивая свою неподвластность всесокрушающему времени и свидетельствуя о незыблемости бытия.

До слуха Зухры смутно доносился отдаленный неумолкаемый гул – отзвук человеческой суеты на бурлящем проспекте, упирающемся в горы. Неужто неутихающий поток жизни вышвырнул ее на берег, как щепку? Или с самого начала испытывала она оторопь, неизъяснимый страх перед этим буйным водоворотом? Она не могла с полной ясностью ответить себе на эти вопросы. Но раньше она хотя бы отчетливо и постоянно слышала этот невольно бодрящий, будоражащий гул, теперь же с каждым днем он отдалялся от нее все больше и больше. Она становилась все более тугоухой, и эта новая напасть как бы отлучила ее не только от пестрого базара жизни, но и от ее многоголосого шума. И все равно уже с утра она усаживалась к окну. И все равно день-деньской вглядывалась в улицу. Но через холодное стекло все виделось замутненным, серым, тусклым.

В последнее время ее одолевал кашель. Может, умудрилась как-то, сидя дома, простудить легкие? И вообще холод преследовал ее постоянно: то ли все вокруг погрузилось в безнадежную стынь, то ли кровь уже не грела старые кости, или кожа истощилась, иссушилась так, что не держала тепла в теле – кто знает. Даже жаркая, удушливая некогда перина не согревала, не спасала от зябкой дрожи. Случалось, ночи напролет проводила без сна, клацая зубами. И тогда ей вспоминалось благодатное чужое тепло, так приятно и томяще, бывало, вливавшееся в ее тело. Не-ет, не о буйном жаре распаленных любовной страстью крепких мужчин ей думалось; она тосковала по мерному, ровному теплу верного пса, который, свернувшись у ее ног, грел ее через одеяло.

Теперь даже та жизнь, когда она осталась одна со свирепым на вид псом, обернулась недосягаемой мечтой. Разве не радостью то было, когда она с собакой на поводке

выходила на прогулку? Эх-х... Мягко шуршала под ногами жухлая листва. Пес горделиво вышагивал сбоку – хруп-хруп. Никто не осмеливался даже близко подойти к ним. Как же! Огромный, с телка, серый пес с вывалившимся из пасти розовым языком, с толстым длинным хвостом поневоле внушал трепет и страх и всем своим видом, всей статью придавал в глазах прохожих значимость своей хозяйке. Нетрудно представить, что думали про себя люди при их виде. «Непростая, должно быть, женщина, коли у нее такой породистый пес!» – так, несомненно, думали они. Теперь, как не стало ее верного пса, она и на улицу выходить не решалась. Еще кто-нибудь невзначай с ног собьет трясущуюся старуху.

Э-э... что и говорить, когда пес ее был жив, и в доме было все по-другому. Чего стоило одно лишь его шумное, с присвистом дыхание? Он успокаивал одним своим присутствием. При нем можно было спать спокойно и безмятежно, как за каменной стеной. А теперь сна не было ни в одном глазу. Порой даже мерещилось, что осталась она одна-одинешенька не только в четырех стенах старого особняка, но и на всей планете. Как ни напрягала она слух, даже шороха не слышала. Как будто вымерло все. Ни человеческого голоса, ни собачьего лая – глухо! Даже самолеты, время от времени вспарывавшие поднебесную тишь, и те умолкли. Лишь на верхушках деревьев едва слышно перешептывались листья. Да тихо журчала вода в арыках за домом. Но не было слышно человечьего голоса. И тогда в испуге думалось: может, и она уже давно безголосая? Может, она и не существует вовсе? Зухра поспешно переворачивалась на другой бок: кровать под нею скрипела в оглушительной тишине, казалось, десятки разбойников, притаившихся по углам, яростно заскрежетали зубами. После этого она уже не могла уснуть. Лежала, тупо уставившись в потолок. И ночь длилась целую вечность. Но наконец сквозь невидимые щели глухо закрытых ставней проникали блеклые холодные лучи, и вместе с ними просыпался вдали монотонно шелестящий, шуршащий, хляскающий звук.

Раньше она всякий раз обмирала от страха, чудилось ей, что сорокоглавое чудовище-аждаха грызет – перемалывает где-то черную землю, теперь же она радовалась этим звукам. Перед глазами ее тотчас всплывал зыбкий облик долговязого старика дворника. В руках его метла с

длиннющим черенком. Он ловко орудует ею, метет размашисто, чисто, не оставляя за собой ни соринки. Работает он молча, сосредоточенно, сознавая необходимость своего повседневного труда. Конечно, зачем человеку с кем-то препираться, понапрасну тратить слова, если он занят столь нужным и ответственным делом? Сделал свое дело и был таков. Как она не знала его раньше?

Она не только ничего не ведала о нем, но и никогда не задумывалась, представления не имела, каким образом ни свет ни заря тротуары, дорожки, подъезды к домам всегда оказывались чистыми, подметенными. Даже, идя на работу, удивлялась про себя опрятности улиц. Теперь же она подолгу думала о молчуне старике, который еще в предрассветных сумерках со своей длинной метлой яростно сражался с сором. Одинокая, чуть сгорбленная фигура рослого старого дворника неотступно преследовала ее по утрам. Шаг за шагом хруп-хруп. Шаг за шагом шур-шур, скрип-скрип. Из-под широкой метлы, клубясь, облачком разрастается мучнистая пыль, густо садится на окладистую бороду, на лохматые волосы старика. В зыбком свете занимающейся зари мелкая пыль серебрится, окутывает старика с головы до ног, превращая его в таинственное существо в пустыне улиц.

Вслушиваясь в монотонное шуршание скребущей асфальт метлы, Зухра незаметно погружалась в смутную дрему. И в этом странном забытьи она чаще всего пребывала до обеда. И просыпалась трудно, подолгу не приходила в себя. А однажды и вовсе не в силах была подняться. Она с ужасом почувствовала, что вся горит. Казалось, даже отчетливо слышала, как потрескивают стены, объятые огнем. Перед глазами клубился бурый дым. Дышать было нечем. Задыхаясь, она пыталась закричать, позвать кого-нибудь на помощь. Но челюсти будто свело, и совершенно исчез голос.

Угасающее сознание трепыхалось-билось, тщетно пытаясь вырваться из хаоса бессмысленных видений и уцепиться за что-то спасительное и надежное. Кого, кого позвать ей на помощь? Жанибека?.. Она отчего-то робеет перед этим джигитом с острым, ястребиным взглядом. Кузембаева?.. Но с какой стати? Его она даже не решится назвать по имени, Себепбаева?.. Но его она не в силах увидеть в огненном смерче, обступившем ее. Ярый огонь, жадно вытягивая язычки пламени, с треском лизнул ее по волосам...

В приступе животного отчаяния она вскочила с постели. Пол обжег ее пятки то ли ледяным холодом, то ли раскаленными угольями – разобраться в этом она не могла. В беспамятстве кинулась к двери. Что-то треснуло, разбилось, со звоном посыпалось к ногам. Голова ударилась о что-то тупое, неподатливое. Пучок ослепительно яркого пламени вспыхнул в ее глазах, устремился ввысь, и тотчас захлестнул, накрыл ее удушливый, густой и клейкий, как смола, мрак. Слабый, как бы умирающий звук доходил еще до ее мерцающего сознания. Скрип-скрип, шур-шур, хруп-хруп... Неужели занималась еще одна заря и зарождался новый день, который ей, Зухре, уже никогда не суждено увидеть?..

Никто не знал, что случилось, в предрассветной сутемени, в старом сосновом особняке на окраине города. Лишь через несколько дней старуха почтальон, пришедшая вручить денежный перевод от капитана дальнего плавания, наткнулась у входной двери на закоченевший труп одинокой хозяйки. А вокруг вроссыпь лежали осколки дверного стекла.

*Перевод Г. Бельгера*

# КУПЫ ДЖИДЫ

*Не все ли равно, про кого говорить?*
*Заслуживает этого каждый из живших*
*на земле.*
*И. Бунин*

## 1

Жилистый крючконосый старик в вельветовых шароварах и бешмете, опустившись на колени у изголовья свежей могилы под одинокой чахлой джидой, напевно бормотал тягучие, как смола, непонятные арабские слова. Задумчивое, отрешенное лицо его было обращено в сторону священной кублы[1]. Из-под выцветшей на солнце велюровой шляпы выглядывал краешек атласной подкладки с витиеватой надписью «Люкс».

Гортанный торжественный напев понемногу сбился на обыденную скороговорку старого, беззубого человека с пришепетыванием и свистом. Вскоре старик умолк и воздел длиннопалые руки, покоившиеся во время молитвы на коленях, к небу. Потом привычно огладил ладонями сморщенное лицо. Лишь после этого, выждав подобающую паузу, горбоносый, темнолицый мулла, поблескивая маленькими змеиными глазками из-за прозрачных и тонких, как пузырь, стекол очков, вдруг сурово встопорщил смиренные редкие ресницы, обвел строгим взглядом скорбящих и с торжественной дрожью в голосе спросил:

---

[1] Кубла – сторона света, в направлении которой находится Мекка и куда мусульмане обращают лицо во время молитвы.

– Уа, люди добрые, ответьте: хороший ли был человек усопший Тлеу, сын Сурапалды?

Старичок с жидкой бородкой, сгорбившийся у изножья свежего могильного холмика, продолжая всхлипывать, глухо отозвался:

– Хороший... Хороший!

Горстка людей, сгрудившаяся у одного краешка пустынного кладбища, вразнобой подтвердила:

– Да, хороший был человек! Добрый человек!

И еще ответьте, почтенные: кому из вас усопший Тлеу, сын Сурапалды, остался при жизни должником?

– Никому! Никому!

Собравшиеся отдать последний долг, отряхивая с колен рыжеватую пыль, разом поднялись. Лишь редкобородый старичок что-то завозился, все медлил, словно никак не мог решиться покинуть красный холмик, только что насыпанный всеми сообща.

Между тем горбоносый мулла деловито расположился в кабине одной из двух стоявших рядком в сторонке грузовых машин, борта которых были наращены наспех, кое-как обструганными досками. Он укоризненно сверкнул очками в сторону нерасторопного старичка с жидкой бороденкой, как бы говоря: «Ну, долго еще ты там?!» Тот, должно быть, почувствовав на себе осуждающий взгляд, еще раз торопливо бросил на холмик горсть земли и, на ходу отряхивая ладони, потрусил вдогонку за всеми.

Моторы завелись, взревели одновременно. Несколько надмогильных камней-стояков, сиротливо торчавших на заброшенном кладбище, остались позади. Никто на машинах не оглянулся. Редкобородый внимательно вслушался в тишину. Все казалось ему, что погребенный выскочит сейчас из могилы и, замахав руками, крикнет им вслед: «Эй, братья-родичи, на кого меня покидаете?» Однако по всей унылой окрестности не послышалось ни единого звука, кроме надсадного монотонного гула двух грузовиков, с трудом одолевавших вязкую супесь.

Редкобородый подсчитывал в уме: первый мушель, то есть полный цикл казахского летоисчисления, составляет тринадцать лет; двадцать пять лет – два мушеля, тридцать семь – три мушеля, семьдесят три – шесть. Далее: год свиньи – раз, год мыши – два, год коровы – три, год барса – четыре, год зайца – пять...

Выходит, покойному Тлеке (да не покинут его милости

аллаха и на том свете!) шел нынче семьдесят восьмой год. Считай, до последнего своего часа раздувал он усердно свой крохотный горн, похожий на ягнячью брюшину, глухо потюкивал по наковальне молоточком, время от времени вороша раскаленные саксаульные уголья и вытирая капельки пота на лбу. И в доме его всегда было поразительно чисто, опрятно. Старые, бог весть каких времен домотканые паласы-алаша с накладными узорами играли всеми красками, будто новехонькие. А попадись на глаза Тлеке какая-нибудь соринка, он ее, точно ядовитого паучка, подхватит, подцепит, бывало, тонкими, изящно изогнутыми щипчиками и ловко кинет в ярко пылающий огонь под горном.

Так и стоит старый умелец перед глазами – в неизменной плотно облегающей грудь безрукавке, подбитой смушкой, в белой рубахе с отложным воротником, на голове – черная круглая шапочка-такия с вложенной изнутри по краям картонкой. Серые, с пристальным прищуром глаза неотрывно, даже завороженно следят за тускло отливающей, будто слеза, плавкой в чугунном ковшике с длинной ручкой. И вдруг заученным, быстрым движением, точь-в-точь малец, поймавший в силки воробья, снимает с огня ковшик и сливает тягучее содержимое, которое с легким шипением заполняет одну из маленьких формочек, наполовину зарытых во влажную, взрыхленную землю. Потом бросает на слоящуюся на дне ковшика черную накипь щепоть холодной глины. Потом долго копается в маленьком деревянном сундучке, и, выбрав, наконец, шершавый разноцветный камушек, кладет его на застывающее плавленое серебро и начинает подбивать по краешку деревянным молоточком.

Разговорчивостью Тлеке никогда не отличался. Переступит кто-нибудь порог его юрты – он вежливо ответит на приветствие, однако докучать длинными расспросами о том о сем не станет. И, глядя на молчаливого умельца-ювелира, всецело поглощенного своим делом, не каждый осмеливался затевать тары-бары. Только один человек в окрестности – редкобородый Кудеры, приходя в этот дом, мог чесать языком без умолку. Разница в их возрасте составляла какой-нибудь год, а такая малость в зрелые лета не в счет, и потому давние приятели считали себя сверстниками – курдасами.

Лобастый, носатый, с большими белесыми глазами,

редкобородый Кудеры ходит обычно в просторном чапане внакидку, голову обвязывает белым платком наподобие чалмы. К своему курдасу он вваливается бесцеремонно, резко распахнув дверь, и бурчит недовольно вместо приветствия:

– Хватит тебе тюкать, слышишь! Как только голова не трещит?!

И, широко ступая, проходит в глубь юрты, на почетное место. Потом только сбрасывает с ног кожаные калоши – кавуши. Почтенный Тлеке подхватывает их попеременно кончиками щипцов и отшвыривает к порогу.

Гость, едва расположившись, тянется в карман за шакшой – табакеркой. Высыпает на ладонь щепоть бурого кудрявистого табака, отдающего ядовитой зеленцой и, вытянув шею, ловко закладывает его за губу.

Тлеке, не отрывая взгляда от молоточка, покачивает головой и усмехается. Потом молча придвигает к гостю медный плоский тазик. Но Кудеры делает вид, что не замечает его. Он заваливается на бок, заворачивает край паласа и поплевывает сквозь зубы в уголочек. И пока не высосет, не впитает в себя всю ядовитую крепость зелья за губой, не обмолвится ни единым словцом. Лишь спустя минут пять-шесть выпуливает изо рта бледный комочек табака прямо к порогу, откидывает голову, укрывает лицо чапаном, как бы переводя дух, и вдруг резким голосом вопрошает:

– Эй, молчун, вконец онемел, что ли?! Хотя бы для приличия о здоровье спросил, житьем-бытьем поинтересовался...

Тлеке в ответ лишь хмыкает.

– Тут, понимаешь, тебя от новостей распирает, а этот нелюдим, бирюк и губами не пошевелит. Тебя, молчуна, должно быть, мать от немого зачала...

В юрте тихо-тихо. Только деревянный молоточек глухо и монотонно потюкивает: тук-тук, ту-ук... Кудеры, не выдержав, круто поворачивается на другой бок, лицом к сверстнику.

– Эй, ты ведь знавал мою бабу, да? Кончики тонких усов ювелира-серебряника чуть вздрагивают.

– Тогда, надеюсь, и сына ее, Торткульбая, помнишь, которого родила после четырехлетнего замужества.

Кудеры, сверкнув белками глаз, прямо-таки впивается

в приятеля. Тот укоризненно качает головой, словно говоря: «Нашел мне тоже, о чем спрашивать...»

– Так вот, он хоть и звезд с неба не хватал, но тоже не последним растяпой был. А среднего моего, Алтынбека, помнишь?

И опять, испытующе уставляется на мастера-серебряника. Тот досадливо поворачивается к нему боком.

– Вот он-то, родненький, весь в меня был. Да, да! Светлая была голова! Мог бы не только домашним очагом управлять, но и народом. Бывало, ребятишки в школе рассказывали, что, дескать, паршивец Токен, отпрыск Таскары, разные там примеры-задачки у моего Алтынбека сдувал. А нынче бестолочь Токен в директора совхоза выбился. Ни одно собрание на белом свете без него не обходится. Не то что в Алма-Ате, в самой Москве в рот ему заглядывают. Бабы, сам знаешь, народ дошлый, пронырливый. Они слух пустили, будто щеголиха Токена из блескучего материала, в котором разве что артистки щеголяют, сшила себе – срам говорить – широченные штаны. Уж коли такие неучи, как Токен, совхозом управляют, то моему Алтынбеку сам бог велел во главе какого-нибудь района сидеть. Не так ли? Но... хорошие люди и всевышнему нужны. Вот и отнял его у нас, к себе призвал. А этот, меньшой мой, хоть и дожил до сорока, а все в недотепах ходит. Его не то что там дети или собственная баба, даже собака во дворе не боится. Прогонит за порог, а она на почетное место норовит.

Старый умелец, потюкивая молоточком, едва слышно фыркает. Кудеры резко высовывает из-под чапана голову, испепеляет сердитым взглядом приятеля-молчуна и тотчас отворачивается. Так он лежит долго, соображая, как объяснить насмешливое хмыканье: то ли над ним Тлеу смеется, то ли над незадачливым его сынком.

Тихо в юрте. Только и слышно глухое, монотонное – тук-тук, ту-ук. Раздосадованный этим однообразным звуком, Кудеры вдруг вскакивает как ужаленный. Хватает щипцы, лежащие рядом с ювелиром, достает и подтягивает ими свои калоши у порога, натягивает их на мягкие, как чулки, сапоги и снова тянется за табакеркой в карман. Закладывает за губу насыбай. Еще раз гневно косится на молчуна хозяина. Звучно цвиркает сквозь зубы. И, хлопнув яростно циновкой-пологом над дверью, решительно уходит.

Только тогда Тлеу поднимает голову. Смотрит туда, где сидел гость. И если заметит на домотканом узорчатом паласе какую-нибудь соринку, подцепит ее длинными щипцами и бросит на пылающие уголья.

Такой он, Тлеу. Часами, днями сиднем сидит на своем месте. И такой он давно. Можно сказать, с самого рождения. Однако было время, когда неутомимый умелец, ювелирных дел мастер вынужден был загасить горн и отодвинуть свой заветный сундучок подальше, в уголок под деревянной подставкой...

Да и с тех пор прошло много лет. Только что кончилась затянувшаяся война. Вернулись уцелевшие в невиданной бойне мужчины. И вскоре люди вновь вытащили на божий свет завалявшиеся на дне сундуков и ларцов серебряные монетки и слитки. И снова появилась нужда в старом умельце и его маленьком, закопченном горне. И каждый раз, когда через порог переступал заказчик, сердце старого мастера тревожно сжималось. Однако помалкивал, виду не подавал. Бледнела лицом, замыкалась и старуха Зейнеп, склонившись над выкройкой свадебного платья для очередной аульной невесты, молчала, стараясь не выказывать своего горя. Длинными вечерами горбилась над швейной машинкой при подслеповатой керосиновой лампе.

От единственного их сына Тлепалды вестей все не было. Были только разные кривотолки.

Редкобородый Кудеры, к примеру, рассуждал так: «Мой Алтынбекжан и твой Тлепалды, сам знаешь, не имели себе равных в учении. А способных людей в армии всегда сразу подмечают. Значит, надо полагать, их назначили командирами и заставили драть горло: «Ать-два!» Говорят, сам наш вождь, усатый аксакал, распорядился оставить способных и деловых джигитов в армии, а всяких там неучей и растяп, только и годных на то, чтобы размахивать хворостиной, отправить домой, в аулы. О, этот аксакал, вождь наш, все знает, сквозь землю все видит!»

Тлеу, со свистом раздувая горн, про себя думал: «Может быть, и так. Однако, будучи таким прозорливым и умным, неужели наш аксакал не понимает, что четыре долгих года сражавшихся по щиколотки в крови молодцов следует хотя бы разок показать иссохшим от тоски и тревоги старым родителям?»

Ни одна весть, ни одна новость не минует ушей редкобородого Кудеры. Стоит ему отойти хотя бы на версту за аул в поисках верблюдицы, как возвращается домой с целым мешком новостей со всего света. Как-то он вернулся подавленный, опечаленный, с синими кругами под глазами. Выцедил полчашки кумыса и вдруг всхлипнул, затрясся плечами.

Зейнеп всполошилась:

– Эй, что стряслось? С чего это сырость развел?

У Тлеу на этот раз даже кончики усов не дернулись. Затаил дыхание. А Кудеры, подняв голову над чашей с недопитым кумысом, поведал:

– Точь-в-точь как в канун войны. Весь город бурлит. Все на ногах. Говорят, эти лихоимцы за океаном от радости швыряют шапки в воздух. Дескать, такую бомбу придумали – страшнее, чем всемирный потоп. Ликуют бешеные псы: мол, теперь заткнем красных за пояс. И тогда все лысоголовые ученые на всей земле обратились ко всем смертным с письмом: «Каждый, кто против новой мировой войны, пусть поставит на бумаге свою подпись». Возле почты подошел ко мне парнишка, и я тоже приложил к бумаге свой палец.

«Ну, конечно, при виде расплывшегося отпечатка твоего большого пальца американцы, какими бы лихоимцами ни были, мигом подожмут хвосты...»

Подумав так, Тлеу дрогнул было, по обыкновению, кончиками усов, но, заметив слезы на глазах сверстника, тотчас смахнул усмешку.

– Видно, неспроста задерживаются наши сынки. Да и этот всезнайка Салых, налоговый агент, говорит, будто нынешняя осень крайне опасна.

В груди Тлеу захолонуло, будто кто-то плеснул ледяной водой. Зейнеп отвернулась. И говорливый Кудеры умолк. Словно разом онемели трое стариков от недоброй вести.

Но осень того года прошла мирно и благополучно, если не считать обвальных ливней после стрижки овец, унесших кое-какую чахлую скотину. Чуткий ко всему, что происходит на белом свете, Кудеры успокоился, однако, лишь тогда, когда выпал в их краю обильный снег. Он был убежден, что злыдень враг если и сунется, то лишь в такую пору года, когда можно двигаться беспрепятственно. А в мороз, когда еще и сугробы по колено, никакой безумец не рискнет выступить в поход.

Однажды по первопутку он отправился было на охоту, однако, минуя многочисленные кустарниковые заросли и проталины по пути, поспешно свернул к становищу сверстника.

– Эй, молчун, что слышал, что вызнал?

Но выкладывать новости не спешил. Сидел, выпучив глаза, Зейнеп вся вытянулась, насторожилась, надеясь услышать от чем-то явно возбужденного гостя добрую весть.

– Теперь-то я понял, почему от наших щенков ни слуху ни духу. Нашелся братишка крючконосого налогового агента. И где бы вы думали? Аж за Сибирью! Вот куда дьявол забрался. А там он обзавелся синеглазой вдовой с дочкой от первого мужа. Был, как перст, один-одинешенек, ни кола ни двора, а заполучил сразу кобылицу, да еще с жеребенком в придачу. Каково?! Карточку, говорят, прислал. Сидит довольный такой, рот до ушей. Вот и наши пострелы небось не спят в обнимку со своими голыми коленками. Тоже, видно, за чью-то юбку уцепились. Отцов-то, что могли бы им высватать молоденькую да черноглазенькую, под боком нет. А вдовых баб сейчас больше, чем кизяку в степи. Какая-нибудь и прибрала-приворожила наших удальцов. Да, да, вот увидишь. А признаться, написать об этом – стесняются сородичей. Ну и затаились щенки. Помалкивают...

Кудеры, протянув озябшие руки к огню под таганом, задумался. Потом вдруг громко фыркнул, усмехнулся своим думам.

– Поганец трусливый... И чего стесняться? Ну, самое большее, уродятся мои внуки синеглазыми. Ну, самое худшее, не согреет сноха мне воды для омовения. Ну, и что из этого?! Подумаешь... А он, дурень, робеет... В родню свою материнскую пошел...

Неожиданное предположение сверстника омрачило старого умельца. Руки стали непослушными. Работа не пошла. В глазах туманилось. Он быстро сложил инструменты в деревянный сундучок и откинулся на подушки, скрестив пальцы на животе. Послышались ему с детства знакомые благодарности и благие пожелания: «Да посетит тебя счастье!», «Да воздаст тебе всевышний!», «Да осуществятся все твои желания!», «Да множатся твои потомки!..» С того самого времени, как он помнит себя, как удостоился чести сливать воду на руки почтенных из

черного кумгана, он слышит от людей одни лишь добрые слова. А взрослым стал и овладел с божьей милостью редким ремеслом – и вовсе никому ни в какой просьбе не отказывал. Потому благодарные люди не скупились на пожелания ему всевозможных благ и щедрот. Правда, сам умелец Тлеке не совсем ясно себе представляет разницу между признательностью людей и воздаянием аллаха. Но слышать слова благодарности ему всегда приятно.

Особенно радуется его душа, когда ему желают процветающего потомства. Это так понятно и заманчиво! И действительно, если дом твой наполнен детским лепетом и гомоном, если ватага чернопузой малышни, посапывая носами, окружает тебя со всех сторон, цепляется за подол, хватает за руки, садится на голову, а ты только и заботишься о том, как бы прокормить эту ораву, и если потом, в положенный час (какому смертному удавалось уйти от судьбы?!), она, с честью и достоинством оплакивая, предает тебя земле, то можно ли сыскать для человека более счастливой доли? И в последнее время даже во сне ему снится шумная гурьба чернявых мальцов. Один из них хватается за напильник, второй – за тесло, третий – молоточком постукивает, четвертый щипцами размахивает, еще один в деревянном сундучке роется. В другой раз они, когда он, проверив капканы, возвращается домой, весело выбегают навстречу, и смоляные их чубчики потешно вздрагивают, развеваются. А то, бывает, оседлав стригунков, врассыпную скачут по безбрежному раздолью пустынной степи. Словом, во сне в юрте его шумно и весело, как на базаре. А проснется – все та же выморочная тишина. Все та же чистая, прибраная, будто вылизанная юрта. И за одиноким становищем на краю пустыни не видно ни лошадей, ни стригунков, кроме своей понуро пасущейся рабочей клячи.

И пусто, тоскливо становится на душе старого мастера. Э-э, что там ни говори, но единственная радость и единственный смысл в куцей, как хвост чесоточного стригунка, человеческой жизни – любить и растить потомство. Все остальное – зыбко и обманчиво, так себе, мишура, вроде тех красивых безделушек, которых он за свою жизнь наделал бессчетное количество в утеху девкам и молодухам. Только дитя, живая плоть твоя, родная кровинушка, способно радовать тебя при жизни и утешить в смертный час, ублажая дух твой. Даже тот, кто

дерзко бросает вызов времени, уповая на свою славу, на дар и талант свой, обречен на поражение, а на победу в борьбе с забвением он может рассчитывать лишь в том случае, если оставляет за собой потомков.

Только в этом случае оправдано суетливое человеческое существование на земле, если повседневный труд человека обращен на добычу пропитания для потомства. Похвально, конечно, коли своими способностями и стараниями достигнешь большего, но и это опять-таки на благо тех же потомков твоих. Если же, наоборот, сил и умения хватает лишь на то, чтобы сберечь тепло в очаге и удовлетворить немудреные потребности голопузой малышни в доме, и то уже не зря коптишь небо, не зря пришел на белый свет.

Немилостивой оказалась судьба к умельцу Тлеу. Единственный отросток на его ветви – Тлепалды. Да и того вот уже столько времени след простыл. Об одном лишь молится старый мастер: пусть наградит всевышний многочисленным потомством Тлепады. Пусть все милости и благодарности людские, заслуженные ювелиром-сереб-ряником за многие годы, падут на его единственного сына.

Странно все-таки создан человек. Пока он холост, чудится, что самая красивая девушка на свете достанется ему, а самые красивые и удачливые дети родятся от него. А потом, когда молодость уже осталась за горами, и впереди маячит скудная на радости старость, начинаешь надеяться, что сын одарит тебя самыми красивыми внуками. Утешаешь себя тем, что недоставшееся тебе непременно достанется сыну. То, что ревниво оберегаешь от других, в мыслях охотно передаешь своим детям. Лишь, бы бог не обделил тебя счастьем любить и ласкать потомство. Лишь бы не обрек на одиночество. Нет страшнее кары, чем лишиться надежды.

Замкнутый, неразговорчивый старик Тлеу в мыслях своих часто благодарит создателя за то, что осчастливил его Тлепалды. Пока сын жив и здоров, есть еще надежда обзавестись потомством, еще может наполниться дом веселым гомоном. При виде здорового, миловидного ребенка в аулах старик каждый раз ловит себя на мысли: «Эх... был бы и у меня такой внук!»

И теперь вот его болтливый сверстник своими неуместными предположениями враз разбил, разрушил взлеле-

янную в сердце мечту, смутил душу, развеял дивное видение перед взором, словно зеркальная гладь озера покрылась рябью под неожиданно налетевшим ветром. Старый мастер так растерялся, что не находил себе места, и все вдруг стало валиться из рук. И в жизни дальнейшей, мнилось, не было уже никакого смысла. Он словно оцепенел, отупел. Привычные мысли разбежались. Целыми днями лежал он неподвижно, как в забытьи. Лишь глубокой ночью, и то ненадолго, смыкались его веки.

Он как бы погружался в короткую дрему. И даже снилось ему что-то зыбкое, неопределенное. Просыпался, как в дурмане, не в силах связать обрывки неясных дум и видений. Однако вскоре все эти смутные видения обрели более ясные и определенные очертания. Ватага неугомонных сорванцов, все сплошь светлолицые, голубоглазые, с ковыльными чубчиками, резвилась на почетном месте его юрты, увлеченно копалась в его наполненном всякой всячиной деревянном сундучке. Аульные балагуры из стариков-ровесников иногда пошучивали, дескать, на твои поминки твои белобрысые внуки наверняка заколют свинью, а мулле, сотворившему поминальную молитву, преподнесут на деревянном подносе не баранью голову, как принято у правоверных, а поросячью. От таких шуток Тлеу становится не по себе. Нередко он просыпается с мокрой от слез бородой. Днем же под монотонный стук молоточка он понемногу успокаивается и про себя думает: «Ну и что? Мало ли на свете рыжих, светлоглазых казахов? Кто их упрекает за неблагородное происхождение? Разве их изгоняют из родного края? Когда наступит час отправления к предкам, откуда нет возврата, разве не все равно, какие сородичи тебя оплакивают – черноглазые или синеглазые? Важно, что на земле остается плоть от плоти твоей...»

От таких дум наступало в душе облегчение. Готовые к усмешке при бестолковом трепе Кудеры кончики усов начинали чуть-чуть вздрагивать от прилива нежности, и напряжение в теле спадало, и благодушие и умиротворенность растекались по телу.

Прошла еще одна зима. Наступила весна. Тлеу покинул плоскокрышую, тесную зимнюю мазанку, перебрался в юрту в раздольной степи. Как-то Зейнеп, собиравшая по окрестности хворост, вернулась с тревожной вестью: за перевалом показалось несколько всадников.

С грохотом бросив вязанку хвороста возле котла, она снова поднялась на ближний холмик.

– Старик! Эй, старик! Путников что-то не видать. Через некоторое время опять отозвалась:

– Из низины за аулом доносятся голоса. Может, они?..

Тлеу на мгновение задумался. В краю Великих песков никто не зимует. Скотина обычно пасется вдалеке, там, в зарослях кустарника. Лишь в знойные месяцы прибывают сюда косари. До той поры на затерянном клочке земли между песками и плоскогорьем не обитает ни одна живая душа, кроме него да егеря и сторожа Кудеры. А его стоянка находится отсюда на расстоянии однодневного пути. Откуда бы взяться в столь неурочный час каким-то путникам? Значит, неспроста это. Может, Тлепалдыжан...

Дрожь кинулась в руки старика. Он машинально схватил длинные щипцы и поворошил уголья под горном.

И Зейнеп умолкла. Топот конских копыт приближался. Всадники тихо подъехали к юрте.

Зейнеп учтиво откинула полог. Четверо или пятеро стариков во главе с Кудеры, сдержанно здороваясь, прошли на почетное место.

Тлеу в ответ на приветствие едва шевельнул губами. Выдернул из угольков щипцы. До боли сжал пальцы. Сгорбился весь в предчувствии беды. Серолицый, носатый старик посередке, откашливаясь, глухо заговорил. Говорил долго. Белесые глаза Кудеры опухли, воспалились. Сплошь в кровавых прожилках. Жидкая бороденка мокра от слез. Запахло вдруг горелым. Возле груди будто огнем обожгло. Тут только Тлеу заметил, что нечаянно прижал к груди кончик раскаленных щипцов. Тлела белая рубаха, прожженная насквозь. Тлеу досадливо отшвырнул щипцы...

С того дня грудь постоянно ныла. Будто кто-то прикладывал к ней раскаленное железо. Однажды, натягивая на себя свежую рубаху, заметил на груди два небольших серповидных шрама – следы ожога.

Отныне ему уже не снились белобрысые, синеглазые пацанята с ковыльными чубчиками. Не копошились у его ног. Не рылись в деревянном сундучке с его инструментами. Исчезли и балагуры-старики, показывавшие во сне на него пальцами, ухмылявшиеся в усы и болтавшие бог весть что. Вообще никакие сны ему уже не снились. Да и

наяву он мало чего видел и замечал. Да и что было видеть и замечать?.. Пусто вокруг... Голо... Мертво...

Он даже не знал, куда девался заветный сундук: то ли под землю провалился, то ли на небо взлетел. Краешком глаз замечал, что в пору сенокоса в их юрту робко входили девушки и молодки. И еще видел, как старуха тихо выпроваживала их, кивком головы указывая на скорбного хозяина.

Старый мастер и раньше слыл молчуном, а теперь и вовсе умолк, будто дал обет молчания. Должно быть, когда объявили ему черную весть, от которой помертвело все в груди, невыплаканные слезы застили ему белый свет: все живое и мертвое вокруг воспринималось тускло, расплывчато, как в дурном сне. Иногда чудилось, что в хилой груди вконец отощавшего скорбного старика поселилось некое чудовище, и если он будет днями и неделями все так же неподвижно сидеть у потухшего очага, то оно, мохнорылое чудовище в груди, подхватит его однажды и унесет бог весть куда. Оно изо дня в день росло и крепло в нем, подтачивало остатние силы, но и старик упрямился, стискивал зубы, даже дыхание сдерживал, чтобы не вырвался невзначай тяжкий стон. Он не испытывал страха, наоборот, с презрением и злорадством прислушивался к неистовству чудовища, изгрызавшего его изнутри, и больше всего опасался выказать унизительную слабость, ибо был готов с упрямым молчанием окаменеть на месте или лопнуть от нестерпимых боли и мук. Но, видно, и таинственное чудовище, поселившееся в нем с того черного дня, оказалось недостаточно сильным: оно не могло ни разорвать тщедушного старика, ни превратить его в камень.

Днем он сидел серый, оглушенный и онемевший от горя, а ночь во сне неслышно плакал. Когда лицо становилось влажным от слез, он просыпался в испуге и потом до самого рассвета, не смыкая век, тупо глядел в потолок. Тогда казалось, что невидимое чудовище в нем, наконец, одержит верх, вот-вот крепко свяжет его по рукам и ногам и покатит, будто куст перекати-поля, в черный овраг. Старик явственно чувствовал, как легкое, иссохшее тельце его цепенеет, наливается чугунной тяжестью.

В такие минуты приходил на ум предок Утеу. Когда предка настигла небесная кара, отняв у него последнего, седьмого сына, он несколько месяцев пролежал в юрте

молча и неподвижно, отвернувшись лицом к стенке, подложив под голову седло и обхватив руками грозную секиру. Рядом, распустив волосы, голосила днем и ночью неутешная жена. Он не вторил ей и не успокаивал ее. Он настолько привык к скорбному, душераздирающему плачу, что слышал его даже тогда, когда жена впадала в короткое забытье. Порою его била дрожь, будто несметное количество пиявок вонзилось в его большое тело. Лицо искажалось от боли. Слезы душили его, раскаленными углями жгли грудь, тщетно искали выхода и, не найдя его, доводили терпеливого батыра до отчаяния. Поделиться своей болью, своими душевными муками с женой он стеснялся. Баба, она ведь и есть баба. Оставаться же со своим горем наедине, держать свою боль в себе становилось выше его сил. Казалось, боль сведет его с ума или испепелит, превратит в прах, в труху. Тогда батыр, засунув секиру за пояс, вышел из траурной юрты. Направился к купам джиды на краю пустыни. И вернулся домой лишь вечером, волоча за собой иссохшее деревце. Старуха изумленно провела пальцем по краешку рта, не понимая, что задумал ее строптивый старик.

На следующий день Утеу с увлечением принялся за дело. Сначала разделал иссохшую, твердую джиду на тонкие, как дынные корки, дранки. Потом начал обрызгивать их водой. Деревце высохло до звона, и дранки никак не обретали желанной гибкости. Но старый батыр был терпелив и упорен. Он набирал из кумгана воду в рот и целыми днями сосредоточенно спрыскивал тонкие джидовые дранки. Наконец они потемнели от влаги, стали податливыми. Батыр придавил их посередке тяжестью, засыпал влажной землей. Через несколько дней выкопал: дранки были упруги и гибки, точно прутики. Батыр сжимал их по краям, понемногу гнул, пригоняя плотно друг к другу, обстругивал острым, как алмаз, клинком. И вот однажды из-под рук его вышел аккуратной продолговатой формы кузовок домбры. Поверх кузовка он наложил тонкую крышку из сухой фанеры.

К годовщине со дня смерти последнего сына Утеу стояла, прислоненная к стенке юрты, новехонькая звучная домбра с большим, овальным кузовком, длинным грифом, точеной головкой. Хозяин приказал старухе жене тщательно промыть кишки только что зарезанного крупного барана, туго скрутить их на прялке-юле, потом отмочить на пару и высушить в прохладе, в тени.

Через несколько дней на хорошо просушенную на сквозняке домбру Утеу натянул упругие струны из кишок. Жена сварила в казане мясо барана, положила дымящиеся куски на деревянный поднос, и после полудня, в час предвечернего намаза, скорбные старики отправились на бурый холмик неподалеку поминать своих детей. Они опускались на колени попеременно перед всеми семью могилками, молились, бормоча известные им арабские слова. Потом, как подобает истинным правоверным, отведали по кусочку жертвенного блюда и, сложив ладони перед лицом, сотворили благодарственную молитву. И угощать некого, и раздать подаяние некому. Потому старики высыпали оставшуюся пищу у крайней могилки и понуро побрели назад к неказистой одинокой юрте в выгоревшей низине. Старик брел впереди, старуха семенила сзади. Рядом маячили в предзакатный час две неуклюжие тени.

Придя домой, Утеу взял в руки дожидавшуюся своего часа домбру. Едва корявые, сильные пальцы, больше привыкшие к батырскому оружию – клинку, копью и секире, ударили по струнам, домбра заговорила-запела глухо и печально. Скорбные звуки наполнили тихую юрту. Казалось, из груди неутешного отца выплеснулась разом вся тоска, вся горечь отчаяния и боли. И каждый звук будто облегчал муку, непроницаемыми пластами сковавшую душу. Густая, невидимая пелена перед глазами словно спадала, развеивалась. До предела натянутые жилы, казалось, ослабли. Что-то в глубине груди смягчалось, оттаивало. Скорбный, саднящий душу плач одинокой домбры пробирал до костей.

И вдруг Утеу услышал отрывистое всхлипывание и испугался. Тотчас прекратив игру, поднес правую руку к глазам. Они были сухи. Недоумевая, он посмотрел на старуху. Она, подперев бока руками, горестно покачивалась и исходила слезами.

Утеу вспылил и одним махом переломил предательскую домбру о колено. Мужчина не должен показывать своей слезы. Но и скорбь души своей ему не положено никому изливать.

Отныне сдержанный и суровый старый батыр тщательно скрывал свою боль и тоску даже от старухи, верной спутницы его горемычной жизни. И все же один он не мог справиться со своим безмерным горем. Казалось,

не наступит облегчение, пока острая, жгучая боль в груди не пробьется, не прорвется наружу.

И когда старуха уходила собирать кизяк или хворост, или отравлялась выгонять скот на выпас, Утеу, крадучись, подходил к пустой, унылой отау – юрте для молодых, по обычаю стоявшей по соседству, выламывал из боковины тростинку и начинал делать из нее дудочку-свирель. Стоило же старухе показаться из-за холма, тотчас прятал дудочку в кипах старого, закопченного войлока.

Существует давнее поверье: дудочка из тростника, вынутого из боковины траурной юрты, обладает особой звучностью и певучестью. Это оказалось сущей правдой. Достаточно было поднести дудочку к губам, как она заливалась на все лады.

Однако вскорости старуха вызнала тайну старика. Она делала только вид, что уходит собирать кизяк, а сама, притаившись за первым же барханом, вслушивалась в заунывную, бесконечную песню печальной дудочки и тихо плакала, смывая слезами коросту горечи на сердце.

Когда возвращалась домой, старик, как обычно, возлежал на почетном месте со спокойно-равнодушным видом, словно ничего не произошло. Наутро старуха снова хваталась за мешок и, мелко-мелко семеня, спешила за горбатый бархан собирать кизяк, хотя во дворе топки накопилось с добрую гору.

Старик догадался о немудреной хитрости старухи. Он теперь с дудочкой за пазухой уходил к купам джиды. Там бил из земли крохотный родничок. Возле него Утеу и сидел часами в полном одиночестве, поигрывая на заунывной дудочке. Перед заходом солнца он прятал дудочку в заброшенном мазаре возле рощицы джиды и, немного успокоенный, брел домой. И вот однажды дудочки не оказалось на месте. Здесь обычно не появлялась ни одна живая душа. Только раз-другой в году проезжали караванщики между безлюдной степью и ханским базаром в восточном городе. Видно, кому-то из караванщиков и досталась дудочка батыра Утеу.

Густобородый вожатый каравана, услышав унылые звуки свирели, прикрикнул на мальчишку:

– А ну, брось! Не мути душу! Народ испугаешь... Погонщик верблюдов, малец, с истресканными пухлыми губами поспешно сунул находку за пазуху.

А на следующий день, уединившись у склона перевала

за аулом, погонщик отвел душу, во всю мощь юных легких играя на дудочке. Охотник Акпан, возвращаясь домой, круто остановил коня.

– Эй, пострел, откуда она у тебя? Погонщик сказал всю правду.

Охотник, огромный, долговязый мужчина, вдруг припал к гриве коня и, содрогаясь в плаче, медленно отъехал. Он понял, о чем так надрывно пела одинокая свирель.

Мужественному, но бездетному старшему брату, жившему из-за обиды на создателя изгоем в безлюдной пустыне, охотник Акпан передал одного из своих сыновей. То был прадед Тлеу – Сактап.

Старый батыр воспрял духом, и отныне крепился, не подавал виду, пока приемному сыну Сактапу не исполнилось шестнадцать лет. Детский лепет и гомон наполнил еще недавно тихую, как могила, юрту радостью. Старик распрямил согбенные плечи, вскинул поникшую от горя голову. Снова занялся хозяйством. Жизнь обрела смысл. И пока сын не окреп, не оседлал, как подобает, мужчине, коня, старый батыр не знал покоя. Лишь убедившись, что Сактап вполне созрел для самостоятельной жизни, он свалился сразу, в один день, точно подрубленное дерево. Однажды, возвращаясь с охоты, Сактап услышал неподалеку от их одинокого становища странный заунывный напев. Он застыл в недоумении. И не шелохнулся, пока не оборвалась, постепенно угасая, скорбная, тоскливая мелодия. Когда вновь наступила тишина, юный охотник подошел к юрте, переступил порог и увидел прислоненную к стенке длинношеюю домбру и неестественно застывшего на высоком деревянном ложе отца. Юноша догадался, что скорбный кюй играл, прощаясь с жизнью, одряхлевший батыр, при сыне никогда не бравший в руки домбры...

Сактап вырос дерзким, острым на язык. Этим и прославился во всей округе. Как-то неосторожно задел он за живое бродячего баксы-шамана, и тот его проклял, и проклятие возымело силу: дети Сактапа умирали малолетними. Последнего сынишку, родившегося, когда отцу было уже шестьдесят лет, пронесли по обычаю предков под сорока законченными казанами, поили молоком сорока женщин и, наконец, подложили под брюхо только что ощенившейся рыжей суки и даже кличку дали собачью – Сырттан. Только таким образом удалось отвести

кару. Сырттан выжил. В юрте его вместо привычного батырского копья впервые появился кузнечный горн. В честь знатного предка высватали ему пять девушек из пяти богатых и влиятельных родов. Но ни от одной из них не имел он детей. Была опасность, что на нем оборвется род, обрушится дедовский остов – шанрак, и тогда по воле мудрых старцев отдали Сырттану дитя, рожденное согрешившей девкой из соседнего аула.

То был отец Тлеу – Сурапалды.

Происхождение его так и осталось тайной, унаследовал он, однако, и музыкальность Утеу, и редкостный дар ювелира Сырттана. Рос он беспечным гулякой, рожденный гулящей девкой, искусно играл на домбре, лил серебряные кольца, ковал серьги, шил изящные, с узорами сапожки, прославился, как умелец, мастер на все руки, но таинственный злой рок упрямо преследовал и его: тоже не имел детей и потерял надежду когда-либо их иметь. Тогда родичи по материнской линии передали ему на воспитание мальчонку.

То был сам Тлеу.

Вот так причудливо, из разных племен и родов, низовий и верховий сложился этот худородный клан, до сих пор именуемый аулом славного батыра Утеу. С благословения всевышнего, по доброй воле людей тянется эта хрупкая нить, и не обрушился остов ветхой юрты, по-прежнему стоит она на открытом всем ветрам краю пустыни. Неподалеку, на буром, пологом холмике темнеют семь могилок – семерых сыновей батыра, умерших один за другим от черной оспы. А с другой стороны, к западу, раскинулось кладбище более дальних потомков Утеу. Это все, что досталось в этом безбрежном мире его роду-племени, – два кладбища и неказистое станонище посередине. Аул мертвых достаточно внушителен, а вот в ауле живых никогда не бывало более четырех-пяти юрт, и то главным образом благодаря токал – младшим женам. Теперь наступили иные времена, и Тлеу, не в пример своим предкам, лишился возможности взять себе несколько жен, и потому при нем аул сократился до одной-единственной невзрачной юртешки. Поставил было рядом отау – юрту для молодых, надеясь, что Тлепалды увеличит со временем численность семьи, но не суждено было сыну вернуться с войны...

И вот лежит, свернувшись в клубок, горемычный Тлеу

на подстилке, лежит целыми днями, и белый свет ему не мил. Иногда насторожится, прислушается – за стеной ни звука, тишь и благодать, и только в сердце – муть и тоска. Только душа ноет, воет, скулит, как одинокий пес на заброшенном становище.

А со временем вдруг убедился: какой-то потусторонний заунывный звук, то усиливаясь, то слабея, вторил его неутешному, беззвучному плачу. Тлеу вслушивался внимательнее: странный, однако, звук, не похожий на звуки домбры, или кобыза, или сырнай-свирели. Но моментами, особенно если слушать долго, все же напоминал и домбру, и кобыз, и сырнай-свирель. А то вдруг смахивает на монотонный вой исступленного баксы-шамана, призывающего духов. Впрочем, нет... нет... Это, скорее, горький плач раздавленной бедой женщины.

Тлеу незаметно покосился в сторону жены, сидевшей обычно на своем месте неподалеку от котла. Она и сейчас склонилась над рукодельем.

Тлеу обеспокоенно поднял голову. Повернулся на другой бок. Прислушался. Потом сел. Опять прислушался. Наконец решительно встал и вышел.

День был ветреный. После покоса степь казалась особенно неприглядной. Вдали бугрились, уходя за горизонт, барханы. В давние времена здесь была круглая, как чаша, травянистая низина, но пески настойчиво наступали, надвигались со всех сторон, выравнивая местность, превращая ее в плоскогорье. Кто знает, находят ли что на здешних выпасах четвероногие спутники человека, не отрывающие морды от земли, но для двуногих смертных желанного затишья становится с каждым годом все меньше и меньше.

Видно, оттого, что вышел налегке, Тлеу вскоре почувствовал, что озяб. Сильно щурясь, он взглянул на солнце. И в это время опять явственно расслышал заунывный, занудливый звук. Тлеу вздрогнул, будто за спиной его завыл волк. Оглянулся: кругом, куда ни смотри, безбрежные дали. Низина сплошь покрыта желтеющей колючей стерней. В стороне на чахлом кустике трепыхался на ветру иссохший клочок газеты. По ровной стерне временами будто пробегала дрожь.

Стоять как вкопанному на одном месте было вроде как неприлично, и Тлеу пошел наугад в сторону куста, на котором трепыхалась пожелтевшая газета. Она была не-

большая, величиной с детскую пеленку, и старику нежданно подумалось, что она районная. Он даже усмехнулся своей догадке, с привычным «Бисмилля!» потянулся кончиком пальцев, приподнял газетку и только тут увидел наполовину зарытую в песок бутылку из-под креолина. Это из нее извлекал ветер бесконечный и однообразный заунывный звук. Тлеу поморщился от досады. Потом схватил бутылку за горлышко и с размаху швырнул к чумазой земляной печке, черневшей неприглядным пятном в стороне. Заунывный звук, навевавший тоску, тотчас оборвался.

Вернувшись домой и вновь устроившись в своей теплой постели, Тлеу опять прислушался. Ни звука снаружи. Все та же опостылевшая, одуряющая тишина. Теперь он даже испытывал тоску по недавнему заунывному звуку. Какое-никакое, а вроде разнообразие в монотонной их жизни.

Выморочная, словно потусторонняя тишь могла кого угодно свести с ума. Она преследовала и ночью во сне. Просыпаясь, он прислушивался с неясной надеждой. Ну, может, какой-нибудь шорох привлечет его внимание?.. Лишь однажды возле кучки золы перед юртой раздался бойкий стрекот птицы козодоя. От неожиданности он даже не разобрал, радость или горе предвещала ночная вещунья. Откуда бы радость? Ведь нет у него снохи, способной разродиться сыном. Да и какое еще может быть горе? Не велика печаль, если даже двое никому не нужных стариков в безлюдной пустыне возьмут да и околеют однажды. Так что впустую надрывается глупая ночная птица, сторожащая покой заброшенного кочевья...

Он вновь забылся в коротком, неспокойном сне. Ему чудилось, будто он барахтался в какой-то бесцветной, клейкой жиже, похожей на яичный белок. Все предметы вокруг лишились привычных очертаний. Он даже сам себя ощущал будто размытым, растворившимся в этой неприятной, вязкой массе, засасывавшей, как топь. Только где-то в уголке сознания мерцала совсем не страшная догадка: может, это и есть то самое мгновение, когда душа покидает бренную плоть?

Каким образом так неожиданно и быстро подкрался к нему роковой час? И где тот жуткий адов мост, по которому обязаны пройти все грешники? И где увешанные побрякушками строгие ангелы Мункир и Нанкир, веду-

щие учет всем добрым и черным деяниям? И что он скажет в предсмертное мгновение Мункиру и Нанкиру? Ведь жил он вполне праведной жизнью, и в лихолетье, как мог, помогал вдовам и сиротам, бедным и страждущим – накладывал, как говорится, заплатки на прохудившуюся жизнь и заслужил немало благодарностей. Изо дня в день только и слышал: «Да исполнятся все твои желания!», «Да множится твое потомство!». А какие у него были желания, кроме того, чтобы живым и здоровым вернулся с войны Тлепалды? Вернись же он – наверняка умножилось бы и его потомство...

Выходит, все эти людские благодарности и добрые пожелания, заслуженные им за многие годы, не в состоянии заменить счастливое мгновение хотя бы в смертный час лицезреть свое кровное дитя. А может, он сейчас как раз вплывает в хваленые райские врата? Может, скажутся сейчас людские благословения, и попадет он в рай, где, сказывают, встречаются родные и близкие? Вспомнились назидательные слова горбоносого муллы, приезжавшего с горестной вестью: «Не гневи создателя. Не сетуй на то, что не свиделся с сыном. Может, встретишься с ним, невинно убиенным, в благословенный час рассвета в райском саду».

Да, да, должно быть, сейчас наступит тот желанный миг... По-прежнему он плыл-барахтался в прозрачно-смутном пространстве. Однако чувствовал, что вокруг понемногу темнеет, как во взбаламученной воде. Он напряг зрение, вглядывался в сутемень, но ничего различить, не мог. Не-ет, не надо ему рая. Пусть только покажут, хотя бы на мгновение, его единственного, ненаглядного, а там... там пусть швырнут в адов огонь – роптать не станет... Недавняя прозрачная белковая жижа все густела-густела, вот она стала похожа на свернувшееся молоко, а потом, понемногу, – на бурую, вязкую грязь болота. Казалось, черная пучина поглотит, засосет его.

В груди что-то сжалось, заныло так сладко-больно. Что это? Страх? Но ведь он давно уже, кажется, смирился со смертью. Так отчего он вдруг испытывает тревогу? Отчего так тесно в груди, а к горлу подкатывает сухой комок? Отчего дрожит подбородок? Ах, вон оно что... Его берет тоска от страха, что превратится сейчас в прах и уйдет в сырую землю, так и не увидев ни на том, ни на этом свете своего единственного сына. Вдруг... О аллах...

астапыралла!.. Опять пробился, просочился откуда-то скорбный напев. И опять он насторожился, весь в слух превратился.

Откуда быть-то скорбному напеву? Разве разжиженная глина звучит? Разве черная земля, заглатывающая в свою утробу всех и вся, не изначально нема? Или напев этот, такой тонюсенький и заунывный, льется из его груди? Сколько в нем боли, безутешной печали! Душа замирает, волосы на макушке шевелятся, и знобкая дрожь пробегает до самых пяток. Что-то очень знакомое слышится в этом наигрыше. Он, кажется, слышит его не впервые, а знает его издавна, может, с самого рождения... А густеющая глина все плотнее обступает его, хватает сырыми, холодными лапами за горло, норовит зажать рот. Внизу разверзлась черная пучина. Он взмахнул руками, рванулся из последних сил...

Темная, безлунная ночь. Легкий, ленивый ветерок улегся. Старик резко отшвырнул глухое одеяло, которым был укрыт но самые глаза.

В нем все еще теплился, отзываясь эхом, скорбный наигрыш. Казалось, кто-то тихо-тихо плачет, захлебываясь слезами. Тлеу приподнял голову, напряг слух. Потом посмотрел на жену, спавшую по обыкновению возле очага. Она свернулась в комочек и ровно, едва слышно, посапывала. Старик снова уронил голову на подушку и тотчас опять уловил знакомый наигрыш. На этот раз он, кажется, узнал его. Да, да, наконец, узнал. Это был кюй покойного отца.

Прикованный неизлечимой болезнью к постели, он незадолго до кончины подозвал сына к себе и попросил подать домбру, висевшую на верхней решетке юрты. Потом с трудом поднял высохшую от долгой хвори грудь, прислонился спиной к тюку и, взяв в ослабшие, узловатые руки домбру, будто оглаживая слегка две струны, тихо сыграл кюй. Наигрыш был мальчику незнаком. И напоминал он слабое дыхание чем-то очень взволнованного и удрученного человека. Поражали искренность и простота кюя. Печаль пробирала до костей. Умирающий старательно играл его вновь и вновь, как бы приковывая внимание к каждому звуку, к каждому такту и переходу. Потом, вконец утомившись, передал домбру в руки сыну, привыкшему больше всего иметь дело с кузнечным горном и молотком. Отец заставил повторять кюй вновь и

вновь. И лишь после полудня, убедившись, что сын в какой-то мере затвердил кюй, удовлетворенно кивнул головой и откинулся на подушку. Отдышавшись, притянул руку сына к себе.

– Запомни: это «Мелодия скорби», сочиненная твоим прапрадедом Утеу, когда у него умер последний, седьмой сын. Не забудь. Передай своему сыну. Непременно!

Он еще успел перед последним вздохом приложить палец сына к своим губам...

Теперь он, Тлеу, и не упомнит, когда в последний раз держал в руках домбру, и тот дедовский кюй почти вытравился из памяти. Сейчас, однако, он стал его припоминать до мелочей. А ведь точное название дал ему предок – «Мелодия скорби». Действительно, от отравленных горем звуков холодеет в жилах кровь, но почему именно сегодня вспоминался тот кюй? Неужто предки подают знак? Неужто их священный дух напоминает о себе? Подсказывает, каким образом он может облегчить боль и выплеснуть тоску, от которых бедный комочек в груди готов разорваться? Или аруах могучего предка-батыра в черной утробе земли ворочается в тяжком смятении, недовольный тем, что обрывается последняя тонкая нить его рода, а потомки забыли его скорбный кюй о горестях и надеждах человеческих?..

Как долго тянется ночь! Тлеу отчетливо ясно вспомнил от первого до последнего звука тот кюй, который он в последний раз играл еще до рождения долгожданного Тлепалдыжана. Раньше, бывало, когда уж слишком донимали просьбами, он делал домбры, и каждый раз, опробывая их звучание, он играл один и тот же кюй – «Мелодию скорби». Однажды, задумчиво пощелкивая по струнам новой домбры, он не заметил, как в юрту по обыкновению бесцеремонно ввалился его шумливый сверстник – редкобородое шайтаново отродье. Вошел, чуть послушал, скосоротился. Потом плюхнулся возле подставки с тюками, буркнул:

– Ну, что умолк? Или меня испугался?.. Давай чеши дальше!

Тлеу с досадой прислонил домбру к стенке.

А сверстник, развалившись, как в своем доме, достал табакерку, насыпал на ладонь насыбай.

– Ладно... Можешь не играть. И так знаю, не мастак на домбре тренькать. В старину неспроста, должно быть,

говаривали: бойся бойкой бабы, что без умолку балабонит, бойся робкого мужчины, что глаза долу клонит. Робкий мужчина испокон веку одну лишь лошадку имел, одну лишь бабу ласкал, одну лишь песню пел да один лишь кюй играл. Твою тягомотину я слышал, пока шел сюда. А другой наигрыш вряд ли тебе известен...

И, довольный своими словами, расхохотался, трясясь всем телом.

Пока Зейнеп готовила чай, редкобородый не спускал с нее глаз, будто видел ее впервые. А уходя, наклонился к уху хозяина:

– Эй, молчун, видишь, как у бабы брюхо вспучило? Поверь моим словам, не от сытости это, нет, нет... Услышал создатель твою мольбу. Тьфу, тьфу! Спаси от дурного глаза. Надежда засветилась в твоем доме. Так прекрати этот тоскливый вой. Еще беду накличешь. Да и выкинь все эти деревяшки! Нашел мне тоже забаву...

С того дня Тлеу не брал в руки домбры. И со временем скорбный дедовский наигрыш почти напрочь выветрился из памяти. Он-то кюй забыл, но кюй не забыл его. Годами таился где-то в уголке сознания или на самом донышке сердца и теперь вот, дождавшись своего часа, властно разбудил его в тревожную, глухую ночь.

До самого утра проворочался в постели. Даже утренний чай не взбодрил, не развеял его. Сердце неотступно ныло. Убрав дастархан – скатерку, Зейнеп приподняла дверной полог. Оказалось, кизяк возле земляной печки кончился. Старуха тотчас закинула мешок за плечи и отправилась в степь за топкой. Пока она не скрылась за холмом, Тлеу следил за ней через нижние решетки юрты. Когда же она исчезла за бурым перевалом, он пристально и придирчиво оглядел свое жилище. Остов четырехстворчатой скромной юрты был еще хоть куда. Только в той части, где хранилась утварь, верхняя кошма заметно обветшала. Большая, в два локтя, заплата сразу же бросалась в глаза. Низ одного края, не доставая до земли, загнулся вовнутрь.

С трудом распрямляя затекшие суставы, Тлеу едва ли не ползком дотащился до того места, где обвисла нижняя решетка, рукой погладил потемневшие от времени, вконец иссохшие прутья. Да-а... Обветшала юртешка. Дерни за край решетки – вся связка рассыплется. Прутья смуглого тальника, срезанные и связанные еще в дедовские

времена, стали невесомыми и хрупкими, как тростинки. Зато вынуть из них сердцевину не представляет никакой трудности. Достаточно рассечь прутик повдоль, выскоблить превратившуюся почти в труху сердцевину и, вновь сложив две половинки, крепко стянуть их в двух-трех местах волосяной бечевкой. После этого просверли несколько аккуратных отверстий на расстоянии ширины большого пальца, и – считай – дудочка готова. Поднеси к губам и играй себе в свое удовольствие, сколько душе угодно.

Тлеу озабоченно поскреб подбородок. Он сразу приметил длинный, изогнутый, гладкий прутик, одним концом спрятавшийся за древний деревянный ларь, будто почувствовал тайное намерение хозяина.

Что же это получается? Если сам Тлеу начнет выламывать тальниковые прутья из ветхой юрты, лишившейся наследника, и делать из них дудочки, то, глядя на него, не растащат ли ее завтра в два счета забавы ради аульные сорванцы и шалопаи? Слава аллаху, что живет один-одинешенек в глухой степи, и никто не догадывается об его затее. Попробуй-ка на глазах шальной детворы дудочки вытачивать из тальниковых прутьев, выломленных из решеток юрты... Не успеешь оглянуться, как на месте твоей юрты останется одна черная проплешина.

Тлеу решительно встал. Прошептал несколько молитвенных слов. Залил водой из кумгана тлевший посреди юрты очаг. Потом вышел и перевернул дном кверху черный котел на земляной печке. Потом опустил потолочный войлок, а к дверному пологу привязал увесистый булыжник. Лишь после этого направился в сторону джидовой рощицы на краю пустыни.

## 2

На одинокого путника, долго едущего по холмистой пустыне, все эти однообразные и невзрачные дюны и барханы, редкие и чахлые кусты жузгена и саксаула, несомненно, наводят уныние и тоску. И вот когда наш путник вынырнет, скажем, из-за угла зеленого оазиса – небольшого клочка чиевых зарослей посреди песчаного моря, взгляд его ненароком натыкается на нечто буро-синее, вьющееся, раскидистое в монотонной желтизне великих песков, напоминающее издали густой, слоящий-

ся дым над юртами затерявшегося на безлюдье аула. Еще через некоторое время пути это курчавое, буро-синее нечто уже явственно и властно манит взор.

Путник начинает поневоле поторапливаться. Подгоняя пятками коня, он едет вдоль тропинки, пролегающей по обросшей твердой солончаковой коростой равнине. Вскоре ему встретится узкая, продолговатая суглинистая полоска – крохотный островок в безбрежном океане песков. Одним концом полоска упирается в горбатый бархан, другим обрывается у солончаковой чаши, тускло отливающей под жгучим солнцем. С краешка узкой, как лезвие ножа, полоски расположились рядком три тихих родничка. А в низине чуть поодаль, где сливаются их воды, бог весть с каких времен, растет несколько пышных деревцев пустынной джиды. «Купы джиды» – так это место с незапамятных времен и называется.

Мимо этого благодатного пятачка земли, где даже из-под копыт коней просачивалась живительная влага, издревле не проезжал ни один путник, все равно – на лошади или на верблюде, ни один караванщик, измученный дальней пустынной дорогой, с потухшим от зноя взором, с растрескавшимися от жажды губами. Под деревцами пышно разросшейся джиды не однажды, надо полагать, звучал гортанный смех, не раз велась громкая, оживленная беседа. В то далекое мятежное время сюда стекались храбрые джигиты народных заступников Котибара и Арыстана. Позже, в пору батыра Есета, в этих зарослях скрывались восставшие против насилия и произвола властей. Со временем рощица начала хиреть. Многие деревца погибли. Раньше неприхотливая джида росла не только на крохотном пятачке возле родничков, но и по всей долине, богатой влагой и прохладой. С годами, однако, что-то случилось с землей, пески надвигались все настойчивей, и от множества разбросанных там и сям джидовых зарослей сохранилась одна лишь эта купа. Еще недавно, на памяти Тлеу, здесь росло более десяти деревьев. Теперь осталось пять. И то одна джида, та, что с краю, уже несколько лет, как сохла на корню. К ней-то и присматривался Тлеу давно.

Чего только не найдешь здесь, возле зарослей джиды! Стоит лишь поковырять влажную супесь, как натыкаешься на всякую всячину; на обломок изъеденного ржой клинка. На железный наконечник копья, на рассыпавшиеся

звенья кольчуги, на замок стальной колодки, на солдатские фляжки с узкой горловиной, на медный кумган с изящно изогнутым носиком, каким-то образом забытый благочестивым странником на привале, и бог знает на что еще. Сбоку рощицы, в том месте, где проступала солончаковая плешь, еще до недавнего времени зияло медное жерло пушки в ядовито-зеленом нарасте, напоминавшей грозного верблюда, опустившегося на колени. Теперь и пушки уже не видно. Значит, кому-то и она понадобилась...

Старый Тлеу ревниво оберегал все эти древности, словно святыню или родовую реликвию. Бывало, он осторожно брал в руки какой-нибудь обломок, испытывая при этом непонятную слабость и благоговейную дрожь.

Интересно, кому она принадлежала, эта святыня прошлого? – мечтательно произносил он, обтирая рукавом извлеченную из земли ржавую железку.

– Какая уж там святыня?! Обыкновенное оружие какого-нибудь грабителя с большой дороги, – дерзко отвечал, случалось, темнолицый, с задорным чубчиком, мальчишка, стоявший в сторонке с конем в поводу.

Тлеу в таких случаях недовольно дергал плечом и косился на сынишку. Тот, уверенно держа под узды игренего маштачка, поблескивая черными, как угли, горящими глазами, смотрел открыто и прямо, не мигая. К сердцу старого отца подкатывал холодок. «Вся его родня по материнской линии – сплошь лихоимцы и разбойники. И этот нечестивец смотрит так, будто из ружья целится. Ишь, даже не моргнет...– думал он с гревогой и тотчас спохватывался, поминая имя аллаха. – Дерзок малец, порывист. Так и рвется с привязи. Как бы не сглазил кто...»

И Тлеу, бывало, неторопливо поднимался, совал находку в седельный мешок, в котором возил обычно капканы. Потом тщательно отряхивал оба рукава и подол бешмета, стряхивал ладонью пыль с колен и подходил к тихому родничку. Достав из кармана платок, мочил его в прозрачной воде и обмахивал им благоговейно носок сапога. Лишь после этого, как бы совершив некий обряд, направлялся к одинокому саксаулу, росшему неподалеку на стыке суглинистой земли и сыпучего белого бархана.

Так бывало.

Так он поступил и сегодня. Дойдя до провалившейся древней могилы под саксаулом, Тлеу опустился на коле-

ни. Словно опасаясь глядеть в зияющую яму, где виднелся пожелтевший и как бы ощерившийся череп, старик плотно закрыл глаза и забормотал молитву.

Вспомнились дерзкие слова, сказанные когда-то сыном. В самом деле, кому теперь ведомо, кто именно лежит в обвалившейся могиле под саксаулом. Может, тот, чей череп так неприглядно торчит из ямы, был при жизни известным златоустом – шешеном, управлявшим родом или племенем, или батыром-храбрецом, предводителем войск, а возможно, и просто разбойником, подстерегавшим жертву на развилке больших дорог? Кто знает... Ведь мог он быть и тем, и другим, и третьим. Какой казах в стародавние времена не держал в руке копья? А тот, кто владел копьем, разве удерживался от соблазна угонять скот противника, особенно, если, скажем, табун лошадей пасся на отшибе? И уж коли хватало храбрости на барымту – на насильственный угон скота, то такому, надо думать, ничего не стоило сказать связную, складную речь перед сборищем людей. Вот и получается, что такой человек мог прослыть и искусным бием – судьей, и бесстрашным батыром, и дерзким разбойником. А уж если он в свое время вершил судьбы, был на виду, испытал славу и оставил на земле потомков, то разве не приходится он – кем бы ни был – тебе предком и разве не заслуживает он того, чтобы поклонились его праху и помянули словами моливы его душу? Не прояви в свое время славные предки дерзость и отвагу – кто знает, в каком углу, в каком краю необъятной земли мытарились бы их горемычные потомки. Однако не мог ведь знать безграмотный предок, что о нем скажут, что напишут грядущие поколения, едва ли не с рождения, точно мыши, копающиеся в бесчисленных бумажках. Легко судить о прошлом. Все можно объяснить невежеством предков. Даже все войны и стычки удобно объяснять невежеством. Но почему тогда неймется нынешним грамотеям? Чего им-то не хватает? Разве не вымолил, не выпросил Тлеу униженно у создателя Тлепалды – единственную свою отраду? И где он теперь?.. Вот он, старый Тлеу, и поныне знает назубок всех своих предков до седьмого колена, знает, где погребены их останки, наведывается на их могилы, читает поминальные молитвы. А где находится один-единственный его отросток, родной сын, – не знает. Может ли быть страшнее доля для отца? Тлеу

живо вспомнил сына, которого при жизни берегли от ветра, солнца и дурного глаза и который теперь навеки остался лежать на чужбине, в неведомой земле неведомого народа, и еще ниже склонился под тяжестью горя, и слезы невольно навернулись на глаза. Молитвенно сложенными перед лицом ладонями обхватил голову, закрыл глаза, задрожал плечами сдерживая рыдания. Но тут же вспомнил, что творит поминальную молитву у незнакомой могилы, взял себя в руки, поднял голову и благоговейно огладил редкую бородку, выражая покорность воле аллаха.

Опираясь о черенок плетки, тяжело поднялся. Отвязал небольшой белый узелок на верхушке оголившегося саксаула возле одинокой могилы и сунул его себе в карман. Потом медленно пошел к купам джиды. Обогнул тихий родничок. Все мерещилось, что сбоку увидит он сейчас игреневого коня, которого уверенно держит под узцы смуглый мальчонка с задорным чубчиком на лбу, с дерзким огнем в немигающих глазах. Но нет... не увидел. Ни мальчика, ни коня. С тоской и досадой вспомнил, что на этот раз приплелся сюда один, пешим.

Он застыл, потерянный. Взгляд бессмысленно блуждал вокруг. Перед глазами все зыбилось. В груди проснулась знакомая ноющая боль. Он начал привычно растирать грудь правой рукой и наткнулся на что-то твердое, холодное. Осенило: топор!..

Он собрался с мыслями и оглянулся. Только сейчас взгляд его упал на деревца джиды, многокрасочно переливающиеся под лучами то скрывающегося, то ослепительно выныривающего из-за клубящихся облаков солнца. Узкие, как змеиная головка, длинные пушистые листья на гибких, раскидистых и гладких, бронзовеющих ветвях чутко и неутомимо трепетали под легким ветерком, без умолку перешептывались, шушукались.

Говорливые листья джиды развеяли думы, отвлекли внимание, успокоили душу, точно заговор искусного знахаря-баксы. И туман перед глазами растаял.

Под четырьмя тесно стоявшими и густо разросшимися, деревьями все было усеяно сорванными ветром, смытыми дождем, цветами, плотной завязью, бронзовыми гроздьями душистых мелких плодов. Некогда нежные, изжелта-алые цветы потухли, усохли, превратились в бесформенный, пепельного цвета прах. Вокруг царила дикая

запущенность. Давно, видно, не ступала здесь человеческая нога: Не проходят ныне здесь, как в старину, верблюжьи караваны. Большак, по которому мчатся машины, остался в стороне. – Бедняжки вы мои! Сиротинушки!..– прошептал, задрожав подбородком, старый Тлеу. Он сам не заметил, как вырвался у него этот горестный вздох, но ветки и листья джиды чутко отозвались, откликнулись ему, зашептали-зашуршали, наклоняясь низко, приветливо оглаживая ему плечи и лицо. Тлеу жадно вдыхал, втягивал в себя сладко-кислый запах, струившийся от деревьев, пропитанных жгучим солнцем, вольным ветром и соками земли. От знакомого с детства духа ширилась грудь.

Тлеу подошел к старой джиде, стоявшей особняком от поросли, шумящей листвой. Бедняжка совсем высохла, торчали во все стороны голые, почерневшие ветви. Но вокруг было чисто. Ни соринки. Точь-в-точь как в прибранном бездетном доме.

У Тлеу от жалости вздрогнуло сердце. Он стоял в оцепенении, не смея поднять топор на черный, безжизненный ствол. Внизу, у основания, вылезли наружу неприглядные, узловатые, причудливо сплетенные корни, напоминавшие заскорузлую кожу вконец изношенной, истертой обувки. «Ах, бедная, бедная...» – едва слышно приговаривал старый Тлеу. Говорят, у домбры, сработанной из джиды, звук мягкий, проникновенный, душевный...

Острый топор принялся за дело, которое должно было служить взаимному утешению двух одиноких, скорбных душ – человека и дерева.

У Зейнеп глаза полезли на лоб, когда она увидела мужа, который, кряхтя и надрываясь, волок за собой срубленную старую джиду. С языка ее чуть ли не сорвался первым пришедший на ум бабий вопрос, но она вовремя спохватилась. В древнем роду батыра Утеу было исстари принято, что вопросы задают только мужчины, а женщины только обязаны отвечать на них. И если бы Зейнеп нарушила сегодня невзначай этот обычай, еще неизвестно, что мог бы подумать сдержанный и молчаливый Тлеу, не издающий звука, хоть воткни ему шило в бедро. Он мог бы подумать про себя: ну, конечно, разве станет баба уважать мужчину, одинокого, как перст. Несчастный человек мнителен. Зачем же еще травить его душу неуместным любопытством?.. Зейнеп лишь скосила взгляд на срубленную джиду, с глухим стуком брошенную возле

юрты, и учтиво откинула войлочный полог перед мужем.

Переступив через порог, Тлеу расстегнул пояс. Треух и верблюжий чапан, стянув с себя, передал жене. Она повесила их на верхнюю решетку юрты и принялась стягивать с мужа сапоги.

Разоблачившись, Тлеу прошел на почетное место. Кутаясь в теплый халат, наброшенный на плечи женой, длинно зевнул, помянув при этом по привычке имя всевышнего. Потом застыл в молчании, ожидая, когда появится перед ним пиалушка с душистым коричневым чаем.

Наутро, едва убрали дастархан, Тлеу взял пилу и приступил разделывать срубленную накануне джиду. «Слава аллаху...» – прошептала радостно про себя Зейнеп. Наконец-то, после долгого угрюмого сидения и лежания на почетном месте в юрте муж вроде встрепенулся, будто очнулся от тяжкого сна, и вновь нашел себе забаву. И, чтобы не быть ему помехой, не путаться у него под ногами, придумывала себе работу подальше от дома: то с коромыслом и ведрами шла за водой, то с мешком за спиной отправлялась собирать кизяк и хворост, то, вернувшись, накладывала в уголке заплаты на сопревшую кошму.

Верный своей привычке всецело отдаваться работе, Тлеу ни разу не посмотрел на Зепнеп. Она тоже помалкивала и долго не догадывалась, что же такое мастерит ее неразговорчивый муж. А когда однажды узрела среди кучи щепок явственное очертание кузовка домбры, обомлела, почувствовав, как больно кольнуло сердце. Она знала, с молодых лет была наслышана о печальной участи рода батыра Утеу, и теперь убедилась своими глазами, что муж окончательно смирился с гибелыо единственного сына, и это ее так потрясло, что она отвернулась и низко-низко склонила голову, едва не касаясь лицом сопревшей и терпко пахнущей кошмы, накрывавшей остов юрты. На жесткую брезентовую заплату с глухим звуком упало несколько горячих горошин слез.

Больше недели усердно корпел Тлеу над джидовой домброй. И вот теперь она висела на стенке, новехонькая, с длинным грифом, овальным, большим кузовком, с тонкой, как высохшая ягнячья брюшина, крышкой. Судя по всему, звучная, говорливая, чуткая получилась домбра.

Тлеу был хмур и сосредоточен. Строго и пристально разглядывал он с утра свой немногочисленный скот в загоне, будто видел его впервые. Долго и внимательно

ощупывал взглядом каждую овечку. Наконец резким и ловким движением схватил за заднюю ножку пытавшегося прошмыгнуть мимо крупного, круглобокого черного валуха, привел его к юрте, поставил на привязь к правой стенке. Остальной скот выгнал на выпас к песчаному холму.

Придя домой, достал из-за голенища нож с костяным черенком, с медным кольцом, обмыл-ополоснул лезвие теплой водой из стоящего на золе кумгана. Потом завел валуха в юрту, повернул головой в сторону священной Мекки и раскрыл перед лицом ладони.

– О создатель, всеблагий, всемилостивый! Прими священную жертву в честь великих и незабвенных духов – невинного, благовонного агнца с лунными рогами, с раздвоенными копытцами. Аминь!

И, благоговейно огладив лицо и бороду кончиками пальцев, ловко завалил валуха, связал ему ноги. Под ножом немногословного, решительного человека какая скотина проявит строптивость? Черный валух только разок дернулся, дрыгнул ногами, и тотчас замер, испустив дух.

Раньше Тлеу, перерезав скотине горло и выпустив кровь, сразу же передавал нож жене, и та уж довершала дело – свежевала и ловко расчленяла тушу. На этот раз Тлеу сам взгромоздился на поверженного валуха и принялся с необычным усердием и тщанием, будто священнодействовал, орудовать ножом. Движения его были быстрые, легкие. Зейнеп, точно завороженная, следила за угрюмо-сосредоточенным мужем и хищно сверкавшим в его руках острым ножом. Тлеу работал так, будто мстил валуху за что-то.

Большое умение – хорошо и правильно расчленять тушу, и недаром предки при разделывании туши знали цену каждому ребрышку, каждому позвонку, каждой большой и малой кости. Во избежание возможных обид и недовольства потомков издревле точно определили и завещали, кому что приличествует по сану и возрасту. Всякий кочевник, исстари кочующий по низовьям и верховьям своей бескрайней степи, совершенно убежден, что в любом черном котле, булькающем на треноге, несомненно находится и его доля, на которую он вправе претендовать в любое время. И это поистине так. Попробуй обдели его, не дай ему положенного, завещанного обычаем предков, он воспримет это как смертельную обиду, как позор сво-

ему роду-племени. Для него это равносильно убийству близкого сородича. Мальчишка в пять лет удостаивается чести сливать на руки почетным гостям воду из кумгана. В десять лет он подносит гостям плоское деревянное блюдо – табак – с вареными кусками мяса. В двадцать лет юноша должен уметь, ловко орудуя ножом, резать и крошить мясо по строго заведенному правилу, то есть безупречно знать, куда что класть и кому что подать. Попробуй тут допустить оплошность, ошибиться в отборе и распределении тех или иных частей – выгонят с позором, а то и короткой плетью огреют. Но и это еще ничего, собственный позор еще как-нибудь пережить можно, но ведь позор падает и на отца-мать, на всю родню, на весь твой род. Его уже не смоешь. Тут уж впору провалиться сквозь землю.

Всеведущие старики, – юркие стражи дедовских обычаев, внушавшие несмышленным детям святость родственных уз с той самой поры, как они научились сидеть на коне и подавать гостям блюдо с мясом, неизменно твердили: «Запомните раз и навсегда: при угощении самому почетному гостю преподносят тазовую кость. Затем наиболее ценной считается лопатка. Потом следует лучевая кость, потом – бедренная кость, потом – берцовая кость. Опаленную и сваренную баранью голову кладут на первый, главный, поднос. Курдючное сало и печень следует нарезать тонкими кусками и распределять по всем подносам. Десять ребрышек вместе с мясцом на них кладут в первые четыре подноса, при этом шесть подкладывают к двум лопаткам, а четыре – к двум берцовым костям. К остальным восьми частям следует добавить по два ребрышка у ключицы. Грудинка полагается зятю, крестец – девушке, шейный позвоночник – пастуху, требуха, почки, голень, селезенка – женам, служанкам, детям...»

Это было основой науки угощения, которую обязан был знать каждый степняк, как свои пять пальцев. Ведь в то время барашка закладывали зараз в котел. И не бывало так, чтобы щедрый хозяин держал дома про запас мяса, даже если и резал по десять барашков в день. Он обычно довольствовался тем, что оставалось от гостей.

А теперь вот... Ну скажи на милость, кому он, Тлеу, поднесет всю эту гору мяса и костей... кого облагодетельствует?.. Пожалуйста, бери на выбор: хоть баранью голову, хоть сочную грудинку, хоть шейный позвонок –

все твое. Ты, обитатель полуистлевшей старой юртешки в безлюдной степи, сам себе и сват, и зять, и племянник, и почетный гость, и пастух-слуга. Сам в единственном роде! То, что один-одинешенек сидишь за дастарханом, склонившись над бараньей головой на блюде, и сам себе творишь благодарственную молитву – означает, что пусто вокруг тебя, голым-голо, хоть плачь. То, что нет ни одной живой души, кого бы ты мог угостить остатками трапезы, означает, что выродился твой род, зачахло и высохло твое полюшко дотла, точно такыр в степи.

Острый нож, сноровисто крошивший мясо, вдруг словно споткнулся. Вот лопатка... в доброе время очистил бы ее от мяса, отскоблил до прозрачности... А теперь зачем? Не гадать же ему на бараньей лопатке. Да и о чем гадать? Нет никого из родных-близких в далеком пути... Вот лучевая кость. В доброе время ее бы стоило обглодать и повесить у порога, как верную примету сохранности и благополучия скота. Но к чему умножать ему поголовье? Для каких таких потомков?..

Горячий вздох, как стон, вырвался из горестной груди Тлеу. В руки ему попалась берцовая кость. Вспыхнуло в сознании древнее поверье: «Когда хиреет твой род и ты воспитываешь приемыша, дай ему в руки берцовую кость. Иначе родители его востребуют потом кун...»

Глаза отчего-то темной завесой подернулись. Тлеу поспешно завернул в теплую шкуру расчлененные части тушки и встал.

Зейнеп тщательно промыла тонкие кишки, развесила на веревках с потолочного круга. Подсохли бы они скорее, можно было свить и натянуть струнами на домбру. Тогда, быть может, удалось бы излить из сердца невыносимую слепую горечь, раздирающую грудь...

Когда супруги, по привычке молча, уселись за дастархан и только дотронулись было до семи жертвенных лепешек, испеченных для поминовения усопших, снаружи неожиданно послышался верблюжий рев. С ним слился горестный женский плач. Тлеу и Зейнеп застыли, точно замерли на своих местах, догадавшись, что кто-то прибыл на поминки.

Смуглая, тугощекая женщина в высоком белом тюрбане, в легком, без подкладки, черном чапане, едва переступив порог, кинулась обнимать Зейнеп, пытавшуюся

было подняться навстречу. Обе враз заголосили, зашлись в скорбном плаче. Время от времени, переводя дыхание, громко, с надрывом вздыхали; «Ах, горе-горюшко!» и вновь рыдали в голос. Тлеу все сидел ни живой ни мертвый, будто пригвожденный. Казалось, он прислушивался к скорбному плачу, доносившемуся издалека, и вовсе не замечал этих исходивших слезами двух женщин рядом с собой, а отрешенно глядел на камчу, висевшую на решетке юрты.

Женщины плакали долго, безутешно. Потом, сидя плечом к плечу и всхлипывая, по-немногу успокоились. Пришмыгивая носом, гостья учтиво перекинулась словами приветствия с Тлеу. И лишь через некоторое время спохватилась, вскакивая:

– Ой-бо-о-ой... я же совсем забыла про ребеночка в деревянном сундучке.

Зейнеп кинулась вслед за ней. Негромко переговариваясь, они развьючили верблюда, с глухим стуком что-то поставили к стенке юрты. И только тут послышался слабый детский писк. С аккуратным, маленьким свертком в руке гостья вновь вошла в юрту. Положила сверток на тюках рядом с подушками, расстегнула пояс и присела справа, чуть ниже хозяина дома. Также не спеша, с достоинством сняла высоко накрученный тюрбан, обвязала голову легким платком. От ее смуглого миловидного лица, от верхних одежек, которые она снимала одну за другой, веяло степным солнцем, вольным ветром, молодой, дерзкой силой и неукротимостью. Казалось, в убогую и унылую юрту, затерявшуюся в безлюдной пустыне, вселился вдруг шумный степной аул.

Жанель, жена родственника Зейнеп, прогостила у них целую неделю. Муж ее, скотовод, не мог оставить хозяйина, и потому она отправилась в путь одна – из далекого аула в долине Жем. Необыкновенной энергии и деловитости оказалась женщина! На следующий же день после приезда, едва проснувшись, принялась разбирать изрядно захламленную, насквозь пропыленную юрту. Сама выбрала новое удобное и чистое место. Выбила вместе с Зейнеп все кошмы, залатала прохудившийся войлок, починила тщательно все поперечные и продольные шерстяные ленты-завязки. Потом высушила свалявшуюся в тюках шерсть, растеребила палками, сваляла новый войлок. Из

пряжи свила несколько веревок. Перебрала всю рухлядь, вычистила, будто вылизала, каждый уголочек. Скудное жилье одинокой четы преобразилось неузнаваемо.

За день до отъезда, еще до утреннего чая, Жанель завела серьезный разговор.

– Так вот, дорогой зятек и шалунья девка...– торжественно начала она на правах женге – жены старшего родственника.– Вот этого детеныша, которому от роду нет еще и сорока дней... этот крохотный живой комочек я привезла вам сюда в утешение... в надежде, что наполнит он ваш очаг новой жизнью. Примите от чистого, радушного сердца. Если всевышний смилостивится и девка-шалунья наша понесет, чадо это хоть зыбку покачает. Держите его хоть в холе, хоть в неволе. Мы вам худа не желаем. Сердце к сердцу тянется, да друг от друга далеки. К тому же хлопот невпроворот: за колхозной отарой, за матками да за молодняком день-деньской плетемся. Все недосуг. И у вас тут, как говорится, то поясница заноет, то голова разболится, и хотя мы не можем быть рядом с вами, так эта крошка напомнит о нас... Тридцать пять дней кормила я его своей грудью, ни подати за то не требую ни от вас, ни от него. Пусть добро и благо не покинут ваш очаг. И пусть ради этого сгорит мое белое молоко в вашем огне... вот... вот...

Гостья придвинулась к жарким угольками, на которых доспевал-настаивался чай в заварнике, ловко расстегнула платье. Из тугих, смуглых грудей ее с шипеньем полились в алый огонь две белые упругие струйки.

Зейнеп, точно в испуге, зажала кончиком жаулыка рот. Тлеу от неожиданности разок-другой качнулся, дернулся и сильнее придавил подушку под боком. Жанель, вновь застегнув ворот платья, притянула к себе лежавший за спиной коржун, достала из него какой-то сверток и крохотную белую рубашонку, обшитую по отвороту красной нитью.

– Вот это, девка-шалунья, мой подарок твоему малышу за смотрины...

Так и сказала, просто и твердо: «твоему»...

На следующий день Жанель поднялась спозаранок. Прощаясь, крепко обняла растроганную золовку. Смущенному хозяину подала руку. В сторону маленькой зыбки возле подставки для тюков, куда через потолочный круг юрты падали веселые утренние лучики, даже не по-

смотрела. Лишь за юртой еще раз взглянула на притихших супругов, сказала: «Ну, живите в здравии и благополучии!» – и, ведя бурую верблюдицу в поводу, решительно направилась в сторону заката. Шла быстро, словно бежала от кого-то или к кому-то...

Тлеу и Зейнеп, словно онемев, долго смотрели вслед, пока гостья и бурая верблюдица не исчезли за горизонтом. И снова упала, обрушилась на окрестности глухая тишь. В бескрайней дали затерялось одинокое унылое становище. Чуть в стороне темнели сложенная по пояс из диких камней землянка да ветхий сараюшко с навалеными вокруг кучками верблюжьей колючки и бурьяна. За песчаным бугром, возле шершавых черных камней паслись вперемешку пять-шесть овечек, коз и годовалый одногорбый верблюжонок, мать которого в поисках корма забрела невесть куда.

Супруги стояли в явной растерянности, словно чураясь собственной юрты – точь-в-точь нежданно-негаданно нагрянувшие гости. Тлеу обвел окрестность взглядом. Игреневого маштачка что-то не видать. Совсем отбился от рук, бродит где-то на волюшке. Тлеу хотел было спросить жену, может, она видела где, но тут же раздумал, решив, что конь далеко уйти не мог и что, пожалуй, надо его поискать неподалеку. Он вошел в юрту, чтобы взять уздечку, потянулся было за ней к верхней решетке, как вдруг совсем рядом услышал незнакомый звук – не то писк, не то сопение. Быстро оглянулся. Возле подставки для тюков увидел маленькую зыбку. Из туго стянутого свертка виднелось крохотное розовое личико дитяти. Дерзко и смешно задрав крохотный плоский носик, оно безмятежно посапывало. Из-под белой, словно игрушечной, шапчонки вылезли черные курчавые волосенки, похожие на пух. «Выходит, решили, чтобы мы сами сбрили утробные волосы ребенка», – догадался Тлеу, почувствовав горячую нежность к крохотному созданию в зыбке.

Держа в руке уздечку, Тлеу бодро вышел из юрты. Зейнеп все еще стояла у входа, глядя вслед мужу, медленно шедшему к растянувшемуся перед их становищем черному увалу. Странное волнение охватило ее, такое, как у молодой снохи, спешащей на веселые посиделки аульной молодежи и с нетерпением ожидающей, когда же, наконец, уедут строгие свекор и свекровь.

Тлеу, взобравшись на хребтину черного увала, внима-

тельно оглядел окрестность. Игреневого не было видно. Посмотрел в сторону заката, куда недавно направилась Жанель, – не за что глазу уцепится. Словно здесь никогда не ступала человеческая нога. Пуст, безлюден пологий склон холма. Не могла же смуглая, крепкотелая женщина в высоком белом тюрбане, только что подававшая на прощанье руку, раствориться в зыбком мареве или провалиться сквозь землю. Нет, не могла. А может, то было привидение? Или дух, подающий знак судьбы?.. Но тогда откуда крохотная зыбка, в которой безмятежно лежит-посапывает туго спеленатый ребенок?.. Или старику, столько времени предававшемуся горестным думам в унылой юрте, уже стало мерещиться бог знает что?..

Тлеу повернулся в сторону своего становища. Зейнеп, только что стоявшая, застыв у входа в юрту, точно предвечерняя тень, куда-то исчезла. Тлеу уронил голову на грудь, заложил руки за спину и пошел вперед.

Давно уже не выходил он в степь. А когда, бывало, и выходил по надобности, то ни на что не оглядывался. И вот только теперь заметил, что нежданно подкралась глубокая осень и не за горами предзимье. Вон и черная полынь обнажила свои цепкие, раскидистые корни и зябко дрожит, поеживается под северным ветром. И горизонт, в знойное лето обычно затянутый причудливым миражем, теперь вроде раздвинулся, скинул голубую завесу, стал безоглядно прозрачным, навевая неизъяснимую грусть и тоску. А тогда, год назад, когда вдруг нагрянула к ним толпа стариков, была, помнится, только зима на исходе. Потом прошла весна, отошло и лето, теперь вот и осень, считай, ушла-канула в небытие, а ничего этого он не видел, не заметил. Будто только сегодня очнулся от долгого сна. Вся округа, известная ему с рождения до последнего кустика, почудилась вдруг и знакомой, и незнакомой. Вон впереди чернеет разве не ближняя балка, в которой он всегда ставил капканы? Здесь, особенно в осеннюю пору, охотно табунились косули-каракуйруки. А теперь не видно вокруг ни одной живой твари. Одни только иссохшие, чахлые кусты адраспана и гармалы – лезут в глаза. Конечно, в этой унылой, бестравной пустыне игреневому делать нечего. Наверняка пасется на зеленой лужайке возле родника с зарослями джиды...

Туда-то и направился теперь Тлеу. В самом деле, оди-

нокая лошадка понуро брела со стороны ручья. Она была без пут. Хвост и грива сплошь в колючках. Нагуляла жиру на воле: круп и бока лоснились, поблескивали в лучах солнца. Увидела хозяина издали, застыла строптиво, ушами застригала. Однако, когда он подошел к ней, проявила былую смиренность. Лишь по гладкому крупу, будто рябь по поверхности воды, пробежала мелкая дрожь, когда почуяла на морде уздечку.

Ведя игреневого на поводу, Тлеу направился домой. Над потемневшей от времени юртой посреди неглубокой котловины густо валил, курчавился бурый, удушливый дым: так обычно дымят в осеннюю пору богатые щелочью пустынные сучья и хворост. Зейнеп, обычно не находящая себе места, когда муж уходит в степь, и поминутно выскакивающая из юрты, сегодня совершенно не показывалась. И Тлеу испытывал странную тоску, какую-то пустоту в душе. Он, стреножив, отпустил игреневого возле юрты. Потом постоял некоторое время у входа. Отчего-то он робел и даже чистую циновку у входа не откинул резко, как всегда, а осторожно приподнял с нижнего краешка.

Зейнеп даже не взглянула сегодня на него, баюкала на коленях малютку с красной крохотной рожицей. Тлеу, приглушая нарастающую досаду, сам разделся, сам повесил шапку-треух и теплый, на шерстяной подкладке, чапан, сам разулся и со стуком забросил тяжелые сапоги к порогу, после чего молча уселся на привычное свое место. Провел ладонями по обветренным скулам. Зейнеп по-прежнему и не покосилась в его сторону. Перепеленала малютку, вновь уложила в зыбку и отнесла на подстилку возле украшенной резьбой деревянной подставки для тюков. Снова послышалось ровное, безмятежное сопение. А Зейнеп как подменили: забегала, засуетилась. Что-то там состирнула, что-то вывесила на солнце. Засновала озабоченно взад-вперед, только и слышно: шур-шур-шур... От шкурки ягненка раннего приплода она отрезала клочок и сладила соску. В ковшике вскипятила молоко. Потом остудила его и влила в кожаную соску. Потом вновь взяла на руки ребенка и, приговаривая что-то незнакомое, ласковое, принялась его кормить. Раньше, бывало, Тлеу едва входил в юрту, как уже в чайнике весело фырчало. Теперь приходилось покорно дожидаться чаю.

Вообще отныне Тлеу почувствовал себя в собственном доме вроде как лишним. Жена, всегда готовая испол-

нить любую его прихоть, теперь все свое внимание переключила на крохотное существо в крохотной зыбке. Да так ревниво оберегала его от родного мужа, будто грешница, нагулявшая дитя на стороне. «Надо же, а? – изумлялся про себя Тлеу, темными ночами уставясь в потолочное отверстие. – Выходит, и мне уготована доля всех моих предков... Жаркая молитва, не дошедшая до создателя, дошла, значит, до людей... Чудно-о!..»

Казалось, от этих дум из самого затаенного уголочка сердца поднимался и подкатывался к горлу отравленный былой горечью комок. Тлеу лежал, не смея шелохнуться. В темной, онемевшей от тишины юрте не слышно было дыхания ни его, ни жены. Только ровно посапывало дитя в зыбке между супругами.

Как-то утром Зейнеп поднялась чем-то явно озабоченная и подавленная. И за чаем молчала, нахмурив брови. Когда убрала дастархан, не стала выливать из самовара остаток горячей воды, а недовольно буркнула:

– Слушай, старик... ты забыл, что ли, малышу ведь сегодня сорок дней... Надо же ему волосенки сбрить.

И сама подала старую «опаску» и брусок. Тлеу деловито покачнулся, раза два плюнул на брусок и принялся точить лезвие.

Зейнеп торжественно поднесла к нему зыбку. Тлеу впервые дотронулся до нее. Сдерживая дрожь в руках, застыл в растерянности, не решаясь коснуться бритвой головки грудного дитяти. Наконец помянул аллаха, прошептал: «Бисмилля...» – и двумя-тремя движениями ловко сбрил намоченный теплой водой курчавый черный пушок. Младенец, не открывая глаз, только причмокнул губками и как-то доверчиво прижался к нему. Тлеу почувствовал, как теплая волна хлынула к его зачерствевшему сердцу.

Недавняя хмурь на лице Зейнеп исчезла, разгладилась. Белый открытый лоб, покрывшийся в последниее время мелкими морщинками, светился сейчас радостью. Она собрала курчавившиеся на коленях мужа сбритые младенческие волосы, аккуратно завернула в платочек.

– Надо же... и ветер этот назойливый, как нарочно, вдруг улегся...– заметила озабоченно Зейнеп. – Кто ж теперь младенческую распашонку унесет?..

Тлеу сразу понял, чем так озабочена хлопотунья жена. Таков древний обычай: на сороковой день младенца обряжают в новую рубашку, а его старую распашонку кто-то должен схватить и унести бегом, во все ноги. Тлеу с

досадой подумал: столько бродячих собак на свете и ни одной нет на дворе. Подумал, поразмыслил, сказал неожиданно:

– Не беспокойся, старая. Сам схвачу и побегу. Он начал поспешно обуваться. Зейнеп отвернулась, проронила украдкой слезинку на крохотный сверток в зыбке. А когда вновь повернулась к мужу, лицо ее просветлело, напомнив былую красу пригожей в свое время женщины, и на губах играла добрая, благодарная улыбка.

Первым из юрты вышел Тлеу. За ним – Зейнеп, держа в одной руке крепко запеленатого младенца, в другой – маленький узелок. «О святые духи!.. Не оставляйте... поддержите», – прошептал Тлеу, обращаясь лицом к закату. Потом протянул руку к жене. Она тотчас подала ему узелок, завернутый в младенческую распашонку.

– Бисмил-ля-я...

Тяжелый на подъем, медлительный Тлеу, схватившись обеими руками за бока, побежал неуклюжей трусцой. За ним, прижав к груди младенца, мелко-мелко засеменила Зейнеп.

«Эх... да-а-а...– невольно вздохнул Тлеу, предаваясь вдруг мечтам. – Если бы жили они не одни в этой унылой пустыне... если бы стояли здесь рядком хотя бы несколько, одна другой краше, белых, как яичко, юрт... О, тогда бы старуха еще с вечера оповестила весь аул о том, что младенцу завтра пойдет сороковой день. С утра собрались, повалили бы к ним и стар, и млад: как же, такое событие в семье! Кто-то непременно привел бы с собой быстроногую гончую: пусть малыш вырастет таким же быстрым, ловким и сноровистым; другой пришел бы, с трудом удерживая на поводке свирепого, клыкастого волкодава: пусть младенец вырастает таким же сильным, грозным и могучим. Хозяева пригласили бы всех в юрту, угостили бы со всей щедростью, от чистого сердца, получили бы благословение старцев. Потом, оживленные, радостные, все высыпали бы на улицу. Привязали бы к шее нетерпеливого, рвущегося с поводка кобеля младенческую распашонку и отпустили бы его, ярый пес вырвался бы из шумной толпы и пулей понесся бы в степь. Аульные чумазые сорванцы, сверкая пятками, с воплями и гиканьем помчались бы за ним... все дальше, дальше, дальше... пока не исчезли бы из глаз, слившись со степным маревом... И тогда мудрые старики, вглядываясь слезя-

щимися глазами в даль, изрекли бы: «Очень уж далеко убежал пес. Видно, крепкими будут ножки ребенка, длинным шаг, твердой поступь и удачливым путь». И старухи, умиленно подрагивая подбородками, зяметили бы: «А погонщиков-то, глядите, сколько!.. Значит, многолюдным и праздничным будет его окружение». А несмышленая малышня, мелочь пузатая, галдела бы возбужденно: «Вон, вон... смотрите, смотрите... догнал, догнал... Вот уже назад чешет!» Тут уже, конечно, и бабы не промолчали бы. Ну, как же! Тот, кто отберет у собаки распашонку и доставит ее первым, вправе требовать от родителей младенца дорогой выкуп. «Кто, кто догнал?... Дай-то бог, чтобы это был мой сорванец... Я бы тогда у матери ребенка выпросила стригунка», – сказала бы самая языкатая в ауле баба, которой всегда больше всех на свете надо. Да что стригунок?! Если б моему шалуну досталась распашонка, я бы заставила старика выковать для меня серебряное ожерелье», – заметила бы баба-щеголиха, которую хлебом не корми, дай только перед аулчанами покрасоваться. «Бросьте вы! Разве моего долговязенького кто обгонит? Знайте, за распашонку я потребую лисью шубу», – вклинилась бы завистливая баба, которая не позволит перейти ей дорогу.

А потом... Потом, на бегу съев лакомство в заветном узелке, ликующе размахивая распашонкой над головой, примчался бы назад кто-нибудь из аульных шалопаев. Тут бы бабы устроили шумный торг со счастливой матерью младенца. И, получив дорогой выкуп, счастливица заспешила бы к себе домой, а остальные, колгоча, ввалились бы гурьбой снова в праздничную юрту. Теперь уже на все лады драли бы горло мужчины. Каждый яростно доказывал бы, что именно он и никто другой должен получить право сбрить младенцу его первые волосы.

– Эй, эй, братцы-родичи, – заважничал бы один. – Хотите, чтобы малыш стал батыром, не перечьте мне, уважьте дух предков.

– А если хотите, чтобы он стал мудрым и красноречивым бием, – завелся бы с ходу второй. – То не забывайте и о моих славных предках.

– А коли желаете, чтобы его не покинули богатство к могущество,– приосанился бы третий, – вспомните про моего предка, который на поминки вашего родича по-

жертвовал пятьдесят овец, пять жеребят и бурдюк кумыса.

– Вы что... Вы что, почтенные, – подал бы тут свой подхалимский голос чей-нибудь прихвостень, раззявив щербатый рот. – А чем, скажите, хуже род хозяина торжества?! И воины – клинком наповал сразят, и ремесленники – каких во всей округе не сыскать. Пусть отец сам и обреет голову мальца.

– Э, ладно... не распаляйтесь, – унял-успокоил бы расходившихся красноглазых спорщиков чей-то рассудительный голос. – Как почтенные аксакалы скажут, так и будет...

Да-а... так бы и было... если... если не торчали бы они в пустыне совершенно одни, точно иссохший куст курая...»

Какие-то голоса доходят до слуха, что ли?.. Вроде как кто-то хохочет, смеется... Может, померещилось? Тлеу с усилием оборвал разыгравшееся воображение, оглянулся по сторонам: все тот же песчаный пустынный пологий склон. Там и тут сереет чахлый чернобыльник. Впереди, спотыкаясь, неуклюже бежит уродливая тень.

Ожил зябкий осенний ветер. Как бы старуха не простудила мальца. Она, все так же прижимая его к груди, семенила далеко уже позади. Тлеу покосился на свою тень: она несуразно маячила, металась у ног, словно подразнивала хозяина и пыталась подставить ему подножку. И сердце шибко заколотилось, подкатывалось к горлу, того и гляди – выскочит. Тлеу перешел на шаг. Хватит, пожалуй. Набегался... Вон насколько удалился от юрты. Тут догнала его запыхавшаяся Зейнеп, вырвала из его рук распашонку с узелком.

Старик и старуха с младенцем в пеленках, ни о чем на свете пока не ведающим, увязая в мягкой, податливой супеси и борясь с усиливавшимся встречным ветром, вконец измотанные, еле-еле добрели до невзрачной юртешки, сиротливо стоявшей на открытой всем напастям низине.

Отныне Тлеу волей-неволей приходилось считаться с существом в крохотной зыбке. Возвращаясь откуда-нибудь, он, еще переступая порог, нетерпеливо смотрел в сторону подставки для тюков. И, лишь убедившись, что зыбка на месте, что из нее выглядывает розовая рожица с плоским носиком, Тлеу успокаивался и начинал стаскивать с себя верхнюю одежду. Как-то раз, когда он вот

так же ввалился прямо с улицы, бессмысленно блуждающие по потолочному кругу взгляд ребенка невзначай упал на него, и глазки, точно в страхе, тотчас расширились и забегали. Неужели малыш испугался его вида – заскорузлой шубы, лопоухой шапки-треуха, заиндевевших усов и бороды? Даже губки скривил, будто готовясь заплакать, Тлеу отпрянул, поспешно отвернулся. С того дня он переступал через порог осторожно, на цыпочках, с оглядкой.

Маленькое бессловесное существо в зыбке превратилось теперь во всесильного властелина. Отныне вся забота была только о нем. Чтобы только малыш не проснулся. Чтобы не испугался. Чтобы не проголодался. Чтобы не простудился...

И у Зейнеп не доходили теперь руки до обычных ее занятий. Она почти не выходила из юрты. И все заботы по хозяйству легли на плечи Тлеу. За скотом ухаживал он. Топку заготавливал он. В хлеве, загоне убирал он. Воду носил он. Шурша заскорузлой шубой, только и делал, что топтался целыми днями во дворе.

Раньше, едва наступал январь, он не находил себе места дома. Казалось, там, где он обычно сидел, рассыпали распаленные уголья. Жена без особого труда управлялась со скромным хозяйством. А валяться целыми днями на подстилке и глядеть на унылый очаг, на покрытый копотью пузатый казан и исходящий паром самовар – радость не велика. От скуки свихнуться можно. Тлеу седлал игреневого и объезжал окрестности.

Скрипучий мороз, ледяной ветер и белый, нетронутый снег, казалось, лишили степь и пустыню всех признаков жизни. От выморочной тишины звенело в ушах, гудела голова. С хлясканьем вспарывая плотный снег, белым безмолвным чудовищем накрывший все вокруг и злобно поскрипывающий, взвизгивающий под ногами игреневого, нарушая жутковатую, неземную стылую тишь, Тлеу поднимался то на один перевал, то на другой и подолгу вглядывался в даль. Но не за что было глазу уцепиться. Глухая, немая ширь простиралась во все стороны. И если бы не он, одинокий всадник, маячащий черной точкой по сиротливым холмам и перевалам, весь этот безбрежный пустынный край смахивал бы на гиганта-мертвеца в белом саване. И чудилось Тлеу, что будет святотатством, если он забьется в свою юрту, точно в нору, и время от

времени не прогуляется верхом на лошадке вокруг затерявшегося в этом выморочном мире неприметного становища. Потому-то и не сиделось ему дома. Как можно, если ты постоянно помнишь о том, что здесь, в суровой земле, под непробиваемым, непроницаемым покровом снега, покоятся останки немалочисленных предков? Ведь дух их, несомненно, радуется, когда их потомок появляется тут и нарушает топотом своей лошадки невыносимую даже для усопших тишь. И потому – так кажется Тлеу – ждут его здесь каждый раз с нетерпением. И каждый раз ликуют духи предков, чьи останки давным-давно истлели в черной утробе земли: значит, не одни мы здесь, значит, остался наш отросток там, на земле, значит, не зря проливали кровь, защищая и отстаивая свое место под небом, значит, наши степи, наши выпасы, наша незабвенная колыбель в надежных руках. И, наоборот, если в такую глухую пору Тлеу не огласит топотом копыт своего игреневого маштачка эти окрестности, духи, конечно же, придут в уныние, впадут в тоску: «Как жаль, – в неутешной скорби подумают они. – Выходит, то, что за столь короткую земную жизнь мы, грешные, не знали покоя, терпели бесчисленные лишения, проливали пот и кровь, не щадя живота своего, уповая на будущее благо и счастье наших потомков, все было напрасно... все было лишь тщетными потугами...» И кто их утешит, кроме него, Тлеу, единственного обитателя дедовского края?

И хотя не дано ему горы свернуть, хотя он звезд с неба не хватает, однако что может быть выше главного человеческого назначения на земле – жить честно и достойно и оставить после себя достойное потомство, способное сберечь и продлить вечную нить жизни? Значит, то, что он, Тлеу, по мере своих сил и возможностей делает – потюкивает молоточком по наковальне, ставит капканы, обихаживает несколько голов скота, день-деньской копошится в заботе о насущном хлебе для своего скромного житья-бытья, есть самое нужное, самое главное, наполненное большим житейским смыслом дело на этой безлюдной скудной дедовской земле. И вот, не может быть высшего мужества и геройства, чем неизменная и постоянная честность перед жизнью – самое главное и ценное наследие предков, заповеданное ими грядущим поколениям. А потому, выходит, мы нередко совершенно напрасно сетуем на судьбу, называя нашу повседневную,

внешне ничем не примечательную, неброскую, но честную и благородную жизнь серыми, безрадостными буднями, или – того хуже – мелочной, бессмысленной суетой. Разве высший смысл жизни и краса ее не в том, чтобы каждый пришедший в этот мир недолгим гостем прежде всего заботился о себе и о своих потомках, которых он оставляет после себя у своего очага, под кровлей своего дома, на прекрасной земле, называемой прекрасным словом «родина», и при этом не зарится на чужое добро и благо, довольствуясь только тем, что добыто своим честным, праведным трудом? Если бы каждое божье творение, именуемое человеком, не стремилось первым долгом честно обслужить самого себя, то на этой земле – скудной или благодатной, все равно, – ничего бы не было, ничего бы не росло и не цвело. Не оставалось бы тогда на земле даже могил, способных внушить кичливым гордецам и узколобым себялюбцам, которым упорно мерещится, что с их кончиной белый свет погрузится во мрак, простую и справедливую мысль о том, что и до них обитали на грешной земле такие же двуногие, и после них такие же двуногие пойдут по тем же тропам, а стало быть, разумно будет помнить о неизбежном роке, постигающем каждого живущего, и смирять свое ненасытное вожделение, свою гордыню, свои дерзкие желания, заботясь о святости души.

В самом деле, глядя на то, как даже мышь, эта ничтожная землеройная тварь, и та трогательно заботится о своем выводке, деля с ним последнее зернышко, всякую крошку, ты в который раз с горечью и тоской убеждаешься в полной бессмысленности твоего существования, если тебе не с кем поделиться своим скромным, честным трудом, добытым благом, если в роковой час некому завещать свои бесконечные, не завершенные тобой дела и хлопоты на земле. Да, да... тогда жизнь твоя лишается всякого смысла...

От таких дум Тлеу, бывало, возвращался в свою убогую землянку с тяжелым сердцем, с опустошенной душой. Потом несколько дней, угрюмый и молчаливый, не выходил из дому, лежал, свернувшись, точно хворый или подбитый, на подстилках у стенки. А теперь от зари до зари покоя не знал, в нескончаемых хлопотах ходил взад-вперед из дома в дом. Раньше, пока не свечереет, он в землянке и не показывался, теперь же, едва выйдя, спе-

шил назад. Зайдет раз – старуха держит довольного мальца над медным тазиком возле очага. В другой раз зайдет – старуха курдючным жиром растирает розовое тельце. Еще раз зайдет – старуха, сидя на корточках возле зыбки, что-то тихо напевает, а малыш, привычно задрав носик к потолку, умиротворенно посапывает...

Как-то раз, соорудив снежную ограду за хлевом, Тлеу вошел в дом и глазам своим не поверил: Зейнеп, держа малыша на коленях, совала ему свою дряблую грудь. Увидев мужа, она смутилась, точно молодайка. А малыш сосал старательно, увлеченно, почмокивал – на лобике даже легкая испарина выступила. Он заметно подрос, окреп, обрел осмысленный взгляд. И сейчас, скосив глазки на Тлеу, расплылся в улыбке, обнажая розовые десны.

– У-у, шельмец!.. Улыбается еще, негодник, – умилился Тлеу. Но тут же спохватился, поспешно отвел глаза, вспомнив, что у него нет обыкновения задерживать взгляд на верблюжонке и ребенке. Кудеры не раз, помнится, делал ему внушение: «У тебя взгляд ювелира-серебряника: острый, пронзительный. Можешь сглазить». Кто знает, может, действительно у него дурной глаз. Тлеу притенил глаза, склонился, делал вид, что ищет что-то под подставкой для сундука. Как в том году прошла зима, можно сказать, он и не заметил. Просто в один прекрасный день увидел, что снег сошел и повсюду чернеет земля. А еще некоторое время спустя, когда отправился на поиски игреневого, убедился, что пришла весна и подножия холмов и склоны перевалов покрылись нежной муравой.

Малыш, как говорится, рос не по дням, а по часам. Он уже сидел, обложенный подушками, и размахивал, дергал ручонками. Когда с улицы вваливался Тлеу, у малыша на мгновение застывали и округлялись глаза. Но стоило хозяину стянуть с себя верхнюю одежду, как малыш тотчас узнавал его, радостно улыбался, ерзал и начинал пускать пузыри.

Год выдался благодатным, везучим каким-то. Из семи овцематок – три принесли по трое ягнят. Верблюдица (в кои-то годы!) благополучно разродилась верблюжонком-самочкой. Житняк и дикий пырей вымахали в песках так густо, что на выпасах невозможно было разглядеть мелкий скот. Куда ни повернешься, пьянящий запах разнотравья щекотал ноздри, кружил голову.

– Слава создателю! Благодарение всевышнему! – бормотал Тлеу.

– Это он... все он, наш малыш, принес нам счастье и удачу, – твердила постоянно Зейнеп.

И чтобы злые духи не сглазили его, она называла малыша «этот ничтожный карапуз».

А он, ничтожный, недостойный карапуз, безошибочно узнавал Тлеу и привязался к нему, требуя все больше внимания и ласки. Он просыпался чуть свет, и его тотчас распеленывали, высвобождали из тесной люльки и подкладывали в постель старика. Малыш ликующе сучил ножками, хватался ручонками за бороду, щекотал шею, издавал странные вопли, похихикивал, забавлялся, как только мог. Часами потом не слезал с колен. А когда Тлеу по делу отправлялся во двор, малец ревел в три ручья. И Тлеу млел от нежности к малышу и старался не задерживаться во дворе. И каждый раз при входе шептал то вслух, то про себя:

– Тьфу, тьфу! Только бы не сглазить! Да пошлет ему всевышний здравия-удачи!..

Июль в том году выдался особенно жарким. Мелкий песок накалился, будто горячая зола прямо из печки, – пятки сквозь сапоги обжигал. Воздух и юрте стал сухим, пахло горелой кошмой. Зейнеп то и дело обрызгивала все вокруг люльки водой, но вода мгновенно испарялась, затрудняя дыхание. И вот однажды ребенок проснулся весь в жару. Сморенный, вялый, он даже глазки не открывал. Видно, все-таки сказывалось, что его рано отняли от груди, кормили верблюжьим и козьим молоком через соску: слабому, крохотному существу было трудно перенести тяжкий в этом краю зной. Малыш слабо постанывал, хныкал таким жалобным, тихим голоском, что слушать это было мукой. Тлеу не находил себе места, ходил как потерянный.

Однажды, чтобы хоть как-то развеяться, он достал из шошалы – летней камышитовой пристройки – без пользы ржавеющие капканы, приторочил их к седлу и отправился к балке за аулом, где густо росла трава-прибрежница. Здесь, на пути к водопою, а также в затишье, где в полдень обычно спасаются от жары каракуйруки, Тлеу расставил капканы. В том году измученные зноем чуткие косули брели в этих местах табунами. Не успел Тлеу поста-

вить последний капкан, как уже два косуленка с едва наметившимися рожками попали в силки.

– Дай бог... дай бог! – обрадовался Тлеу, привязывая к седлу отчаянно вырывавшихся косуль.

Домой он приехал после полудня. Заставил жену раздеть, малыша догола. Потом Тлеу поднял над метавшимся в жару малышом косулю с крепко перетянутыми ножками и полоснул ее острым ножом по горлу. Алая кровь хлынула на малыша, обдала все его тельце и, тотчас сворачиваясь, отскакивала струпьями, точно зажаренная в раскаленном сале печенка. После этого ребенка завернули потеплее, так, чтобы никакой сквозняк к нему не проник, и положили на мягкие подстилки посреди юрты. Только что синие губки малыша тотчас заалели, а все личико покрылось испариной. С умилением и надеждой глядел Тлеу на хворого малыша, на крупные бисеринки пота, сами по себе набухавшие на лбу и скатывавшиеся по вискам. Таким способом степняки искони изгоняли жар из тела страждущего. Однако кровь ягненка считается для неокрепшего малыша слишком сильным средством. Зато кровь молоденькой косули должна мгновенно унять жар больного ребенка.

Не успел Тлеу управиться с двумя тушками, как вдруг нежданно-негаданно заявился Кудеры. И, не обменявшись словами приветствия, не расспросив, как положено, о житье-бытье, с ходу забалаболил:

– Нынче травы богатые. Бог даст, колхоз заготовит сенца вдоволь... может, даже две годовые нормы...

А потом только уселись было вдвоем за дастархан, поставив посередке распаренный заварник на горячих угольях в сковороде, как за юртой внонь послышался топот. Кто-то громко спросил:

– Эй, есть кто живой?

– А ты не робей, зайди – узнаешь, – тотчас отозвался быстрый на язык Кудеры, забыв, должно быть, что находится не в своем доме.

Путник – слышно было – спешился. Чиевая циновка на двери зашуршала, сдвинулась, и в юрту запросто прошмыгнула вислоухая черная гончая, вмиг пробралась на почетное место, растянулась на брюхе возле Кудеры и с чувством собачьего достоинства вывалила язык. Вслед за

ней протиснулся в юрту неуклюжий верзила, грозя плечами снести дверную перекладину.

– Ассалаумагалейкум!

– Алейкумсалам! Коль добрый гость, проходи, присаживайся.

Незнакомец уселся чуть ниже своей собаки, крякнув, стянул один за другим тяжеленные сапоги, с грохотом отшвырнул к порогу.

– Хозяйка, во-он там белеет, по-моему, зола иженя. Подай-ка сюда, – прогудел гость, уставясь большими, с крупными красными прожилками глазами на горячие угольев сковороде. Не спеша достал из-за пазухи тугой кожаный мешочек-кисет. Высыпал на ладонь щепоть табаку. Добавил в него золы иженя, поданной Зейнеп на дне кесушки. Цвиркнул слюной, подавил, помял ядовитое зелье большим мозолистым пальцем. При этом приговаривал:

– Удачи-счастья вам, хозяева. Да будет благословенен ваш очаг!

– Спасибо! Да исполнятся твои слова!

Зейнеп предложила гостю чай. Он поднял крупную и тяжелую, как и все его тело, голову, туда-сюда разок-другой провел пятерней по густым зарослям бороды, дремуче курчавившейся от самых висков.

– Не торопись, хозяюшка. Любой казах, ищущий пропажу по степи, я думаю, вправе надеяться на особое угощение у добрых людей. Небось на мою долю никто не позарится. Вы пока пейте. Я уж, бог даст, успею и потом.

И с этими словами он ловко заложил за губу насыбай.

Зейнеп только диву давалась. У Тлеу чуть дернулась нижняя губа. Кудеры заерзал, явно задетый вызывающими манерами странного гостя.

Однако бородачу не было дела ни до кого и ни до чего. Он уселся поудобней, привалившись широкой спиной к сложенным у стенки тюкам. Небрежным движением кисти отодвинул гончую, и та послушно чуть отползла, отвернула морду, подобрав ненадолго длинный влажный язык. Тлеу и Кудеры степенно потягивали из кесушек чай, а верзила-гость, вытянув в сторону длинные ноги, то и дело позевывал, поминая при этом аллаха.

Должно быть, когда господь бог создавал этого человека, он либо пребывал в очень уж благодушном настро-

ении, как скажем, Тлеу, либо был почему-то не в духе наподобие сегодняшнего Кудеры. Как бы там ни было, всевышний не больно-то старался, сотворяя его, то есть, не тесал, не строгал, не подпиливал, не подрезал, а слепил одним махом, тяп-ляп, наспех, будто некое изделие из-под рук неряшливой бабы. Из четырех кряжистых чурбаков, недолго примеривая, сработал две ноги и две руки, которым было явно тесно в юрте. Туловище напоминало чем-то очень грузным набитый огромный мешок-канар. А к этому неподъемному мешку, казалось, был приделан каким-то образом такой же несуразный кругляш-обрубок, и это – если приглядеться – и оказалось головой. Покатый лоб был такой ширины, что, как говорят склонные к преувеличениям степняки – хоть конные скачки устраивай. А вот когда дело дошло до носа, щедрый создатель проявил явную скудость. Не нос, а нечто плоское, невзрачное, будто едва приметный бугорок в раздольной степи. И совершенно невозможно было понять, почему такому, с позволения сказать, носику понадобились вдруг эдакие широченные, с ведро, ноздри. Вон, гляди, лежит, как каменный истукан на древнем кургане. Глаза с ладонь, а взгляд так и сверлит, так и пронизывает. Ему, видно, было все равно, что о нем думают сейчас остальные трое в юрте. Время от времени гость отрешенно-задумчиво сплевывал, ловко цвиркал меж зубов в сторону порога.

Первым напился чаю Тлеу. Чуть повременив, перевернул кесушку и Кудеры. Должно быть, дурное настроение его так и не развеялось, и теперь Кудеры захотелось разговорить неучтивого гостя.

– Ну, почтенный путник, может, окажешь нам такую честь, представишься: как зовут, какого рода-племени?

– А зачем тебе понадобился мой род? Надеюсь, не в сваты напрашиваешься...

– Ладно, можешь не говорить. Потому как задираешься, я уж смекнул, что ты из воинственного рода Адай.

– Верно: он самый!

– Видно, верблюда своего пропавшего ищешь?

– Нет, нарочно завернул сюда, чтобы засвидетельствовать свое почтение двум старикашкам из рода Алим, что ящериц в пустыне стерегут.

Тлеу хмыкнул, а Кудеры от такой дерзости гостя потемнел лицом.

– А что тебе род Алим? Или в родстве с ним состоишь?

– А почему бы и нет? Если уж мои бесшабашные предки запросто умыкали калмыцких и туркменских красоток, то с девками соседнего рода Алим, думаю, и подавно любовь крутили. Кудеры сразу расцвел лицом, губы тронула усмешка.

– Ну уж по этой части, полагаю, и мои предки маху не давали. Мать моя, да будет ей земля пухом, была из рода Адай.

– Брось!.. Ты мне что, в племянники напрашиваешься? Какой ты мне племянник, если похож на котенка, налакавшегося кислого молока?! Помнишь батыра Есета... того, что вздыбил в свое время всю степь между Каспием и Аралом? Вот он приходился нам истинным племянником!

Кудеры, сразу присмирев, рассыпался смешком. Чапан спал с его плеча. А плосконосое лицо гостя оставалось по-прежнему невозмутимым.

Вновь дружелюбно зафырчал черный закопченный чайник. По юрте поплыл душистый запах свежезаваренного чая. Кудеры вмиг забыл о недавней своей язвительности, весь подобрался, сел, Зейнеп убрала и заново расстелила дастархан. И теперь уже и гость, шумно отдуваясь, принялся потягивать крутой чай, словно крохотную птаху, усадив на узловатые растопыренные пальцы чашку. Сначала после того, как было выпито с десяток чашек, у гостя покрылось испариной подглазье. Еще через некоторое время заструились темные струйки пота по глубоким бороздкам-морщинам на могучей шее. Потом крупные, с палец, капли пота усеяли покатый лоб и, сливаясь, потекли по лицу. Гость поминутно доставал из-под шапки-бобрик огромный платок начинал яростно обтираться.

Сколько же, однако, можно дуть чаю?! Напившись вдосталь, Кудеры перевернул свою чашку, отодвинулся к стенке, вновь натянул на плечи чапан и облокотился на подушку. Полежал, помолчал, поерзал и так и сяк, наконец не выдержал.

– Оу, почтенный нагаши[1], вижу, жажда тебя донимает! Никак напиться не можешь.

Плосконосый верзила и бровью не повел. Кудеры повернулся теперь к Тлеу.

---

[1] Нагаши – родственник по материнской линии.

– Надо же!.. Выходит, правду говорят люди: адайцы пьют чай больше, чем их верблюды воды.

Гость вытирал платком обильный пот, едва усмехнулся. Наконец, когда пузатый черный чайник опустел во второй раз, гость отогнул краешек дастархана и достал из кармана необъятных штанов табакерку-шакшу.

Кудеры вновь подкусил адайца:

– Оу, как же так? Разве не положено после угощения воздать благодарение всевышнему? Или прав был тот туркменский песнопевец – шаир, что сказал однажды: «Молиться недосуг мятежному адайцу»? Вообще ваш род ведет себя так, будто на день раньше самого создателя родился. Так, выходит, зачем адайцу разные там молитвы-намазы?

– Ты что, хочешь, чтобы я воздал всевышнему за один твой черный чай?! Или пусто в твоем казане? Нечем гостя угостить? Насыть сначала мое брюхо, потом получишь мое благословение. А то, голубчик, жирно будет...

Тлеу расхохотался так, что затрясся всем телом, а из глаз покатились слезы. Гость между тем заложил еще горсть насыбая за губу.

Кудеры тоже повеселел. Сел, прямой, будто кол проглотил, вытянул жилистую шею.

– Скажи, почтенный нагаши, что это за разговоры такие, будто адайцы не от бабы, а от девки родились?

Плосконосый верзила лукаво заблестел глазами, смачно сплюнул.

– Боже упаси родиться от вислобрюхой, долгополой, чумазой чумички! Не лучше ли родиться, как говорится, груди плотные смягчая, лоно девственное расширяя, от девы невинной? Если вам угодно верить самим же пущенной сплетне, то пеняйте на своих дедов, не справлявшихся со своими бабами. Адайцам в том укору нет, если ваши предки в чем-то сплоховали.

Гость стряхнул крошки табака с ладони, обтер ее о край домоткаиого паласа.

– Ладно, нагаши... тебя, я вижу, на слове не поймаешь. И шутить-то с тобой опасно: невзначай заденешь честь священных предков. Давай оставим это.

– Воля твоя...

– Ты ведь издалека едешь. Скажи, что слышал, что узнал? Мирно ли на белом свете?

– Да какой может быть мир, пока обитают на земле

такие ехидны, как ты?!. Детки вон, рассказывают, будто воюют где-то.

Тлеу вздрогнул, резко поднял голову. Кудеры в предвкушении любопытной беседы нетерпеливо заерзал:

– Скажи: о Чан-Кайши что-нибудь слышно?

– Э-э... это что еще за напасть такая? Про то у шайтана спрашивай! – отмахнулся гость. – На этой штуке кто из вас тренькает?

Гость подбородком повел в сторону домбры, висевшей на верхней решетке юрты.

– Да ты что, почтенный нагаши?! Кто из нас осмелится брать в руки домбру, когда в твоих аулах распоследняя баба и та даже на скалке лучше нас наяривает?!

И Кудеры, проворно вскочив, подал гостю домбру. Видно, к черной джидовой домбре давно никто не прикасался: колки ее ослабли, а подставка и вовсе где-то запропала. Гость отколол щепу от рукояти своей камчи, принялся ладить подставку. Потом настроил домбру, слегка пощелкивая указательным пальцем правой руки по струнам. Потом пальцы его проворно забегали по длинному грифу, проверяя, на месте ли лады. Потом выковырял из-за губы и бросил обсосанный табак. Засучил рукав выше локтя. Весь подобрался, сложив по-степному ноги. Огромный, неуклюжий, навис над крохотной домброй, прижал ее к себе. Тотчас полился легкий тягучий наигрыш, встревоживший душу, будто монотонный осенний дождь, шуршащий за стенкой. Гость не глядел ни на домбру, ни на присутствующих в юрте. Вытянув шею, в упор уставился на черную гончую, устроившуюся рядом на почетном месте. Казалось, она внимала звукам наигрыша и испытывала блаженство: язык вывалился из пасти, а глаза то и дело томно закатывались. Неуемный, непоседливый Кудеры и тот затих: умолк и ерзать перестал. Тихоня Тлеу даже, казалось, дыхание затаил. Молчала и Зейнеп, склонившись над люлькой. Не подавал голоса и несмышленый малыш. И лишь за юртой заливисто заверещала какая-то птаха, будто подлаживаясь к задумчивому наигрышу.

Тягуче-томный наигрыш, пробиравший до костей, неожиданно перешел в другую тональность. Гость повернулся теперь лицом влево. Большие, с белесью глаза напряженно выпучились из-под мрачно насупленных мохнатых бровей. Узловатые, толстые пальцы все яростней

стегали струны, исторгая из послушной джидовой домбры гулкие, раскатистые звуки, способные, казалось, всколыхнуть землю. На висках домбриста набухли толстые, как веревка, жилы, еще недавно он, грузный, громоздкий, сидел каменно-неподвижно, а теперь, будто вслед за стремительно взбиравшимися к самой вершине грифа пальцами, склонялся всем литым туловищем влево, а когда те же пальцы так же проворно скатывались, мелькая на ладах, вниз, к самому основанию, он весь заваливался вправо и будто сжимался, растворяясь в густом и звучном потоке причудливого кюя. А то вдруг грозно вращал глазами, словно метал искры и, весь во власти вдохновения, вытягивал напряженно шею и мотал массивной головой. Взгляд его то пронизывал Кудеры, то цепко ощупывал Тлеу с ног до головы, ввергая обоих слушателей в смущение, нагоняя оторопь. Маленькая домбра почти исчезла в его могучих объятиях. Звуки захлебывались, бились, казалось, колотились, как в лихорадке.

Стремительный, клокочущий кюй, взметнувшись напоследок крутым шквалом звуков, резко оборвался. Домбрист смахнул с лица обильный пот. Околдованные его игрой, трое в юрте потрясенно молчали.

Первым после долгой паузы заговорил Кудеры.

– Ай да нагаши! Слава всевышнему, что в твоих руках была домбра, а не копье. У меня душа ушла в пятки, когда ты так завращал белками.

Домбрист фыркнул, вновь потянулся за шакшой.

К этому времени доспело и мясо в казане. Сладкий запах свежей баранины поплыл-заструился по юрте.

Молча управились с бесбармаком, потом снова долго пили чай. И лишь после этого верзила-гость, казалось, вспомнил, почему он очутился в этих краях.

– Случайно не попадалась вам на глаза чужая верблюдица? Рыжая, из породы мая. Помесь одногорбой с двугорбым. На шее берцовая кость – ботало. Ноздри рваные. Как увидит верхового, грозно вскидывается, плюется...

– А когда потерялась?

– Прошлой осенью.

– Ну, тогда с какой стати ей быть здесь, в пустыне? Наверняка выбралась в солончаки... туда, где ежовник. Вгони коня разок-другой в пот, доберись до Змеиных гор на севере Улыкума... вот там, возле соленых родников, и найдешь свою верблюдицу.

Начни Кудеры расспрашивать про дорогу – он весь оживится сразу, в глазах появится блеск. Он, считай, с детства изъездил всю степь, не однажды бывал в городах. В годы коллективизации некоторое время даже при деле был, как говорится, в седле сидел. И поныне еще, если вдруг понадобится на дальнем отгоне кошару строить или колодец выкопать, прибегают к его услугам. Даже в самую глухую ночь, когда хоть глаза выколи, он безошибочно найдет дорогу и приведет куда угодно. Одному аллаху ведомо, как уж он ориентируется – по ветру ли, по звездам или по запахам трав... А то, бывает, спешится и кончиком языка лизнет почву под ногами. Такой уж дар выпал на долю этого человека.

По решению правления колхоза, что расположился за тридевять земель, возле озера, сторожить покосы в этом краю поручено Тлеу, а заведующим небольшой базой на границе песков и степи назначен был Кудеры. Потому-то почтенный Кудеры, или, говоря уважительно, Кудеке, явно хорохорится, задирает нос, так как чувствует себя единовластным хозяином всего этого бескрайнего, безлюдного пространства. Стоит только появиться невзначай поблизости базы какой-нибудь машине, как Кудеры уже мчится наперерез и не отпустит ее, пока не удостоверится, что в кузове. Если кто позарится на копешку сена – считай, скандала не миновать. В таких случаях нечистый на руку шофер, едва завидя преследующего его задиристого старика, даже не попытается улизнуть. Наоборот, тотчас останавливает машину и, выпрыгнув из кабины, пойдет навстречу. Прикинувшись заблудившимся, расспрашивает дорогу. Гневный долговязый старик, казалось, только что готовый растоптать первого встречного на пути, при учтивых словах хитрюги шофера мигом смиряет свой гнев и принимает горделивую осанку. Зажав в ладони плеть, которой мгновение назад замахнулся было грозно, показывает тамарисковой рукоятью в сторону горизонта.

«На во-он тот черный косогор поднимешься – увидишь окутанный маревом древний курган. Неподалеку от него наткнешься на развилок. Сворачивай направо. Понял? Через некоторое время дорога упрется в густые заросли гармалы. Проедешь их – сразу сверни так, чтобы лучи солнца падали на тебя сзади на левое плечо. Смекнул? Вот так и езжай прямо-прямо, пока тень от машины

не ляжет впереди на длину шеста. Как увидишь прямо перед собой тень, так поверни налево. Теперь тень окажется сбоку. Еще через полчасика езды увидишь перед собой нужный тебе колодец. Все понял?»

«Понял, отец. Большое спасибо!»

«Вот так, значит, коли понял».

«Будьте здоровы, отец!»

«Бывай!.. Эй, постой! Курить у тебя есть?»

«Пожалуйста...»

«Эй, это у тебя что – белохвостый папирос?! Долгих тебе лет, милый!»

«Не папироса, отец, а сигарета».

«А-а... один черт!..»

Он неловко достает из пачки длинную, тонкую сигарету, разглядывает, нюхает ее, пытается прочесть витиеватую надпись, но с удивлением убеждается, что буквы совсем но похожи на те латинские, которые он с горем пополам затвердил в беспокойную пору ликбеза, и, отчего-то вздохнув, поднимает голову, чтобы попросить спички, и тут вдруг видит, что машина мчится уже далеко.

«Ах, пройдоха! Ах, хитрый дьявол... чтоб тебе...», – хлопает он себя от досады по бедру, догадавшись, что его обвели вокруг пальца. Но что поделаешь?.. Он сует пачку в карман, одну сигарету закладывает за ухо и, хмурясь, едет назад.

Вот такой он, Кудеры. В кругу стариков тянется к их табакеркам, у молодых «стреляет» сигареты; пойдет в контору – напялит на голову широкополую шляпу: на поминках обтянет голову платком и прикинется благочестивым; то грешник, то святоша, то хитрец, то простодыра, он и теперь пространно толковал перед путником о дороге, чтобы блеснуть всеведением, а с другой стороны, надеясь на щепоть кудрявистого насыбая.

Глядя на него, Тлеу всегда от души хохотал. Вот и сейчас он еле сдерживался, стесняясь диковинного гостя, а Кудеры между тем продолжал разглагольствовать:

– Считай, ты нашел верблюдицу. Да, да!.. В эту пору в том краю Улыкума нет никого, кто бы мог умыкнуть не то что живую скотину, но даже прихватить лежащие в траве путы.

Гость насмешливо скосился на Кудеры, помолчал, подергивая усами, и вдруг резко повернулся к Тлеу.

– Кто тебе сделал эту домбру?

Тлеу и рта не успел раскрыть, как Кудеры уже все объяснил.

– Э, кто ему делать будет, если он сам мастер, какого поискать! Сам все, сам! Он разве что мертвых оживить не может, все остальное ему раз чихнуть.

– Ну, тогда и вовсе хорошо. Давай-ка, сват, подари эту деревяшку мне. Пусть послужит мне памятью об ауле рода Алим. Вижу: вокруг твоего становища не больно-то много кизяку. Значит, скотом не богат. Так уступаю тебе свою запропавшую где-то верблюдицу, будь она нелад-на!.. Она ведь, скотина-то, из этих краев. Никак к нашим местам не привыкнет. А этот редкобородый вроде готов ее разыскать. Пусть пригонит к твоему двору. Небось пригодится...

Тлеу и Кудеры рассмеялись. Верзила-гость поднялся, скинул с плеч просторный бешмет, завернул в него домб-ру. Зейнеп учтиво выступила вперед, откинула циновку. Вслед за гостем вышли и старики.

Темно-рыжий белоногий призовой скакун, стоявший за юртой, под тяжестью верзилы поневоле качнулся, пе-ребирая ногами, отскочил в сторону. Поспешно простив-шись, всадник завернул коня по направлению к закату и с ходу пустил его вскачь. Колени долговязого всадника до-стигали передних ног скакуна. За ним легко припустила, вывалив из пасти длинный язык, поджарая лопоухая чер-ная гончая. И пока эти две тени – одна длинная, большая, другая – поменьше и покороче не исчезли, растворив-шись в голубом мареве у горизота, двое стариков возле юрты молча смотрели вслед. И лишь когда все вокруг, насколько хватило глаз, опять опустело, они пошли в юрту. Кудеры вновь, уселся на почетное место, а рядом примостился Тлеу.

– Слушай, а как назвал сынка-то?

– Никак.

Кудеры рассыпался дребезгливым смешком.

– Как же вы к нему обращались до сих пор?

– А чего к нему обращаться? Говорим: «У, ничтож-ный» Или: «Эй, щенок мокроносый!» – и ладно.

– Ну как же так?! Он принес в дом радость, добро, значит, так и назовиге – Жаксылык.

– Не знаю уж... В нашем роду вроде таких имен не бывало. Мы ведь... это... надеемся, что он наследником

нашим будет. Может, так его и назвать – Туяк. Неплохо будто...

Кудеры только было вскинул недовольно кустистые брови, но при этом слове снова опустил их и расцвел лицом. Схватил туго запеленатого младенца, потного, раскрасневшегося, притянул к себе, потянулся ртом к его правому ушку.

– Эй, щенок! Имя твое – Туяк! Слышишь? Запомни навсегда: Туяк! Туяк! Ту-як!..

Потом, как бы освящая имя, пригубил чашу с молоком. На прощание, оглянувшись вокруг, заметил задумчиво:

– Еще дней пять – десять и нагрянут сюда косари...

Потом затрусил на коняшке в сторону своей базы.

## 3

Ах, какое пышное лето выдалось в том году! Обычно не радующая человеческий взор серая, однообразная, унылая равнина в том году сразу после месяца Кукушки преобразилась неузнаваемо, напоминая переливавшуюся под солнцем гладь безбрежного степного озера. И точно волны на озере, с утра до вечера и с вечера до утра равномерно и умиротворенно покачивались, шелестя и шурша, спелые, рослые и сочные пырей и житняк.

И однажды из голубой степной хмари сначала смутно, а потом понемногу все явственней показались, подплывая, очертания нестройного кочевья, словно спешил-торопился в принарядившуюся и истомившуюся, разморенную теплом и тревожным желанием степь долгожданный гость. Кочевье шло торжественно, степенно, то как бы сужаясь, то разрастаясь. И уже вскоре можно было удостовериться, что то неуклюжее и громоздкое, что тянулось позади, было не что иное, как жатки и конные грабли. То были косари, появлявшиеся в этом краю раз в год с женами, детворой, домашним скарбом и утварью. Вот кочевье остановилось на краю покоса. Здесь оставили жатки и грабли, а с остальным скарбом косари двинулись чуть дальше, к подножию песчаного черного увала, который как бы преграждал путь надвигавшимся из пустыни барханам и дюнам.

Длинноногие дромадеры и острогорбые холощеные атаны, освободившись от поклажи и дымясь потом, с жадностью ринулись в нетронутые травы, а там, на от-

крытом лугу у подножия увала, вмиг поднялись ребристые остовы юрт. Казалось, что мелькавшие здесь и тут хлопотуньи женщины в пестрых, ярких платьях наряжали луг разноцветной пряжей. Вот уж вознесены потолочные круги-шанраки. Вон уж видны вставленные в них изогнутые тонкие жердины-унины. От них потянулись к решеткам свитые из пряжи веревки. Вот уж и деревянный остов юрт покрыт кошмой. И там, где еще недавно зыбился причудливый мираж, вмиг вырос на глазах дивный, беленький, как в сказке, аул.

Голоногая, до черноты загорелая неугомонная малышня с радостными воплями кинулась к барханам. Там, словно наперегонки, принялась собирать дикий лук, выкапывать дикую морковь, искать в зарослях гнезда с пестрыми яичками, ставить силки, сплетенные из конских волос.

Как только были поставлены юрты, девушки-подлетки и молодайки, закинув за плечи мешки, отправились собирать кизяк. Несколько крепких джигитов, навьючив на верблюдов всю мало-мальски пригодную посуду, поехали за питьевой водой. Мужчины принялись копать перед каждой юртой земляные печки – жер-ошаки. Вскоре над ними взвился дымок.

У подножия увала колготали бабы, в барханах галдела малышня, и от этих голосов вмиг ожила еще недавно вымороченная окрестность. Напуганные косяки каракуйруков застывали вдруг на скаку, настороженно прислушивались. Вольные степные птицы, сбиваясь в стаи, недоуменно кружились над нежданно-негаданно выросшим аулом. Шустрые тушканчики выбегали из своих норок, застывали столбиками и, глядя в сторону юрт, восторженно верещали, перекликались, делясь новостью.

Встревожился и привыкший к одиночеству игреневый маштачок, то и дело задирал голову, всхрапывал, стриг ушами. Не усидел и Тлеу, отправился проведать косарей.

Вечером, когда наплыли-натекли сумерки, вдоль увала причудливо замелькали, точно нанизанные бусинки, веселые огоньки. А на следующее утро, чуть свет, всколыхнулась, загудела вся степная ширь. Казалось, сонная окрестность разом оглохла от рева верблюдов, стрекота жаток, скрежета граблей, людского гомона, сливавшихся в сплошной невообразимый гул. Степь ликовала после долгой, изнурительной зимней спячки. Сочная, только что скошенная трава источала дурманящий аромат. Через

день-другой то здесь, то там стали появляться аккуратные островерхие копешки, потом большие стога. Потянулись от края до края огромные волокуши. Молодые, загорелые джигиты на жатках и граблях, проезжая мимо, белозубо улыбались девчатам и молодухам, сгребавшим и ворошившим сено, а те, не оставаясь в долгу, кричали им вслед что-то озорное и раскатисто смеялись.

Куда ни посмотришь – всюду горит, кипит работа. Как ни прислушаешься – всюду гомон, веселье, смех. Какое раздолье! Какое счастье! Оказывается, смысл и краса вольной степи под необъятным небом – единственно в этих неуемных, неугомонных двуногих существах. Без них все мертво, все безрадостно. Только они, выходит, способны наполнить безмолвную ширь чарующей песней. Даже рослая, наполненная соками земли трава, гибнущая под острыми ножами жаток, кажется, поет, звенит, ликуя оттого, что может пасть к ногам охваченных радостью и азартом труда косарей. И пьянящая радость эта передается поневоле всякому смертному, придает ему удаль и силу. В дни покоса Тлеу не чувствует усталости, готов днем и ночью стоять у наковальни. А в песках, известно, жатки то и дело ломаются, ножи быстро затупляются, вот Тлеу и не выпускает молотка целыми днями из рук. Поздним вечером еле добирается до постели. И спит так крепко, что отрежь ему ухо – не проснется. И снятся ему позабытые сны: ватага малышей увлеченно роется в его заветном сундучке. А потом вдруг они все оказываются взрослыми крепкими джигитами, сидят на высоких железных сиденьях жаток и, поблескивая белыми зубами, мечутся наперегонки по всему полю, косят сено. Гордый и счастливый, просыпается Тлеу на заре и видит: рядом с ним, под одним одеялом, весь распаренный, спит-посапывает, разбросав ручки-ножки, маленький Туяк. И когда только успела неуемная старуха подложить его к нему?..

А у нового дня – новые заботы. Забот и хлопот у кузнеца хоть отбавляй. Но это его только радует.

Между многолюдным, шумным аулом косарей верховья и одиноким становищем в низовье вскоре протаптывается тропинка. Женщины из аула косарей, прихватив с собой пару кусков сахара и заварку-другую чая, спешат к Зейнеп, чтобы она скроила и сшила какую-нибудь одежду-обновку. И Зейнеп в такие дни не знает покоя: из мясца косули – добычи охотника-мужа – готовит в каза-

не свежее жаркое, по нескольку раз заправляет самовар, пока гостьи катают войлок, сучат-теребят шерсть, вьют-плетут арканы, и так, глядишь, все дела, с которыми одна-одинешенька никак бы не управилась, и переделаны честь по чести.

Да недолго длится пора сенокосная. Пролетит месячишко-другой, и аул косарей срывается с места, тем же шумным кочевьем отправляется в обратный путь, навевая грусть и печаль на одинокое становище в долине. Еще через некоторое время могучие тракторы развозят по фермам одну за другой огромные, как горы, скирды сена, и вновь беспредельный, враз оскудевший край погружается в унылое безмолвие. На всю бескрайнюю ширь темнеет затерявшееся в низине одно-единственное становище. И ничего не остается обитателям его, кроме как ждать, терпеливо ждать, когда наступит следующее лето и вновь в этот край пожалует веселое и хлопотливое племя косарей. И вправду ведь единственное событие здесь – приезд и отъезд косарей с центральной усадьбы колхоза. И только этим событием измеряется для Тлеу и его жены однообразно и медлительно-монотонно протекающее время. Более того, даже возраст маленького Туяка они определяли по тому, сколько раз со дня его рождения побывали у них косари.

И с каждым разом, когда они приезжали на сенокос, Туяк становился все взрослей. Еще в прошлом году он лежал запеленатым в люльке, а нынче глядишь – уже топает на своих ножках. Еще в прошлом году он, спотыкаясь и падая, едва преодолевал расстояние от почетного места до порога в юрте, а нынче – смотри-ка! – уже трусит рядом с отцом до самого аула косарей. Еще в прошлом году он не слезал с колен отца и матери, туда-сюда мотая головкой, а нынче – вот тебе раз! – уже просит, чтобы подсадили его на игреневого маштачка. Еще в прошлом году он едва сидел на смиренном конике, держась обеими ручонками за луку седла, а нынче – ну и ну! – уж оседлал бойкого, легконогого стригунка. А по тому, как тщательно отделано, словно игрушка, маленькое седло, как украшена серебряными пластинами да подвесками вся конская сбруя, нетрудно догадаться, что в юном обладателе всего этого великолепия кто-то явно души не чает.

Все обряды и обычаи, связанные с ростом и воспитан-

нием ребенка, исполнялись с участием косарей. Совершив обряд «разрезание пут», одна пронырливая баба забрала у Зейнеп дорогое ожерелье с двойным рядом серебряных подвесок. Когда пришла пора пойти сыну впервые в школу, Тлеу закатил пир, и гостями его опять были все те же косари. Радость по поводу окончания Туяком школы тоже шумно и весело разделили они.

Не хотел Тлеу, чтобы сын его был хуже других. Потому продал корову и на вырученные деньги отправил сына на учебу в далекую Алма-Ату. Через полтора месяца сын вернулся точно побитый. Осунулся, побледнел, глаза опухли. Не прошел бедняга по конкурсу. «Э, ладно... Чего убиваться? – утешил его Тлеу. – Не поступил нынче, поступишь на следующий год». И на радостях порешил еще одну ярочку. Как же... сын живой-здоровый из дальней дороги прибыл – следует возблагодарить всевышнего. На следующий год, едва прошел месяц май, Туяк с чемоданом, обретенным в столице, вновь отправился в путь. На этот раз задержался в городе дольше, но однажды вновь вырос на пороге отчего дома. Опять осунулся, оброс: волосы до плеч, явственней наметились усики, а новость все та же: не прошел, не повезло. Тлеу ночь напролет проворчался в постели. Апырау, что же это получается? Неужто в его роду никто в грамотеи не пробьется? Чем он мог опять прогневить создателя? Выходит, не сбыться его желанию? Думал-думал, повздыхал. Сына живо представил: тощий, лохматый, и узких брючонках, чудной, диковатый какой-то. Задержись он еще месяц в городе – не отличить, пожалуй, от чучела, что торчит за подворьем. Слава богу, что хоть бродягой не стал, дом родной не забыл, благополучно назад вернулся. И на том спасибо. Шукур, шукур... Всеблагому слава. Живой и ладно... И, успокоившись, Тлеу лишь перед восходом смежил веки. А наутро простодушный старик во имя всемилостивого аллаха полоснул черным ножом по горлу еще одной невинной ярочки.

Туяк особенно не унывал. Пошел к косарям, помогал возить сено. А к зиме подался в районный центр на шоферские курсы. Уже весной с твердыми «корочками» в кармане прибыл домой, однако в колхозе не нашлось для него машины, и парню пришлось все лето пробыть на сенокосе. Когда же косари разъехались, Туяк не находил себе дома места. Ставил капканы на каракуйруков. Бро-

дил с ружьишком по степи. Часто наведывался к геологам из экспедиции, точно перекати-поле, метавшейся в безлюдной пустыне в поисках невесть чего. За это время его раза два вызвали в военкомат, а вслед за тем призвали на службу. То ли уж слишком сильно истосковалась бедная мать за эти долгие два года по единственному, ненаглядному сыночку, то ли подстерегли-таки, подточили бесчисленные хвори-напасти болезную после того, как она вскормила-вспоила, вырастила и поставила его на ноги, кто знает, но как раз тогда, когда дошла радостная весть о том, что Туяк, отслужив, прибыл в район, давно уже тяжко маявшаяся Зейнеп в тот черный день, так и не дожив до рассвета, отдала богу душу. Все же всевышний оказался к ней милостивым. Что бы делал Тлеу, умри его верная спутница тогда, когда во весь окрест не было б ни одной живой души. К счастью, отошла бедная, когда прибыли сюда косари. И сыночек успел-таки к похоронам, бросил собственноручно горсть земли в могилу матери...

Отныне все заботы Тлеу были о сыне. Больше никого и ничто не связывало его с жизнью. А главной заботой теперь была женитьба сына. Не удалось при жизни матери высватать ему невесту. Кто же отдаст теперь свою дочь за парня-сироту? Кто пойдет снохой в дом осиротевшего старика? И однажды поделился Тлеу своими сомнениями-горестями с Кудеры. Тот, едва дослушав, воскликнул: «Тьфу, дурень!» – и, ударив в досаде тамарисковой рукоятью камчи по земле, поспешно и решительно вышел из юрты. А через две-три недели прискакал обратно, развевая полы чапана. Запаренный, возбужденный. Заговорил, забалабонил с ходу, едва переступив порог. Оказывается, объезжая вверенные ему покосы, он встретил незнакомое кочевье. Ну и, понятное дело, раскричался, расшумелся, дескать, кто такие, почему топчете покосы, кто вам дал такое право, мать вашу разэтак... И кто бы это оказался? Да тот самый бородач-верзила, который когда-то искал в этом краю верблюдицу и увез с собой джидовую домбру. Вот как оно бывает! Конечно, обиделся бородач... сдвинул мохнатые брови, глаза налились кровью. Вначале даже разговаривать не пожелал. Потом начал задираться. Ну, и он, Кудеры, понятно, не промолчал. Пошпыняли друг друга, обменялись взаимными колкостями, потом перешли к мирной беседе. Бородатый адаец, оказалось, все помнил, расспросил о

житье-бытье Тлеу, загоревал, услышав о смерти доброй Зейнеп.

Словом, чего уж долго рассказывать, заночевал Кудеры у бородача-адайца, а утром обратил внимание на юную, благовоспитанную девушку, разливавшую чай, ну и, не долго думая, высватал ее.

Как только отметили годовщину смерти Зейнеп, сыграли свадьбу. Опасался поначалу Тлеу, думал, невестка окажется характером в отца, но нет, с первого же дня показала себя кроткой и учтивой. Не мельтешила перед глазами. Была неизменно услужлива. Называла свекра не иначе, как «ата» – батюшка. Обстирывала и обшивала его. Вовремя подавала чай, а в старом кумгане всегда была теплая водичка для омовения.

На одиноком, затерявшемся на краю пустыни становище они целыми днями оставались вдвоем. Непоседа Туяк обрел на оставшиеся от свадьбы деньги мотоцикл, уже с утра оседлав его, куда-то мчался как угорелый. И лишь на закате неожиданно выныривал из клубящегося дыма и пыли. Ни с отцом, ни с юной женой он почти не разговаривал. Опять-таки сосредоточенно копался в своей трещотке. В иные дни, случалось, и вовсе не показывался. Оставался ночевать у геологов, искавших в пустыне не то руду, не то воду. Возвращался Туяк от них в странно-нелепых одежках. Однажды нарисовался на пороге, сверкая голыми ногами, в каких-то куцых, чуть выше колен, штанах.

Неразговорчивый Тлеу, взглянув на сына, хмыкнул:

– Видать, собаки в том ауле, где ты ночевал, больно злющие. Надо же, обе штанины враз оттяпали.

– Собаки тут ни при чем, отец. Это одежда такая. Называется шорты.

– К черту?! Это ведь вроде нехорошо?

– Шорты, шор-ты, отец, а не «к черту»! Летом в них очень удобно.

– А-а-а... ну, если удобно...

Невестка прыснула, Туяк гневно сверкнул глазами.

Еще как-то раз, когда пожаловал к ним Кудеры, Туяк вернулся от геологов, повесив на плечо небольшую черную шкатулку. Такого на этом становище еще никто не видывал. Как вошел в юрту, щелкнул Туяк чем-то, и шкатулка заиграла-загрохотала на все лады, хоть уши затыкай. Верблюжонок на привязи с испугу оборвал поводок

и кинулся прочь. Ягнята и козлята, устроившиеся в тенечек, бросились врассыпную.

– Упаси аллах!.. Это еще что такое?! – отшатнулся Кудеры.

Туяк, довольный, расхохотался. Опять чем-то щелкнул, и шкатулка мгновенно утихла, словно в трескучий огонь плеснули ведро воды. Однако за прозрачной крышкой шкатулки с легким шелестом продолжало вертеться бордово-коричневое колесико.

Кудеры в это время увлеченно рассказывал, как от Анеса, сподвижника пророка Мухаммеда, произошел Алаш, от Алаша – Жаилхан и Сеилхан, от них – Казак и Созак, от Казака в свою очередь – Акарыс, Жанарыс, Бекарыс. После того как блестящая шкатулка на шее Туяка умолкла, Кудеры продолжил свой рассказ. В юрте стало тихо, было только слышно, как шелестело, крутясь, что-то в игрушечной шкатулке. Кудеры сел на любимого конька расстегнув ворот рубахи, обмахиваясь, вдохновенно перечислял священные имена славных предков, и голос его в наступившей тишине звучал громко и торжественно. Но тут, как назло, защекотало в носу, и Кудеры, прервав на мгновение рассказ, достал пузырек с насыбаем, откупорил его, насыпал на ладонь щепоть кудрявисто-бурого зелья, как вдруг – о, аллах! – шкатулка заговорила на чистейшем казахском языке: «...от Бекарыса родился Алау, от Алау – Алшын, от Алшына – Надир-ходжа, Кыдыр-ходжа, Садыр-ходжа, от Надир-ходжи – Каракесек, от него – Алим, Шумекей...»

Кудеры от неожиданности опешил. Голос этот показался ему очень знакомым. Однако, не заурядный ли трепач этот всезнайка? Уж больно лихо шпарит, будто самолично перерезал путы во младенчестве всем старикам-предкам, обитавшим когда-либо в этом краю. А ведь, если уж по справедливости, в этих окрестностях, куда только достигали копыта его коняги, лучше его, Кудеры, разбирается в родословных-шежире разве что крючконосый налоговый агент в районе. Тот уж знает всех казахов низовья и верховья наперечет. Попробуй только не сдать налог по мясу вовремя, он мигом назовет всех твоих предков, отличавшихся нерадивостью и скупердяйством еще бог весть в какие времена. А кому приятно такое выслушивать? Если же где-нибудь назначат нового заведующего фермой, крючконосый агент, точно по книге,

перечислит всех его родственников до седьмого колена по отцовской и материнской линии и сделает глубокомысленный вывод, дескать, после такого-то и такого-то новоиспеченный завфермой – первый, кто в этом роду мало-мальски выбился в люди. С таким всезнайкой особенно не поспоришь. Но у налогового агента голос не такой, у него он более высокий, чуть ли не бабий. А этот напористый, самоуверенный какой-то. Должно быть из городских... может, из самой Алма-Аты. Там их, всезнаек-стариков, говорят, пруд пруди. Помнится, внук-студент как-то рассказывал, будто они целой ватагой собираются на столичном Зеленом рынке, потягивают кумыс возле будки на верхотуре и до одури спорят о родословной казахов и о своде мусульманских законов. Наверняка этот, что так лихо заливается, один из тех завсегдатаев базара. Ишь, как разошелся – не остановишь. Ему хоть руки-ноги свяжи, хоть святыми духами страши – шпарит себе, как по писаному. Надо, между прочим, отдать ему должное, говорит вполне дельно и разумно. Однако Кудеры ничуть не сомневался в том, что городской всезнайка-старичок, день-деньской отсиживающийся в тени, непременно в чем-то даст маху, где-нибудь обязательно споткнется, напутает, и потому доморощенный знаток казахской родословной, прищурив один глаз, склонив голову в сторону блестящей шкатулки, внимательно прислушался... Ага, вот он, голубчик, городской всезнайка, и попался...

«От Алима родились Аманак, Жаманак, Караманак, Айнак...»

– А вот и врешь! – вскинулся Кудеры, выпучив горящие глаза. – Их было не четверо, а пятеро! Куда Тумена подевал, рожденного от младшей жены?! То-то же! Разве не от Тумена родились Байсары и Кишкене? Отсюда и название пошло – «род Алим шести ветвей...»

И Кудеры, довольный, что так ловко сразил «городского прощелыгу», горделиво приосанился и лихо заложил за губу целую горсть насыбая.

Туяк расхохотался.

– Кудеке... ох, потеха! Так это вы сами и говориге. Старики недоуменно и растерянно переглянулись.

– Аллах с тобой, Туякжан! С тех пор, как водишься с этими бродягами в степи, ты, кажется, забываться начал. Разве прилично так шутить с пожилыми людьми?!

Едва договорил Кудеры последние слова, как в блестящей шкатулке что-то щелкнуло, колесико быстро-быстро завертелось и оттуда вырвался резкий, ликующий возглас:

– А вот и врешь!

У стариков едва челюсти не отвалились. Чего только не вытворяет этот нечестивец Туяк!

Еще как-то раз заявился в шляпе-сомбреро, занимавшей половину юрты. И в тот день гостил у них Кудеры. Видно, непомерной величины шляпа сразу ему приглянулась.

– Слушай, милый, уступи эту штуку мне. Знаешь, как в ней хорошо верблюдов искать в степи...

Отныне и Кудеры зачастил к газопроводчикам, среди которых постоянно пропадал Туяк. И каждый раз возвращался от них с доброй торбой новостей и впечатлений: целый день мог рассказывать взахлеб. По его словам, начальник экспедиции – огромного роста лысый русский. Бородища его такая густая и кудлатая, что в зарослях ее наверняка могли бы затеряться ягнята и козлята, а если ее сбрить, то из шерсти можно запросто навалять добрую попону. И такой верзилистый: на каждое плечо без труда могут усесться по двое джигитов. Изо рта не вынимает толстенную сигару, и из ноздрей его сизо-бурый дым клубится, точно из печной трубы, когда топят сырым хворостом. И еще расказывал Кудеры, будто прокладывают там, в пустыне, такие огромные железные трубы, что через них легко проскочит если не верблюжонок, то уж жеребенок наверняка. А машин таких никто не видывал! Наши колхозные раздрызганные газики рядом с ними все равно, что паршивый ишачок подле верблюда-атана.

Кончилось тем, что вскоре Туяк окончательно перебрался к прокладчикам газовых труб. Однажды примчался на таком громадном грузовике, что казалось, с ходу свернет гору. Действительно, не машина – махина! На такую можно запросто погрузить четыре юрты со всем скарбом, и то еще место останется. Тлеу от удивления только теребил бородку и покачивал головой. Сын поспешно укатил дальше, проложив могучими колесами грузовика-гиганта темную полосу в нежной, нетронутой траве возле юрты.

Отныне он наведывался домой раз в неделю. Тлеу толь-

ко об одном молил создателя: «Где бы ни болтался этот негодник, лишь бы живой-здоровый был». Озабоченной и подавленной ходила и невестка, а когда слышала приближающийся грохот машины, места, бедная, себе не находила, начинала суетиться, метаться взад-вперед.

Как-то раз, в послеобеденное время, где-то неподалеку от становища раздался незнакомый стрекот. Он стремительно приближался, нарастал, и старик не выдержал, вышел из юрты, решив, что, по всему видать, сыну дали еще большую новую машину. Но, странное дело! – оглушительный стрекот доносился вроде с неба. Тлеу приставил козырьком ладонь ко лбу, запрокинул голову. О аллах! – хвостатое железное чудище, исступленно грохоча, нависло прямо над юртой. И она затряслась, как в лихорадке, затрепетала всеми веревками-поясами, каждым войлоком. А тундик – кошма, покрывающая потолочный круг, – и вовсе оторвалась и отлетела.

Тлеу, ежеминутно поминая аллаха, застыл в полной растерянности. Железное чудище, точно завороженное, покружило-покружило над юртой и вдруг, взметнув к небу тучу пыли и золы, опустилось на бугорок неподалеку. Тлеу опешил и онемел от страха. Железное чудище, наконец, унялось, смолкло, сбоку отверзлась дверца, и в черном ее проеме показался... торжествующий Кудеры. Спускаясь по стремянке, самодовольно похохатывал.

– Ну, как, старина? Душа небось в пятки ушла, а? Ты, чистюля этакий, пылинку к себе не подпускаешь, а я всю кучу золы враз над твоей головой взметнул! Каково?!

Тлеу глазам своим не поверил. Кудеры, продолжая похохатывать, подошел к нему, добродушно-снисходительно похлопал старого приятеля по плечу. Сообщил как бы между прочим, что пропавшего верблюда ищет. Попросил у друга-уруса вот эту трещотку. Удобно ведь и быстро, и далеко вокруг видно. Это тебе не на кляче трястись весь день...

Кудеры вошел в юрту, выпил вместе со своим «тамыром-урусом» по чаше квашеного верблюжьего молока и вновь сотрясая бедную юртешку – того и гляди разметет! – улетел на железной птице-трещотке восвояси.

Тлеу долго не мог опомниться. Грохот, в клочья разорвавший веками застывшую над безмолвными барханами и холмами тишь, еще долго звучал в его ушах. Из головы не выходила железная птица, так просто и обыденно посе-

тившая его одинокое становище, а губы вроде сами по себе шептали:

– Не сидится... все куда-то носит старого дьявола!..

Однако с того дня Тлеу охватила неизъяснимая тревога. Раньше, сотворив утренний намаз, он принимался что-нибудь мастерить, теперь же все валилось из рук. А в тот день он даже не открыл заветный сундучок. Оседлав маштачка, направился к холму за аулом. У могилок, растянувшихся цепочкой, принялся читать молитву, начиная с крайней к западу – с предка Утеу. Намотав конец длинного чембура на локоть, он попеременно опускался на колени у каждой могилки, шептал давным-давно затверженные арабские слова поминальной молитвы, держа перед собой сложенные ладони, потом оглаживал кончиками пальцев лицо и направлялся к следующему холмику. Последней в ряду – крайней с востока – оказалась могила Зейнеп. Такой тихой и скромной была она в жизни, почти незаметной, даже дома-то всегда ходила на цыпочках, а здесь, под холмиком, она почудилась вдруг большой, крупной. В ряду осевших, почти сровнявшихся с землей могилок предков ее могила и в самом деле выделялась свежестью к внушительностью. Тлеу почувствовал вдруг слабость в ногах, коленки мелко-мелко затряслись. Он поспешно опустился, точно подломился. Пробормотав несколько строк из затверженной суры Корана, он черенком камчи взрыхлил плотной корочкой покрывшуюся почву перед собой и бросил на могилку горсть земли. Потом медленно оглядел от изголовья до изножья отливавший красноватой супесью холмик. Не было в нем ничего такого, что могло бы ему напомнить живую Зейнеп. Немыслимо было представить, чтобы она, верная его спутница, при жизни учтиво подбиравшая ноги, едва он ступал через порог, могла вот так неподвижно лежать перед ним... Сухой комок подкатил к горлу Тлеу...

Опираясь на рукоять камчи, тыча ею бездушную, глухую ко всему землю, Тлеу, пошатываясь, с трудом поднялся. Случайно взгляд его упал на то место, где явно обозначились его следы, и сердце его в холодном предчувствии больно сжалось. Да, да, если будет на то воля аллаха, вот на этом самом месте закопают и его.

Отчего-то дернулись в кривой ухмылке старческие губы. Да, да, именно вот сюда ляжет он, точно верблюд-дромадер, в свой срок. И вот этой сыпучей супесью, на

которой он сейчас стоит, засыплют его. Выходит, смерть, до сих пор казавшаяся страшным драконом, притаившимся за шестью перевалами, смерть, от одного названия которой в ужасе замирало, бывало, сердце, теперь по-кошачьи незаметно и тихо подкралась совсем-совсем близко. И нет уж никакой тайны. Известны и место, куда он ляжет, и земля, которой засыплют могилу. Смертному, чья жизнь отмерена судьбой, не следует забывать о роковом часе! Едва маленький Туяк научился связно говорить, он, подсадив его к себе на игреневого коняшку, привез сюда, на кладбище. Здесь он перечислял имена предков до седьмого колена, пока мальчик не вызубрил их наизусть, и показал, под каким бугром покоятся останки каждого из них. Внушил мальчику горестную истину будет на то воля аллаха, и он, Тлеу, ляжет в этом ряду. И тогда Туяк должен приходить на могилу отца, чтобы прошептать аят – небольшой отрывок из суры священного Корана. И смышленный мальчик тотчас затвердил таинственные, гортанные слова номинальной молитвы. Небось и сейчас не забыл, если только названия разных железок и частей машины не отшибли ему память. Тлеу каждый день перед сном заставлял сынишку повторять короткий аят. И смуглый, едва научившийся лопотать мальчишка тотчас усаживался на шелковое стеганое одеяльце на почетном месте, принимал благочестивую позу, складывал перед лицом ладошки, отрешенно хмурил брови и, встряхивая от усердия чубчиком на лбу, без запинки частил молитву. И старик, слушая, млел от радости и счастья: казалось, эти непонятные слова в устах младенца обладали колдовской силой и внушали уверенность и надежду, продлевали его жизнь на этой грешной земле. Думалось в такие минуты: «Когда мой единственный, ненаглядный с таким же вот усердием начнет читать молитву над моей могилой, то я уж наверняка перевернусь там разок-другой от радости, как бы ни тяжела была земля. Дай-то бог, чтобы скорее подрос мой сыночек...»

Теперь-то Тлеу дожил до этих лет. Милостивой оказалась судьба. Осуществились его желания. И, возвращаясь верхом на маштачке в аул, он то и дело восклицал:

– Ох, чудо!.. Истинное чудо!..

А в чем, собственно, чудо? В том ли, что безмолвен красный бугорок, прижавшийся к склону песчаного холма, под которым покоится хлопотунья Зейнеп, или в том,

что и он, Тлеу, просветленно-печально думающий сейчас о том, о сем, окажется в свой – уж недалекий срок тоже под этой же землей? На это почтенный Тлеу и сам бы не мог сейчас ответить. Лишь одна очевидная истина открылась ему сегодня с предельной ясностью: то, что сама природа позаботилась о том, чтобы сотворенная ею же живая плоть рано или поздно непременно вновь ушла в землю. Да, да, все вышло из праха и все станет прахом. И с этим незыблемым правилом бытия Тлеу смирился. И даже испытывает умиротворенность, довольство тем, что именно так, а не иначе устроен этот дивный мир. Однако чем он доволен? Тем, что смертен? Разве сознание, что ты умрешь, способно утешить? До сих пор он всегда думал, что нет, не может. Теперь убедился: рассуждать так – значит, быть в плену заурядной человеческой слабости. Умирать, сознавая, что остаются люди, знающие и помнящие тебя, что после тебя остаются твои потомки, – вовсе не страшно и отнюдь не зло. Разве природа, сотворившая на земле столько чудес, столько величественного разнообразия, может быть несправедливой? В чем же несправедливость, если все старое, дряхлое, отжившее свое, уходит, исчезает, отмирает, уступая место новому и молодому? Наоборот, разве не кощунственно, не постыдно влачить жалкое свое существование среди всего цветущего и молодого, не сознавая, что ты, такой дряхлый и старый, пребываешь в чужой среде и лишь коптишь небо? Избавь, всемилостивый создатель, от такой позорной доли! Разве не счастье, пока ты в здравом уме, вовремя покинуть юдоль печали? Только ведь и это счастье не всем равно дано. Вот Зейнеп, словно устав от бесконечных хлопот и суеты земной жизни, ушла в мир иной, спряталась под бугорком на склоне холма и нет ей теперь дела уже ни до чего. А он, безутешный Тлеу, остался доживать свой век на попечении юной невестки, пошли ей бог удачи и здравия! У Туяка своя жизнь: пуще своей зазнобы в объятиях нежит-лелеет железное чудище-машину под собой. Даже верный, старый друг – неугомонный, неуемный Кудеры – и тот все куда-то спешит-торопится, взобрался аж на железную птицу-тарахтелку. И только он, Тлеу, сиднем сидит на старом становище, сторожит покоящийся на холме дух предков, думает о смертном часе и, словно на привязи, держит единственную кроткую невестку в этой глуши. Стыдно

перед ней, будто чужой век заедает. Если бы не на него была возложена честь сохранения священного остова предка Утеу, если бы не предсмертное завещание отца, Тлеу, может быть, тоже давно уже тронулся с места вслед за сыном, подтверждая поговорку о том, что состарившийся верблюд трусит на поводу своего верблюжонка. Однако как он оставит, как покинет эти родные дедовские места, эти могилы на склоне холма, все то родное, кровное, к которому прирос, прикипел сердцем с самого рождения?! Как он уже, считай, одной ногой в могиле, переступит через завещание предков, через свою клятву?.. Разве сможет он собственными руками загасить ровно тлеющий огонек под очагом – единственный признак жизни в этой глухомани?.. После смерти он, пожалуй, еще смирится с тем, что этот беспредельный мир, застывший в безмолвии, остался всеми покинутым, никому не нужным, но как он может смириться с этим, пока еще в его дряхлой груди бьется горячее сердце? Невозможно это, немыслимо...

Отчего неспокойна душа? Единственного сына вырастил, выпестовал. Оженил его. На невестку налюбовался. Все свои земные дела вроде завершил. Все сложилось по-божески. На судьбу сетовать грешно. И все же что-то неотступно гнетет его, тревожит. Но о том он ни разу нигде не обмолвился ни словечком. Может, дойдет до всевышнего и эта его мольба? Таинственный внутренний голос нашептывал ему: если бы он только увидел наследника Туяка, если бы он только мог убедиться в том, что в сиротливой этой юрте жизнь не оборвалась, что под черным потолочным кругом ветхой его юрты никогда уж не зазвучит скорбный, тоскливый кюй предка Утеу, оплакивающего свою горемычную долю, то в оставшейся жизни и в самом деле не было больше никакого смысла. И тогда уж – пока еще не перемерли все его из года в год редеющие сверстники – он мог бы спокойно закрыть глаза на веки вечные и перекочевать к склону холма к предкам. Других желаний у него уже не может быть...

Когда Тлеу вернулся домой, невестка куда-то вышла. В пятистворчатой юрте было чисто прибрано. Не найдешь ничего, что не лежало бы на своем месте. Насколько Тлеу помнит, его неказистое, пропахшее ветром и солнцем жилище всегда отличалось необыкновенной опрятностью. О таком степняке говорят: будто змеей вылизано – так

все блестит и сверкает. Лишь одно время, когда маленький Туяк начал ходить, в юрте творился некоторый тарарам, но это длилось недолго. Теперь же от такой чистоты и опрятности становилось вроде как бы не по себе. Даже сердце сжалось, будто в недобром предчувствии. Тлеу небрежно сунул камчу за решетку, направился было к своему привычному месту, но тут взгляд его упал на дорожный коржун у стенки. Полный, округлый, точно брюхо суягной овцы. Отправляясь в неблизкий путь, Тлеу непременно брал коржун с собой. В нем он хранил бритву-опаску, мыло, мягкие ичиги, четки да еще смертную одежду – так, на всякий случай, вдруг вдали от родного очага подстережет костлявая. После благополучного возвращения домой он вешал коржун на верхнюю решетку, чтобы всегда был перед глазами.

С тех пор как Зейнеп отправилась в невозвратный путь, до заветного коржуна руки не доходили. Покойница, бывало, раз в три года обновляла его смертную одежку.

Тлеу снял с решетки коржун, не спеша развязал тесемки, вытащил аккуратно сложенное свое смертное. Оно было чистое, белое и пахло не то свежим тестом, не то только-что раскрывшейся под знойным солнцем коробочкой хлопка. Вот это погребальное одеяние, как бы сохранившее тепло рук его незабвенной Зейнеп, все делавшей при жизни с необыкновенным тщанием и любовью, – единственная его доля, которую он забирает с собой на тот свет. Вот этим белым саваном укутают его иссохшее бренное тело перед тем, как предать черному безмолвию земли.

Корявые, по-старчески узловатые пальцы, нежно и благодарно теребившие белое полотно, вдруг задрожали. Эта мелкая, беспомощная дрожь, казалось, передалась и кончикам его усов и бороды. Тлеу, расчувствовавшись, прикоснулся лбом к савану и положил его снова в коржун. Некоторое время он стоял в полном неведении – то ли сесть ему, то ли так и стоять с коржуном в руке, и растерянно оглядывался на дверь. Слегка отодвигая плечом сухо прошуршавшую камышовую циновку, вступила в юрту невестка. Смущаясь свекра, тихо, на цыпочках прошла к своему месту у очага. Все такая же легкая, стройная, тоненькая, будто девчушка, еще играющая в куклы.

Тлеу тяжело опустился на колени. Он испытывал неловкость от, должно быть, неуместной, бестактной мыс-

ли, посетившей сейчас его, и потому старался больше не глядеть в сторону невестки. Только, деланно зевнув, пробормотал:

– О аллах, не обделяй ее своей милостью!

Отныне что бы он ни делал, о чем бы ни думал, эта горячая мольба всегда вертелась на кончике языка. Даже если допускал какую-либо нечаянную оплошность или слышал о чьем-то неблаговидном поступке, он тотчас бормотал эти слова. И ночью, когда подолгу ворочался в постели не в силах уснуть, он говорил их по сорок раз. И утром, просыпаясь, твердил, как молитву. «О аллах, не обделяй ее своей милостью!»

Как-то раз, совершив омовение и сотворив намаз, он уселся на мягкие, вчетверо сложенные стеганые одеяльца в принялся задумчиво перебирать четки. И тут до слуха его докатился странный грохот. Да не привычный грохот приближающейся машины, а мощный, многоголосый, раскатистый. Уже года два совхозное начальство решило, что ездить за сеном в эдакую даль, совсем невыгодно, и потому довольствовалось кураком с близлежащих соленых озер, а нынче, должно быть, все-таки надумало направить косарей сюда. От этой догадки у Тлеу радостно затрепетало сердце, и он еле дождался, пока невестка расстелила перед ним дастархан.

Едва допив вторую чашку чаю, он отодвинулся к стенке, и невестка, догадавшись о нетерпении свекра, тотчас сняла с огня пузатый чайник. Тлеу поспешно пробормотал благодарственную молитву и отогнул краешек дастархана в знак того, что трапеза завершена. Потом, кряхтя и отдуваясь, неловко поднялся, и невестка, видя, как он потянулся за камчой, легко вскочила и учтиво откинула перед ним входную циновку.

Тлеу вышел и невольно зажмурился от ярких, набиравших силу утренних лучей. Поверх холмов и барханов, подставлявших солнцу склоны, шли-волновались легкие зеленые волны, убегая вдаль, в нетронутую степь за горизонтом. «Да-а... уж нынче вдосталь накосят сена, – подумал про себя старик. – Новый-то директор поначалу нос воротил от этих мест. Дескать, далеко, дорого возить. А глядя на то, как густо нынче вымахали житняк и пырей, видно, передумал. Да и какой безумец откажется от такого блага? Вон нагнал целое стадо тарахтелок!..»

Старик почувствовал сегодня необычную бодрость. И

в седло взобрался легко, по-молодецки. Лошадка весело затрусила под ним навстречу приближающемуся грохоту. Нынче настали другие времена. Косари уже не едут, как прежде, шумным кочевьем – с семьями, домашним скарбом, на верблюдах. И уже не белеет, как бывало, аул вдоль склона увала. И не бегает, не резвится в барханах и оврагах ошалевшая от свободы ребятня. Не собирает дикий лук и дикую морковь. Нынче с грохотом и с треском приезжают на машинах и тракторах и скашивают траву по всей неоглядной шири за какую-нибудь недельку-другую – не то что раньше, когда косари обитали здесь месяцами. Ну, а на такой короткий срок, понятно, старики и детвора не едут. На сенокос приезжают одни молодые, крепкие парняги, оседлавшие железные тарахтелки. А с ними какой разговор? Слава богу, что хоть почтение соблюдают, о житье-бытье как положено расспрашивают. А более – ни гу-гу. В самом деле, к чему им с одиноким стариком, стерегущим на безлюдье чахлые кусты, тары-бары разводить? Они предпочитают вечерами, собравшись на пятачке возле своего стана, при свете фар и под оглушительную трескотню дергаться в танцах. Ну и бог с ними, пусть дергаются, как-никак все же веселее на людях-то. Будто праздник в безлюдную степь приходит. Вон и невестка вся разволновалась, выскочила из юрты, всматривается вдаль, откуда доносится грохот...

Тлеу, подшуровывая конягу пятками, поднялся на песчаный холм, на вершине которого были треножником составлены три жердины – одна-единственная вешка во всей однообразно-унылой равнине. Отсюда далеко видно вокруг. Тлеу долго вглядывался во все стороны, но ничего так и не увидел. Он спешился, отпустил, треножив, лошадку и подошел к деревянной высокой вышке, оставленной здесь, на вершине песчаного холма, геологами. Даже в безветренный день вышка эта улавливала поднебесный ветер и монотонно гудела, будто жаловалась на что-то. Тлеу прилег у основания вышки и пригляделся. Вышка, по всему, оказалась излюбленным местом для птиц. Все три опоры пестрели от густого птичьего помета. Посреди вышки торчала из земли черная железная труба. Вокруг нее бугрилась куча породы. Всезнайка Кудеры говорит: все дело – в этой вот железной трубе. Она уходит глубоко под землю. А там, бог знает в какой глубине, может, за семью пластами, залегло несметное богатство – раз-

ная там руда, золото, нефть, газ. Там, где геологи обнаружили богатые залежи, инженеры якобы ставят вышки, чтобы потом по необходимости приступить к добыче. «Дай срок, милейший, – сказал как-то Кудеры. – бог даст, в этих безлюдных песках вырастет такой город – ахнешь!»

Бог ты мой, что это за грохот такой?! Земля и небо уже дрожат, содрогаются, а все не видать, откуда он идет. Однако неистовый грохот, от которого, казалось, вот-вот расколется и обрушится синее небо, неумолимо надвигался все ближе. И все же до самого горизонта по-прежнему ничего не было видно. И вдруг за бурым перевалом, растянувшимся поперек степи со стороны восхода, показались какие-то длинношеие чудища. Тлеу удивился: не похоже что-то на косарей. Те ведь обычно приезжали на машинах и тракторах. А вот таких железных чудищ Тлеу еще не видывал. Бредут-ползут, словно готовые взорваться от собственного грохота, и, точно гигантские аисты, вытянули к небу шеи. Важно шагают, надменно-дерзко взирают вокруг и лишь изредка как бы снисходительно покачивают длинными шеями.

Конь, только что пощипывавший в сторонке травку, сторожко задрал голову, застриг ушами, вдоль хребта его прокатывалась нервная дрожь. Дрожала земля. Дрожал песчаный холм. Дрожью зашлась вышка, того и гляди развалится на куски. Тлеу и не заметил, как вскочил. Странная тревога охватила его, сердце забилось неровно, подкатывало к горлу. Ноги подкашивались. Спотыкаясь, Тлеу с трудом доплелся до коня. Бедная животина тоже будто сникла, осторожно, словно ступая в воду, перебирала ногами, не понимая, отчего вдруг зашаталась под ней столь надежная обычно твердь.

Старик и конь спешили домой, словно спасаясь от преследовавшего их по пятам всесокрушающего грохота. Но и дома не было спасения от него. И здесь, казалось, все ходило ходуном, все дрожало, охваченное неясным предчувствием.

Вечером заявился Туяк. Оказывается, это они, газопроводчики, прибыли в эти края. Прокладывают трубы. Тлеу немного вроде успокоился. Однако холодок, точно затаившийся вдоль хребта знойным летом, все не отпускал его. И грохот продолжался ночь напролет. А еще через день-другой грохотало уже где-то совсем под бо-

ком. Не утерпел Тлеу, снова оседлал коняшку. Трусливая тварь стригла ушами, перебирала ногами, косилась по сторонам, но никак не желала идти туда, где темнел, грохоча и лязгая, караван железных чудовищ. Тлеу направил лошадку к ближнему холму. Громадное железное чудовище со скрежетом и лязгом вгрызалось стальными зубьями в твердую плоть земли, набивало ею свою ненасытную пасть и изрыгало-исторгало грунт по обе стороны от себя. В длинный, глубокий ров, прорезавший ровную, нетронутую степь, другие железные чудища, надсадно рыча и урча, скатывали, сталкивали, укладывали огромные черные трубы. Вдоль этих труб то здесь, то там ослепительно ярко вспыхивали огоньки, трепетали, брызгая голубыми искрами. За ними, также сотрясаясь от натуги, огромные тракторы со стальными щитами впереди сгребали, ссыпали землю в ров.

Работали слаженно, под сплошной, несмолкаемый грохот, нещадно разрывая, вспарывая плоть земли, прокладывая по ее телу гигантские железные трубы все дальше, дальше. Опять пришли на ум слова, сказанные неугомонным Кудеры. Через такие трубы наверняка пролезет не то что добрый баран, но и, пожалуй, жеребенок. Удивительно: все, что говорил Кудеры, оказалось сущей правдой. Такие наступили нынче времена, что любой бред аульных краснобаев оборачивается былью.

Тлеу, как завороженный, застыл на зыбком песчаном холме. Кто-то высунулся из кабины громадной машины, помахал ему рукой. Так это же его Туяк! Ах ты мой милый, ненаглядный! Тлеу чуть ли не прослезился, и вся эта суматоха, вся эта возня, грохот и скрежет показались ему сразу осмысленными, близкими и даже приятными.

Отныне каждый день Тлеу приезжал на зыбкий песчаный холм и отсюда подолгу наблюдал за работой трубоукладчиков. С каждым днем они продвигались все дальше на запад. Вскоре и вовсе исчезли в барханах Улыкума. Уже не видно стало гигантских железных чудищ. Только утробный грохот все приглушенней доносился издалека. А за ними пролегала-тянулась широкая, отливавшая рыжей супесью полоса, точно шрам на лике земли. Тлеу испытывал непонятную опустошенность и тоску. Он вроде как тосковал по тому мощному грохоту, от которого еще недавно в смутной тревоге сжималось-замирало его

сердце. Такое с ним случалось и раньше, когда, завершив сенокос, косари разъезжались по домам.

Спустя некоторое время, на становище его произошло еще одно событие. Вернулся он как-то из очередной поездки по окресностям и опешил: неподалеку от его жилья вырос остов еще одной юрты. Две женщины сноровисто прилаживали к потолочному кругу кривые жердины-унины, и вокруг них суетился, давая распоряжения и размахивая рукой, какой-то мужчина. Длинный, просторный чапан то и дело спадал с его плеч. Мужчина показался знакомым. О, аллах, так это же Кудеры! С неба он, что ли, свалился? Увидел старого приятеля, с ходу завелся, забалабонил:

– Эй, молчун! Живой-здоровый? Теперь-то, я думаю, разговоришься. Вряд ли умолчишь, если я изо дня в день начну жужжать возле твоего уха. Этот урус-бородач... помнишь, я про него рассказывал... назначил меня сторожем здешнего участка. Буду за трубами следить. Вот и прикочевал к тебе.

В тот же вечер по доброму обычаю степняков Тлеу зарезал молодого барашка и устроил ерулик – угощение в честь прикочевавшего позже соседа. Теперь на душе почтенного Тлеке стало спокойно и ладно. Он вновь достал из-под подставки для тюков заветный сундучок, к которому долгое время из-за житейских треволнений не прикасался.

Жизнь вошла в привычную колею. Сразу после утреннего чая заявлялся к приятелю неугомонный Кудеры. Поудобней устроившись на почетном месте, прикрыв по обыкновению часть лица краешком чапана, он начинал выкладывать все новости на земле и небесах. И откуда ему только все ведомо? Можно подумать, всеведущий шайтан всю ночь напролет нашептывал ему на ухо. Тлеу только слушал и диву давался, лишь временами негромко хмыкал, мерно потюкивая молоточком.

Однажды, когда невестка вышла по своим делам, Кудеры вдруг ни с того ни с сего спросил:

– Эй, молчун! Сын твой уж больше года, как жену привел. Пора бы и внуком тебя одарить, а?

Тлеу, хотя и хмыкнул по привычке и на этот раз, однако всерьез задумался и даже огорчился. В самом деле... молодая, здоровая женщина. Столько времени в любви и согласии живет с мужем. Вроде уж пора своим чадом

обзавестись... Или хотя бы забеременеть... Непонятно что-то... Кажется, и Туяк какой-то дерганый стал в последнее время. По любому поводу вспыхивает. Чуть что – трык-брык, вскочит на свой драндулет – и ищи-свищи ветра в поле. Может, и он, щенок эдакий, удручен именно этим. Да и невестка на глазах осунулась, поблекла, будто хворь или печаль какая изнутри ее точит. А ведь еще недавно была такая гладкая, тугощекая – не ущипнешь. А он-то, Тлеу, думал, что ей просто скучно, тоскливо жить на безлюдье.

И опять новая тревога охватила Тлеу. Чуть свет уходил он в степь, будто спешил проверять расставленные накануне капканы. На самом же деле он избегал неуместных расспросов Кудеры. Не желал, чтобы тот бередил ему душу. Брел Тлеу один-одинешенек по степи, думы разные невеселые думал. Неужели злая напасть, по пятам преследовавшая всех его предков до седьмого колена, подстерегла теперь и Туяка?

Он ходил на кладбище, молился у каждой могилки на склоне песчаного холма, обращался к священным духам с жарком мольбой оказать милость его единственному, ненаглядному, не оставлять его без потомства. И, ублажая всесильных духов, привязывал к ветхому, источенному надмогильному столбику лоскутки, завернув в них одну-другую синенькую или желтенькую из скромной своей пенсии.

Прошел, канул в вечность еще один год. Никаких перемен в их доме не случилось. Невестка ходила по-прежнему поджарая, легкая. У Туяка сникла голова. Печаль и досада не сходили с его обветренного лица. Хмурым и молчаливым приезжал он домой. Хмурым и молчаливым уезжал на работу.

Тлеу заметно одряхлел. Предаваясь тоскливым думам, целыми днями не выходил из юрты. Он таял на глазах. Казалось, черная пучина тоски неумолимо засасывала его.

Теперь Тлеу стал бояться смерти, с которой с недавних пор смирился было. И боязнь была одна: неужели он так и умрет, не дожив до потомства Туяка? Неужели не исполнит он предсмертного отцовского завещания, покинет этот мир, не обучив единственного наследника священного остова предков тому скорбному кую, передаваемому как семейная реликвия из поколения в

поколение. Все чаще снились ему покойный отец и сверстники, уже ушедшие дорогой предков.

В одну из пятниц он попросил невестку состряпать семь тонких лепешек на нутряном бараньем сале. Потом с семью жертвенными лепешками отправился к могилам предков, чтобы сотворить поминальную молитву. Потом направил коняшку к купам джипы, куда уже давно не заглядывал.

Всего несколько деревьев серебристого лоха, безнадежно затерявшихся в зыбучих песках, печально перешептывались листьями. Ветер трепал поредевшие верхушки. Деревца, должно быть, обрадовались живой душе, ветки наклонились к нему, листья защебетали, точно птички, ластились, норовя прикоснуться, прижаться к его лицу, рукам, Тлеу через силу достал из-за пояса черный топор.

Вечером, вернувшись с работы, Туяк изумился, глядя на то, как старый отец старательно тесал дерево.

– Что вы, отец, опять надумали?! – И, догадавшись о том, что именно мастерит отец, досадливо буркнул: – Этих домбр нынче в магазинах навалом. Зачем мудрить-то?

Тлеу не ответил. Только хмыкнул громко и яростно. Так он хмыкал, когда говорливый Кудеры слишком уж докучал ему своими расспросами и россказнями.

Через несколько дней домбра была готова. Тлеу повесил ее на решетку, чтобы всем видно было. И в следующий приезд сына поинтересовался как бы между прочим:

– Скажи, дорогой, ты на домбре играть-то умеешь? Или даже не знаешь, как ее держать?

– Почему же? Тренькал в школе. Даже в кружок ходил.

– Ну, тогда слушай...

Тлеу начал настраивать домбру. Туяк ковырялся в блестящей шкатулке, с которой не расставался ни дома, ни на работе, однако, прислушивался к звукам домбры.

Тлеу, склонившись над домброй, начал извлекать, выщелкивать из нее горестные, щемящие душу звуки. Они дрожали, набирали силу, складывались в заунывный кюй. И узловатые, сильные пальцы, привыкшие к резаку и молотку, крепко и подолгу нажимали на один и тот же лад, точно буравили его, ввинчивались, исчерпывая все возможные оттенки звука, и лишь потом перебирались на

следующий лад, отмеченный поперечно натянутой жилой на длинном грифе. Туяк и не предполагал, что отец его такой искусный домбрист. От тягучего кюя, который он играл сейчас, веяло неуемной печалью и тоской и больно сжималось сердце. Туяк вздрогнул, замер, свесил голову на грудь.

Играя, старый Тлеу все время смотрел не на домбру, а на сына. Закончив кюй, глубоко вздохнул, прислонил домбру к стенке. Ни слова не проронил. Привалился бочком к подушке.

С того дня Тлеу уже не оправился. Сумрак вокруг него вроде как сгустился. Целыми днями он мог сидеть в одной и той же неподвижной позе, перебирая глянцевитые четки. Иногда неожиданно замирали у него пальцы, казалось, он силился что-то вспомнить, но, так и не вспомнив, снова начинал перебирать-пересчитывать блестящие зерна джиды, нанизанные на жильную нитку.

И однажды вспомнил, о чем думал все эти дни. «Интересно, не затяжелела ли за это время моя невестка...» Он не имел привычки останавливать взор свой на молодых людях. Верил, что острый взгляд его приносит порчу. Правда, нынче всевидящий взгляд ювелира-серебряника померк. Все вокруг зыбится, как в тумане. И хотя пока он еще не очутился под землей, однако, чудилось, будто погрузился в воду. Сомкнулась, смылась грань между днем и ночью, между летом и зимой.

Странное, неопределенное какое-то существование между сном и явью, на меже жизни и смерти. К счастью, лишь слух ему пока не изменил. Но и ушами его прочно завладел Кудеры.

– Эй, молчун, – сказал он однажды. – Что-то в последние дни твоя невестка зачастила к нам. На кислое ее потянуло. Видно, забрюхатела, а?

Никогда еще в жизни не радовался он так болтливому языку балабола Кудеры. Отныне, по-прежнему прикованный к постели, он считал про себя дни, недели и месяцы. И каждый раз, когда невестка выходила или входила в юрту, такая же тихая и робкая, как покойная Зейнеп, он незаметно приглядывался к ней, отмечая про себя происходившие с ней перемены. Она двигалась все медленнее и тяжелее, иные ночи ворочалась в постели, приглушенно постанывала, стесняясь, должно быть, его, свекра. А Тлеу, прислушиваясь к стонам невестки, обмирал от нежности

и жалости к ней, вспоминал всех известных ему святых, умоляя их быть милостивыми и великодушными к бедной женщине, принявшей столько мук ради продления его угасающего рода.

Когда по его подсчетам невестке пришла пора родить он раздобыл крепкую бедренную кость и достал из заветного сундучка инструменты. Казалось, глазам его вернулись, остатние силы: он был в состоянии вполне сносно различить все вокруг себя. Он тщательно почистил бедренную кость, просверлил ее с обоих концов.

Степняки укладывают ребенка, туго запеленав, в зыбку. И чтобы он не лежал мокрым, зыбку снизу просверливают и вставляют туда гладко отполированную полую кость. О ней-то и заботился сейчас старый Тлеу. Он подолгу ощупывал корявыми плохо гнущимися пальцами края кости, затачивал их напильником. То ему казалось, что отверстие мало, то края неровны, то поверхность недостаточно гладка.

Он снова взялся за острый нож, чтобы чуток подправить один конец кости, его лезвие соскользнуло и острием вонзилось в большой палец левой руки.

В тот же день разбарабанило всю руку. Палец распух, горел, причинял нестерпимую боль. Однако, считая кощунством стонать из-за боли в пальце, когда уже, можно сказать, находишься на смертном одре, он изо всех сил крепился и только старческими деснами теребил-покусывал нижнюю губу.

Мрак вокруг все сгущался.

И теперь уже чудилось, что не в воду он погружался, а неумолимо проваливался в бездонную пучину. От боли в руке и даже уже во всем теле он временами впадал в беспамятство.

Однажды, после очередного обморока придя в себя, он услышал, как Кудеры, склонившись к нему, кричал в ухо:

– Эй, молчун! Суюнши, суюнши! Бог внял твоей мольбе. Невестка твоя разродилась мальчиком. Внук, внук у тебя!

Всегда сдержанный, не позволявший себе распускаться на глазах людей, Тлеу раза два рванулся, пытаясь подняться, но силы покинули его. Тогда он отвернулся к стенке, прижал, стиснув, концы палочек нижней решетки

к груди и затрясся плечами. Больше не проронил он ни слова.

Когда в юрту вошел сын, Тлеу как будто приоткрыл глаза. Только что толку? Черное покрывало наглухо застилало свет. Однако сознание подсказывало, что черная пучина его еще не поглотила, потому что слух, хотя и смутно, улавливал каждый шаг Туяка.

Он слышал, как сын подошел к нему, почувствовал, как положил правую ладонь на лоб. От нежности и благодарности он задрожал подбородком, пытался что-то сказать, но не мог.

Казалось, смерть вцепилась в его разбухший палец, в палец искусного серебряника-ювелира, вцепилась насмерть и назойливо нашептывала-торопила: «Эй, не тяни! Хватит тебе маяться! Кончай!..» Он и сам знает, что пора... пора и честь знать, и так замешкался, но все казалось, что ему надо, непременно надо сказать остающимся на этой земле что-то важное, сокровенное. Однако он и сам не знал сейчас точно, что именно он собирается сказать.

Никак не мог сосредоточиться, мысль упорно ускользала. Он с усилием ловил воздух, отчаянно раздувал ноздри, напряженно задирал подбородок кверху.

До слуха вроде как доносились чьи-то голоса. Не Кудеры ли это? О создатель! Значит, он еще есть, еще существует на свете? Значит, он еще останется после него? Всю жизнь он, добрая душа, разделял его одиночество, навещал его время от времени...

Откуда-то просочился протяжный, заунывный звук.

Да, да, это он, прощальный кюй, кюй-завещанне. Тот самый дедовский «Кюй скорби». Сдавленные горем и тоской звуки пронзили сердце, заглушили боль воспалившегося и загноившегося пальца. Но странно – скорбный кюй приносил успокоение и утешение. Глухой, непроби-ваемый мрак перед глазами будто раздвигался, рассеивался.

Снизу подул-потянул бодрящий ветерок. Он доносил блаженный запах жизни – запах земли, солнца, жухлых степных трав, пыльной, паленой кошмы, лошадиного пота, бензина и солярки (видно, неподалеку стояла машина Туяка), и от этих запахов, точно испугавшись, устранилась, отступила смерть, разжала на горле цепкие когти.

И померещились вдруг безоглядная, вольная степь.

Только было то осенью или весной – определить он не мог. И отчего-то поблескивала трава – то ли от росы, то ли от серебристых паутинок. И он без оглядки все брел и брел куда-то по нескончаемой, открытой во все стороны степи. И тоже было неясно: то ли сторожил покосы, то ли охотился на зверя.

И вдруг перед ним – вдоль склона черного увала – радуя взор, забелел широко раскинувшийся аул. Посередине стояла его неказистая, невзрачная юртешка. А по обе стороны от нее расположились сплошь белые, как яичко, отау – юрты для молодых, юрты его потомков.

И сколько их, этих отау! Раз, два, три, четыре, пять...

Опять в глазах зарябило – не сосчитать. И вдруг из белых юрт вышли, как на подбор, крепкие, ясноглазые, смуглолицые джигиты. Уверенно и горделиво оглянулись вокруг, потом направились к коням, стоявшим неподалеку на привязи. Взлетели в седла и один за другим помчались-понеслись куда-то.

От ладного цокота их копыт вновь ожил стремительный, напористый кюй, и, по-немногу удаляясь, растворяясь в беспредельности степи, он обернулся неудержимым, торжествующе-заливистым смехом. Странно... что это за кюй такой? И кто его играет? Неужто Туяк?.. Надо же, какой искусный, страстный кюйши!. А застоявшиеся, справные скакуны, напряженно вытянув шеи, цепочкой неслись-летели у самого горизонта. Вот-вот исчезнут с глаз...

И тут опять уловил он запах бензина. И легконогие скакуны тотчас превратились в огромные ревущие машины. От смешанных запахов бензина и горькой полыни стало вроде как легче дышать. Запах этот почудился приятным, желанным, ибо за рулем громадин-машин сидели все сплошь его потомки, ведомые Туяком. И сколько их! Один, два, три, четыре, пять... Нет, зыбится все в глазах не сосчитать. Целая колонна машин с яростным ревом взметнулась на пригорок вдали, вот-вот исчезнет за горизонтом.

Радостно глядел он слабеющими старческими глазами вслед, испытывая успокоение, удовлетворение в душе, и губы помимо воли шептали невнятные благодарственные слова всевышнему.

Ресницы – он это чувствовал – тяжелели. Веки смыка-

лись. Захваченный сладостным видением, весь во власти смутного, но столь желанного счастья, он медленно погружался в некое благостное, размоpенное состояние. Радостная, легкая улыбка, столь не свойственная ему при жизни, блуждала на его немеющих губах...

Видя, как тень смерти медленно поползла ото лба к лицу отца, Туяк выключил магнитофон. Колесико за прозрачной крышкой, разматывавшее узкую коричневую ленту, с легким шелестом остановилось.

Тлеу лежал, вытянувшись, в постели на почетном месте. Вид у него был спокойный, умиротворенный, будто благополучно завершил все свои земные дела и уснул блаженным сном. Ни тени досады или горечи не было на его лице. И морщины, избороздившие широкий лоб, разгладились.

Строгий, ровный, скупой на внешнее проявление своих чувств, он, бывало, только изредка ухмылялся, хмыкал, дергая краешком губ, а теперь в уголке рта застыла едва заметная легкая и добрая усмешка.

Собравшиеся в юрте не сразу поняли, что случилось, Кудеры, все время молча возлежавший на куче хвороста за очагом, неуклюже слез на пол, опустился на колени.

– Бедный мой молчун... Никого на свете не обижал... никому зла не желал... жил тихо и праведно... и так же тихо и скромно ушел от нас... на веки вечные поки-и-нул.

Невестка, бледная и осунувшаяся после родов, сидя возле закопченного казана, сдавленно вскрикнула.

* * *

Возле крайнего холмика на склоне песчаного увала за аулом появилась свежая могила – красный бугорок, издали смахивавший на устало опустившегося на колени дромадера.

Сороковины справили на исконной земле предков. Здесь же в присутствии понаехавшей родни и близких отметили и сороковой день новорожденного. А уж на следующий день после поминок и торжесгв Туяк откочевал, навсегда покинув священный дедовский край. На кузове громадного грузовика, каких у газопроводчиков было немало, лежал священный остов рода Утеу почерневший от времени дубовый потолочный круг юрты, передававшийся из поколения в поколение теми, кто в течение двух

веков верно и честно стерег мир, покой, честь и совесть этого безлюдного, затерявшегося на стыке песков и пустыни края.

В низине, на которую со всех сторон надвигались, наступали пески, остался темный пятачок, круглая проплешина – место стоянки старой продымленной юрты.

Застыл возле земляной печки – продолговатой закопченной ямины и кучки остывшей золы Кудеры, точно одинокая вечерняя тень; долго глядел вслед громадине-машине, навсегда увозившей нехитрый домашний скарб покойного друга, поглядел-поглядел, повздыхал-повздыхал, да и направился к своему коню, поняв, что уж сегодня он никак не усидит в своей унылой, оставшейся теперь в одиночестве юрте.

Весна пришла нынче в пески необычно рано. Правда, травка еще не успела зазеленеть, однако здесь и там пробивалась все заметней.

Дали раздвинулись. Там, где бугрились барханы Улыкума, смутно темнела рощица. Раньше он как-то не обращал на нее внимания. А нынче, в ясный голубеющий весенний день, в открытой всему взору степи купы серебристого лоха манили, невольно притягивали взгляд.

Кудеры понял, почему его покойный друг в тяжкие минуты всегда спешил сюда. Во всей неоглядной шири не было сейчас ни одной живой души, кроме одинокого верхового. И, словно чувствуя это, заезженная старая кляча под ним трусила резво, с сознанием собственного достоинства. И, казалось, обрадовавшись показавшемуся, наконец, вдали живому существу, весело побежали ему навстречу несколько деревцев джиды, изнуренные скукой и одиночеством в пустыне.

Вот они купы джиды на краю безмолвной пустыни. Они как будто неподвластны времени. На голых ветвях кое-где уже явственно наметились почки. Ждут не дождутся, когда весна вступит в силу, когда живительные соки жизни развернут их в зеленые клейкие листики, ликующе шелестящие под вольным ветром. Эта неистребимая жажда жизни неприхотливых деревцов, растущих здесь бог весть с каких времен, навевала добрые мысли, приносила утешение и веру.

Кудеры зашептал, шевеля губами:

«Тринадцать лет по летоисчислению правоверных –

один мушель, двадцать пять лет – два, тридцать семь – три, сорок девять – четыре, шестьдесят один – пять, семьдесят три – шесть мушелей, год свиньи – раз, год мыши – два, год коровы – три, год барса – четыре, год зайца – пять...»

На этот раз он считал свои года. Получалось немало – под восемьдесят.

Старик шевелил губами, сгибал по одному пальцы, а весеннее солнце на зеркально чистом, голубом небе улыбалось, подмигивало ему.

*Перевод Г. Бельгера*

# СТАТЬИ

*Ш. НУРПЕИСОВА*

## КОЛОДЕЦ В СТЕПИ

Несколько лет назад в серии «Библиотека «Дружбы народов» вышел сборник произведений талантливого казахского писателя Абиша Кекильбаева «Баллады забытых лет», обращенный к истории далекого прошлого народов Казахстана и Средней Азии.

То, что выбор писателя пал именно на жанр исторического повествования, объясняется самой особенностью его дарования, умением выделить наиболее значительное, глубинное в событиях, способных скорее поразить своей нелогичностью. В хаосе бессмысленной суеты он прослеживает и звено за звеном восстанавливает жестокую логику жизни. При всем обилии именно экзотического, необычного материала произведения его построены так, что занимательность эта не отвлекает от главного.

Кекильбаев вовсе не затем тревожит дела давно минувших дней, чтобы потешить воображение своего читателя. Он пишет историю, насыщенную варварской свирепостью, пугающим пренебрежением к любой жизни, но в этой бездумной, оголтелой удали невежественного народа он находит нечто такое, что приближает к нам прежде всего его могучий дух, преодолевающий путы отсталости и родовой замкнутости. Вопросы, волнующие писателя, носят вечный, непреходящий характер: власть, искусство, личность, оказывающаяся в поле их перекрестного воздействия. И отошедшие в область преданий со-

бытия наполняются новой жизнью под пером Кекильбаева, с давних времен они как бы переносятся в наше и, незавершенные, словно ждут окончательного разрешения и нашего с вами деятельного в них участия. Люди, убеждает нас писатель, потому могут так хорошо понимать друг друга, что во все времена независимо от уровня их цивилизованности или территориального расселения, они вынуждены решать сходные проблемы.

Так, в повести «Баллада забытых лет» невольно отмечаешь, что положение, в котором очутился старый туркмен Жонеут, напоминает судьбу Понтия Пилата, прокуратора Иудеи. Каким образом в глухое, отвернувшееся от всего мира сердце проникает сознание вины за высокомерное отчуждение, ощущение связи со слабым, не от мира сего человеком, связи, которую ничто уже не разорвет? И Жонеут, среди нескончаемых набегов не имевший досуга для раздумий, и Пилат, затравленный одиночеством своей неограниченной власти над людьми, испытали одинаковое искушение пониманием, но не доверились ему и потом платили за это. Ситуации сходные, но каждая из них несет свою особую задачу, жизнь наполняет их неповторимым смыслом, тысячей оттенков и особенностей: и оттого не возникает в нас досадного чувства перепева старой песни.

Объем повести невелик, но вся она до предела накалена, и в этом скрытом, неявном бурлении страстей происходят важнейшие для трех героев повести события.

Даулет, ясный и светлый младший сын Жонеута, сочетавший в себе раннюю мудрость и любовь к музыке, под нажимом отца согласился выступить в поход против казахов и погиб. Еще не успев смириться с тем, что это правда, Жонеут услышал кюй пленного казаха-музыканта, который должен был стать искупительной жертвой за его сына. С того черного дня, как погиб Даулет, Жонеут ушел в скорлупу своего горя, он поставил его стеною между собой и людьми, и внезапно этот блаженный заморыш кюйши в звуках своей домбры передал и неизбывную отцовскую боль, и ту тоскливую мелодию, что накануне похода исполнил на дутаре Даулет, словно предчувствуя свой конец, и вот таким образом, как бы объединившись с Даулетом, пленник обрушился затем на Жонеута. Он поставил под сомнение правоту его презрения к жалком роду людскому, которому Жонеут про-

тивопоставил себя и свою неизмеримую утрату, наконец, возложил на него вину за гибель сына. Это все сказала Жонеуту музыка, и потому, как бы он ни был разгневан, она смутила его, но, подавив свой неуместный, невольный интерес к странному врагу, он приказал его казнить.

Течение событий в повести неспокойно, напряженно, как сжатая пружина, и, как бы тщательно ни скрывал автор своего участия в ней, сам он направляет ход мысли читателя, подводит его к самой удивительной вещи на свете – человеческой душе, которая пробует себя на столкновении устоявшихся представлений о добре и зле, с неожиданным поворотом судьбы приходится узнавать, как вдруг рушится все привычное и ясное.

Форма, в которую Кекильбаев облекает свое произведение, динамичная, живописная форма народного сказания, сразу (и очень точно) посвящает нас во всю сложность, остроту обстановки, передает ощущение близящейся грозы.

К середине повесть, до сих пор словно только набиравшая разгон, только готовящая истинную кульминацию, как бы ни были значительны события, происходившие до сих пор, неожиданно взрывается. В ней появляется новое действующее лицо – казах-музыкант, захваченный в степи отрядом туркмен. Он появляется, чтобы своей музыкой на какой-то миг усмирить, смягчить ко всему на свете привычных воинов, чтобы погибнуть вопреки зародившейся было в них искре сочувствия и показать старому Жонеуту, что со смертью сына его испытания не кончились. Этот замученный им чужак вдруг заслонил, отодвинул Даулета в его сознании, вернее слился с его любимым образом. На помощь кекильбаевскому герою, и это не единственный случай, приходит сон. Он раскрывает ему его неблагополучие, более серьезное, чем это можно было предполагать. В Жонеуте боролись две силы: старый дух ненависти к врагу и новое, связанное с появлением музыканта, подозрение, что в смерти сына повинен он, что он Даулета не пощадил во имя родовой гордыни. И когда во сне вместо зарытого по голову в землю кюйши он увидел Даулета, это означало конец его самообольщению.

Появление музыканта в повести – это еще и переход к основному, сокровенному смыслу ее – к размышлениям о вечных ценностях жизни. Жонеут утолил свою жажду

мести, и у него появляется возможность осознать содеянное: чего он добивался и чего достиг. Можно очень долго забивать себе голову мыслями о своих обязанностях перед народом, можно копить обиды за все его страдания, не принимая во внимание страданий другого народа. Воспитание в опредeнном духе весьма способствует возникновению стойкого фанатизма, заменяющего свободу и ясность суждения, но коль скоро поддался однажды человек силе и обаянию искусства, которое, если это настоящее искусство, всегда гуманно и в этом своем качестве неистребимо, то уж тут никак нельзя перешагнуть через собственное сердце, требующее истины. И надо учитывать то обстоятельство, что в кюе своего врага старик узнал мелодию сына.

Путь кекильбаевского героя к истине всегда очень не прост. Так, Жонеут, одолеваемый сновидениями, не может отрешиться от понятий о чести настоящего туркмена, навязанных ему всей прежней жизнью. Укоры пробуждающейся совести он отметает как ненужное, недостойное. Но Кекильбаев проводит своего героя по аду жестокому и утонченному. Воля случая поставила этого человека в положение, где он был вынужден обостренно почувствовать ложь того, что он впитал с молоком матери, что было его каждым днем. Старик замкнулся и отошел ото всех, не желая делить ни с кем своего горя.

Парадоксальность сложившейся ситуации была в том, что ему не был нужен ни один из его соотечественников, лишь этот пришлый чудак владел ключом к тайне Жонеута – неизгладимой вине его перед сыном. У Жонеута была еще возможность хотя бы отчасти уменьшить ее: спасти пленника. Но вот ведь странность: как бы ни был раздавлен человек, но, пока он жив, он в плену своих предрассудков и принципов и не может подняться над обстоятельствами. У него снова найдется, что терять, даже если исчез главнейший смысл существования, надежда на продление рода. Пока он жив, им управляют земные страсти, и они будут сбивать его и ослеплять, и нужно или уж до конца, до выхода за пределы понимания, натворить бед, как вышло с Жонеутом, или быть автором, чтобы измерять поступки своих персонажей мерой, присущей времени, без прикас воссоздающему картины былого.

Жонеут быд зачарован чудесным кюем пленника, но он разрушал его ясное и удобное отношение к жизни, он

делал его из справедливого мстителя и защитника туркмен виновником их непрестанных страданий, ненависть же сулила ему утешение, и он пошел по знакомой, проторенной дороге. Он решил, что музыка – колдовское наваждение, она создана запутывать и губить людей. Она ставила под сомнение его честное имя. А с этим уж Жонеут согласиться никак не мог. Но чтобы понять состояние старика, нам надо будет вернуться к той сцене, где он получает известие о гибели Даулета.

Жонеут не сразу поверил страшной вести. Автор использует крупный план, выделяя одного Жонеута, которого ведут среди слез и причитаний к телу сына. Происходящее мы воспринимаем его глазами, и оттого нам видно, как нарастает в Жонеуте сквозь растерянность и оцепенение чувство протеста. Пусть, подчиняясь чужой воле, он делает то, чего от него ждут, но в этих похоронах он не участвует. Он подходит к сыну, целует его, тело его погребают, но еще целую неделю Жонеут будет упрямо выставлять караульного в степи поджидая возвращения Даулета. Это им, чужим, можно так легко примириться со смертью его цветущего джигита-сына, но не ему! Он был одинок в своем бессмысленном сопротивлении судьбе и стал еще более одинок, когда убедился в непоправимости случившегося, словно эти люди, поторопившись похоронить Даулета, способствовали его несправедливому концу.

Вот этот разрыв, несовпадение дня смерти Даулета и того дня, когда Жонеут осознал свою утрату, углубило пропасть между ним и людьми и его неприязнь к ним.

Сценой этой повесть как бы делится надвое. Все уже подготовлено к тому, чтобы трагичным оказалось столкновение старого туркмена с пленником кюйши. Раз данная инерционность мышления нарастала, и Жонеут теперь обвинял во всем музыку, ибо она тоже отнимала у него душу сына. Он хорошо понимал своего брата Кёк-боре, воинственно настроенного против увлечения Даулета музыкой. Но беда Жонеута была в том, что он уже не Кёк-боре. Это уже человек раненый, и, какими бы возвышенными мотивами он ни прикрывался, музыка ясно сказала ему, что его законное право возмездия всего лишь щит, за которым старик хотел спрятать непоправимую вину, и не только перед сыном.

С музыкантом в повесть входит тема искусства, и оно

втягивает людей, чуждых понятию нравственности, в орбиту беспокойного размышления над сутью каждодневных, привычно совершаемых дел, доказывая тем самым свою тесную, неразрывную связь с жизнью. И сколько сразу неразгаданного и неоднозначного проступило в том, что прежде ясно казалось Жонеуту. Из судьи он превратился в обвиняемого, в палача, в убийцу собственного сына. Забыв о лютой скорби своего сиротства, не ведая сна и отдыха, он беспрестанно был вынужден вспоминать, заново перебирать в памяти все подробности расправы над беззащитным пленником, убеждаясь все больше в своей неправоте, казнясь.

Острие исследования автор направил на Жонеута, полнее чем кто-либо из его окружения испытавшего на себе разящее воздействие музыки, ибо к тому он был подготовлен в силу особых своих причин. Но именно вследствие такой постановки вопроса в тени остались кюйши и Даулет – непосредственные виновники событий, творящие искусство, претворяющие его в судьбу народа, тогда как участь их самих переросла рамки личного, случайного происшествия – в них была воплощена народная совесть и боль.

Мы пронаблюдали на примере Жонеута преображение задавленного косным вековым укладом атрофированного сознания. История эта все же звучит современно, как современная легенда о певце, игрой своей оживляющем камни, – Орфее. Ведь люди и по сей день не приучены в полной мере использовать все возможности своего интеллекта, передоверяя его деятельность сложившимся традициям, мнению общественности, в то время как жизнь требует участия в ней, их собственной воли и мысли. Недаром во сне Жонеут вместо заживо погребенного казаха увидел сына, и тот отвернулся от него, не желая прощать отца, дважды предавшего его, и недаром кюйши повторил мелодию Даулета. Понятия «свое» и «чужое» сместились для Жонеута, утратили первоначальное жестокое и прямое разделение. Среди всех, кто был подле него в дни черного горя, не оказалось ему никого ближе, чем этот странный, не от мира сего чужак. И сын, горячо любимый, молча и безнадежно оплакиваемый Даулет, внезапно словно ожил и с упреком и мольбой обратился к нему в кюе пленного иноземца.

Старик повторил ошибку иудейского прокуратора: в

решающую минуту он не сумел поверить в справедливость неожиданного открытия о своей вине. Его пугала та ответственность, которую она бы возлагала на него. Но и долго обманывать свою честную, прямую натуру ему не удалось – погубленный им казах стал важнее и дороже ему всех его соплеменников, и его мрачное, человеконенавистническое право на возмездие больше не приносило ему облегчения. Так совесть, пробуждением которой он был обязан врагу, подсказала Жонеуту, что он превратился в обыкновенного палача и теперь его сильнее, чем даже смерть сына, мучила вина перед казненным.

Искусство проявляет свою необыкновенную силу воздействия и в том, что заставляет ум хотя бы зашевелиться в ответ. Пусть внешне кюйши и проиграл – не сумел спасти свою жизнь, но когда он играл туркменам в юрте, перевес был на его стороне, и он прошиб их дремучее сознание. И Жонеут, оставшись один, не мог долго скрывать от себя, что навсегда лишился единственного человека, кто мог понять его и был ему необходим.

Но не менее значительна и проблема, прямо касающаяся кюйши и Даулета, – то, что прозрение и конечная победа человечности достигаются ценой их гибели, что они обречены на страдательную роль в мире, независимо от того, насколько сами они жизнеспособны. И участь Даулета подтверждает такое состояние вещей. Уж он-то не был врагом туркмен по рождению, ни слабым, неумелым мечтателем. И все-таки он подчинился воле обстоятельств и отправился в поход, где, как он знал, должен был погибнуть. Он пал в первом же бою, и это не было случайностью. Силу его и ловкость автор упоминал.

Сомнений у нас нет: иного исхода быть и не могло. Даулет, убежденный противник резни, Даулет, вдохновенный музыкант «от бога», не смог бы поднять руку с оружием на того, в ком он так и не научился видеть врага. Жонеут не понял вовремя, отчего так скорбно звучал дутар сына накануне рокового похода, и Даулету некому было об этом сказать. Повинуясь сыновнему долгу, он пошел на верную смерть, ибо в нем не было ослепляющей ненависти, которая выручает воина в бою.

Кекильбаев очень тонко и недвусмысленно показал, как был осуществлен нажим на Даулета. Это сцена, где Даулет с отцом отправился на охоту и оба ждут и боятся

решающего объяснения, которое так и не состоялось. Не выдержав настойчивого безмолвного ожидания отца, юноша дал свое согласие. Нигде прямо не говорится о тайном смятении и борьбе, происходившей в душе обоих. Упомянуто лишь о полном безразличии к охоте отца и сына. Это место в повести звучит особенно энергично, с подъемом. Мы ощущаем чеканность топота копыт скачущих по степи коней, лихорадочную пульсацию мысли Даулета, охваченного противоречивыми чувствами, суровое, исполненное достоинства и крепнущей надежды выжидание отца и общий, волной накативший порыв священного трепета, когда оба упали на колени перед могилой святого Темира-бабы, духовного наставника туркмен, повелевшего им охранять свою землю от врагов. Мягкое, неумолимое давление с обращением к патриотическим чувствам юноши, уважению к законам и обычаям предков должно было, разумеется, сломить неокрепшую волю Даулета. И при этом все его существо противилось бессмысленному насилию и резне.

Казах-кюйши и туркмен Даулет были несхожи между собою, но все их личностные различия стерла и уравнила одна общая участь – стать жертвами вражды двух близких народов. Неся в себе и постигая всю красоту и духовность музыки, они оказались беззащитными перед жестокостью жизни. (Участь Даулета даже печальнее судьбы казаха: он покорно позволил убить себя, не смея преступить ненавистных обычаев предков).

Но так или иначе, два эти образа дополняют друг друга, выражая общую идею – невыразимую сложность процесса, который происходит, когда искусство, покидая узкую сферу эстетства, становится действенной силой, влияющей на сознание, на поступки людей, независимо от того, хотят они этого или нет.

Но ведь не только гуманность, нетерпимость ко лжи, присущие всякой творческой деятельности, преобразуют мир и одухотворяют его! Тогда бы, может, и проблем никаких не возникало. Увы, существует и обратная связь: прекрасное нередко гибнет, пассивно подчиняясь злу, уступая ему.

Мы понимаем, что не позднее раскаяние Жонеута (хотя и это, конечно, немаловажная часть замысла) волновало автора. Притягательностью и энергией убеждения повесть эту наполняет именно столкновение музыканта и взяв-

ших его в плен туркмен – вечное и неравное соперничество искусства и жизни, текущей по своим собственным законам, за душу человека. И то, что, достигнув даже своей цели, подчинив своему воздействию людей, искусство терпит крах, как бы разумно и высоко ни было это воздействие, придает повести Кекильбаева остроту и темпераментность.

Естественно, в подобной постановке проблемы образ Даулета приобретает особое значение. То, что смелый и сильный юноша, стоявший особняком в невежественной, темной массе своих сородичей, оказался побежден их слепым желанием убивать – лишнее подтверждение трагической судьбы искусства в мире.

К сожалению, специальному рассмотрению образ его не подвергался. Он так и остался для нас лишь свербящим, укоризненным воспоминанием в сердце своего отца. А мне кажется, нагрузка, которая непроизвольно ложится на его фигуру, была задачей исследования именно данного произведения. Можно бы предположить, что Кекильбаев предлагает нам иное и более оптимистичное прочтение своей вещи: дутар, выпавший из рук Даулета, подхватывает другой мальчик и повторяет на нем мелодию казненного кюйши.

Музыка остается жить и после того, как уйдет ее творец, и в народе никогда не угаснет светлое, благородное начало. Все это так. Но почему же мы должны на плечи грядущих поколений возлагать заботу об осуществлении долгожданного слияния реальности, в которой существует человечество, с милосердием и подлинной поэзией, вместо того, чтобы признать, что и поныне это остается болезненным вопросом для нас? Никто не ждет, конечно же, чтобы в своих книгах писатели предлагали решение насущных проблем бытия, поскольку все ответы жизнь находит сама. Их же назначение – поставить правильный и честный диагноз язвы, что подтачивает общество. И неужели, проделав столь безжалостную аналитическую работу, показав недвусмысленно ясно, как для того, чтобы раскрыть глаза лишь одному только человеку на лицемерие, в котором он погряз, понадобилось весьма необычное и драматическое стечение обстоятельств, писатель может всерьез захотеть и возьмется за то, чтобы сгладить тягостное впечатление, оставшееся у своих читателей таким легковесным способом, намекнув в финале

о преемственности лучших устремлений и порывов – всего лишь намекнув, бегло, мимоходом упомянув.

Это краткое сообщение о талантливом мальчике, для которого не существует непроходимых границ в мире музыки, вряд ли снимет у нас общее настроение тревожности, созданное повестью Кекильбаева.

Как бы несомненна ни была нравственная победа, одержанная пленником, досталась она слишком дорогой ценой. В том-то и дело, что мы читаем произведение не только историческое. Вопрос, поставленный Кекильбаевым, остается открытым и продолжает звучать для каждого из нас в отдельности. Проблема понимания человека человеком подчас встает не менее остро и сложно, чем контакты с инопланетянами.

Произведения Кекильбаева представляют собою стройное, законченное целое, единый ансамбль, всесторонне охватывающий проблему борьбы, начала чисто человеческого, естественного желания созидать и любить, поступать по велению собственной совести и тех противоестественных, навязанных извне человеку общественных ценностей, содержание которых чуждо и даже враждебно понятиям нравственности, разума и красоты. Конфликт личности с социальной средой, которая, вырвавшись из повиновения, кроит людей по своим законам, развивался, углублялся и набирал масштабность с каждой новой вещью. Общность героев книги – из общей заданной идеи автора. Честолюбцы и фанатики, наделенные сильными страстями, стяжавшие в своих руках власть или славу, именно они и никто иной навязывают и поддерживают определенные отношения своему окружению. Но оберегаемые ими правила игры оборачиваются против них же самих. Они сами давно определили свою роль, свое место в жизни. Но им приходится сталкиваться с препятствием, которое тем неожиданно и коварно, что кажется поначалу безобидной помехой или выпадает из круга привычных вещей и оттого сбивает с толку, озадачивает. Главная опасность для них исходит из излишней четкости, догматичности позиции. Не умея отойти от нее, они пытаются изменить обстоятельства в свою пользу, сметая с пути все преграды, но, увы, оказываются под обломками сами.

То, чего добиваются, – свободное, полное проявление своих желаний и склонностей, подменяется в угоду бесу гордыни узкой схемой предписаний своего положения.

Жонеут оказался не единственной жертвой стремления утвердить во что бы то ни стало право определять миру, каким ему быть. Другие герои Кекильбаева действуют с тем же убеждением в превосходстве своей истины над прочими.

Следом за «Балладой забытых лет» была написана «Хатынгольская легенда», где тема «гордого человека» прозвучала в ином аспекте, служа идее возмездия злу и насилию.

Люди, захотевшие отомстить кровавому поработителю Чингисхану, не были героями. Это были почти случайные, наугад выхваченные люди. Но тем ярче, выпуклей проявились в подобной случайности величие и несокрушимость целого народа, поднявшегося на борьбу за свое освобождение. Словно автору хотелось подчеркнуть, что даже если каждый в отдельности взятый человек мелок в своих делах и побуждениях, то, протягиваясь от одного к другому, справедливая, несомненная идея растет, претворяясь в действенную силу в бесконечной цепочке дел, промелькнувших незаметно в этой страшной, смертельной схватке.

Горькое, откровенное размышление об искусстве, втянутом в неумолимую обыденность, которая вовсе не считается с жаждой человека к высокому, раздумья о назначении искусства в мире, где царит закон сильных, продолжает повесть «Колодец».

В «Балладе забытых лет» этот разговор ставится на иной основе. Там искусство служило объединению людей, пробивало брешь в перегородке национальных, кастовых предрассудков, оно не давало успокоиться в спасительном самообмане. Искусство выходило победителем над ленью ума. В этой же повести также побеждает искусство, но темное, недоброе его торжество беспокоит писателя, ибо, будучи чистой, выхолощенной от любви идеей, оно повергает своего адепта в рабство ничуть не более предпочительное оттого, что это рабство избранных.

Кекильбаев создает модель настоящего анахорета, затворника, подле него нет ни единой родственной души, он живет в степи, бедной и убогой, работает копателем колодцев (кудукши) и почти все время проводит под землей, с риском быть засыпанным обвалившейся стеной. Но, с другой стороны, он страстно жаждет найти выход и пре-

одолеть неполноту и скаредность своего существования. Енсеп обладал необходимыми качествами для этого, у него были талант и упорство в достижении своей цели. Но это ремесло, помимо того, что приносило ему почет и достаток, было его проклятием. Ибо он ненавидел свой каторжный, гибельный труд и не раз давал себе зарок развязаться с ним.

По форме повесть представляет собой внутренний монолог одного героя. Других лиц, чье присутствие оказывало бы какое-то влияние на философский аспект повести, нет. Их функция состоит в том лишь, чтобы объемнее, точнее воссоздать картину причин, заставивших Енсепа так отчаянно рваться за пределы опостылевшей, однообразной жизни. Оттого-то так часто устремлялись мысли Енсепа к короткой счастливой поре детства с ее наивными мечтами о беззаботной, приятной жизни хозяев степи. Но иллюзии с годами уходили, и нарастало раздражение против удела, выпавшего ему на долю.

Внешний рисунок повести небогат событиями, эффектными сценами, монотонен в отличие от других произведений, где динамика сюжета обеспечивала динамичность развития мысли, а значительность перемен, душевных брожений героев создавала исполненный непокоя, страсти фон, обогащающий ее новыми мотивами и оттенками чувств. Но эта лаконичность, простота сюжетной канвы позволяет концентрировать, сгущать настроение непримиримости Енсепа, которая подтачивала его силы. Настолько обманчива эта неприметательность, скромность рассказа о простом копателе колодцев, что подтекст ее уловить и понять сразу трудно. Мятеж Енсепа нарастал исподволь, складываясь из пустой череды будней, страшного напряжения в завершающие часы работы, из детских воспоминаний и едкой горечи признания, что жизнь обманула, надев на него свое ярмо еще в том незрелом возрасте, когда легко было обманываться, и доверчиво ожидая мгновения, для которого родился.

Не случайно так сухо сообщает автор о семье Енсепа, ведь, в его жизни она занимала слишком мало места. Он был один со своими раздраженными мечтами о чем-то недосягаемом, со смутной жаждой полноты, цельности мироощущения. Огромные возможности, дремавшие в Енсепе, требовали своего осуществления. Раб был слиш-

ком велик и могуч, чтобы сдаться на милость судьбе. Несмотря на страх, который угнетал Енсепа, он продолжал держаться за традиционное занятие рода Караш. Он мог бы избрать иное, как его строптивый отец, не пожелавший уходить под землю, и все же Енсеп как одержимый копал колодцы.

Экзотикой в этом произведении нас не балуют. Автор словно бы и не имеет иного намерения, кроме реалистического, достоверного описания тяжелой жизни казахского народа в прошлом. Мы не видим даже того, как складывались в сознании кудукши мотивы, подтолкнувшие его на скользкую дорогу тщеславия, и привели его к гибели.

Но автор не собирался ограничиться жалкой ролью посредственного бытописателя, и, зрея в глубине, в тиши, недоступная непосвященному читателю, выступает, наконец, заветная, вынашиваемая тема, которая не спешит щедро вылиться ключом из скалы, а чуть слышно, но настойчиво пульсирует у самой поверхности земли.

В степи колодец – отрада и спасение всякой живой твари и человека. Пускай так тяжко это занятие, зато в результате кудукши получает сполна награду, видя, как закипает жизнь в пустынном прежде месте благодаря его трудолюбивым рукам.

Этот каторжный труд, если бы его озаряла забота о тех, для кого он и предназначался, мог бы стать истинным смыслом жизни для Енсепа, давал бы ему возможность избежать отупляющего воздействия беспросветности и скуки, в которых он прозябал. И ведь другой цели, кроме как облегчить участь всех обитателй степи, рытье колодцев и не предполагало. Но, не одухотворенное мыслью о конечном результате – общей пользе, оно только потворствовало неистовой эгоистичной страсти кудукши и еще больше закабаляло его.

Енсеп, конечно же, жаждал освобождения, но не знал, где его искать. Кекильбаев пишет об одиночестве, которым мастер, художник расплачивается за свой дар, об отчужденности, что сопутствует тому, кто посвящает себя искусству. Кюйши-казах из «Баллады забытых лет» также был одинок и отвергнут как чужими, так и своими, но таким обманутым и несчастным вряд ли он ощущал себя.

Благодаря своей игре он находил путь к сердцам своих слушателей, он выражал в ней свою мечту, самого себя,

следовательно, его искусство было для него само по себе наградой и утешением.

Но в яростном самосожжении, с которым бросался на работу Енсеп, крылась иная причина. В его бедной, безотрадной жизни заслужить удивление окружающих, блеснуть, поразить их хоть на миг составляло его единственный приятный момент. Сам Енсеп мог об этом долгое время и не догадываться, думая, что легко сбросит свое ярмо в один прекрасный день, пока другому кудукши не удалось вдруг его затмить. Вот тут-то и стало ясно, что ненавистное рытье колодцев крепко приросло к Енсепу порочной связью. Ни о чем другом он уже не помышлял, как только вернуть былую славу – ведь без нее смысл его существования терялся и он оставался совсем без опоры. Енсеп стал рабом успеха, чужого мнения. Как бы далек ни был он от своих сородичей, он уже не мог жить без одобрения. В этом, как мне кажется, Енсеп больше всего сходится с Повелителем из «Конца легенды».

Повелевая толпой, они сами находятся в зависимости от нее, и выход для них остается один – снова и снова творить легенду о себе, карабкаться на новые ступени подвигов, истощаясь от тяжелых, неимоверных усилий.

Кекильбаев вовсе не стремится к вынесению какого-либо бесповоротного приговора, но вещь говорит сама за себя. Вроде бы и оставаясь рассказчиком, не подталкивая читателя к определенному выводу, просто воссоздавая ситуацию, автор тем не менее полон иронии и сожаления к своему герою. Ведь Енсепу действительно удалось вырыть замечательный колодец, он далеко обошел своего соперника.

Но что видел он в бурных водах, в течении, которое уносило его в море, что привело к гибели чудесного мастера? Глумливое сострадание в лице кудукши Калпака, почудившееся ему в последний миг его жизни, яд честолюбия, беспощадный и мстительный, который уравнивает всех: и богатых, и бедных, властелинов и подданых, вожаков народа, великих полководцев и ремесленников, в поте лица своего добывающих насущный кусок.

В народе действительно осталась память о кудукши, вырывшем самый глубокий колодец, но память народа всегда воздает должную меру справедливости своим сыновьям. Колодец этот звался не «вырытый Енсепом», а

колодец «где умер Енсеп», тем самым навсегда сохранил для людей не столько благодарность к тому, кто облегчил им тяготы кочевой жизи, а назидание о том, как в погоне за миражом проглядел одаренный человек действительную радость и красоту, каких бы мог достичь.

Но хотя Енсеп духовно сродни тому типу честолюбцев, который избрал Кекильбаев для изучения, было бы неверно утверждать, будто в отношении автора к нему нет иного чувства, кроме осуждения его эгоцентризма. Ведь в том, как говорилось о горестной судьбе талантливого умельца, кроется и понимание и сострадание. То прекрасное, к которому так страстно тянулся Енсеп, доставалось ему скудными крохами, урывками, в редкие минуты игры на домбре.

Прекрасное не желало являться к нему в виде реального вознаграждения за лишения, страдания, выпавшие на его долю.

По-настоящему возвышенной, в его жизни была лишь печаль по этому прекрасному, недоступному для него, дразнящей тенью являвшемуся его воображению, богатому, изощренному воображению артиста, мучительно ощущавшего несовместимость мечты с жизнью без прикрас.

Поставить человека перед лицом мучительного, неотвязного вопроса, провести его по лабиринту опустошающих душу догадок и сомнений, истерзать его отвращением к самому себе так, что, не вынеся этого страшного бремени, он сам как спасательного прибежища захочет смерти.

Поистине незаурядным мужеством надо обладать писателю, чтобы пройти весь этот путь вместе со своим героем и, отвергая уловки, сулящие утешение, поставить точку, вынеся целой жизни беспощадный приговор.

Глубина нравственного раздвоения, разлада личности возрастала в каждом последующем произведении. Писатель не мог оставить тему, в которой область неизученного была еще слишком велика. Все еще просто разрешалось в первых его вещах чьими-то действиями, влиянием извне. Жонеут и Чингисхан понимали, что зашли в тупик, признавали свое поражение. Справедливость торжествовала. Драма Енсепа, сосредоточилась на нем одном, дальше него не распространялась, она набирала настоящую остроту и безысходность в своей камернос-

ти. Цели своей Енсеп так и не достиг, и над ним постоянно довлел страх остаться в безвестности и ничтожестве.

Но наиболее хитроумным и тонким политиком был в этой галерее гордецов и тиранов Повелитель из романа «Конец легенды». Он возвел уже целую систему не просто управления, а овладения душами и умами своих бесчисленных подданных, творя для них свой великолепный, непререкаемый авторитет, и глубже всех остальных героев этого цикла увяз в собственной лжи, что даже смерть стала недоступной роскошью для него, когда жить стало невыносимо.

Даже Чингисхану было намного проще, он был естественен во всех своих поступках, и смерть стала последним удивительным деянием его жизни. В судьбе Повелителя все было сложнее и трагичнее. Проезжая по пустыне, этот покоритель половины мира видит черепах, опрокинутых песчаной бурей на спинки. Придавленные тяжестью собственного панциря, беспомощные, они обречены на медленную гибель, и странным образом разделяет с ними ту же участь сам могущественный Повелитель, попавший в зависимость от своего величия.

Волею обстоятельств поставленный над всеми, человек вдруг обнаруживает, что оказался слаб для такой ноши. Утверждая свою мощь и превосходство, он идет туда, где его ждут слава и почести, но едва цель достигнута, как мышеловка захлопывается и на плечи ему, пригибая к земле, сваливается весь его непомерный успех. И он вынужден равняться отныне на легенду, созданную о себе, отовсюду ожидая разоблачения, не смея подойти к самым близким людям, потому что отрезал малейшую надежду на понимание и сочувствие, когда рвался в ослеплении к своему проклятию.

Но если «Баллада забытых лет» создает у нас ощущение близкой развязки, явного драматизма ситуации, то «Конец легенды», напротив, затягивает читателя в душную атмосферу застоя. Действие протекает в великолепном дворце, навек похоронившим в своих стенах безмолвную драму троих: юной Ханши, влюбленного в нее молодого зодчего и жестокого Повелителя, ставшего пленником своего исключительного положения.

Поначалу героям этого романа трудно догадаться о своей несвободе. Паутина неволи оплетает их мягко,

вкрадчиво, но все туже и туже ложится, связывая все их поступки и желания. Всякий раз, когда кажется, что вот-вот разразится буря и, ломая лживые, застывшие устои, вырвется наружу правда, все благие порывы, весь протест троих спотыкается о безмолвие, равнодушие раз и навсегда заведенного порядка, поглощающего в себе человеческие души, подобно зыбучим пескам. Все, что происходит с тремя героями романа, прямо или косвенно связано с жизнью дворца с его великолепными садами, с пышностью и блеском, с обеспеченностью и роскошью, напоминающими то сказку, то сады Эдема.

К примеру, вспомнить хотя бы сцены купания младшей Ханши и ее свиты, которые подсматривал юный зодчий. Но Кекильбав развенчивает и этот миф о беззаботной, пленительной, недоступной простым смертным жизни Повелителя и его ближних. То, что представляется сказкой непосвященному взору, на деле есть давно затверженный, механически повторяемый спектакль.

И младшая Ханша лишь кукла в более опытных и хитрых руках, до времени не подозревающая о своей жалкой участи. Ей так и не удалось добиться права самой распоряжаться своей жизнью, протест ее не был никем даже услышан, но, страдая в своем одиночестве, ненужная, всеми забытая в великолепных покоях своих, она все же была более свободна, чем ее великий супруг. Да, конечно, ею безжалостно вертели, и автор не таит того, как смешна юная Ханша, по наущению своей старой служанки вообразившая вдруг себя серьезной противницей Великой Ханши и возлюбленной могущественного Повелителя. Не менее смешна младшая Ханша, когда придумывает свою любовь к нему – все ее выдумки оказались разбитыми вдребезги.

Ханша осознала свою беспомощность и никчемность. Но зато она обрела на какой-то миг свое лицо даже в этих унизительных условиях призрачного существования. Это было, когда в ней проснулась любовь к зодчему и ей захотелось жизни реальной, настоящей.

Эта несчастная страсть сделала Ханшу взрослой. Она поняла, что больше не может довольствоваться сонным, безмятежным спокойствием. В ней ожила готовность к какому-нибудь действию, которое, однако же, так и не было осуществлено. Ханша поняла, что надежда ее на счастье бессмысленна, но не догадалась обвинить в этом

Повелителя, а решила, что сама виновата и должна страдать за свое прегрешение перед ним.

Но как и юная Ханша, так и полюбивший ее зодчий нужны в романе автору в основном лишь затем, чтобы полнее раскрыть личность Повелителя, личность неоднозначную, незаурядную, но искореженную, изуродованную долгими годами двойной игры, которую он вел: с одной стороны, он создавал видимость всеведения и абсолютной силы, с другой – тайно, про себя рассчитывал каждый шаг, увертывался, лавировал, слабости свои выдавал за дополнительные доблести.

Он создавал вокруг себя ореол непостижимости, почти божественной природы, и это лишило его свободы действия. Он оказался в реальной зависимости от слуг, не смея выказать естественных человеческих привязанностей (скажем, войти в спальню к жене). Но мы читаем роман отнюдь не сатирический, и то, что предлагает нам Кекильбаев, отнюдь не изобличение ничтожного комедианта, бездарного правителя.

Это глубокое исследование порочности неограниченной власти. Повелитель – олицетворение ее. Все живое, на что падает тень внимания Повелителя, гибнет.

В своих покоях задыхается юная Ханша, страшной ценой расплачивается одаренный юноша зодчий за то, что осмелился поднять на нее глаза. Во всем пышном дворце удобно устроилась только челядь Повелителя те, в ком, как в старой служанке его жены, страсти вовек не бушевали, кем был заведен и обжит зловещий торжественный ритуал почитания его священной особы. В конце концов сам Повелитель тоже оказался жертвой машины, им же запущенной.

Во имя ее безостановочной работы он, не колеблясь, подавляет и собственную поющую душу, привыкнув носить, как вериги, свое опостылевшее величие. Он живет с тайным страхом, как самозванец, отовсюду ожидающий разоблачения.

Образ Повелителя, как я уже говорила, противоречив. Свое восхождение к славе он начинал, опираясь действительно лишь на свой незаурядный ум и силу духа. Но, не зная удержу в своем честолюбии, завоевывая государство за государством, Повелитель закрепил за собой роль сверхчеловека. Маска эта никогда не выдерживала безболезненной длительной эксплуатации. Именно это и про-

изошло с Повелителем. Он не пожелал признать своего поражения и оттого ожесточился против обстоятельств и людей, которые требовали от него решительной перемены.

Привело же это к тому, что изо дня в день в беспощадном самоанализе Повелитель терял уважение к себе и своей жизни, но не желал, однако, выбираться из лжи, в которой увяз.

Постоянно балансируя на грани признания давнишней пустоты и выхолощенности своего существования, Повелитель, однако, в последнюю минуту всегда отводил глаза от пугающей истины, слагая ответственность с себя то на установившийся порядок, то на волю Всевышнего. Однако никакие ухищрения казуистики не могли вернуть ему покоя. Могущественный и всесильный, он тем не менее был всегда одинок и несчастлив, он обессилел и преисполнился отвращением к себе в этой бесславной борьбе против чужой молодости, которая встала на его пути. Ибо Повелитель был слишком опытным и проницательными человеком, чтобы сомневаться в том, что нет греха на молодых людях, неосознанно искавших тепла и поддержки друг в друге. Его даже потянуло вдруг посочувствовать их обреченной страсти.

Против него оборачивается все, даже ум и память, в которой хранились времена пусть более тяжелые, отчаянные и все же времена, когда он жил по-настоящему и мог один с мечом в руке кинуться на вооруженных воинов, как было, когда некий бек заточил его с женой в темнице.

Но времена те прошли, и дух его безнадежно оскудел в погоне за призраком. Тогда он был молод и отстаивал свою жизнь, жизнь сына, родившегося в яме. А сейчас он не мог не осознавать, что движет им зависть и невольный укор никчемности его одинокой старости, который он читал в этой чужой любви – ведь и он испытал когда-то в молодости это чувство к своей первой жене.

Такое напоминание о его былом счастье для него непереносимо. Но ничто не изменилось для Повелителя с расправой над оскорбившим его зодчим, унижения его на этом не кончились. Он изводился мыслями о бесчестье, павшем на его имя, сна лишился, пытаясь скрыть его, а в это время зодчий возводил свою чудесную башню, желая отодвинуть узкую черту горизонта, а его юная жена, со-

всем еще ребенок, взвалила на себя непомерный, незаслуженный груз раскаянья и жалости к нему, Повелителю.

Красота, искренность их чувства заставляют его острее ощутить свое уродство.

В какой-то миг Повелитель становится фигурой чуть ли не трагической, он вызывает сострадание, но на самом деле ему трагически не хватает решимости. Все его нравственные муки соскальзывают к бесплодному, отвратительному копанию в собственной грязи. Несостоятельность усилий своего героя Кекильбаев проявляет через сновидение. Повелителю снится, что он тайком ушел из дворца и в толпе паломников, босой и нищий, бредет в Мекку в поисках очищения. Но священный черный камень ускользает, едва Повелитель хочет коснуться его. Ведь он не искупления ищет, а оправдания себе. Даже во сне, оставаясь наедине с собою, он продолжает хитрить, и оттого прощения ему нет.

Бегство от цепей тяготившей его власти было безнадежным делом. Бежать от себя некуда. Оставалось громоздить все новые купола подвигов, новые показы, новые победы. А на них уже не хватало сил.

Кекильбаев целенаправленно ведет к концовке, естественно довершающей крах великого покорителя народов. Повозка, в которой он едет по пустыне со своим войском, чтобы развязать очередную операцию и поддержать свое потускневшее сияние, вдруг померещилась Повелителю подземельем его дворца, куда бросал он всех неугодных. Башня себялюбия и гордыни, которую он возводил для себя всю жизнь, оказалась ловушкой, и она захлопнулась. Таков итог бурной, опустошительной деятельности тирана, оставившего в веках недобрую память о себе.

Роман называется «Конец легенды». Легенда о Тамерлане, послужившем прототипом для образа Повелителя, естественно, не предполагала такого глубокого вхождения в его образ. Кекильбаев дописал конец этой легенды, не следуя послушно за подсказкой народного предания, но сообразуясь с логикой психологического анализа и правдой художественного обобщения характера, взятого им для пристального, внимательного изучения. Реальный Тамерлан мог и не быть таким, но не это все интересует нас в данном произведении.

Автору скорее хотелось убедить нас в том, что не бы-

вает такой свободы, которая опирается на подавление чьей-то воли.

Невозможно быть всемогущим, зажав весь мир в кулаке и держа его под своею пятой. Формально Повелитель владел всем этим миром, но перестал при этом принадлежать самому себе. Насколько он управлял чернью, настолько же она управляла им, посредством своих требований к его образу. Повелитель был спутан тысячью нитей. Глас общественности надежно держал своего тирана в узде. В молодости, когда он лишь шел к власти, он был силен, но в вакууме неограниченного господства, когда вокруг были только рабы, этот сильный и гордый человек стал словно сохнуть и мельчать.

Как не бывает в природе вечного двигателя, так не бывает и личности, способной из себя самой поддерживать и питать свой дух. Пожалуй, это основополагающая истина, из которой исходит жизнь всего человечества: любому человеку нужны рядом другие равноправные люди.

Теории, опровергающие эту истину, могут быть и весьма остроумны и увлекательны, но вот показал нам Кекильбаев изнутри это счастливое осуществление самых смелых честолюбивых притязаний человека – и навряд ли самый последний раб захотел бы позавидовать свободе своего Повелителя.

Кекильбаев взял на себя непростую задачу – проанализировать всесторонне такое сложное, многогранное явление, как бездушная гордыня. Оно было взято в разных, порой самых противоречивых сочетаниях: гордыня и любовь к своему народу, гордыня и власть, гордыня и искусство. Эта колоссальная работа тем важнее для нас, что она приняла вид чего-то цельного, композиционно организованного в едином ключе, и мы получили не плоское, хотя и верное фотографическое изображение, а некую завершенную, с тщательно выписанными деталями модель одной из построек, являющихся продуктом человеческого ума и воображения, постройки, именуемой жаждой владычества.

Писатель показал нам, как вознесясь к ослепительным вершинам безмерного могущества и славы, каким бы героическим напряжением таланта и воли они ни были завоеваны, человек задыхается в разреженном воздухе отчуждения. Презираемая толпа, которой сторонятся гор-

децы, дарит тем не менее то, без чего скудеет самая сильная личность.

Герои Кекильбаева, рожденные для того, чтобы повелевать, ломаются от невозможности продержаться в добровольной изоляции от людей. Что есть человек сам по себе, сам в себе? Даже любовь к своему народу может обернуться несправедливостью и насилием, если нет в ней искреннего добра, даже талант становится без этого качества уродством и черствостью.

Не рассчитанные на легкое чтение, стоящие, с первого взгляда, в стороне от бурного, быстротекущего потока, в котором несется жизнь наших современников, произведения А. Кекильбаева умеют найти именно ту сферу человеческих проблем, которые не дают нам пройти мимо главного, для чего отведен краткий миг пребывания человека на земле.

*Л. ФЕДОРОВСКАЯ*

## ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ...

Его убила не старость, а беспощадность прозрения. Он, всю жизнь радеющий о чести и интересах народа, вдруг ощутил себя заурядным палачом. Долгие годы он распалял в себе ненависть, скрывался в ней, как в убежище, и эта главная опора его личности рухнула... Страшное сознание преступно прожитой жизни унес с собой в могилу непреклонный дотоле Жонеут.

Вопреки своему названию повесть Абиша Кекильбаева «Баллада забытых лет» воспринимается как произведение в чем-то важном очень современное. Думается, причиной тому – направление нравственного поиска писателя, созвучность заложенной в повествовании идеи духовным запросам и представлениям наших дней, своего рода сопряженность времен.

Никто не помнил, когда и с чего началась вражда, – чья вина положила начало взаимной резне и грабежам, а только из поколения в поколение уничтожали друг друга туркменские и казахские племена-соседи, вскормленные одной матерью – степью. Поле, засеянное ненавистью, родит только ненависть. Ежедневная практика насилия и кровопролития неизбежно развращает слабые души, искажает представления об истинных моральных ценностях.

Когда война – не борьба за освобождение, а всего лишь разбой и слепая месть, даже прославленные некогда батыры превращаются в насильников и убийц. И лишенные благородства, воинской чести, состязаются только в жестокости, глумлении над поверженными. Приходит в упадок хозяйство, забываются ремесла, гибнет искусство, зато не иссякает фантазия в изобретении новых, все более чудовищных пыток и казней. Жестокость возводится в первейшую доблесть, сострадание и сердечность объявляются непростительной слабостью. Как, впрочем, и способность задумываться. Ибо «да будут прокляты умники, зовущие к миру», когда «у каждой стороны длиннейший перечень обид».

И в угоду этому «перечню» старый туркмен Жонеут, обрекая на уничтожение цвет своего народа, не пожалел и собственных сыновей, даже последнего – мечтательного дутариста Даулета.

Писатель ведет нравственно-психологическое исследование в определенном социальном преломлении. Междоусобная рознь – вековое народное бедствие – служила средством наживы кучке богатых и именитых. Выразительна в этом смысле фигура хитрого туркменского бая Мамбетпаны, который всегда «разглагольствовал о народе, о предках, о мести. Но молчал о своих интересах».

Слишком поздно понял его политику старый Жонеут. Приказав казнить плененного домбриста-кюйши, он рассчитывал, что его кровный враг, казахский батыр Дюимкара, попытается отомстить за смерть народного певца. Этакая небольшая провокация! Однако Дюимкара и пальцем не шевельнул, видно, домбрист не так уж и дорог был разбогатевшему батыру. Но ведь и кюйши «слишком любил свое искусство, чтобы любить грабителя, насильника...».

Неожиданная мысль пронзила Жонеута: «Что общего между Дюимкарой и кюйши?» И каждый ли казах обязательно враг? С этого вопроса и началась у Жонеута переоценка собственной личности, именно тогда подверг он сомнению свое право на жестокость, с той минуты навсегда ушло от него сознание своей непреложной правоты.

Порочный круг намертво замкнулся. Жонеут принял смерть как избавление от невыносимых душевных мук.

Очень важен для понимания этого сложного, неоднозначного образа мысленный спор Жонеута с обреченным кюйши. Вооруженный талантом человечности, домбрист и в свой последний час обращает силу искусства на дело добра и справедливости. Глядя в глаза смерти, он призывал своих слушателей к миру, любви и терпимости, напоминал, что человек должен думать...

Не какое-то абстрактное, «внесоциальное» добро воспевает писатель: в его понимании это сила созидательная, общественно-активная, тот психологический внутренний рычаг, который во все времена удерживал человека от нравственного вырождения. Ибо подлинная человечность, пусть даже незащищенная, даже не однажды преступно попранная, в конечном счете непобедима.

Должно быть, существует какой-то закон сохранения мужества, благородной несгибаемости духа, если сквозь любой исторический мрак пробивается доброе и разумное начало. Жертвой нелепого обычая стал Даулет, мученически погиб кюйши, но завещанная ими эстафета добра не оборвалась. Подрос мальчишка Курбан, и в его руках снова запел дутар Даулета, поднятый народом, близкий каждому сердцу.

Тема ценности человеческой личности развивается в повести «Хатынгольская баллада». Полмира подмял под себя Чингисхан, разрушил великие государства, уничтожил целые народы, но так и не сломил человеческое достоинство побежденных.

Как и каждый самовластный завоеватель, Чингисхан стремился прежде всего вытравить в окружающих чувство собственной личности, сознание ее человеческой ценности. Жизнь оставлял он только тем, кто не способен думать ни о чем, кроме собственной шкуры. И потому «от шкурников будут рождаться только шкурники, со временем одни шкурники будут прозябать на земле». Знакомая «философия», не правда ли? Во всяком случае, она имеет достаточно разветвленные исторические аналогии и напоминает в первую очередь о гитлеризме.

Хан немало потрудился, осуществляя массовое «пере-

воспитание» побежденных. У всех, кто не испытывал перед ним рабского трепета, он отрубал руки, забирая на память перстень или кольцо. Этими устрашающими трофеями нагружены целые караваны, а гордости, непокорности, в мире не стало меньше. Более того, затопив страны морями крови, надменный завоеватель стал жертвой нравственного превосходства поверженных.

Разделившие судьбу своего народа и в горе сравнявшиеся с ним, правитель тангутов Шидурге и его юная жена не склонили головы перед захватчиком.

Проникновенно пишет писатель об их чувстве, прекрасно расцветшем перед лицом смерти. Лишенные прежнего блеска, измученные голодом и долгой осадой, оставшиеся в одиночестве Шидурге и Гурбельжин впервые по-настоящему открыли для себя любовь. Глубокая человеческая нежность, облагородившая их отношения, оказалась сильнее непомерной власти и безграничной жестокости.

О каком торжестве кровавого хана могла идти речь, когда, ощущая холод занесенных клинков, пленник пытался понять, каким образом «эта серая личность, похожая, на птенца пустельги, ...этот маленький, в комок сжавшийся, незаметный человечек... мог со своими невежественными вояками сломить, несмотря на отчаянное сопротивление, народ со столь развитым искусством, наукой и благосостоянием, о чем завоеватели даже не имели понятия»?

Писатель, опираясь на уроки истории, развенчивает культ антинародной по своей сущности власти. Неограниченное самовластие нередко таит в себе особого рода гипноз, и людям, не слишком самостоятельным в суждениях, присуще верить в те исключительные свойства и качества, которые приписывает себе тиран. Чингисхан, по повести А. Кекильбаева, умирает жалким и опозоренным, не сумев даже себя убедить в собственном величии. Ибо величие человека – это величие его души, отраженное в делах добрых и правых, в непреложном служении людям. А злодейство, пусть и глобальное по своим размерам, остается преступлением против человека, является порождением духовной нищеты.

Именно в служении людям писатель видит главный смысл любой человеческой деятельности.

Может, и не часто задумывался над этим веселый силач Даржан из повести «Колодец», но, безусловно, угадывал тот высший смысл своим бесхитростным сердцем. Всю жизнь он долбил землю, добывая степнякам драгоценную воду. Даже имени его не осталось: тщеславные богачи-баи давали вырытым им колодцам свои имена. Но доброе его умение продолжало жить в учениках. Лишь одного не унаследовал от мастера самый способный из них, Енсеп: сознания, что нельзя идти на тяжелейший, опасный труд только с мыслью о материальном вознаграждении или, скажем, в суетной погоне за славой.

Поздно понял это Енсеп, заплативший за непомерное свое тщеславие жизнью.

Он вырыл-таки самый глубокий и самый многоводный колодец на плоскогорье, но люди все равно не назвали его «Енсеп-казган» – «Вырытый Енсепом», потому что важны не только прямые результаты наших дел, но и их побудительные мотивы.

Опасность, которую таят в себе трафареты мышления и слепое следование обычаям, изобличает А. Кекильбаев в повести «Состязание». Веселое празднество обернулось трагедией для красавицы Ажар, так как в затеянном состязании имели значение не столько личные качества женихов, сколько предписания корана, степень рысистости лошадей, всяческие хитрости и предательские уловки.

Те, кто пренебрегает нравственным опытом народа, «кто поддается ненасытной жадности, пожирающему честолюбию, превращаются в рабов», утверждает писатель этой повестью, и с ним трудно не согласиться.

В этих повестях казахского писателя чувствуется рука мастера зрелого и вдумчивого, способного осмыслить нравственные уроки прошлого с высоты духовных завоеваний сегодняшнего дня. Истинный, глубинный интернационализм, честность во взгляде писателя на историю своего народа порождают ощущение мужественной, высокой гражданственности, которая четко определяет авторскую позицию А. Кекильбаева.

Манеру писателя отличает красочная, щедрая живописность. Лишенная нарочитости, она очень естественно вводит читателя в житейскую стихию стародавних времен, которая представлена в повестях во всем богатстве национальных обычаев, в своеобразии подробностей степного быта.

Не стилизованная орнаменталистика, а реалистическая картина живой народной жизни предстает со страниц книжки. Ее доступная взгляду и все же манящая тайной глубина зовет к неторопливому раздумью о назначении человека, о смысле его земного бытия.

*Т. МАМАЛАДЗЕ*

## «ЕСЛИ СЛОВА БОЛЯТ...»

Эту книгу, впервые изданную в Москве на русском языке, он назвал «Баллады степей». Еще не начав читать, а только пролистав ее, ты еще не раз увидишь это слово – баллада. Повторенное в названиях двух повестей – оно сразу же отошлет тебя к творческой биографии автора: начинал он как поэт.

Но пока это только внешний, поверхностный знак приверженности к поэзии и поэтическому. О поэзии скажут сами повести, их язык, четкая выстроенность – Абиш Кекильбаев ищет в слове емкую точность, отсекает все лишнее, вверяет идею яркой метафоре, и вот где он, поэт, не сковывает себя; во всем же остальном – строгая самодисциплина, самоограничение, тщательный отбор. Но при всем том он эпичен, широк, и, пользуясь его же образами, можно сказать, что он то уподобляется всаднику, несущемуся по бескрайней степи, то мастеру-колодцекопателю, пласт за пластом углубляющемуся в недра земли, пока не сыщется тот единственный, долгожданный водоносный слой.

Героям повестей Кекильбаева дышится тяжело. Одни опалены жаждой мести, других душит ненависть, третьи охвачены неизбывной тоской по невозвратному... Они жестоки, эти степные баллады, – в них рекой течет кровь,

изощренно умерщвляются люди, разрушаются города, буйствует кровная и межплеменная вражда. Из марева раскаленных равнин на тебя надвигаются призраки – старый джигит Жонеут, обугливший сердце тоской по предписанной обычаем мести («Баллада забытых лет»); немощный, но все еще могущественный Чингисхан, одержавший столько побед, но не сумевший подчинить себе живую человеческую душу («Хатынгольская баллада»); колодцекопатель Енсеп, предавший мечту юных лет ради сытого, безбедного существования («Колодец»); бай Балпан, в тщеславной гордыне и в жажде самоутверждения отдавший любимую дочь на волю слепого жребия («Состязание»). Читаешь книгу, и тебе тоже дышится тяжело, так вещественно плотна воссозданная писателем атмосфера ненависти, страха, насилия. И только задаешься вопросом: «Зачем?», как тебя тотчас коснется струя воздуха, словно в темное, наглухо закрытое помещение вдруг ворвался вольный ветер. И станет ясен ответ.

Песни домбриста, заключенная в них сила – ведущий мотив произведений писателя. Обескровлена ею, убита темная ненависть Жонеута – после жизни-ослепления наступает миг прозрения, но какой короткий миг! И все же он больше, чем вся жизнь. А маленький, тщедушный поэт-кюйши, заживо закопанный Жонеутом в землю, – вот кто истинный герой и победитель, и его суд неотвратим и праведен...

Как бы жестоки, скоры на расправу ни были герои Кекильбаева, они все-таки вопрошают себя: «Зачем я? В чем смысл моего бытия?» Живя в постоянной тяге к утверждению своего права карать, они вдруг бывают поражены смертной тоской. Почти всегда это происходит в мгновения, когда им является нечто такое, над чем они не властны. Либо это искусство в образе вдохновенного певца, либо человек, в чьем сердце звучит, заглушая угрозы насильника, благородная музыка духовности. Иными словами, искусство – синоним вечного. И его торжество означает в конечном итоге бессмертие народа, как бы ни стремились ожесточить, обесчеловечить его.

Теперь как будто бы ясен ответ на вопрос, почему молодой человек, наш современник, в прошлом журна-

лист комсомольской газеты, политработник в армии, казалось бы, самыми профессиональными занятиями своими поставленный на передний рубеж дня, предпринимает странствие за черту исторического горизонта. Можно дать расхожее, но не теряющее точности заключение: вечность духовного начала сопряжена Кекильбаевым с нравственным наполнением наших дней. Но поскольку направление поиска молодого прозаика характерно для многих писателей его поколения, и не только в Казахстане, стоит, наверное, поговорить о самой тенденции. Походы молодых в прошлое участились, но не все возвращаются из них с победами. Сколько бы ни декларировалась сверхзадача – осмыслить исторический опыт с точки зрения современника, – порой самое странствие становится самоцелью: есть там, далеко-далеко от нас, немало такого, о чем можно рассказать «вкусно», красиво. Быт, обычаи, утраченные за давностью времен понятия и слова... В блужданиях от вещи к вещи, от судьбы к судьбе постепенно исчезает истинная цель.

У Кекильбаева она всегда перед глазами. Он живописует быт, яростное упоение бегом коня, схватки в степи, долгие застолья – колорит среды выписан ярко, плотно, осязаемо. Кажется, он любуется им: как щедр он на краски, например, в повести «Состязание» – турнир певцов, сцены борьбы, скачка-байга, той... Раздолье для художника на этом пиру, и, казалось бы, совсем нетрудно захмелеть на нем. И вдруг – как отрезвляющий удар – жестокий исход состязания, и – открытой раной – мысль: судьба человека, душа человека поставлены на кон.

Баллады степей – взгляд в прошлое. Баллада – это не только лирическое стихотворение, но и эпическое повествование, построенное на материале сказаний и легенд. «Не очень молод лад баллад...» – сказал Маяковский, удостоверяя возраст этой формы. И сразу же продолжил: «но если слова болят, и слова говорят о том, что болят, молодеет и лад баллад».

В степных балладах Кекильбаева боль неподдельна и радость тоже. И потому они молоды и о многом способны сказать молодому современнику.

# ПРИМЕЧАНИЯ

**«Баллада забытых лет».** Повесть написана в 1966 г. На русском языке опубликована в журнале «Дружба народов» (1969 г., № 126). Включена в книги «Баллады степей» («Молодая гвардия», М., 1975 г.), «Баллады забытых лет» («Библиотека «Дружбы народов», М., 1979 г.), «Степные легенды» («Художественная литература», М., 1983 г.), «Мартовский снег» («Советский писатель», М., 1988 г.). Переведена на немецкий, болгарский, эстонский языки.

**«Хатынгольская баллада».** Повесть написана в 1967 г. На русском языке опубликована в журнале «Дружба народов» (1983 г., № 1). Включена в книги «Баллады степей» (1975 г.), «Баллады забытых лет», 1979 г.), «Степные легенды» (1983 г.), «Мартовский снег» (1988 г.). Переведена на ряд иностранных языков.

**«Колодец».** Повесть написана в 1969 году. Включена в книги «Баллады степей», «Баллады забытых лет», «Степные легенды». Переведена на ряд иностранных языков.

**«Состязание».** Повесть написана в 1968 г. Включена в книги «Баллады забытых лет», «Степные баллады». Переведена на ряд иностранных языков.

**«Теплый снег».** Повесть написана в 1975 году. Включена в книги «Мартовский снег» («Жазушы», А., 1985 г. и «Советский писатель», М., 1988 г.). Переведена на ряд иностранных языков.

**«Дом на окраине».** Повесть написана в 1976 году. Включена в книги «Мартовский снег» («Жазушы», А., 1985 г. и «Советский писатель», М., 1988 г.). Переведена на ряд иностранных языков.

«Купы джиды». Повесть написана в 1977 году. Включена в книги «Мартовский снег» («Жазушы», А., 1985 г. и «Советский писатель», М., 1988 г.). Переведена на ряд иностранных языков.

*З. Кедрина.* «Продолжение легенды». Предисловие к книге «Степные легенды» («Художественная литература», М., 1983 г.).

*Ш. Нурпеисова.* «Колодец в степи». Из книги «Пробуждение весны» Ш. Нурпеисовой («Атамура», 1998 г.).

*Л. Федоровская.* «Преданья старины глубокой». «Литературное обозрение», 1975 г., № 11.

*Т. Мамаладзе.* «Если слова болят...». «Комсомольская правда», 19 июля 1975 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

Продолжение легенды (*З. Кедрина*) ..... 3

**Повести**

Баллада забытых лет (*перевод В. Кардина*) ..... 13
Хатынгольская баллада (*перевод В. Белова и Г. Бельгера*) ..... 77
Колодец (*перевод В. Панкиной*) ..... 121
Состязание (*перевод В. Панкиной*) ..... 163
Теплый снег (*перевод Г. Бельгера*) ..... 217
Дом на окраине (*перевод Г. Бельгера*) ..... 281
Купы джиды (*перевод Г. Бельгера*) ..... 345

**Статьи**

*Ш. Нурпеисова.* Колодец в степи ..... 435
*Л. Федоровская.* Преданья старины глубокой ..... 457
*Т. Мамаладзе.* «Если слова болят...» ..... 463
Примечания ..... 466

Кекильбаев А.
К28 Романы, повести, рассказы, драма, статьи в VI томах. – Алматы: Жазушы, 2001.– 472 с.
Т. 1: повести, статьи

Талантливый казахский писатель, поэт, критик, переводчик Абиш Кекильбаев ставит «вечные» проблемы, размышляет над сущностью человека, выявляет движующие мотивы его поступков. Впитав предания своего народа, писатель открывает нам их суровую поэтичность, ясность и глубокую мудрость. Но, обращаясь к историческим фактам, событиям, он осваивает их с точки зрения современного человека, резко разграничивая добро и зло, справедливость и несправедливость, заставляет и своих героев задуматься о сущности бытия.

К $\frac{4702230200\text{-}20}{402(05)\text{-}2001}$ без объявл. – 2001 ББК 84 Каз 7-44

ISBN 5-605-01744-6 (общ.)
ISBN 5-605-01745-4 (том 1)

© «Жазушы» баспасы, 2001
©А. Кекильбаев, 2001

АБИШ КЕКИЛЬБАЕВ

1 том

Редактор *О. Бреусова*
Дизайнер *Б. Серикбай*
Технические редакторы: *А. Тлеукеева, Л. Линькова*
Набор и верстка *Г. Кудинова*

ИБ № 6042

Сдано в набор 14.05.2001 г. Подписано в печать 14.06.2001 г. Формат 84x108 1/32. Печать офсетная. Гарнитура «Мысль». Бумага офсетная. Усл. п.л. 24,78+0,5 вкл. Усл. кр. отт. 25,62+0,5 вкл. Уч. изд. л. 24,93+0,30 вкл.
Тираж 5000 экз. Заказ № 98.

Республика Казахстан. Издательство «Жазушы»
480009, г. Алматы, пр. Абая, 143

Издательский Дом «Кітап», 480009, г. Алматы, пр. Гагарина, 93. Тел.: 42-36-31, 42-07-90.

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика.

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Ваши отзывы о книге просим направлять по адресу:

480009, г. Алматы,
проспект Абая, 143,
ТОО издательство «Жазушы»